БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АРКАДИЙ ГАЙДАР

ЛЕВ КАССИЛЬ

Scan Kreyder - 13.04.2015
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

...Так же, как ветры, ворвались конные отряды,
и так же, как тучи, пронеслись красные знамена.
Это так наступала Красная Армия.

Аркадий Гайдар

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Школа
Военная тайна
Тимур и его команда

●

ЛЕВ КАССИЛЬ

Кондуит и Швамбрания

●

Повести

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1977

Р2
Г14

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.
Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Данилов С. П.
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

Вступительная статья
НИКОЛАЯ БОГДАНОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Г 70803—039
М101(03)77 Подп. изд.

© Состав. Вступительная статья. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г.

СЛОВО ДОБРА, ПРАВДЫ, МУЖЕСТВА!

Советская детская литература — детище Великой Октябрьской социалистической революции. Ее зачинатели — выдающиеся деятели Коммунистической партии, ближайшие друзья и соратники Владимира Ильича Ленина Надежда Константиновна Крупская, Дмитрий Ильич Ульянов, Анна Ильинична Ульянова, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. «Детские годы Ильича», «Ленин и дети», «Наш Ильич», «Детям о Ленине» — такова тематика их произведений, положивших начало нашей литературно-художественной Лениниане.

Написанные с любовью и тщанием участниками и свидетелями жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина — великого создателя Коммунистической партии, основателя первого в мире государства рабочих и крестьян, эти небольшие, доступные детскому пониманию книги запечатлели в сознании многих поколений живой и нетленный облик гения революции, во всей его мудрости и человечности. Они выдержали суровое испытание временем и являются первым устным и изначальным чтением в детских садах, библиотеках, школах, прекрасным пособием воспитателей, учителей, родителей, пестующих своих юных друзей вдохновляющим словом книги. И содействуют тому, что часто одно из первых слов, произнесенных ребенком,— Ленин!

Уже в первые дни творения нового мира, при первых шагах Советской власти, в труднейших обстоятельствах жизни молодого государства партия и правительство проявляли трогательную заботу об издании книг для детей. Великий основоположник пролетарской литературы Алексей Максимович Горький, глядя далеко вперед, опираясь на свои глобальные, поистине энциклопедические знания, набрасывал план издания Всемирной библиотеки детского чтения, внося в него названия шедевров мировой литературы, привлекая к созданию новых художественных произведений собратьев по перу, мастеров культуры слова. Именно следованием традициям Горького, осуществлением его литературных заветов можно охарактеризовать издание «Библиотеки

мировой литературы для детей», один из томов которой и представлен сейчас читателям. В этот том входят произведения Аркадия Гайдара и Льва Кассиля — крупнейших наших писателей, замечательных художников слова, внесших неувядаемый вклад в русскую советскую литературу для детей и юношества.

Алексей Максимович Горький называл детскую литературу «великой державой», со своими правилами и законами, он считал, что советские писатели должны знакомить детей со строительством социализма, со всем новым, что создается в нашей жизни, так же необычайно и ярко, каким у нас в Союзе является то новое, что создает революционная энергия рабочего класса. Под его непосредственным влиянием и пришли в детскую литературу Самуил Маршак, Корней Чуковский, Михаил Пришвин, Борис Житков, Виталий Бианки — друзья, знакомые, ученики, последователи. Каждого из них благословил Горький на подвиг, считая истинным подвижничеством создание произведений для юных читателей. Прекрасные произведения поэзии и прозы дарили детям такие мастера литературы, как Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Дмитрий Фурманов, Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Николай Тихонов, Константин Паустовский, Валентин Катаев, Сергей Григорьев, Александр Неверов, Юрий Олеша. В этой плеяде достойно звучат имена Аркадия Гайдара и Льва Кассиля.

Гайдар! При этом звонком имени добрая улыбка озаряет лица советских людей от мала до велика. Пожилой человек вспомнит сказку про Горячий камень и расправит морщины: жизнь прожита не напрасно, юный вспомнит романтику тимуровских дел, малыш — веселые проказы славных мальчишек Чука и Гека.

У каждого найдется чем помянуть светлого волшебника слова Аркадия Гайдара. Немного книг написал он. «Р.В.С.», «Школа», «Четвертый блиндаж», «Пусть светит», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его команда» — вот перечень его главных произведений. Как же не вспомнить, что многие поколения советских людей учились любить Родину по книгам Гайдара, которые всегда современны, содержательны, населены интересными персонажами, взрослыми и детьми, коммунистами и комсомольцами, пионерами и октябрятами.

Недолгую жизнь прожил Гайдар, но какую! Вот краткий след ее.

Юрий Гагарин, первый человек, поднявшийся над землей и увидевший черное небо космоса, положивший начало космической эре, в качестве подарка в день рождения своей дочери выбрал том избранных произведений Гайдара и написал: «Моей

дорогой Леночке. Будь такой же нужной людям, как Аркадий Петрович Гайдар».

Вырвавшийся из застенков фашистской чилийской хунты сын Луиса Корвалана Альберто на встрече с комсомольцами Москвы сказал: «Однажды в нашем домике появился кусочек вашей обетованной земли — отец принес книгу «Чук и Гек» на испанском языке и начал учить меня по ней читать».

Чехословацкий воин, прошедший с боями всю войну, явился в свое издательство и сказал: «На развалинах гитлеровского логова я видел надпись, сделанную штыками: «Гайдар убит,— тимуровцы в Берлине!» Надо издать книгу писателя, у которого такие читатели».

Первой советской книгой, изданной в Чехословакии после освобождения, была повесть «Тимур и его команда», и в стране появились свои тимуровцы. Также появились они и в освобожденном от фашистской чумы Берлине. И во многих-многих городах и странах. От голубого Дуная до знойной Африки...

Да, из небольшой повести «Тимур и его команда» родилось и вошло в жизнь нашей страны замечательное тимуровское движение. Оно охватило миллионы детей. В дни Великой Отечественной войны тимуровцы заботились о раненых, опекали семьи ушедших на фронт, помогали всем, кто нуждался в помощи.

Радостно видеть сегодня и новое. Во время слетов пионерских отрядов имени Аркадия Гайдара возникло движение гайдаровцев. Мальчишки и девчонки в красных галстуках хотят творить жизнь с этого замечательного человека, писателя-бойца, настоящего ленинца, который, воюя за светлое царство социализма, вначале утверждал ленинскую правду своей командирской саблей, затем боевым пером. Дважды удостаивался он правительственных наград: первым орденом был награжден при жизни за участие в развитии советской литературы, вторым орденом, посмертно,— за воинские подвиги в Великую Отечественную войну.

В Москве, на Ленинских горах, у входа во Дворец пионеров есть замечательный памятник, отлитый из бронзы. Самозабвенно стремится обрушиться на врага русский мальчишка в крылатой буденовке, с саблей в руке. Это Мальчиш-Кибальчиш из сказки Гайдара про военную тайну, олицетворяющий подвиги всех мальчишек Советской страны, боровшихся и не жалевших самой жизни в боях за Родину.

Каждый год 26 октября бронзовый Мальчиш принимает парад. С приспущенными знаменами под печальные звуки серебряных фанфар и приглушенный рокот барабанов проходят перед ним — ряд за рядом — пионеры Москвы, отмечая последний подвиг его создателя — Гайдара.

В холодное, туманное утро 26 октября 1941 года штаб партизанского отряда, вырвавшись из окружения, пытался перейти линию железной дороги, чтобы уйти из малых лесов в большие и продолжать сражаться с проклятыми гитлеровскими фашистами. Впереди шел пулеметчик отряда Аркадий Гайдар. Он первым заметил фашистскую засаду, притаившуюся за насыпью, и, крикнув товарищам: «Ребята, фашисты!» — схватился за гранату. Но гитлеровцы дали залп первыми. И он упал замертво на землю Украины, которую в рядах советских бойцов защищал от врагов дважды — юношей в гражданскую войну, когда впервые пролил кровь за свободу и счастье народа, и теперь, когда пролил последнюю...

Украина отдала ему самые высокие почести — он похоронен на высоком днепровском берегу рядом со священной могилой Тараса Шевченко. Высятся два холма, на одном памятник великому Кобзарю, на другом ему — Гайдару. Два властителя дум рядом. И тихо, тихо все вокруг... Только орлы клекочут в синей вышине над днепровскими кручами. И всегда здесь дети, идут и идут с цветами. И пароходы, пробегая по широкой глади реки, салютуют гудками Шевченко и Гайдару.

А ту землю, что впитала кровь Гайдара, бережно, по щепотке собрали украинские пионеры и привезли в Москву. И мы, его старые товарищи, собратья по перу, соратники, в великой скорби глубоко захоронили эту горстку священной земли у подножия Мальчиша-Кибальчиша.

Стояли мы в молчании и вспоминали, как жил он среди нас — большой, широкоплечий, круглолицый, голубоглазый, похожий на ребенка-великана, с мальчишескими ухватками. Хитринка во взгляде да усмешка, скрытая в уголках по-детски пухлых губ, как бы говорили иной раз, что жизнь он прожил немалую и повидал на своем веку много.

Каким же он был, Аркадий Петрович Гайдар, как стал выдающимся мастером слова, герои которого сходят со страниц книг и помогают поколениям молодых творить действительность?

«Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию»,— сказал он однажды, и эти слова звучат легендарно, как и вся его жизнь. Аркадий Петрович говорил одним, что родился 9(22) января 1904 года, в канун «кровавого воскресенья», когда у царского дворца пролилась кровь рабочего класса, и считал это предзнаменованием его будущей революционности; другим говорил, будто появился на свет 9(22) февраля, в канун будущего дня Красной Армии, что предопределило его

любовь и преданность ей на всю жизнь. И та и другая дата записаны его рукой: одна — детским почерком в школьном дневнике, другая — в одной из позднейших анкет.

Родился он в городе Льгове, в семье учителя Петра Исидоровича Голикова и его жены Натальи Аркадьевны, акушерки. Но это были не просто учитель и акушерка, а тайные революционеры, связанные с большевиками-подпольщиками. Вскоре им пришлось, спасаясь от преследований царской полиции, бежать из маленького городка в большой вместе с первенцем Аркадием и другими малолетними детьми. Вначале они поселяются в шумном Нижнем Новгороде, затем вьют гнездо в Арзамасе, в городе по первому взгляду тихом и скучном, где благовест сорока церквей заглушал живую жизнь.

Но стоило наступить, как писал Гайдар, «веселому времени» — революции,— и городок забурлил. Вышли из подполья таившиеся в нем большевики, которых юный Аркадий Голиков прежде знал как друзей своей семьи. Они возглавили новую жизнь, помогали созданию и становлению власти Советов.

Зачарованный этими людьми, смело, по-большевистски переделывающими жизнь, он стал самым юным их учеником, помощником, товарищем. И в четырнадцать лет, после настойчивых просьб, был принят в партию «с правом совещательного голоса по молодости и впредь до законченности партийного воспитания». Случай, наверное, беспрецедентный в истории наших партийных организаций. Вскоре, прибавив себе два недостающих года, он ушел добровольцем в Красную Армию. И с боями прошел все фронты гражданской войны. В пятнадцать лет командовал ротой, в семнадцать — полком и так полюбил Красную Армию, что хотел остаться в ней на всю жизнь. Но из-за ранений и контузий, двадцати лет от роду, был уволен в запас в должности командира полка. Это был самый молодой полковник в мире.

Только революция может выковать в своем горниле людские характеры по образу и подобию своему. Это «обыкновенная биография в необыкновенное время» — скажет он потом о себе и о своих товарищах. И действительно, командующий армией дальневосточных партизан Сергей Лазо был сожжен интервентами в топке паровоза в 26 лет; Альберту Лапину, прославленному командиру дивизии, взявшей в плен адмирала Колчака, было 22 года; командующий армией Щорс погиб в боях в возрасте 23 лет; Михаилу Тухачевскому — одному из виднейших полководцев Красной Армии — было 26 лет. Таковы они были, молодые полководцы Ленинской школы.

И вот одному из них — Аркадию Гайдару — посчастливилось стать выразителем этого славного поколения в художест-

венной литературе. Но он не остановился на изображении героики гражданской войны и сразу же после успеха первых книг на эту тему посвятил свой талант современности. Работая газетчиком, журналистом, корреспондентом радио, исколесив всю страну из края в край, неутомимо ищет он то новое, что создает своим творческим трудом советский человек. И везде безошибочно и точно находит и рисует черты этого нового, с особенной теплотой выписывая роль детей в этой славной, поистине увлекательной жизни.

Однажды Аркадия Петровича пригласили побывать в пионерском лагере, в селе Коломенском, что на окраине Москвы. Стоял прежаркий денек. В шалашах, построенных на краю парка, душно. Ребята бултыхались в Москве-реке. И в этот час видят: идет по-над берегом Гайдар в своей полувоенной форме. Поглядел он на ребят, спрашивает:

«Что вы там делаете, люди?»

«Купаемся, дяденька. Не бойтесь, мы плавать умеем!»

«Плавать каждая собачка умеет,— усмехается Гайдар,— а вот умеете ли вы тонуть?»

Ребята озадачены:

«Как-то не приходилось, не пробовали».

«Вообще-то человек не должен тонуть, он легче воды, а многие тонут, особенно в детском возрасте, с испугу, по неумению,— продолжал Гайдар.— Так вот,— сказал он наставительно,— если придется кому-нибудь из вас тонуть, главное, не пугайся, если тонешь, иди смело до дна! Только не дыши, конечно, ты не рыба. Дошел до дна, сожмись, оттолкнись ногами — выскочишь на поверхность, как пробка».

Ребятам это понравилось, они сразу затеяли веселую игру, как тонуть — не утонуть. И здорово наловчились. Плавали отменно.

Вот так и ходил к ребятам Гайдар — необыкновенно, по-своему, чем сразу и покорял их. В лагере ребят учили плавать, а он — не тонуть.

«Перед новыми талантами,— говорил Горький,— встает задача: отобразить в литературе героя... который хочет перестроить мир».

Прекрасно справлялся с этой ответственной задачей Аркадий Гайдар,— о нем по чести и первое слово в нашей советской детской литературе.

Лев Кассиль пришел в детскую литературу, когда в ней было уже немало превосходных писательских имен. Но стоило явиться ему, и литература для юных сразу выросла; первые же книги писателя заслужили шумный успех и стали действительно хрестоматийными.

«Кондуит», «Швамбрания» — уже сами эти названия необыкновенностью своей привлекли внимание юных и взрослых читателей, и фамилия автора запомнилась сразу и на всю жизнь. Врезалась настолько, что полюбившиеся им книги других писателей дети часто приписывали Льву Кассилю. И он с милой застенчивостью благодарил ребят за их доброту и торжественно называл подлинные фамилии авторов — создателей «Республики Шкид» или «Старика Хоттабыча». Писал он много, азартно, щедро делясь с юным читателем всем, что узнавал сам, видел, неустанно отыскивал. Он словно старался наверстать годы, потраченные на «поиски себя», стремился сказать многое и о многом. А талантов и способностей художественных, музыкальных, математических было в нем непочатый край.

За что бы ни взялся — все получалось хорошо, всем он увлекался по-настоящему, мечтая в юности стать то музыкантом, то художником, то архитектором, то естествоиспытателем. Поступил вначале в Саратовский художественно-практический институт, затем на физико-математический факультет Московского университета. В студенческие годы был автором и редактором университетской «живой газеты». Как и многие студенты, подрабатывал на хлеб насущный то в качестве художника-плакатиста, то электромонтера...

Талант писателя в нем открыл Маяковский. Ни к кому другому, а именно к этому кумиру молодежи Лев Кассиль пришел с рукописью «Кондуита».

«Я взбежал по лестнице, а сердце у меня от волнения скатилось вниз по ступенькам... Я позвонил, и мне открыли. Через эту дверь я и вошел в литературу»,— вспоминал он потом. Владимир Владимирович любил дерзких, не выносил серых, льстивых и скучных. Заметив в рукописи подлинное новаторство, он напечатал отрывки из «Кондуита» в журнале «Новый Леф»: это была «марка», попасть на страницы журнала, редактируемого Маяковским, какой-либо посредственности было просто невозможно.

«Кондуит» был замечен. Журнал «Пионер» опубликовал повесть полностью. Вскоре за «Кондуитом» на его страницах появилась «Швамбрания».

И вокруг этих произведений сразу же поднялись споры, острые, жаркие, таких еще не было в детской литературе. Одни эти повести низвергали, за их, мол, тенденцию «позабавить» ребенка, другие горячо хвалили. А девчонки и мальчишки школьного возраста читали их с таким же азартом, с каким они были написаны. Ребята хохотали, собирались кучками, делились прочитанным, порой убегали подальше от взрослых, прятали книжки

под подушки, боясь, чтобы родители не отняли «неурочное» чтение.

«Кондуит» и «Швамбрания» поражали своим мальчишеским юмором, головоломностью фабулы, сатирическим, гротескным изображением дореволюционной действительности. Эти книжки нельзя было просто читать, их надо было разгадывать, как ребусы, охотно возвращаться к прочитанному. Многие страницы делали ставку не столько на чувство, сколько на сообразительность юных умов. Поражали своей «ученостью» — ведь в них и география дыбом и история кувырком...

А социальная заостренность этих повестей! С убийственной насмешливостью в них изображены обыватели, ханжи, тупицы, все потраченные молью персонажи старого мира — времен царизма и керенщины.

А вот большевики — это всерьез и навсегда! И последовавшая за ними молодежь обрисована писателем с любовью, романтично, возвышенно. И все это написано совсем не так, как у других, по-своему, по-кассилевски, что и вызывало и восхищение и споры. Спокойствие скуки, воцарившейся кое-где в книгах для детей той поры, уговоры иных «теоретиков» писать для детей нравоучительно и «сурьезно» — все это было взорвано, возмущено до крайности.

А сам «возмутитель спокойствия», рассказав в своих первых произведениях, как революция вихрем ворвалась в мирок интеллигентных семей, выхватила оттуда и вынесла на большой простор двух мальчишек, выдумавших свою сказочную страну «Швамбранию», самоотверженно, крупным шагом пошел по этому широкому, прекрасному пути в мир больших свершений, открытый революцией.

И, как вехи, на этом пути возникали новые книги одна за другой. Это был поистине «рог изобилия».

Их много, и все они разные по стилю и содержанию, произведения Льва Кассиля. Роднит их одно — писатель ставит перед собой цель пробудить в детях чувство любви к своему народу, к его делам, чувство гордости за свою великую Родину. Он увлекает юные сердца жаждой подвига, романтикой всех дел, какие только есть в нашей Советской стране. Он пробует себя и в публицистике и в научно-популярной тематике. И обо всем пишет занимательно, интересно, используя в своем писательском арсенале все жанры литературы — кроме скучного.

Из-под его неутомимого пера в одно десятилетие выходит около двадцати книг, сами названия которых говорят об их удивительном многообразии: «Цеппелин», «Вкусная фабрика», «Лодка-вездеходка», «Ученик Чародея», «Сказка об Алешке Рязань и дядьке-Беломоре», «Щепотка луны» и так далее. Казалось,

пишет не один человек, а целый коллектив талантливых мастеров. Время, конечно, отбирало из этого изобилия лучшее, и оно оставалось в сознании и памяти читателей на всю жизнь.

«Черемыш — брат героя» — повесть мудрая и добрая, о сокровенной мечте каждого мальчика чем-то выделиться, утвердить свое «я». Драматическая ситуация в ней завершается благополучно и с таким тактом, что ее нравоучительность не замечается; повести свойствен удивительный педагогический такт.

«Великое противостояние» — большая, емкая повесть, полная раздумий о выборе пути, о сложностях жизни, о месте в ней юного человека. Морально-нравственные проблемы наполняют страницы повести. Стойкость в сложных обстоятельствах. Значение честного отношения к творчеству. Роль искусства. Повествование ведется неторопливо, оно дает возможность, читая, подумать. А вот произведение совсем иного плана: «Вратарь республики». Само начало повести архистремительно, будто прыжок с трамплина. Атмосфера юности, азарт спортивных соревнований, благородство порывов молодости, насыщенность приключениями, стремительность водоворота событий. Читателя лихорадит, он как будто все происходящее наблюдает с трибуны, воочию. Страницы книги разноцветны, так ярко все изображенное в ней.

«Улица младшего сына» (написанная в содружестве с М. Поляновским) — документальная повесть, посвященная пионеру-партизану Володе Дубинину, погибшему в годы Великой Отечественной войны.

Повесть удостоена Государственной премии.

И как непохожа на «Вратаря республики» насыщенная печальным лиризмом повесть «Ранний восход» — о юном Коле Дмитриеве, рано погибшем художнике. Нечто левитановское видится в самом писательском акварельном почерке, живописном и мягком. Понятие об искусстве, как о прекрасном, раскрывается в этой книге умно, задушевно, тонко. Повесть написана чисто и ясно, кажется, будто писалась она сразу набело, единым дыханием. Перед нами предстает новый Кассиль, совершенно не похожий на автора бурной, озорной, гротесковой, сатирической «Швамбрании».

Писатель работает и в драматургии. С успехом идут в детских театрах спектакли: «Блуждающая школа», «Брат героя», «Дорогие мои мальчишки». И восторженным приемом у юных читателей и зрителей пользуются повесть и спектакль, поставленный по этой повести, «Будьте готовы, Ваше высочество!» — об интернациональном воспитании, о дружбе детей всех народов.

С воодушевлением и радостью следили и читатели, и писатели, и педагоги за творчеством Льва Кассиля. И вдруг смерть,

неожиданная, обидная, в полном расцвете творческих сил, на пороге новых, озаренных опытом всей жизни, открытий. И не стало еще одного чародея детской литературы...

Родился Лев Абрамович Кассиль в семье врача и учительницы 10 июля 1905 года в городе Энгельсе, бывшая Покровская слобода, умер в Москве 21 июня 1970 года. Канва его жизни не столь уж богата событиями, но это был человек глубокого внутреннего содержания, мужественный и стойкий в своих революционных убеждениях. Преданность делу коммунистического воспитания юных поколений выражена в его творчестве, в его книгах, пьесах, кинофильмах. Каждый должен сражаться за Родину социализма, за ее прекрасное Сегодня и великое Будущее — таков символ веры писателя-гражданина.

Как рядовой боец он был всегда на посту мужества, всегда там, где шла борьба за честь и свободу против зла и насилия.

Так, вместе с волонтерами отправился он в сражающуюся Испанию, случайно избежав гибели, когда крейсер-пират «Канариас» потопил теплоход «Комсомол». В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на флоте. Смело, убежденно выступал за честь нашего Отечества, отбивая наскоки антисоветчиков, когда летал за рубежи вместе с нашими спортивными делегациями как репортер и комментатор соревнований.

Его поступки в быту и в общественной деятельности носили характер рыцарства, свойственный высокой интеллигентности советского человека. Сама внешность его отличалась благородством — высокий лоб, большие светящиеся глаза, умная улыбка, располагающая к общению. Высокий, статный, его узнавали на улицах и доброжелательно приветствовали. Обаяние его личности было столь велико, популярность столь широка, что юные читатели, считая его главным детским писателем, адресовали письма: «Москва, Кремль, Льву Кассилю». И это было символично: по высокому адресу прописана наша советская детская литература; ее блистательным свершениям во многом содействовало творчество писателя Льва Кассиля.

Книги Аркадия Гайдара и Льва Кассиля живут и радуют миллионы юных сердец. Это маяки нашей детской литературы, их лучезарный свет распространяется по всей планете, даря молодости слово Добра, Правды, Мужества.

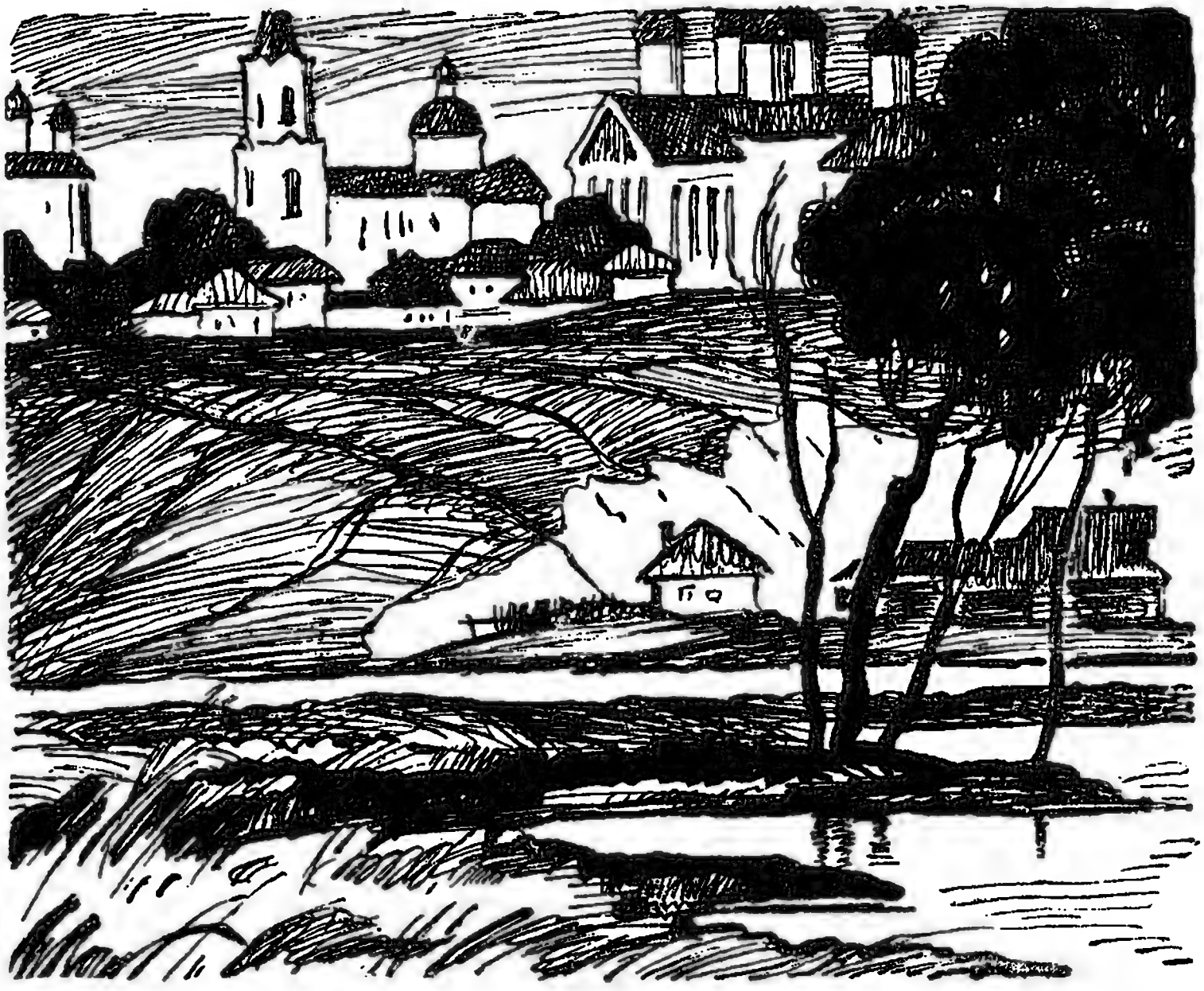
Николай Богданов

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Школа

Военная тайна

Тимур и его команда



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ШКОЛА

Глава первая

Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яблок-скороспелок, терновника и красных пионов.

Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно передохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша.

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон, но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти

километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту. Только и было слышно: то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон — ничего похожего.

Пронесся однажды слух, будто бы Митьке-цыгану, бродяге и известному пьянице, ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби, было видение и бросил Митька пить, раскаялся и постригся в Спасскую обитель монахом.

Народ валом валил к монастырю. И точно — Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах и даже сознался, что в прошлом году спер и пропил козу у купца Бебешина. Купец Бебешин умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидев, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни.

Так продолжалось целую неделю, но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение, в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется в овраге по Новоплотинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки.

На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец Синюгин. Посланные скоро вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувствен, аки зарезанный скот; что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полбутылка, и когда его удалось растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи идти раздумал, потому что якобы грешен и недостоин.

Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно на пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в окружности.

Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут и поэтому рявкал отрывисто, дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалам вторили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединилась к общему нестройному хору.

Я любил взбираться на колокольни. Позволялось это мальчикам только на пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных поворотов. Сверху виден весь город.

Под горою — Теша, старая мельница, Козий остров, перелесок, а дальше — овраги и синяя каемка городского леса.

Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.

Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с балльником для подписи. Мать бегло просмотрит отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой:

— Это что же такое?

— Я, мам, тут не виноват. Ну что же я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а черт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе.

— Ну, а за чистописание почему? Дай-ка твою тетрадку... Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая!

— Клякса, мам, оттого, что нечаянно, а про таракана я вовсе не виноват... Ведь что это такое, на самом деле,— ко всему придираешься? Что, я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечай! И подумаешь, какая наука — чистописание! Я в писатели вовсе не готовлюсь.

— А к чему ты готовишься? — строго спрашивает мать, подписывая балльник.— Лоботрясом быть готовишься? Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты — в трубочисты готовишься?

— Нет. Ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

— Почему же матросом? — удивляется озадаченная мать.

— Обязательно матросом... Вот еще... И как ты не понимаешь, что это интересно?

Мать качает головой:

— Ишь, какой выискался. Ты чтобы у меня двоек больше не приносил, а то не посмотрю и на матроса — выдеру.

Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала? Никогда еще не драла. В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и двугривенный на кино дала. Хорошо бы этак почаще!

Глава вторая

Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина — одноклассника, маленького, вертлявого человечка.

Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, оставшиеся у товарищей, бегал в соседнюю лавчонку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собой никакой вины, испуганно затихал при приближении классного наставника.

У Тимки была одна страсть — он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с пичужками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западнями на кладбище.

Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидел на каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок — сетку с протянутой бечевой. По жалобе Синюгина, сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель, отец Геннадий, во время урока закона божьего сказал неодобрительно:

— Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает — грешно и богохульно.

Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил.

Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понес еще в сей жизни заслуженное божеское наказание.

Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить — подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой.

— Тимка! А мы на урок опоздаем,— сказал я.— Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву — обязательно.

— Не заметят?! — сказал он испуганно и в то же время вопросительно.

— Обязательно заметят. Ну что же, без обеда оставят, толь-

ко и всего,— умышленно спокойно поддразнил я, зная, что Тимка беда как боится всяких выговоров и замечаний.

Тимка съежился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно:

— А я-то тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам — вон сколько. И всё из-за молебна. По Вальке Спагине мать приезжала служить.

— Как по Вальке Спагине! — разинул я рот.— Что ты!.. Разве он помер?

— Да не за упокой молебен, а об отыскании.

— О каком еще отыскании? — с дрожью в голосе переспросил я.— Что ты мелешь, Тимка? Я вот тебя тресну... Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура...

— Пинь-пинь... тарарах... тиу...— засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я еще ничего не знаю, подпрыгнул на одной ноге.— А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то, что было!..

— Да что же было-то?

— А вот что. Сидим мы вчера... Первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавала... Ле верб: аллэ, аривэ, антрэ, рестэ, томбэ... Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «рестэ, томбэ», как вдруг отворяется дверь и входит инспектор (Тимка зажмурился), директор (Тимка посмотрел на меня многозначительно) и классный наставник. Когда мы сели, директор и говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье: ученик вашего класса Спагин убежал из дому. Оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа...» — и начал, и начал, полчаса говорил.

У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто — ни Яшка Цуккерштейн, ни Федька Башмаков — не зашел ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи!.. Когда Федьке нужны были пробки от пугача — так он ко мне... А тут — на-ка!.. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе, как идиот, сиди!

Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходивших из общего зала, где читалась молитва.

В следующие дни только и было толков, что о геройском побеге Вальки Спагина.

Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина. Ну положительно никто ничего не знал. Никому не могла даже прийти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоня был, ни в од-

ной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал, штаны с него всегда сваливались, ну, словом, размазня размазней, и вдруг — такое дело!

Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо приготовлений. Не может же быть, чтобы человек вдруг, сразу, ни с того ни с сего вздумал, надел картуз и отправился на фронт.

Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог. Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонаря. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли.

Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали невпопад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Прошло еще несколько дней. И вдруг опять новость — сбежал первоклассник Митька Тупиков.

Училищное начальство всполошилось всерьез.

— Сегодня на уроке закона божьего беседа будет,— по секрету сообщил мне Федька,— насчет побегов. Я, как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили.

Нашему священнику отцу Геннадию было этак лет под семьдесят. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе, был он тучен, и для того чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шеи у него не было заметно вовсе.

Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно: играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо Ветхого завета запрещенного Ната Пинкертона или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук.

Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного:

— Царю небесный, утешителю, душе истины...

Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже и ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито:

— Ну, ну... Что это? Ты читай, чтобы было благозвучно, а то ровно как бык ревешь.

Отец Геннадий начал издалека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Потом рассказал притчу о талантах: как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни

рабы занялись торговлей и получили от этого барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили.

— А что говорят сии притчи? — продолжал отец Геннадий.— Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой,— нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоялись они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудших юношей простят им всё и примут их с распростертыми объятиями.

В этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родные — не знаю, но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегает сына ремнем,— это уж наверняка.

— А притча о талантах,— продолжал отец Геннадий,— говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаетесь здесь всевозможным наукам. Кончите школу, каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой — доктором, третий — чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя: «Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Но что же,— тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу,— что же, спрашиваю вас, выйдет из этих и им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы в теплой оранжерее заботливого садовника, вы не знаете ни бурь, ни треволнений и спокойно расцветаете, радуя взоры учителей и наставников. А они... даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью.

Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал:

— Федька!

— Ну?

— Ты как думаешь насчет талантов?

— Никак. А ты?

— Я?

Тут я замялся немного и добавил уже тише:

— А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что — коммерсантом либо чиновником!

— Я бы тоже,— чуть поколебавшись, сознался Федька.— Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он и завянет. Тернию, тому хоть все нипочем — ни дождь, ни жара.

— Федька,— сказал я,— а как же тогда батюшка говорил: «И ответите в жизни будущей». Ведь хоть и в будущей, а все одно отвечать неохота!

Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво:

— Ну, так ведь это еще не скоро... А там, может быть, что-нибудь и придумается.

Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать: его поймали через три дня в шестидесяти километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду.

Говорят, что дома не знали, куда его посадить, накупили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету ружье монтекристо. Но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались: «Нечего сказать, этак и многие из нас согласились бы пробегать три дня вокруг города да за это в подарок получить настоящее ружье».

Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли «Коля бешеный».

Вызывает Малиновский Тупикова к доске:

— Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

— Нет,— ответил, побагровев, Тупиков,— на германский.

— Тэк-с! — ехидно продолжал Малиновский.— А позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где в оной мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву,— он ткнул указкой по карте,— через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский? А вы поперли прямо в противоположную сторону — на восток. Как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусорном ящике. Садитесь. Ставлю вам два. И стыдно, молодой человек!

Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии, даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец». Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь.

Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину или щелчок по носу, смотря по уговору.

Глава третья

Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы. После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.

Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни», все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель сказал мне однажды:

— Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.

Я обиделся. Что значит — чересчур? А если у меня на пение таланта нет, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?

Дома я поделился с матерью своей обидой.

Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала:

— Мал еще. Подрасти немного... Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?

— Как, мам, какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют — ни стариков, ни детей, а почему наш царь всех жалеет?

— Сиди! — недовольно сказала мне мать.— Все хороши... Как взбесились ровно — и германцы не хуже людей, и наши тоже.

Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть, как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут, разрушили Реймсский собор и надругаются над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке.

Федька согласился со мной:

— Конечно, звери. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь — благородные. И французский президент — тоже. А их Вильгельм — хам!

— Федька,— спросил я,— а почему французский царь президентом называется?

Федька задумался.

— Не знаю,— ответил он.— Я слышал, что ихний президент вовсе не царь, а так просто.

— Как это — так просто?

— Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка — кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.

— Как же можно, чтобы царя убили? — возмутился я.— Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.

— А ей-богу же, убили. И его самого убили и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.

— Ну уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, вороз судит: вот у Плющихи забор сломали — он судил. Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер — опять он судил. Но царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.

— Ну, хочешь — верь, хочешь — нет! — рассердился Федька.— Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, а я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этакий был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ, и судили и казнили...— добавил он раздраженно.— И даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая — гильотина. Ее заведут, а она раз-раз — и отрубает головы.

— И царю отрубили?

— И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Интересно... Там про монаха одного... Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.

Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.

— Как по-твоему, Федька,— спросил я,— пленные в кандалах или нет?

— Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.

— Так ведь арестанты — они же воры, а пленные ничего не украли.

Федька сощурился.

— А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл либо убил? Там, брат, за разное сидят.

— За какое еще разное?

— А вот за какое... За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Не знаешь — ну и помалкивай.

Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси — только не насчет уроков,— он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.

Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребятишки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетки, ящики, западни. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой.

Арестовали его совершенно неожиданно, за что — мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.

Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не подтянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало — семь человек команды с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басюгиным, а больше никаких передвижений и не было.

Что же касается того, что учитель был разбойником,— это была явная ложь. Выдумал Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль и если попросит взаймы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет

удилище без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.

Так мы добежали с Федькой до самого оврага.

Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:

— Федь, так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки: и про шпиона и про разбойника?

— Конечно, враки,— ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы.— Его, брат, за политику арестовали.

Не успел я подробнее выспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за поворотом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.

Пленных было около сотни.

Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.

Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.

«Так вот какие они,— думали мы с Федькой, пропуская колонну.— Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились — не нравится в плену. То-то, голубчики!»

Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:

— Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!

Возвращались домой мы немного подавленные. Отчего — не знаю. Вероятно, оттого, что усталые серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.

Глава четвертая

Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много. Во-первых, нужно было построить плот и, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.

У нас до сих пор был маленький флот — спущенная на воду

садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелись половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.

Силы были явно неравны. Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.

Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья.

На противоположном берегу неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом: семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы — Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков — были беспощадно выдраны отцами.

Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоздей ушло больше чем на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага.

Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в семьдесят копеек под залог двух учебников закона божьего, немецкой грамматики Глезер и Петцольд и хрестоматии по русскому языку.

Зато дредноут наш вышел на славу. Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка Цуккерштейн. В качестве зрителей пришли все ребятишки сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчок, она же Шарик, она же Жучка — звал ее каждый, как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас раздалось громкое «ура», салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг.

Флаг у нас был черный с красными каемками и синим кру́гом посредине.

Развеваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался,— мы снялись с якорей.

Близился закат. Слышалось далекое звяканье бубенцов возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.

На дредноуте был я и Федька. Позади нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.

Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами — он не хотел принимать боя и постыдно прятался в бухте под полусгнившей ветлой. В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно отплыли в свой порт без всякого урона, если не считать легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.

— О-го-го! — закричали мы уплывая.— Что, слабо́ вам выйти навстречу?

— Подождите! Выйдем, не хвалитесь раньше времени, не испугались!

— То-то оно и видно, что не испугались. Трусы несчастные!

Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.

В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил передаться неприятелю.

Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди: день — он, день — я.

На этом и порешили.

Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько «лягушек». «Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевкой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали «лягушку» к концу стрелы, один натягивал бечевку, другой поджигал у «лягушки» шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо, и «лягушка» разрывалась высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон.

Перелесок примыкал к кладбищу. Был он густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник.

Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену

и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым щебетом укрывшихся в листве пташек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игривое настроение.

Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали вполголоса.

— Смотри,— сказал я Федьке,— сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только ее потом мать в печку выбросила — будто бы я камешком у Басюгиных стекло разбил.

— А нет, что ли?

— Ну так что ж, что я? Да ведь это же доказать надо было, а то никто не видел, и по одному только подозрению... Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня?

— Все равно бы,— согласился Федька.— Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают, а как мальчишкину какую игру заметят, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала да потом крысу из клетки вынула. А один раз еще хуже было... Свинтил я шарик пустой. Знаешь, которые на кроватях для украшения привернуты. Мать как раз в церковь ушла. Сижу себе, достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очутилась. «Ты зачем,— говорит,— шар с кровати свернул? Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись?» Да как треснет меня по башке! Хорошо, что отец вступился. Спрашивает: «Зачем шар взял?» — «Разве,— отвечаю ему,— не видишь?.. Бомбу делать». Нахмурился он. «Брось,— говорит,— не балуй этакими вещами. Ишь, какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил.

— Федька,— сказал я ему спокойно,— а я знаю, что такое террорист. Это — которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие — бедные или богатые?

— Средние,— ответил Федька подумавши.— Чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям еще пироги мать стряпает да иной раз компот. Я беда как люблю компот! А ты любишь?

— И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средние. Вон у Бебешиных фабрика

целая. Я один раз был у ихнего Васьки. У них одной прислуги сколько и лакей! А Ваське отец живую лошадь подарил... пони называется.

— У них, конечно, все есть,— согласился Федька,— у них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огро-о-омный! Как надоест ему все на земле, так и идет Синюгин на эту вышку, туда ему закуску несут, бутылку... И сидит он всю ночь да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так, говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уж не видать.

— Федька! А почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому — фига? Вон Сигов, который на его фабрике работает, так тому не то чтобы на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать.

— Почему?.. Вот еще... почему я знаю? Ты спроси у учителя или у батюшки.

Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина и потом добавил уже тише:

— Отец говорил, что скоро все будет наоборот.

— Что наоборот?

— Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно. Отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в пятом году, будут. Ты знаешь, что было в пятом году?

— Знаю, но только не особенно,— ответил я, покраснев.

— Революция была. Только не удалась. Это значит, чтобы помещиков жечь, чтобы всю землю крестьянам, чтобы все от богатых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услыхал.

Федька умолк. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не писано. И никто про это со мной не разговаривает.

Дома уже, после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал:

— Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю.

Мать быстро повернулась, нахмурила брови, по-видимому собиралась выругать меня, потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидала меня в первый раз.

— Про какой еще пятый год?

— Как про какой? Ты сама знаешь, про какой. Ты вон

какая здоровая. Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил.

— Да чего же тебе рассказывать. Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не видела. Тоже... такой был деточка, что и не приведи бог... горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бывало, про белый свет и про себя позабудешь.

— А с чего же, мама, я орал? — спросил я, немного обидевшись.— Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была и казаки. Может, с перепугу?

— С какого там еще перепугу! Так просто, блажной был и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли, и чего искали — сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю как есть квартиру перерыли, ничего не нашли. Офицер этакий вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший,—говорит,— мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, прямо офицеру на мундир. Ах, ты боже мой! Я тебя скорей схватила, тащу офицеру тряпку. Подумать только! Мундир новый — и весь насквозь, и на штаны попало, и на шашку. Всего как есть опрудил, шельмец этакий! — И мать рассмеялась.

— Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь,— совсем обидевшись, прервал я.— Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то...

— Да ну тебя... привязался еще! — отмахнулась мать.

Но тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала:

— Что я тебе рассказывать буду? Пойди отопри чулан... Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи... Если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про пятый год.

Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям.

— Да ежели ты,— крикнула мне вдогонку мать,— вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь или опять, как в прошлый раз, с кринок сметану поснимаешь, то я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь!

Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась эта наугад взятая книга «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского — была мне понятна; я прочел ее до конца и перечел снова.

В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров. И мне обидно стало, что Арзамас такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Воры были: у Тушковых с чердака начисто все белье сняли; конокрады-цыгане были, даже настоящий разбойник был — Васька Селедкин, который убил акцизного контролера, а вот революционеров-то и не было.

Глава пятая

Я, Федька, Тимка и Яшка Цуккерштейн только собрались играть в городки, как прибежал из сада сапожников мальчишка и сообщил, что к нашему берегу причалили тайно два плота Пантюшкиных и Симаковых; сейчас эти проклятые адмиралы отбивают замок с целью увести наши плоты на свою сторону.

Мы с гиканьем понеслись в сад. Заметив нас, враги быстро повскакали на свои плоты и отчалили. Тогда мы решили преследовать и потопить неприятеля.

В тот день командовал дредноутом Федька. Пока он и Яшка отталкивали тяжелый, неповоротливый плот, мы с Тимкой на старом суденышке пустились неприятелю наперерез. Наши враги сразу сделали ошибку. Очевидно, не предполагая, что мы будем их преследовать, они, вместо того чтобы сразу направиться к своему берегу, взяли курс далеко влево. Когда же они заметили свою ошибку, то были уже далеко и теперь напрягали все свои силы, пытаясь проскочить, прежде чем мы успели перерезать им дорогу. Но Федька и Яшка никак не могли отвязать большой плот. Нам с Тимкой предстояла героическая задача — на легком суденышке задержать на несколько минут двойные силы неприятеля.

Мы очутились без поддержки перед враждебной эскадрой и самоотверженно открыли по ней огонь. Нечего и говорить, что мы сами тотчас же попали под сильнейший перекрестный обстрел. Уже дважды я получил комом по спине, а у Тимки сшибло

К стр. 42

фуражку в воду. Стали истощаться наши снаряды, и мы были насквозь промочены водой, а Федька и Яшка еще только отчаливали от берега. Заметив это, неприятель решил идти напролом.

Мы не могли выдержать столкновения с их плотами — наша калитка была бы безусловно потоплена.

— Ураганный огонь последними снарядами! — скомандовал я.

Отчаянными залпами мы задержали противника только на полминуты. Наш дредноут полным ходом спешил к нам на помощь.

— Держитесь! — кричал Федька, открывая огонь с далекой дистанции.

Однако вражьи суда были почти рядом. Оставалось только дать им уйти в защищенный порт или загородить дорогу, рискуя выдержать смертельный бой. Я решился на последнее. Сильным ударом шеста я поставил свой плот поперек пути.

Первый вражеский плот с силой налетел на нас, и мы с Тимкой разом очутились по горло в теплой заплесневелой воде. Однако от удара плот противника тоже остановился. Этого только нам и нужно было. Наш могучий дредноут — огромный, неуклюжий, но крепко сколоченный — на полном ходу врезался в борт неприятельского судна и перевернул его. Оставался еще миноносец из свиного корыта. Пользуясь своей быстроходностью, он хотел было проскочить мимо, но и его опрокинули шестом.

Мы с Тимкой забрались на Федькин плот, и теперь только головы неприятельской команды торчали из воды. Но мы были великодушны: взяв на буксир перевернутые плоты, разрешили взобраться на них побежденным и с триумфом, под громкие крики мальчишек, усеявших заборы садов, доставили трофеи и пленников к себе в порт.

Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все одно и то же: «Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, конца-краю не предвидится».

Меня разочаровывали его письма. Что это такое, на самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги, а то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью.

Почему другие, вот, например, прапорщик Тупиков, брат Митьки, присылает письма с описанием сражений и подвигов и каждую неделю присылает всякие фотографии? На одной фотографии он снят возле орудия, на другой — возле пулемета, на третьей — верхом на коне, с обнаженной шашкой, а еще одну прислал, так на той и вовсе голову из аэроплана высунул.

А отец — не то чтобы из аэроплана, а даже в окопе ни разу не снялся и ни о чем интересном не пишет.

Однажды, уже под вечер, в дверь нашей квартиры постучали. Вошел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать. Матери не было дома, но она должна была скоро прийти. Тогда солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном полку, а сейчас едет навсегда домой, в деревню нашего уезда, и привез нам от отца поклон и письмо.

Он сел на стул, поставил к печке костыль и, порывшись за пазухой, достал оттуда замасленное письмо.

Меня сразу же удивила необычайная толщина пакета. Отец никогда не присылал таких толстых писем, и я решил, что, вероятно, в письмо вложены фотографии.

— Вы с ним вместе служили, в одном полку? — спросил я, с любопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо солдата, серую измятую шинель с георгиевским крестиком и грубую деревяшку, приделанную к левой ноге.

— И в одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю... Ты его сын, что ли, будешь?

— Сын.

— Вот что! Борис, значит? Знаю. Слыхал от отца. Тут и тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее и не трогал до тех пор, пока он не вернется.

Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из голенища; при каждом его движении по комнате распространялись волны тяжелого запаха йодоформа.

Он вынул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый.

Я хотел вскрыть его, но солдат сказал:

— Погоди, не торопись. Успеешь еще посмотреть.

— Ну, как у вас на фронте, как идут сражения, какой дух у наших войск? — спросил я спокойно и солидно.

Солдат посмотрел на меня и прищурился. Под его тяжелым, немного насмешливым взглядом я смутился, и самый вопрос показался мне каким-то напыщенным и надуманным.

— Ишь ты! — И солдат улыбнулся.— Какой дух? Известное дело, милый, какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух. Хуже, чем в нужнике.

Он достал кисет, молча свернул цигарку, выпустил сильную струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрасневшее от заката окно, добавил:

— Обрыдло все, очертенело все до горечи. И конца что-то не видно.

Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухватилась рукой за дверную скобку.

— Что... что случилось? — тихо спросила она побелевшими губами.— Что-нибудь про Алексея?

— Папа письмо прислал! — завопил я.— Толстое... наверное, с фотографиями. И мне тоже подарок прислал.

— Жив, здоров? — спрашивала мать, сбрасывая шаль.— А я как увидала с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось.

— Пока не случилось,— ответил солдат.— Низко кланяется, вот пакет просил передать. Не хотел он по почте... Почта ныне ненадежная.

Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было, только пачка замасленных, исписанных листков. К одному из них пристал кусочек глины и зеленая засохшая травинка.

Я развернул сверток — там лежал небольшой маузер и запасная обойма.

— Что еще отец выдумал! — сказала недовольно мать.— Разве это игрушка?

— Ничего,— ответил солдат.— Что, у тебя сын дурной, что ли? Гляди-ка, ведь он вон уже какой, с меня ростом скоро будет. Пусть спрячет пока. Хороший пистолет. Его Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодиться может.

Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув маузер, положил его в ящик.

Солдат пил у нас чай. Выпил стаканов семь и все рассказывал нам про отца и про войну. Я выпил всего полстакана, а мать и вовсе не дотронулась до чашки. Порывшись в своих склянках, она достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, долил спирт водой и, медленно выпив водку, вздохнул и покачал головой.

— Жисть никуда пошла,— сказал он, отодвигая стакан.— Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали месяцами. Такая тоска брала, что думаешь — хоть бы один конец. Заметались люди в доску! Бывало, иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Эх, думаешь, была бы сила, плюнул бы и повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет, а я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен! Мы с Алексеем много про это говорили. Ночи долгие... Спать блоха не дает. Только вся и утеха, что песни да разговоры. Иной раз плакать бы впору или удавить кого, а ты сядешь и запоешь. Плакать — слез нету. Злость сорвать на ком следует — руки коротки. Эх, говоришь, ребята, друзья хорошие, товарищи милые, давайте хоть песню споем!

Лицо солдата покраснело, покрылось влагой, и по комнате гуще и гуще расходился запах йодоформа. Я открыл окно. Сразу

пахнуло вечерней свежестью, прелью сложенного во дворах сена и переспелой вишней.

Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли, и эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо опьянев, продолжал:

— Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно. Это уж такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал, ты не выдумывал, он не выдумывал, а кто-то да выдумал. Так вот, кабы был господь бог всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того человека и сказал: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода? Выкладывай все начистоту, чтобы всем было ясно и понятно». Только...— Тут солдат покачнулся и чуть не уронил стакан.— Только... не любит что-то господь в земные дела вмешиваться. Ну что же, подождем, потерпим. Мы— народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей и ответчиков.

Солдат умолк, нахмурился, исподлобья посмотрел на мать, которая, опустив глаза на скатерть, за все время не проронила ни слова. Он встал и, протягивая руку к тарелке с селедкой, сказал примирительно и укоризненно:

— Ну, да что ты... Вот еще о чем заговорили! Пустое... Всему будет время, будет и конец. Нет ли у тебя, хозяйка, еще в бутылке?

И мать, не поднимая глаз, долила ему в стакан капли теплого пахучего спирта.

Всю эту ночь за стеною проплакала мама; шелестели перевертываемые листки отцовского письма. Потом через щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался, что мать молится. Отцовского письма она не показала. О чем он писал и отчего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда.

Солдат ушел от нас утром. Перед тем как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал, точно я его о чем спрашивал:

— Ничего, милый... Твое дело молодое. Эх! Поди-ка, ты почище нашего еще увидишь!

Он попрощался и ушел, притопывая деревяшкой, унося с собой костыль, запах йодоформа и гнетущее настроение, вызванное его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.

Глава шестая

Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке, Яшка Цуккерштейн заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве.

Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты.

Про конец войны ничего не было слышно. В город понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев, в большинстве бедных многосемейных евреев, и беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска, за городом.

К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужчины были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились. Работать в полях было некому, и в город потянулись нищие — старики, бабы и ребятишки.

Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам — и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал, а теперь попадались на каждом шагу незнакомые, чужие лица — евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного Креста.

Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не на съестные продукты. Говорили у нас, что один Бебешин за последний год нажил столько же, сколько за пять предыдущих. А Синюгин — тот и вовсе так разбогател, что пожертвовал шесть тысяч на храм; забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настоящего, живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн.

Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессии за крестный ход с Оранской иконой божьей матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено тринадцатидневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделал это нарочно, из озорства. Мало ему покаяния, и надо бы для примера засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять — это еще куда ни шло, но чтобы этакую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать — это уж смертный грех!

...Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город, на кладбище, к Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал:

— Растешь, хлопец? Батько-то придет и не узнает. Ростом-то ты в отца вышел, во какой здоровенный! А мой Тимка, пес его знает, в деда, что ли, по матери пошел — хлюпкий, как комар. И куда в его только жратва идет?! Отец-то здоров? Будете писать — от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним восемь лет в сельской школе проработали. Он — учителем, а я — сторожем... Только давно это... Ты вовсе сосуном был, не помнишь. Ну, ступай! Тимка тут где-нибудь щеглов ловит. Поищи в березах, там, в углу, за солдатскими могилами. Ближе он не ловит — староста, как увидит, ругается...

Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и замотал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился.

Большей дуры-птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилища ребята-птицеловы прикрепляют конский волос и делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щегла.

Тимка медленно подвел конец удилища к самой голове пичужки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. Высунув кончик языка, стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством посматривал на Тимкино занятие. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхая крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев.

— Видал?! — заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге.— Во, брат, как ловко... целых шесть штук. Только щеглы всё. Синицу этак не поймаешь... Ее западками надо или лучком... Хитрющая! А эти дураки сами башкой лезут...

Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом опять подпрыгнул и спросил:

— Что, слыхал?

— Ничего не слыхал, Тимка. Слыхал, что паровоз на вокзале загудел.

— Господи боже мой! Он не слыхал! — удивленно всплеснул

руками Тимка.— Малиновка!.. Слышал ты, пересвистнулась?.. Настоящая, краснозванка. Я уже по свисту слышу, я ее, голубушку, вторую неделю выслеживаю. Знаешь, где утопленника хоронили? Ну, так вот она там, в кленах, где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие... Пойдем посмотрим.

Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу прискакивая по-птичьи, он показывает мне:

— Здесь вот — пожарный лежит... в прошлом году сгорел, а здесь — Чурбакин слепой. Тут все этакие, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена... Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут,— Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок,— тут удавленник похоронен. Батька говорил, что сам он, нарочно удавился... слесарь деповский. Вот уж не знаю, как это можно самому, нарочно?

— От плохой жизни, должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же?

— Ну-у, что ты! — удивленно и протестующе протянул Тимка.— От какой же плохой? Разве же она плохая?

— Кто — она?

— Да жизнь-то! Беда, какая хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то — лежи!

Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер, точно его оглушили, и, постояв с минутку, сказал шепотом:

— Тише теперь... Она тут где-то, недалеко, хоронится... Только хитрая! Ну, да все равно я ее поймаю.

Только к вечеру я вернулся от Тимки. Странный мальчуган, он всего на полтора года моложе меня, а такой маленький, что ему не только двенадцать, а и десять лет нельзя было дать. Всегда он суетился, товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты; потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь. На перемене мы

узнали, что вызвали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики.

Через два дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею.

Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ — на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаньях и лошадях.

Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи.

Мать сшила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась «чертовой кожей».

Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здоровенного инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались, и я повис на заборе, благодаря чему инок успел влепить мне пару здоровых оплеух.

Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю.

После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного.

Каждый раз, когда Федькин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом:

— Дядя Сергей! Нам нету от папы?

И тот отвечал неизменно:

— Нету, дочка, нету сегодня! Завтра, должно быть, будет.

Но и завтра тоже ничего не было.

Глава седьмая

Однажды, уже в сентябре, Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки.

Едва мы кончили и он сложил книги и тетрадки, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь. Я побежал закрывать окно, выходившее в сад.

Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с земли целые груды засохших листьев; несколько крупных капель брызнуло мне в лицо.

Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй, как внезапно порядочной величины кусок глины упал на подоконник.

«Ну и ветер! — подумал я.— Этак и все деревья переломать можно».

Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федьке:

— Буря настоящая. Куда ты, дурак, собрался? Такой дождь хлещет! Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло.

Федька посмотрел недоверчиво:

— Что ты врешь-то? Разве этакий ком зашвырнет?

— Ну вот еще! — обиделся я.— Я же тебе говорю: только я стал закрывать, как плюхнулось на подоконник.

Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто, на самом деле, нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал:

— Глупости какие! Некому бросать. Кого в этакую погоду в сад занесет? Конечно, ветер.

Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробыл у меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна; ветер начал стихать.

— Ну, я побегу,— сказал Федька.

— Ступай. Я не пойду за тобой дверь запирать. Ты захлопни ее покрепче, замок сам защелкнется.

Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь.

Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброненную и позабытую Федькой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи.

«Вот дурной-то! — подумал я.— Завтра у нас алгебра — первый урок... То-то хватится. Надо будет взять ее с собой».

Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок.

— Кого еще это несет? — спросила удивленная мать.— Уж не телеграмма ли от отца?.. Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, пойди отопри.

— Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по дороге спохватился.

— Вот еще идол! — рассердилась мать.— Что он, не мог утром забежать? Где тетрадь-то?

Она взяла тетрадь, надела на босу ногу туфли и ушла.

Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок. И тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся наверх.

Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати, раздетый и с подсвечником в руке.

В дверях, с полными слез глазами, стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею — заросший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки самый дорогой для меня солдат — мой отец.

Один прыжок — и я уже был стиснут его крепкими, загрубелыми лапами.

За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса:

— Не надо, Борис... не буди ее... и не шумите очень.

При этом он обернулся к матери:

— Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти три дня отправить?

Мать ответила:

— Мы отправим ее рано утром в Ивановское. Она давно просилась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шепотом, она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходят из больницы, так что она привыкла.

Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному.

«Как?.. Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое?.. Для чего же?»

— Боря! — сказала мне мать.— Ты ляжешь в моей комнате, а утречком, часов в шесть, соберешь Танюшку и отведешь к бабушке... Да не говори там никому, что папа приехал.

Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал.

Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, пробовал считать до пятидесяти, до ста — сон не приходил.

В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противо-

речивые мысли сталкивались и несуразные предположения, одно другого нелепей, лезли в голову. Начинало слегка давить виски, так же как давит голову, когда долго кружишься на карусели. Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец.

Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, в носках, он подошел к Танюшкиной кроватке и опустил свечу.

Так простоял он минуты три, рассматривая белокурые локоны и розовое лицо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись два чувства: желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержало верх. Быстро выпрямился, повернулся и вышел.

Дверь еще раз скрипнула — свет в комнате погас.

...Часы пробили семь. Я открыл глаза. Сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и заглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку.

— А где мама? — спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать.

— Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке.

Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем.

— Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе, мама не пускала.

— Вчера не пускала, а сегодня передумала. Одевайся скорей... Смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать.

Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила и, пока я помогал ей одеваться, защебетала:

— Так, значит, мама передумала? Ой, как я люблю, когда мама передумывает! Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лизку... Ну, не хочешь кошку, тогда Жучка возьмем. Он веселей... Он меня как вчера лизнул в лицо! Только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала, а она его хворостиной.

Сестренка соскочила с кровати и побежала к двери:

— Борька, открой мне дверь. У меня там платок в углу лежит и еще коляска.

Я оттащил ее и посадил на кровать:

— Туда нельзя, Танюшка, там чужой дядя спит. Вечером приехал. Я сам тебе принесу платок.

— Какой дядя? — спросила она.— Как в прошлый раз?

— Да, как в прошлый.

— И с деревянной ногой?

— Нет, с железной.

— Ой, Борька! Я еще никогда не видела с железной. Дай я в щелочку посмотрю тихо-онечко... Я на цыпочках.

— Я вот тебе посмотрю! Сиди смирно.

Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно.

— А коляску?

— Ну и выдумала еще! Зачем с коляской тащиться? Там тебя дядя Егор на настоящей телеге покатает.

Тропка в Ивановское проходила по берегу Теши. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь то затем, чтобы поднять хворостинку, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще зачем-нибудь. Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков пасущегося стада — все это успокаивающе действовало на меня.

И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился отделаться от нее.

Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде... Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого...

Сомнений больше не было: мой отец дезертир.

На обратном пути я неожиданно в упор столкнулся с училищным инспектором.

— Гориков,— сказал он строго,— это еще что такое?.. Почему вы во время уроков не в школе?

— Я болен,— ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа.

— Болен? — переспросил инспектор.— Что вы городите чушь? Больные лежат дома, а не шатаются по улицам.

— Я болен,— упрямо повторил я,— и у меня температура...

— У каждого человека температура,— ответил он сердито.— Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу...

«Вот тебе и на! — подумал я, шагая вслед за ним.— Зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придумать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?»

Старичок, училищный доктор, приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз:

— Болен острым приступом лени. Вместо лекарства сове-

тую четверку за поведение и после уроков на два часа без обеда.

Инспектор с видом ученого аптекаря одобрил этот рецепт. Он позвал сторожа Семена и приказал ему отвести меня в класс.

Несчастье одно за другим приходило ко мне в этот день. Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна кончила спрашивать Торопыгина и, недовольная моим появлением среди урока, сказала:

— Гориков, коммен зи хер! Спрягайте мне глагол «иметь». Их хабе,— начала она.

— Ду хаст,— подсказал мне Чижиков.

— Эр хат,— вспомнил я сам.— Вир...— Тут я опять запнулся.

Ну положительно мне сегодня было не до немецких глаголов.

— Хастус,— нарочно подсказал мне кто-то с задней парты.

— Хастус,— машинально повторил я.

— Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слушать, что глупый мальчишка подсказывает. Дайте вашу тетрадь.

— Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна, приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене.

— Как можно забывать все книги и тетради? — возмутилась немка.— Вы не забыли, а вы обманываете. Останьтесь за это на час после уроков.

— Эльза Францисковна,— сказал я возмущенно,— меня и так уже сегодня инспектор на два часа оставил. Куда же еще на час? Что мне, до ночи сидеть, что ли?

В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что леность и ложь должны быть наказуемы, и хорошо понял, что третьего часа отсидки мне не избежать.

На перемене ко мне подошел Федька.

— Ты что же это без книг и почему тебя Семен в класс привел?

Я соврал ему что-то.

Следующий, последний урок — географии — я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали — все это прошло мимо моего сознания, и я очнулся, только когда задребезжал звонок.

Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один за другим вылетели за двери. Класс опустел.

Я остался один.

«Боже мой,— подумал я с тоской,— еще три часа... целых три часа, когда дома отец, когда все так странно...»

Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уже сидели трое. Один первоклассник, оставленный на час за то, что запустил в товарища катышком из жеваной бумаги, другой — за драку, третий — за то, что с лестницы третьего этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика.

Я сел на лавку и задумался. Мимо, громыхая ключами, прошел сторож Семен.

Вышел дежурный надзиратель, время от времени присматривавший за наказанными, и, лениво зевнув, скрылся.

Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. Что такое? Прошло всего-навсего только полчаса, а я-то был уверен, что сижу уже не меньше часа.

Внезапно преступная мысль пришла мне в голову:

«Что же это, на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел два года и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке, а я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке?»

Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным,— это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений.

«Нет, подожду уж»,— решил я и направился к скамье.

Но тут приступ непонятной злобы овладел мною. «Все равно,— подумал я,— вон отец с фронта убежал...— тут я криво усмехнулся,— а я отсюда боюсь».

Я побежал к вешалке, кое-как накинул шинель и, тяжело хлопнув дверью, выскочил на улицу.

На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец.

— Папа,— спросил я,— а ведь, прежде чем бежать с фронта, ты был смелым, ты ведь не из страха убежал?

— Я и сейчас не трус.

Он сказал это спокойно, но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул.

С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно, вперевалку. Дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади, вдоль мостовой.

— Он... не... к нам,— сказал я отрывисто, чуть не по слогам, и учащенно задышал.

На другой день вечером отец говорил мне:

— Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче! Ты у меня вон уже какой взрослый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ни-

чего, следи внимательней за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил.

— Мы увидимся еще, папа?

— Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас.

— А где же?

— Узнаешь. Когда надо будет, вам передадут.

Было уже совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармоникой, а возле него гомонила целая куча девок и ребят.

— Мне бы пора уже,— сказал отец, заметно волнуясь,— как бы не опоздать.

— Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота.

Отец нахмурился.

— Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка, подумай... Ты ведь должен все дыры знать.

— Нет,— ответил я,— через чужой сад нельзя. Слева, у Аглаковых, забор высоченный и с гвоздями, а справа можно бы, но там собака, как волк, злющая... Вот что. Если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду, там у меня плот есть, я тебя перевезу задами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое.

Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шест то и дело застревал в вязком, илистом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды.

Два раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно — дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду.

Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны. Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться в овраг. Здесь мы распрощались. Я постоял еще несколько минут. Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише...

Глава восьмая

Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку в том, что сведений «о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям».

Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец — дезертир.

На уроке закона божьего отец Геннадий произнес небольшую поучительную проповедь о верности царю и отечеству и нерушимости присяги. Кстати же он рассказал исторический случай, как во время японской войны один солдат, решившись спасти свою жизнь, убежал с поля битвы, однако вместо спасения обрел смерть от зубов хищного тигра.

Случай этот, по мнению отца Геннадия, несомненно доказывал вмешательство провидения, которое достойно покарало беглеца, ибо тигр тот, вопреки обыкновению, не сожрал ни одного куска, а только разодрал солдата и удалился прочь.

На некоторых ребят проповедь эта произвела сильное впечатление. Во время перемены Хрестька Торопыгин высказал робкое предположение, что тигр тот, должно быть, вовсе был не тигр, а архангел Михаил, принявший образ тигра.

Однако Симка Горбушкин усомнился в том, чтобы это был Михаил, потому что у Михаила ухватки вовсе другие: он не зубами, а рубит мечом или колет копьем.

Большинство согласилось с этим, потому что на одной из священных картин, развешанных по стенам класса, была изображена битва ангелов с силами ада. На картине архангел Михаил был с копьем, на котором корчились уже четыре черта, а три других, задрав хвосты, во весь дух неслись к своим подземным убежищам.

Через два дня мне сообщили, что за самовольный побег из школы учительский совет решил поставить мне тройку за поведение.

Тройка обычно означала, что при первом же замечании ученик исключается из училища.

Через три дня мне вручили повестку, в которой говорилось о том, что моя мать должна немедленно полностью внести за меня плату за первое полугодие, от которой я был раньше освобожден наполовину как сын солдата.

Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «дезертиров сын» крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мной дружить. Другие хотя и разговаривали и не чуждались, но как-то странно обращались со мной, как будто мне отрезало ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в игры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у товарищей.

Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина среди его птиц.

Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда

начнет сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова.

Наступило странное и оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди у лавок растянулись на кварталы. Повсюду, на каждом углу, собирались кучки. Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникали всевозможные нелепые слухи. То будто бы на озерах вверх по реке Сереже староверы уходят в лес. То будто бы внизу, у бугров, цыгане сбывают фальшивые деньги, и оттого все так дорого, что расплодилась уйма фальшивых денег. А один раз пронеслось тревожное известие, что в ночь с пятницы на субботу будут «бить жидов», потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен.

Невесть откуда появилось в городе много бродяг. Только и слышно стало, что там замок сбили, там квартиру очистили. Приехало на постой полсотни казаков. Когда казаки, хмурые, чубастые, с дикой, взвизгивающей и гикающей песней, плотными рядами ехали по улице, мать отшатнулась от окна и сказала:

— Давненько я их... с пятого года уже не видала. Опять орлами сидят, как в те времена.

От отца мы не имели никаких известий. Догадывался я, что он, должно быть, в Сормове, под Нижним Новгородом, но эта догадка была основана у меня только на том, что перед уходом отец долго и подробно расспрашивал у матери о ее брате Николае, работавшем на вагоностроительном заводе.

Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка Штукин и тихонько поманил меня пальцем. Меня скорее удивила, чем заинтересовала его таинственность, и я равнодушно пошел за ним в угол.

Оглянувшись, Тимка сказал мне шепотом:

— Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно велел прийти.

— Зачем я ему нужен? Что ты еще выдумал?

— А вот и не выдумал. Приходи обязательно, тогда узнаешь.

Лицо у Тимки при этом было серьезное, казалось даже немного испуганным, и я поверил, что Тимка не шутит.

Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель; тусклые фонари, залепленные снегом, почти вовсе не освещали улицы. Для того чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти небольшое поле. Острые снежинки покалывали лицо. Я глубже засунул голову в воротник и зашагал по заметенной тропке к зеленому огоньку лампадки, зажженной у ворот

кладбища. Зацепившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалялся в снегу. Дверь сторожки была заперта. Я постучал— открыли не сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверями послышались шаги.

— Кто там? — спросил меня строгий знакомый бас сторожа.

— Откройте, дядя Федор, это я.

— Ты, что ли, Борька?

— Да я же... Открывайте скорей.

Я вошел в тепло натопленную сторожку.

На столе стоял самовар, блюдце с медом и лежала коврига хлеба. Тимка как ни в чем не бывало чинил клетку.

— Вьюга? — спросил он, увидев мое красное, мокрое лицо.

— Да еще какая! — ответил я.— Ногу я себе расшиб. Ничего не видно.

Тимка рассмеялся. Мне было непонятно, чему он смеется, и я удивленно посмотрел на него. Тимка рассмеялся еще звонче, и по его взгляду я понял, что он смеется не надо мною, а над чем-то, что находится позади меня.

Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора, и своего отца.

— Он уже у нас два дня,— сказал Тимка, когда мы сели за чай.

— Два дня... И ты ничего не сказал мне раньше! Какой же ты после этого товарищ, Тимка?

Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего отца, как бы ища у них поддержки.

— Камень,— сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по плечу.— Ты не смотри, что он такой невидный, на него положиться можно.

Отец был в штатском. Он был весел, оживлен. Расспрашивал меня о моих училищных делах, поминутно смеялся и говорил мне:

— Ничего... ничего... плюнь на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь?

Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании меня вышибут из школы.

— Ну и вышибут,— хладнокровно заявил он,— велика важность! Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком не останешься.

— Папа,— спросил я его,— отчего ты такой веселый и гогочешь? Тут про тебя и батюшка проповедь читал, и все-то тебя как за покойника считают, а ты вон какой!

С тех пор как я стал невольным сообщником отца, я и разговаривал с ним по-другому: как со старшим, но равным.

Я видел, что отцу это нравится.

— Оттого веселый, что времена такие веселые подходят.

Хватит, поплакали!.. Ну ладно. Кати теперь домой! Скоро опять увидимся.

Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной засов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях раздался топот, свистки, крики.

Я вскочил и увидел перед собой городового Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился со мной еще в приходском.

— Постой,— сказал он, узнав меня и удерживая за руку.— Куда ты? Там и без тебя обойдутся. Возьми-ка у меня конец башлыка да оботри лицо. Ты уж, упаси бог, не ушибся ли головой?

— Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся,— прошептал я.— А как же папа?

— Что же папа? Против закона никто не велел ему идти. Разве же против закона можно?

Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них с шинелью, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал.

— Тимка,— строго сказал сторож,— переночуешь у крестного, да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска чего не пропало.

Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были связаны за спиной. Заметив меня, он выпрямился и крикнул мне подбадривающе:

— Ничего, сынка! Прощай пока! Мать поцелуй и Танюшку. Да не горюй очень: время, брат, идет... веселое!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

Глава первая

Двадцать второго февраля 1917 года военный суд шестого армейского корпуса приговорил рядового 12-го Сибирского стрелкового полка Алексея Горикова за побег с театра военных действий и за вредную, антиправительственную пропаганду к расстрелу.

Двадцать пятого февраля приговор был приведен в исполне-

ние. А второго марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшим народом самодержавие свергнуто.

Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции было для меня зарево от пожара барской усадьбы Полутиных. С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки, дразнившие свежий весенний ветер. Тихонько поглаживая нагревшуюся в кармане рукоятку маузера, самую дорогую память от отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяжелой утраты, радуясь, что «веселое время» подходит.

В первые дни Февральской революции школа была похожа на муравьиную кучу, в которую бросили горящую головешку. После молитвы о даровании победы часть ученического хора начала было, как и всегда, гимн «Боже, царя храни», однако другая половина заорала «долой», засвистела, загикала. Поднялся шум, ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безнаказанно пошуметь, дико завыли котами и заблеяли козами.

Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу. Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен не снял царские портреты. С визгом и топотом разбегались взволнованные ребята по классам. Откуда-то появились красные банты. Старшеклассники демонстративно заправили брюки в сапоги (что раньше не разрешалось) и, собравшись возле уборной, нарочно, на глазах у классных наставников, закуривали. К ним подошел преподаватель гимнастики офицер Балагушин. Его тоже угостили папиросой. Он не отказался. При виде такого, доселе небывалого, объединения начальства с учащимися окружающие закричали «ура».

Однако из всего происходившего поняли сначала только одно: царя свергли и начинается революция. Но почему надо было радоваться революции, что хорошего в том, что свергли царя, перед портретом которого еще только несколько дней тому назад хор с воодушевлением распевал гимны,— этого большинство ребят, а особенно из младших классов, не понимало.

В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники записывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки, и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком. Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола тридцати церквей гудели пасхальными перезвонами. Священники в блестящих ризах принимали присягу Временному правительству.

Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семинарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами. Появились люди и в черных рубахах, в большинстве воспитанники старших классов учительской и духовной семинарии, называвшие себя анархистами.

Большинство в городе сразу примкнуло к эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди после многолетия Временному правительству соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом и революционером. А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сразу же прониклись сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет религии не особенно распространялись, а говорили больше про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну. Анархисты хотя насчет войны говорили то же самое, но о боге отзывались плохо. Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что бога нет, а если есть бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзлись, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту. Услышав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один толчок от богомолки Маремьяны Сергеевны, ехидной старушонки, продававшей целебное масло из лампад иконы Саровской божьей матери и сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков.

В общем, меня поразило, как удивительно много революционеров оказалось в Арзамасе. Ну положительно все были революционерами. Даже бывший земский начальник Захаров нацепил огромный красный бант, сшитый из шелка. В Петрограде и в Москве хоть бои были, полицейские с крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам.

Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимофеевичем, тем самым городовым, который участвовал в аресте моего отца.

В руках у него была корзина, из которой выглядывала бутылка постного масла и кочан капусты. Он стоял и слушал, о чем говорят социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо поклонился.

— Как живы-здоровы? — спросил он.— Что... тоже послушать пришли? Послушайте, послушайте... Ваше дело еще молодое! Нам, старикам, и то интересно... Вишь ты, как дело обернулось!

Я сказал ему:

— Помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арестовывать? Вы тогда говорили, что закон, что против закона нельзя идти. А теперь где же ваш закон? Нету вашего закона, и всем вам, полицейским, тоже суд будет.

Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки заколыхалось.

— И раньше был закон, и теперь тоже будет. А без закона, молодой человек, нельзя. А что судить нас будут, так это — пускай судят. Повесить — не повесят. Начальников наших и то не вешают... Сам государь император и то только под домашним арестом, а уж чего же с нас спрашивать!.. Вон, слышите? Оратор говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть братьями и теперь, в свободной России, не должно быть ни тюрем, ни казней. Значит, и нам не будет ни тюрем, ни казней.

И ушел вперевалку.

Я посмотрел ему вслед и подумал: «Как же так не нужно?.. Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы, он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не тронул бы его только потому, что все люди должны быть братьями?»

Я спросил об этом Федьку.

— При чем тут твой отец? — сказал он.— Твой отец был дезертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не хочет защищать родину.

— Мой отец не был трусом,— ответил я бледнея.— Ты врешь, Федька! Моего отца расстреляли и за побег и за пропаганду. У нас дома есть приговор.

Федька смутился и ответил примирительно:

— Так что же, это я сам выдумал? Об этом во всех газетах пишут. Прочитай в «Русском слове» речь Керенского. Хорошая речь... Еще когда на общем собрании в женской гимназии читали, так ползáла плакало. Там про войну говорится, что надо напрягать все силы, что дезертиры — позор армии и что «над могилами павших в борьбе с немцами свободная Россия воздвигнет памятник неугасаемой славы». Так прямо сказано — «неугасаемой»! А ты еще споришь!

На трибуну один за другим выходили ораторы. Охрипшими голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали желающих в партию и добровольцев на фронт.

Были такие ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор, пока их не стаскивали. На их место выталкивали новых ораторов.

Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышанного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Пере-

путывались речи отдельных ораторов. И никак я не мог понять, чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только одно слово:

— Свобода... свобода... свобода...

— Гориков,— услышал я позади себя и почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо.

Около меня стоял неизвестно откуда появившийся ремесленный учитель Галка.

— Откуда вы? — спросил я, искренне обрадовавшись.

— Из Нижнего, из тюрьмы. Идем, милый, ко мне. Я здесь неподалеку комнату снял. Будем чай пить, у меня есть булка и мед. Я так рад, что тебя увидел! Я только вчера приехал и сегодня хотел нарочно к вам зайти.

Он взял меня за руку, и мы стали проталкиваться через гомонливую толпу.

На соседней площади мы наткнулись на новую толчею. Здесь горели костры, и вокруг них толпились любопытные.

— Что это такое?

— А, пустое,— ответил, улыбнувшись, Галка.— Анархисты царские флаги жгут. Лучше бы разодрали ситец да роздали, а то мужики ругаются. Сам знаешь, каждая тряпка теперь дорога.

Руки у Галки были худые и длинные. Заваривая чай, он говорил быстро, то и дело улыбаясь:

— Отец твой погиб рано. Мы с ним вместе сидели, пока его не отправили в корпусной суд.

— Семен Иванович,— спросил я за чаем,— вот вы говорите, что с отцом товарищами по партии были. Разве же он был в партии? Он мне про это никогда не говорил.

— Нельзя было говорить, вот и не говорил.

— И вы тоже не говорили. Когда вас арестовали, то про вас Петька Золотухин рассказывал, что вы шпион.

Галка засмеялся:

— Шпион! Ха-ха-ха! Петька Золотухин? Ха-ха! Золотухину простительно, он глупый мальчишка, а вот когда теперь про нас большие дураки распускают слухи, что мы шпионы, это, брат, еще смешнее.

— Про кого это про вас, Семен Иванович?

— А про нас, про большевиков.

Я покосился на него:

— Так вы разве большевики, то есть, я хочу сказать, значит, и отец тоже был большевиком?

— Тоже.

— И что это с отцом все не по-людски выходит? — огорченно спросил я, немного подумав.

— Как не по-людски?

— А так. Другие солдаты как солдаты, революционеры так уж революционеры, никто про них ничего плохого не говорит, все их уважают. А отец — то дезертиром был, то вдруг оказывается большевиком. Почему большевиком, а не настоящим революционером, ну, хотя бы эсером или анархистом? А вот, как назло, большевиком. То хоть бы я мог сказать в ответ всем, что моего отца расстреляли за то, что он был революционером, и все бы заткнули рты и никто бы не тыкал в меня пальцем, а то, если я скажу, что расстреляли отца как большевика, так каждый скажет — туда ему и дорога, потому что во всех газетах напечатано, что большевики — немецкие наемники и ихний Ленин у Вильгельма на службе.

— Да кто «каждый»-то скажет? — спросил Галка, во время моей горячей речи смотревший на меня смеющимися глазами.

— Да каждый. Кто ни попадется. Все соседи и батюшка на проповеди, вот и ораторы...

— Соседи!.. Ораторы!..— перебил меня Галка.— Глупый! Да отец твой был в десять раз более настоящим революционером, чем все эти ораторы и соседи. Какие у тебя соседи? Монахи, выездновские лабазники, купцы, божьи странники, базарные мясники да мелкие обыватели. Ведь в том-то и беда, что среди соседей твоих редко-редко стóящего человека найдешь. Мы всю эту ораву и не агитируем даже. Пусть перед ними эти краснорубахие пустозвоны рассыпаются. Нам здесь времени тратить нечего, потому что монахи да лабазники все равно нашими помощниками не будут! Ты погоди, вот я тебя сведу, куда мы на митинги ходим. В бараки к раненым, в казармы к солдатам, на вокзал, в деревни. Ты вот там послушай! А тут — нашел судей... Соседи!

Галка рассмеялся.

...Отца Тимки Штукина освободили еще в начале революции, но прежнего места ему не возвратили, и церковный староста Синюгин приказал ему немедленно освободить сторожку для вновь нанятого человека.

Никто из купцов не хотел принимать сторожа на работу. Ткнулся он к одному, к другому — нет ли места истопника или дворника,— ничего не вышло.

Синюгин так вот прямо заявил:

— Я русской армии помогаю. Тысячу рублей на Красный Крест пожертвовал да одних подарков, флажков и портретов Александра Федоровича Керенского больше чем на две сотни

в лазареты роздал, а ты дезертиров разводишь. Нет у меня для тебя места.

Не стерпел сторож и ответил:

— Покорно вас благодарю за такие слова. А только дозвольте вам заметить, что ни флажками, ни портретами вы не откупитесь, придет и на вас управа. И ты на меня не гикай! — рассердился внезапно дядя Федор.— Ты думаешь, пузо нарастил, телескоп завел, крокодила говядиной кормишь — так царь и бог? Погоди, послушай-ка лучше, что на твоих фабриках народ поговаривает. Ударили, мол, да мало, не дать ли подбавки?

— Я тебя... я тебя упеку! — забормотал ошеломленный Синюгин.— Вон оно что!.. Я на тебя жалобу... У меня завод на армию работает. Меня и теперешнее начальство ценит, а ты... Пошел вон отсюда!

Сторож надел шапку и вышел.

— Революцию устроили... Вся сволочь на прежнем месте. И упечет еще, когда он и с воинским начальником и в городской думе. На них с гвоздями надо, чтобы продрало. Патриот...— бурчал он, шагая по улицам.— На гнилых сапогах тысячи нажил. Сына-то своего откупил от службы. Воинскому триста сунул да госпитальному доктору пятьсот — сам, пьяный, хвастался. Все вы хороши чужими руками воевать. Портреты Александра Федоровича купил. Взять бы вас с вашим Александром Федоровичем — на одну осину! Дождались свободы... С праздничком вас Христовым!

Все точно перебесились. Только и было слышно: «Керенский, Керенский...»

В каждом номере газеты помещались его портреты: «Керенский говорит речь», «Население устилает путь Керенского цветами», «Восторженная толпа женщин несет Керенского на руках». Член арзамасской городской думы Феофанов ездил по делам в Москву и за руку поздоровался с Керенским. За Феофановым табунами бегали.

— Да неужели так и поздоровался?

— Так и поздоровался,— гордо отвечал Феофанов.

— Прямо за руку?

— Прямо за правую руку, да потряс еще.

— Вот! — раздался кругом взволнованный шепот.— Царь бы ни за что не поздоровался, а Керенский поздоровался. К нему тысячи людей за день приходят, и со всеми он за руку, а раньше бы...

— Раньше был царизм.

— Ясно... А теперь свобода.

— Ура! Ура! Да здравствует свобода!.. Да здравствует Керенский!.. Послать ему приветственную телеграмму!

Надо сказать, что к этому времени каждая десятая телеграмма, проходившая через почтовую контору, была приветственной и адресованной Керенскому. Посылали с митингов, с училищных собраний, с заседаний церковного совета, от думы, от общества хоругвеносцев — ну, положительно отовсюду, где собиралось несколько человек, посылалась приветственная телеграмма.

Однажды пошли слухи о том, что от арзамасского общества любителей куроводства «дорогому вождю» не было послано ни одной телеграммы. В местной еженедельной газетке появилось негодующее опровержение председателя общества Офендулина. Офендулин прямо утверждал, что слухи эти — злостная клевета. Было послано целых две телеграммы, причем в особой сноске редакция удостоверяла, что в подтверждение своего опровержения уважаемый М. Я. Офендулин представил «оказавшиеся в надлежащем порядке квитанции почтово-телеграфной конторы».

Глава вторая

Прошло несколько месяцев с тех пор, как я встретился с Галкой.

На Сальниковой улице, рядом с огромным зданием духовного училища, стоял маленький, окруженный садиком домик. Обыватели, проходя мимо его распахнутых окон, через которые виднелись окутанные махорочным дымом лица, прибавляли шагу и, удалившись на квартал, злобно сплевывали:

— Здесь заседают провокаторы!

Здесь находился клуб большевиков. Большевиков в городе было всего человек двадцать, но домик всегда был набит до отказа. Вход в него был открыт для всех, но главными завсегдатаями здесь были солдаты из госпиталя, пленные австрийцы и рабочие кожевенной и кошмовальной фабрик.

Почти все свободное время проводил там и я. Сначала я ходил туда с Галкой из любопытства, потом по привычке, потом втянуло, завертело и ошарашило. Точно очистки картофеля под острым ножом, вылетала вся шелуха, которой до сих пор была забита моя голова.

Наши большевики не выступали на церковных диспутах и на митингах среди краснорядцев — они собирали толпы у бараков, за городом и в измученных войной деревнях.

Помню, однажды в Каменке был митинг.

— Пойдем обязательно! Схватка будет. От эсеров сам Кругликов выступает. А знаешь, как он поет,— заслушаешься! —

сказал мне Галка.— В Ивановском после его речи нам, не разобравшись, сначала чуть было по шее мужики не наклали.

— Пойдемте,— обрадовался я.— Вы чего, Семен Иванович, никогда с собой свой револьвер не берете? Всегда он у вас где попало: то в табак засунете, а вчера я его у вас в хлебнице видел. У меня мой так всегда со мной. Я даже, когда спать ложусь, под подушку его кладу.

Галка засмеялся, и борода его, засыпанная махоркой, заколыхалась.

— Мальчуган! — сказал он.— Ежели теперь в случае неудачи мне просто шею набьют, то попробуй вынуть револьвер, тогда, пожалуй, и костей не соберешь. Придет время, и мы возьмемся за револьверы, а пока наше лучшее оружие — слово. Баскаков сегодня от наших выступать будет.

— Что вы! — удивился я.— Баскаков вовсе плохо говорит. Он и фразы-то с трудом подбирает. У него от слова до слова пообедать можно.

— Это он здесь, а ты послушай, как он на митингах разговаривает.

Дорога в Каменку пролегала через старый, подгнивший мост, мимо покрытых еще не скошенной травой заливных лугов и мимо мелких протоков, заросших высоким густым камышом. Тянулись из города крестьянские подводы. Шли с базара босоногие бабы с пустыми кринками из-под молока. Мы не торопились, но, когда нас обогнала пролетка, до отказа набитая эсерами, мы прибавили шагу.

По широким улицам со всех концов двигались к площади кучки мужиков из соседних селений. Митинг еще не начинался, но гомон и шум слышны были издалека.

В толпе я увидел Федьку. Он шнырял взад-вперед и совал проходившим какие-то листовки. Заметив меня, он подбежал:

— Эгей! И ты пришел... Ух, сегодня и весело будет! На вот, возьми пачку и помогай раздавать.

Он сунул мне десяток листовок. Я развернул одну — листовки были эсеровские, за войну до победы и против дезертирства. Я протянул пачку обратно:

— Нет, Федька, я не буду раздавать такие листовки. Раздавай сам, когда хочешь.

Федька плюнул:

— Дурак ты... Ты что, тоже с ними? — И он мотнул головой в сторону проходивших Галки и Баскакова.— Тоже хорош... Нечего сказать! А я-то еще на тебя надеялся!

И, презрительно пожав плечами, Федька исчез в толпе.

«Он на меня надеялся,— усмехнулся я.— Что, у меня своей головы, что ли, нет?»

— До победы...— услышал я рядом с собой негромкий голос.

Обернувшись, я увидел рябого мужика без шапки. Он был босиком, в одной руке держал листовку, в другой — разорванную уздечку. Должно быть, он был занят починкой и вышел из избы послушать, о чем будет говорить народ.

— До победы... ишь ты! — как бы с удивлением повторил он и обвел толпу недоумевающим взглядом. Покачал головой, сел на завалинку и, тыкая пальцем в листовку, прокричал на ухо сидевшему рядом глухому старику: — Опять до победы... С четырнадцатого года — и всё до победы. Как это выходит, дедушка Прохор?

Выкатили на середину площади телегу. Влез неизвестно кем выбранный председатель — маленький вертлявый человечек — и прокричал:

— Граждане! Объявляю митинг открытым. Слово для доклада о Временном правительстве, о войне и текущем моменте предоставляется социалисту-революционеру товарищу Кругликову...

Председатель соскочил с телеги. С минуту на «трибуне» никого не было. Вдруг разом вскочил, стал во весь рост и поднял руку Кругликов. Гул умолк.

— Граждане великой свободной России! От имени партии социалистов-революционеров передаю вам пламенный привет.

Кругликов заговорил. Я слушал его, стараясь не проронить ни слова. Он говорил о тех тяжелых условиях, в которых приходится работать Временному правительству. Германцы напирают, фронт, темные силы — немецкие шпионы и большевики — ведут агитацию в пользу Вильгельма.

— Был царь Николай, будет Вильгельм. Хотите ли вы опять царя? — спрашивал он.

— Нет, хватит! — сотнями голосов откликнулась толпа.

— Мы устали от войны,— продолжал Кругликов.— Разве нам не надоела война? Разве же не пора ее окончить?

— Пора! — еще единодушней отозвалась толпа.

— Что он говорит по чужой программе? — возмущенно зашептал я Галке.— Разве они тоже за конец войны?

Галка ткнул меня легонько в бок: «Помалкивай и слушай».

— Пора! Ну, так вот видите,— продолжал эсер,— вы все, как один, говорите это. А большевики не позволяют измученной стране скорее, с победой, окончить войну. Они разлагают армию, и армия становится небоеспособной. Если бы у нас была боеспособная армия, мы бы одним решительным ударом победили врага и заключили мир. А теперь мы не можем заключить мир. Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что ваши сыновья, братья, мужья и отцы гниют в окопах, вместо того чтобы вер-

нуться к мирному труду? Кто отдаляет победу и удлиняет войну? Мы, социалисты-революционеры, во всеуслышание заявляем: да здравствует последний, решительный удар по врагу, да здравствует победа революционной армии над полчищами немца, и после этого — долой войну и да здравствует мир!

Толпа тяжело дышала клубами махорки; слышались отдельные одобрительные возгласы.

Кругликов заговорил об Учредительном собрании, которое должно быть хозяином земли, о вреде самочинных захватов помещичьих земель, о необходимости соблюдать порядок и исполнять приказы Временного правительства. Тонкой, искусной паутиной он оплетал головы слушателей. Сначала он брал сторону крестьянства, напоминал ему о его нуждах. Когда толпа начинала сочувственно выкрикивать: «Правильно!», «Верно говоришь!», «Хуже уж некуда!» — Кругликов начинал незаметно поворачивать. Внезапно оказывалось, что толпа, которая только что соглашалась с ним в том, что без земли крестьянину нет никакой свободы, приходила к выводу, что в свободной стране нельзя захватом отбирать у помещиков землю.

Свою полуторачасовую речь он кончил под громкий гул аплодисментов и ругательств по адресу шпионов и большевиков.

«Ну,— подумал я,— куда Баскакову с Кругликовым тягаться! Вон как все расходились».

К моему удивлению, Баскаков стоял рядом, пыхтел трубкой и не обнаруживал ни малейшего намерения влезать на трибуну.

Столпившиеся возле телеги эсеры тоже были несколько озадачены поведением большевиков. Посовещавшись, они решили, что большевики поджидают еще кого-то, и потому выпустили нового оратора. Оратор этот был намного слабее Кругликова. Говорил он запинаясь, тихо и, главное, повторял уже сказанное. Когда он слез, хлопков ему было меньше.

Баскаков все стоял и продолжал курить. Его узкие, продолговатые глаза были прищурены, а лицо имело добродушно-простоватый вид и как бы говорило: «Пусть их там болтают. Мне-то какое до этого дело! Я себе покуриваю и никому не мешаю».

Третий оратор был не сильнее второго, и, когда он сходил, большинство слушателей засвистело, загикало и заорало:

— Эй, там... председатель!

— Ты, чертова башка! Давай других ораторов!

— Подавай сюда этих, большевиков! Что ты им слова не даешь?

В ответ на такое обвинение председатель возмущенно заявил, что слово он дает всем желающим, а большевики сами не просят слова, потому что боятся, должно быть, и он не может их заставить силой говорить.

— Ты не можешь, так мы сможем!

— Наблудили — и хоронятся!

— Тащи их за ворот на телегу! Пусть при народе выкладывают всё начистоту...

Рев толпы испугал меня.

Я взглянул на Галку. Он улыбался, но был бледен.

— Баскаков,— проговорил он,— хватит. А то плохо кончиться может.

Баскаков кашлянул, как будто у него в горле разорвалось что-то, сунул трубку в карман и вперевалку мимо расступающейся озлобленной толпы пошел к телеге.

Говорить он начал не сразу. Равнодушно посмотрев на толпившихся возле телеги эсеров, он вытер ладонью лоб, потом обвел глазами толпу, сложил огромный кулак дулею, выставил его так, чтобы всем он был виден, и спросил спокойно, громко и с издевкою:

— А этого вы не видели?

Такое необычайное начало речи смутило меня. Удивило оно сразу и мужиков. Почти тотчас же раздались негодующие выкрики:

— Это штой-то?

— Ты што людям кукиш выставил?

— Ты, пес тебя возьми, словами отвечай, а не фигой, а то по шее получишь!

— Этого не видали? — начал опять Баскаков.— Ну, так не горюйте. Они...— тут Баскаков мотнул головой на эсеров,— они вам почище покажут. Па-а-думаешь! — протянул Баскаков, сощуривая глаза и качая головой.— Па-адумаешь!.. Развесили уши граждане свободной России. А скажите мне, граждане, какая вам есть польза от этой революции? Война была — война есть. Земли не было — земли нет. Помещик жил рядом — жил. А сейчас живет? Живет, живет. Что ему сделается? Вы не гикайте, не храбритесь. Помещика и это правительство в обиду не даст. Вон спросите-ка у водоватовских: пробовали было они до барской земли сунуться, а там отряд. Покрутились, покрутились около — хоть и хороша землица, да не укусишь. Триста лет, говорите, терпели, так еще мало, еще терпеть захотели? Что ж, терпите. Господь терпеливых любит. Дожидайтесь, пока помещик сам к вам придет и поклонится: «А не надо ли вам землицы? Возьмите Христа ради». Ой, дождетесь ли только? А слыхали ли вы, что в Учредительном собрании, когда оно соберется, обсуждать вопрос будут: «Как отдать землю крестьянину — без выкупа либо с выкупом?» А ну-ка, придете домой, посчитайте у себя деньжата, хватит ли выкупить? На то, по-вашему, революция произошла, чтобы свою землю у помещиков выкупать?

Да на кой пес, я вас спрашиваю, такая революция нужна была? Разве же без нее нельзя было за свои деньги земли купить?

— Какой еще выкуп! — послышались из толпы рассерженные и встревоженные голоса.

— А вот такой...— Тут Баскаков вынул из кармана смятую листовку и прочел: — «Справедливость требует, чтобы за земли, переходящие от помещиков к крестьянам, землевладельцы получили вознаграждение». Вот какой выкуп. Пишут это от партии кадетов, а она тоже будет заседать в Учредительном. Она тоже своего добиваться будет. А вот как мы, большевики, по-простому говорим: неча нам ждать Учредительного, а давай землю сейчас, чтобы никакого обсуждения не было, никакой оттяжки и никакого выкупа! Хватит, выкупили.

— Вы-ыкупили!..— сотнями голосов ахнула толпа.

— Какие еще могут быть обсуждения? Этак, может, и опять ничего не достанется.

— Да замолчите, вы, окаянные!.. Хай большевик говорит! Может, он еще что-нибудь этакое скажет.

Раскрыв рот, я стоял возле Галки. Внезапный прилив радости и гордости за Баскакова нахлынул на меня.

— Семен Иванович! — крикнул я, дергая Галку за рукав.— А я-то думал... Как он с ними... Он даже не речь держит, а просто разговаривает.

«Ой, какой хороший и какой умный Баскаков!» — думал я, слушая, как падают его спокойные, тяжелые слова в гущу взволнованной толпы.

— Мир после победы? — говорил Баскаков.— Что же, дело хорошее. Завоюем Константинополь. Ну, прямо как до зарезу нужен нам этот Константинополь! А то еще и Берлин завоюем. Я тебя спрашиваю,— тут Баскаков ткнул пальцем в рябого мужика с уздечкой, пробравшегося к трибуне,— я спрашиваю: что у тебя немец либо турок взаймы, что ли, взяли и не отдают? Ну, скажи мне на милость, дорогой человек, какие у тебя дела могут быть в Константинополе? Что ты, картошку туда на базар продавать повезешь? Чего же молчишь?

Рябой мужичок покраснел, заморгал и, разводя руками, ответил негодующим голосом:

— Да мне же вовсе и не нужен... Да зачем же он мне сдался?

— Тебе не нужен, ну и мне не нужен и им никому не нужен! А нужен он купцам, чтобы торговать им, видишь, прибыльней было. Так им нужен, пускай они и завоевывают. А мужик тут при чем? Зачем у вас полдеревни на фронт угнали? Затем, чтобы купцы прибыль огребли! Дурни вы, дурни! Большие, бородатые, а всякий вас вокруг пальца окрутить может.

— А ей-богу же, может! — хлопая себя руками, прошептал

рябой мужик.— Ей-богу, может.— И, вздохнув глубоко, он понуро опустил голову.

— Так вот мы и говорим вам,— заканчивал Баскаков,— чтобы мир не после победы, не после дождичка в четверг, не после того, когда будут изувечены еще тысячи рабочих и мужиков, а давайте нам мир сейчас, без всяких побед. Мы еще и на своей земле помещика не победили. Так я говорю, братцы, или нет? Ну, а теперь пусть, кто не согласен, выйдет на это место и скажет, что я соврал, что я неправду сказал, а мне вам говорить больше нечего!

Помню: заревело, застонало. Выскочил побледневший эсер Кругликов, замахал руками, пытаясь что-то сказать. Спихнули его с телеги. Баскаков стоял рядом и закуривал трубку, а рябой мужик, тот, у которого Баскаков спрашивал, зачем ему нужен Константинополь, тянул его за рукав, зазывая в избу чай пить.

— С медом! — каким-то почти умоляющим голосом говорил он.— Осталось маненько. Не обидь же, товарищ! И они, ваши, пускай тоже идут.

Пили кипяток, заваренный сушеной малиной. В избе вкусно пахло сотами.

Мимо окон по пыльной дороге прокатила обратно бричка, набитая эсерами. Наступал сухой, душистый вечер. Далеко в городе гудели колокола. Черные монахи тридцати церквей возносили молитвы об успокоении бунтующейся земли.

Глава третья

Я пошел на кладбище проститься с Тимкой Штукиным. Вместе с отцом он уезжал на Украину к своему дяде, у которого был где-то возле Житомира небольшой хутор.

Вещи были сложены. Отец ушел за подводой. Тимка казался веселым. Он не мог стоять на месте, поминутно бросался то в один, то в другой угол, точно хотел напоследок еще раз осмотреть стены сторожки, в которой он вырос. Но мне казалось, что Тимка не по-настоящему веселый и с трудом удерживается, чтобы не расплакаться. Птиц своих он распустил.

— Всех... Все разлетелись,— говорил Тимка.— И малиновка, и синицы, и щеглы, и чиж. Я, Борька, знаешь, больше всего чижа любил. Он у меня совсем ручной был. Я открыл дверку клетки, а он не вылетает. Я шугнул его палочкой... Взметнулся он на ветку тополя да как запоет, как запоет!.. Я сел под дерево, клетку на сучок повесил. Сижу, а сам про все думаю: и как мы жили, и про птиц, и про кладбище, и про школу, как

К стр. 97

все кончилось и уезжать приходится. Долго сидел думал, потом встаю, хочу взять клетку. Гляжу, а на ней мой чижик сидит. Спустился, значит, сел и не хочет улетать. И мне вдруг так жалко всего стало, что я... я чуть не заплакал, Борька.

— Ты врешь, Тимка,— взволнованно сказал я.— Ты, наверное, и на самом деле заплакал.

— И на самом деле,— дрогнувшим голосом сознался Тимка.— Я, знаешь, Борька, привык. Мне так жаль, что нас отсюда выгнали. Знаешь, я даже тайком от отца к старосте Синюгину ходил проситься, чтобы оставили. Так нет,— Тимка вздохнул и отвернулся,— не вышло. Ему что?.. У него вон какой свой дом...

Последние слова Тимка договорил почти шепотом и быстро вышел в соседнюю комнату. Когда через минуту я зашел к нему, то увидел, что Тимка, крепко уткнувшись лицом в большой узел с подушками, плачет.

На вокзале, подхваченные людской массой, ринувшейся к вагонам подошедшего поезда, Тимка с отцом исчезли.

«Раздавят еще Тимку,— забеспокоился я.— И куда это такая прорва народу едет?»

Перрон был набит до отказа. Солдаты, офицеры, матросы. «Ну, эти-то хоть привыкли и у них служба, а вот те куда едут?» — подумал я, оглядывая кучки расположившихся среди вороха коробок, корзин и чемоданов. Штатские ехали целыми семьями. Бритые озлобленные мужчины с потными от беготни и волнения лбами. Женщины с тонкими чертами лица и растерянно-усталым блеском глаз. Какие-то старинные мамаши в замысловатых шляпках, ошарашенные сутолокой, упрямые и раздраженные.

Слева от меня на огромном чемодане сидела, придерживая одной рукой перетянутую ремнями постель, другой — клетку с попугаем, какая-то старуха, похожая на одну из тех старых благородных графинь, которых показывают в кино.

Она кричала что-то молодому морскому офицеру, пытавшемуся сдвинуть с перрона тяжелый кованый сундук.

— Оставьте,— отвечал он,— какой тут еще вам носильщик! О, черт!.. Слушай! — крикнул он, бросая сундук и поворачиваясь к проходившему мимо солдату.— Эй, ты!.. Ну-ка, помоги втащить вещи в вагон.

Врасплох захваченный солдат, подчиняясь начальственному тону, быстро остановился, опустив руки по швам, но почти тотчас же, как будто устыдившись своей поспешности, под насмешливыми взглядами товарищей ослабил вытяжку, неторопливо заложил руку за ремень и, чуть прищурив глаз, хитро посмотрел на офицера.

— Тебе говорят,— повторил офицер.— Ты оглох, что ли?

— Никак нет, не оглох, господин лейтенант, а не мое это дело — ваши гардеробы перетаскивать.

Солдат повернулся и неторопливо, вразвалку пошел вдоль поезда.

— Грегуар!..— выкатив выцветшие глаза, крикнула старуха.— Грегуар, найди жандарма, пусть он арестует, пусть отдаст под суд грубияна!

Но офицер безнадежно махнул рукой и, обозлившись, внезапно ответил ей резко:

— Вы-то еще чего лезете? Что вы понимаете? Какого вам жандарма — с того света, что ли? Сидите да помалкивайте.

Тимка неожиданно высунулся из окошка:

— Эгей! Борька, мы здесь!

— Ну, как вы там?

— Ничего... Мы хорошо устроились. Отец на вещах сидит, а меня матрос к себе на верхнюю полку в ноги пустил. «Только,— говорит,— не дрыгайся, а то сгоню».

Вспугнутая вторым звонком, толпа загомонила еще громче.

Отборная ругань смешивалась с французской речью, запах духов с запахом пота, переливы гармоники с чьим-то плачем — и все это разом покрыл гудок паровоза.

— Прощай, Тим-ка!

— Прощай, Борь-ка! — ответил он, высовывая вихор и махая мне рукой.

Поезд скрылся, увозя с собой сотни разношерстного, разноязычного народа, но казалось, что вокзал не освободился нисколько.

— Ух, и прет же! — услышал я рядом с собой голос.— И все на юг, все на юг. На Ростов, на Дон. Как на север поезд, то одни солдаты да служивый народ, а как на юг, то господа так и прут.

— На курорт едут, что ли?

— На курорт...— послышалось насмешливое.— Полечиться от страха, нынче страхом господа больны.

Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пивших чай, щелкавших семечки, спавших, смеявшихся и переругивавшихся, я пошел к выходу.

Хромой газетчик Семен Яковлевич выскочил откуда-то и, пробегая с необычной для его деревянной ноги прытью, заорал тонким, скрипучим голосом:

— Свежие газеты!.. «Русское слово»!.. Потрясающие подробности о выступлении большевиков! Правительство разогнало большевистскую демонстрацию! Есть убитые и раненые. Безуспешные поиски главного большевика Ленина!..

Газету рвали из рук — сдачу не спрашивали.

Возвращаясь, я взял чуть правее шоссе и направился по

узкой тропке, пролегавшей меж колосьев спелой ржи. Спускаясь в овраг, я заметил на противоположном склоне шагавшего навстречу человека, согнувшегося под тяжестью ноши. Без труда я узнал Галку.

— Борис,— крикнул он мне,— ты что здесь делаешь? Ты с вокзала?

— С вокзала. А вы-то куда? Уж не на поезд ли? Тогда фьють... опоздали, Семен Иванович, поезд только что ушел.

Ремесленный учитель Галка остановился, бухнул тяжелую ношу на траву и, опускаясь на землю, проговорил огорченно:

— Ну и ну! Что же теперь делать мне с этим? — И он ткнул ногой в завязанный узел.

— А тут что такое? — полюбопытствовал я.

— Разное... литература. Да и так еще кой-что.

— Тогда давайте. Я вам обратно помогу донести. Вы в клубе оставите, а завтра поедете.

Галка затряс своей черной и, как всегда, обсыпанной махоркой бородой.

— В том-то, брат, и дело, что в клуб нельзя. Клуб-то, брат, у нас тю-тю. Нету больше клуба.

— Как нету? — чуть не подпрыгнул я.— Сгорел, что ли? Да я же только утром, как сюда идти, проходил мимо...

— Не сгорел, брат, а закрыли его. Хорошо, что нас свои люди успели предупредить. Там сейчас обыск идет.

— Семен Иванович,— спросил я, недоумевая,— да как же это? Кто же это может закрыть клуб? Разве теперь старый режим?.. Теперь свобода. Ведь у эсеров есть клуб, и у меньшевиков, и у кадетов, а анархисты всегда пьяные и вдобавок еще окна у себя снаружи досками заколотили, и то им ничего. А у нас все спокойно, и вдруг закрыли.

— Свобода! — улыбнулся Галка.— Кому, брат, свобода, а кому и нет. Вот что мне с узлом-то делать? Спрятать бы пока до завтра надо, а то назад в город тащить неудобно, отберут еще, пожалуй.

— А давайте спрячем, Семен Иванович! Я место тут неподалеку знаю. Тут, если оврагом немного пройти, пруд будет, а еще сбоку — этакая выемка, там раньше глину для кирпичей рыли, и в стенках ям много. Туда не только что узел, а телегу с конем спрятать можно. Только говорят, что змеюки там попадаются, а я босиком. Ну, вам-то в ботинках можно. Да они если и укусят, то ничего — не помрешь, а только как бы обалдеешь.

Последнее добавление не понравилось Галке, и он спросил, нет ли где поблизости другого укромного местечка, но чтобы без змеюк.

Я ответил, что другого такого места поблизости нету и кругом народ бывает: либо стадо пасется, либо картошку перепалывают, либо мальчишки возле чужих огородов околачиваются.

Тогда Галка взвалил узел на плечо, и мы пошли по берегу ручья.

Узел спрятали надежно.

— Беги теперь в город,— сказал Галка.— Я завтра сам заберу его отсюда. Если увидишь кого из комитетчиков, то передай, что я еще не уехал. Постой...— остановил он меня, заглядывая мне в лицо.— Постой! А ты, брат, не того...— тут он покрутил пальцем перед моим лицом,— не сболтнешь?

— Что вы, Семен Иванович! — забормотал я, съежившись от обидного подозрения.— Что вы! Разве я о ком-нибудь хоть что... когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез, а вы еще...

Не дав договорить, Галка потрепал меня по плечу худою цепкой пятерней и сказал, улыбаясь:

— Ну, ладно, ладно... кати... Эх ты, заговорщик!

Глава четвертая

За лето Федька вырос и возмужал. Он отпустил длинные волосы, завел черную рубаху-косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Федька — председатель классного комитета. Федька — делегат от реального в женскую гимназию. Федька — выбранный на родительские заседания. Навострился он такие речи заворачивать — прямо второй Кругликов. Влезет на парту на диспутах: «Должны ли учащиеся отвечать учителям сидя или обязаны стоять?», «Допустима ли в свободной стране игра в карты во время уроков закона божьего?» Выставит ногу вперед, руку за пояс и начнет: «Граждане, мы призываем... обстановка обязывает... мы несем ответственность за судьбу революции...» И пошел, и пошел...

С Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились с каждым днем.

Я опять стал на отшибе.

Только что начала забываться история с моим отцом, только что начал таять холодок между мной и некоторыми из прежних товарищей, как подул новый ветер из столицы; обозлились обитатели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала думская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым: зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним

клубом на крыше флаг вывешивал, почему на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?

Листовки у нас все раздавали. Иной нахватает и кадетских, и анархистских, и христианских социалистов, и большевистских — бежит и, какая попала под руку, ту и сует прохожему. И этаким все ничего, как будто так и надо!

Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне Баскаков только что полную груду своих прокламаций дал? Как же можно раздавать и те и другие? Ну, хоть бы сходные листовки были, а то в одной — «Да здравствует победа над немцами», в другой — «Долой грабительскую войну». В одной—«Поддерживайте Временное правительство», в другой — «Долой десять министров-капиталистов». Как же можно сваливать их в одну кучу, когда одна листовка другую сожрать готова?

Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по клубам, явные монархисты подали в отставку. Половину школы заняли под Красный Крест.

— Я, мать, уйду из школы,— говаривал я иногда.— Учебы все равно никакой, со всеми я на ножах. Вчера, например, Коренев собирал с кружкой в пользу раненых; было у меня двадцать копеек, опустил и я, а он перекосился и говорит: «Родина в подачках авантюристов не нуждается». Я аж губы закусил. Это при всех-то! Говорю ему: «Если я сын дезертира, то ты сын вора. Отец твой подрядчик, на поставках армию грабил, и ты, вероятно, на сборах раненым подзаработать не прочь». Чуть дело до драки не дошло. На днях товарищеский суд будет. Плевал я только на суд. Тоже... судьи какие нашлись!

С маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня никто еще не собирался нападать, но он дорог мне был как память об отце, его подарок — единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. И еще потому любил я маузер, что всегда испытывал какое-то приятное волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, мне было тогда пятнадцать лет, и я не знал, да и до сих пор не знаю ни одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь настоящий револьвер. Об этом маузере знал только Федька. Еще в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок.

На другой день после истории с Кореневым я вошел в класс, как и всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания.

Первым уроком была география. Рассказав немного о Западном Китае, учитель остановился и начал делиться последни-

ми газетными новостями. Пока споры да разговоры, я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился.

После звонка, внимательно наблюдая за окружавшими, я встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Около меня образовалось полукольцо; из середины его вышел Федька и направился ко мне.

— Что тебе надо? — спросил я.

— Сдай револьвер,— нагло заявил он.— Классный комитет постановил, чтобы ты сдал револьвер в комиссариат думской милиции. Сдай его сейчас же комитету, и завтра ты получишь от милиции расписку.

— Какой еще револьвер? — отступая к окну и стараясь, насколько хватало сил, казаться спокойным, переспросил я.

— Не запирайся, пожалуйста! Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой. И сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше добровольно, или мы вызовем милицию. Давай! — И он протянул руку.

— Маузер?

— Да.

— А этого не хочешь?! — резко выкрикнул я, показывая ему фигу.— Ты мне его давал? Нет. Ну, так и катись к черту, пока не получил по морде!

Быстро повернув голову, я увидел, что за моей спиной стоят четверо, готовых схватить меня сзади. Тогда я прыгнул вперед, пытаясь прорваться к двери. Федька рванул меня за плечи. Я ударил его кулаком, и тотчас же меня схватили за плечи и поперек груди. Кто-то пытался вытолкнуть мою руку из кармана. Не вынимая руки, я крепко впился в рукоятку револьвера.

«Отберут... Сейчас отберут...»

Тогда, как пойманный в капкан звереныш, я взвизгнул. Я вынул маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал спуск.

Четыре пары рук, державших меня, мгновенно разжались.

Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, будто ватные лица учеников, желтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом, и превратившегося в библейский соляной столб застрявшего в дверях отца Геннадия. Не раздумывая, я спрыгнул с высоты второго этажа на клумбы ярко-красных георгинов.

Поздно вечером по водосточной трубе, со стороны сада, я пробрался к окну своей квартиры. Старался лезть потихоньку,

чтобы не испугать домашних, но мать услышала шорох, подошла и спросила тихонько:

— Кто там? Это ты, Борис?

— Я, мама.

— Не ползи по трубе... сорвешься еще. Иди, я тебе дверь открою.

— Не надо, мама... Пустяки, я и так...

Спрыгнув с подоконника, я остановился, приготовившись выслушать ее упреки и жалобы.

— Есть хочешь? — все так же тихо спросила мать.— Садись, я тебе супу достану, он теплый еще.

Тогда, решив, что мать ничего не знает, я поцеловал ее и, усевшись за стол, стал обдумывать, как передать ей обо всем случившемся. Рассеянно черпая ложкой перепрелый суп, я почувствовал, что мать сбоку пристально смотрит на меня. От этого мне стало неловко, и я опустил ложку на край тарелки.

— Был инспектор,— сказала мать,— говорил, что из школы тебя исключат и что если завтра к двенадцати часам ты не сдашь свой револьвер в милицию, то они сообщат туда об этом, и у тебя отберут его силой. Сдай, Борис!

— Не сдам,— упрямо и не глядя на нее, ответил я.— Это папин.

— Мало ли что папин! Зачем он тебе? Ты потом себе другой достанешь. Ты и без маузера за последние месяцы какой-то шальной стал, еще застрелишь кого-нибудь! Отнеси завтра и сдай.

— Нет,— быстро заговорил я, отодвигая тарелку.— Я не хочу другого, я хочу этот! Это папин. Я не шальной, я никого не задеваю. Они сами лезут. Мне наплевать на то, что исключили, я бы и сам ушел. Я спрячу его и не отдам.

— Бог ты мой!— уже раздраженно начала мать.— Ну, тогда тебя посадят и будут держать, пока не отдашь!

— Ну и пусть посадят,— обозлился я.— Вон и Баскакова посадили... Ну что ж, и буду сидеть, все равно не отдам... Не отдам! — после небольшого молчания крикнул я так громко, что мать отшатнулась.

— Ну, ну, не отдавай,— уже мягче проговорила она.— Мне-то что? — Она помолчала, над чем-то раздумывая, встала и добавила с горечью, выходя за дверь:— И сколько жизни вы у меня раньше времени посожжете!

Меня удивила уступчивость матери. Это было не похоже на нее. Мать редко вмешивалась в мои дела, но зато уже когда заладит что-нибудь, то не успокоится до тех пор, пока не добьется своего.

Спал крепко. Во сне пришел ко мне Тимка и принес в пода-

рок кукушку. «Зачем, Тимка, мне кукушка?» Тимка молчал. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет?» И она прокуковала — семнадцать. «Неправда,— сказал я,— мне только пятнадцать».— «Нет,— замотал Тимка головой.— Тебя мать обманула».— «Зачем матери меня обманывать?» Но тут я увидел, что Тимка вовсе не Тимка, а Федька — стоит и усмехается.

Проснулся, соскочил с кровати и заглянул в соседнюю комнату — без пяти семь. Матери не было. Нужно было торопиться и спрятать незаметно в саду маузер.

Накинул рубаху, сдернул со стула штаны — и внезапный холодок разошелся по телу: штаны были подозрительно легкими. Тогда осторожно, как бы боясь обжечься, я протянул руку к карману. Так и есть — маузера там не было: пока я спал, мать вытащила его.

«Ах, вот оно... вот оно что!.. И она тоже против меня. А я-то поверил ей вчера. То-то она так легко перестала уговаривать меня... Она, должно быть, понесла его в милицию».

Я хотел уже броситься догонять ее.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..— протяжно запели, отбивая время, часы. Я остановился и взглянул на циферблат. Что же это я, на самом деле? Ведь всего только еще семь часов. Куда же она могла уйти? Оглядевшись по углам, я заметил, что большой плетеной корзины нет, и догадался, что мать ушла на базар.

Но если ушла на базар, то не взяла же она с собой маузер. Значит, она спрятала его пока дома. Куда? И тотчас же решил: в верхний ящик шкафа, потому что это был единственный ящик, который запирался на ключ.

И тут я вспомнил, что когда-то, давно еще, мать принесла из аптеки розовые шарики сулемы и для безопасности заперла их в этот ящик. А мы с Федькой хотели сгубить у Симаковых рыжего кота за то, что Симаковы перешибли лапу нашей собачонке. Порывшись в железном хламе, мы тогда подобрали ключ, вытащили один шарик и, кажется, бросили ключ на прежнее место.

Я вышел в чулан и выдвинул тяжелый ящик. Разбрасывая ненужные обломки, гайки, винты, я принялся за поиски.

Обрезал руку куском жести и нашел сразу три заржавленных ключа. Из них какой-то подходит... Должно быть, вот этот.

Вернулся к шкафу. Ключ входил туго... Крак! Замок щелкнул. Потянул за ручку. Есть... маузер... Кобура лежит отдельно. Схватил и то и другое. Запер ящик, ключ через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Оглядевшись по сторонам, я заметил возвращавшуюся с базара мать. Тогда я завернул за угол и побежал по направлению к кладбищу.

На опушке перелеска остановился передохнуть. Бухнулся на

ворох сухих листьев и тяжело задышал, то и дело оглядываясь по сторонам, точно опасаясь погони. Рядом протекал тихий, безмолвный ручеек. Вода была чистая, но теплая и пахла водорослями. Не поднимаясь, я зачерпнул горсть воды и выпил, потом положил голову на руки и задумался.

Что же теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу нельзя. Впрочем, домой можно... Спрятать маузер и вернуться. Мать посердится и перестанет когда-нибудь. Сама же виновата — зачем тайком вытащила? А из милиции придут? Сказать, что потерял,— не поверят. Сказать, что чужой,— спросят чей. Ничего не говорить — как бы еще на самом деле не посадили! Подлец Федька... Подлец!

Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал.

У-у-у-у-у! — донеслось оттуда эхо далекого паровозного гудка. Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и черный, отсюда похожий на жука паровоз медленно выкатился из-за поворота.

У-у-у-у-у! — заревел он опять, здороваясь с дружески протянутой лапой семафора.

«А что, если...»

Я тихонько приподнялся и задумался.

И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня вокзал. Звал ревом гудков, протяжно-певучими сигналами путевых будок, почти что ощутимым запахом горящей нефти и глубиной далекого пути, убегающего к чужим, незнакомым горизонтам.

«Уеду в Нижний,— подумал я.— Там найду Галку. Он в Сормове. Он будет рад и оставит меня пока у себя, а дальше будет видно. Все утихнет, и тогда вернусь. А может быть...— И тут что-то изнутри подсказало мне:— Может быть, и не вернусь».

«Будет так»,— с неожиданной для самого себя твердостью решил я и, сознавая всю важность принятого решения, встал, почувствовав себя крепким, большим, сильным.

Глава пятая

В Нижний Новгород поезд пришел ночью. Сразу же у вокзала я очутился на большой площади. Под огнями фонарей поблескивали штыки новеньких винтовок, отсвечивали повсюду погоны.

С трибуны рыжий бородатый человек говорил солдатам речь о необходимости защищать родину, уверял в неизбежности скорого поражения «проклятых империалистов немцев».

Он поминутно оборачивался в сторону своего соседа — старенького, седого полковника, который каждый раз, как бы удостоверяя правильность заключений рыжего оратора, одобрительно кивал круглой лысой головой.

Вид у оратора был измученный, он бил себя растопыренной ладонью, поднимал вверх поочередно то одну, то обе руки. Он обращался к сознательности и совести солдат. Под конец, когда ему показалось, что речь его проникла в гущу серой массы, он взмахнул рукой, так что едва не заехал в ухо испуганно отшатнувшемуся полковнику, и громко запел марсельезу. Несколько десятков разрозненных голосов подхватили мотив, но вся солдатская колонна молчала.

Тогда рыжий оратор оборвал на полуслове песню и, бросив шапку оземь, стал слезать с трибуны.

Старик полковник постоял еще немного, беспомощно развел руками и, наклонив голову, придерживаясь за перила, полез вниз.

Оказывается, маршевый батальон отправляли на германский фронт.

До вокзала солдаты шли с песнями, их закидывали цветами и подарками. Все было благополучно. И уже здесь, на станции, воспользовавшись тем, что благодаря чьей-то нераспорядительности не хватило кипятку в баках и в нескольких вагонах недоставало деревянных нар, солдаты затеяли митинг.

Появились не приглашенные командованием ораторы, и, начав с недостачи кипятку, батальон неожиданно пришел к заключению: «Хватит, повоевали, дома хозяйство рушится, помещичья земля не поделена, на фронт идти не хотим!»

Загорелись костры, запахло смолой расщепленных досок, махоркой, сушеной рыбой, сваленной штабелями на соседних пристанях, и свежим волжским ветром.

Так, мимо огней, мимо винтовок, мимо возбужденных солдат, кричавших ораторов, растерянно-озлобленных офицеров, я, взволнованный и радостный, зашагал в темноту незнакомых привокзальных улиц.

Первый же прохожий, которого я спросил о том, как пройти в Сормово, ответил мне удивленно:

— В Сормово, милый человек, отсюда никак пройти невозможно. В Сормово отсюда на пароходах ездят. Заплатил полтинник — и садись, а сейчас до утра никаких пароходов нету.

Тогда, побродив еще немного, я забрался в один из пустых ящиков, сваленных грудами у какого-то забора, и решил переждать до рассвета. Вскоре заснул.

Разбудила меня песня. Работали грузчики — поднимали скопом что-то тяжелое.

Эх-эй, ребятушки, да дружно!—

заводил запевала надорванным, но приятным тенором.

Остальные враз подхватывали резкими, тоже надорванными голосами:

По-оста-раться еще нужно.

Что-то сдвинулось, треснуло и заскрипело.

И-э-эх... начать-то мы начали,
А всю сволочь не скачали.

Я высунул голову. Как муравьи, облепившие кусок ржаного хлеба, со всех сторон окружили грузчики огромную ржавую лебедку и по положенным наискось рельсам втаскивали ее на платформу. Опять невидимый в куче запевала завел:

И-э-эх... прогнали мы Николку,
И-э-эх... да что-то мало толку!

Опять хрустнуло.

А не подняться ли народу,
Чтоб Сашку за ноги да в воду!

Лязгнуло, грохнуло. Лебедка тяжело села на крякнувшую платформу. Песня оборвалась, послышались крики, говор и ругательства.

«Ну и песня! — подумал я.— Про какого же это Сашку? Да ведь это же про Керенского!.. У нас бы в Арзамасе за такую песню живо сгребли, а здесь милиционер рядом стоит, отвернулся и как будто бы не слышит».

Маленький грязный пароходик давно уже причалил к пристани. Полтинника на билет у меня не было, а возле узкого трапа стоял рыжий контролер и матрос с винтовкой. Я грыз ногти и уныло посматривал на узенькую полоску маслянистой воды, журчавшей между пристанью и бортом парохода. По воде плыли арбузные корки, щепки, обрывки газет и прочая дрянь.

«Пойти разве попроситься у контролера? — подумал я.— Совру ему что-нибудь. Вот, мол, скажу, сирота. Приехал к больной бабушке. Пропустите, пожалуйста, проехать до старушки».

Маслянистая поверхность мутной воды отразила мое загорелое лицо, подстриженную ежиком крупную голову и крепкую, поблескивавшую медными пуговицами ученическую гимнастерку.

Вздохнув, я решил, что сироту надо оставить в покое, потому что сироты с этакими здоровыми физиономиями доверия не внушают.

Читал я в книгах, что некоторые юноши, не имея денег на билет, нанимались на пароход юнгами. Но и этот способ не мог пригодиться здесь, когда всего-то навсего надо мне было попасть на противоположный берег реки.

— Чего стоишь? Подвинься! — услышал я задорный вопрос и увидел невысокого рябого мальчугана.

Мальчуган небрежно швырнул на ящик пачку каких-то листовок и быстро вытащил из-под моих ног толстый грязный окурок.

— Эх ты, ворона! — сказал он снисходительно.— Окурок-то какой проглядел!

Я ответил ему, что на окурки мне наплевать, потому что я не курю и, в свою очередь, спросил его, что он тут делает.

— Я-то? — Тут мальчуган ловко сплюнул, попав прямо в середину проплывавшего мимо полена.— Я листовки раздаю от нашего комитета.

— От какого комитета?

— Ясно, от какого... от рабочего. Хочешь, помогай раздавать.

— Я бы помог,— ответил я,— да мне вот на пароход надо в Сормово, а билета нет.

— А что тебе в Сормове?

— К дяде приехал. Дядя на заводе работает.

— Как же это ты,— укоризненно спросил мальчуган,— едешь к дяде, а полтинником не запасся?

— Запасаются загодя,— искренне вырвалось у меня,— а я вот нечаянно собрался и убежал из дому.

— Убежа-ал? — Глаза мальчугана с недоверчивым любопытством скользнули по мне. Тут он шмыгнул носом и добавил сочувственно: — То-то, когда вернешься, отец выдерет.

— А я не вернусь. И потом, у меня нет отца. Отца у меня еще в царское время убили. У меня отец большевик был.

— И у меня большевик,— быстро заговорил мальчуган,— только у меня живой. У меня, брат, такой отец, что на все Сормово первый человек! Хоть кого хочешь спроси: «Где живет Павел Корчагин?» — всякий тебе ответит: «А это в комитете... На Варихе, на заводе Тер-Акопова». Вот какой у меня человек отец!

Тут мальчуган отшвырнул окурок и, поддернув сползавшие штаны, нырнул куда-то в толпу, оставив листовки возле меня.

Я поднял одну.

В листовке было написано, что Керенский — изменник, готовит соглашение с контрреволюционным генералом Корниловым.

Листовка открыто призывала свергнуть Временное правительство и провозгласить Советскую власть.

Резкий тон листовки поразил меня еще больше, чем озорная песня грузчиков. Откуда-то из-за бочек с селедками вынырнул запыхавшийся мальчуган и еще на бегу крикнул мне:

— Нету, брат!

— Кого нету? — не понял я.

— Полтинника нету. Тут Симона Котылкина из наших увидал. Нету, говорит.

— Да зачем тебе полтинник?

— А тебе-то! — Он с удивлением посмотрел на меня.— Ты бы купил билет, а в Сормове взял у дяди и отдал бы: я, чай, тоже сормовский.

Он повертелся, опять исчез куда-то и опять вскоре вернулся.

— Ну, брат, мы и так обойдемся. Возьми вот мои листовки и кати прямо на пароход. Видишь, там матрос стоит с винтовкой? Это Сурков Пашка. Ты, когда проходить по сходням будешь, повернись к матросу и скажи: с листовками, мол, от комитета, а с контролером и не разговаривай. При́ себе прямо. Матрос свой, он в случае чего заступится.

— А ты?

— Я-то, брат, везде пройду. Я здесь не чужой.

Старенький пароходик, замызганный шелухой и огрызками яблок, давно уже отчалил от берега, а моего товарища все еще не было видно.

Я примостился на груде ржавых якорных цепей и, вдыхая пахнущий яблоками, нефтью и рыбой прохладный воздух, с любопытством разглядывал пассажиров. Рядом со мной сидел не то дьякон, не то монах, притихший и, очевидно, старавшийся быть как можно менее заметным. Он украдкой озирался по сторонам, грыз ломоть арбуза, аккуратно выплевывая косточки в ладонь.

Кроме монаха и нескольких баб с бидонами из-под молока, на пароходе ехали два офицера, четыре милиционера, державшиеся поодаль, возле штатского с красной повязкой на рукаве.

Все же остальные пассажиры были рабочие. Сгрудившись кучками, они громко разговаривали, спорили, переругивались, смеялись, читали вслух газеты. Было похоже на то, что все они между собой знакомые, потому что многие из них бесцеремонно вмешивались в чужие споры; замечания и шутки летели от одного борта к другому.

Впереди вырисовывалось Сормово. Было безветренное утро. Фабричный дым, собираясь нетающими клубами, казался отсюда черными щупальцами ветвей, раскинувшихся над каменными стволами гигантских труб.

— Эгей! — услышал я позади себя знакомый голос рябого мальчугана.

Я обрадовался ему, потому что не знал, что делать с листовками.

Он сел рядом на свернутый канат и, вынув из кармана яблоко, протянул его мне:

— Возьми. Мне грузчики полный картуз насыпали, потому что как новая листовка или газета, так я им всегда первым. Вчера целую связку воблы подарили. Им что! Сунул руку в мешок — только-то и делов. А я три воблы сам съел да две домой притащил: одну Аньке, другую Маньке. Сестры это у меня,— пояснил он и снисходительно добавил:— Дуры еще девчонки... Им только жрать подавай.

Оживленные разговоры внезапно умолкли, потому что штатский с красной повязкой, сопровождаемый милиционерами, принялся неожиданно проверять документы.

Рабочие, молча доставая измятые, замусоленные бумажки, провожали штатского враждебно-холодными замечаниями:

— Кого ищут-то?

— А пес их знает.

— К нам бы в Сормово пришли, там поискали бы!

Милиционеры шли как бы нехотя; видно было, что им неловко чувствовать на себе десятки подозрительно настороженных взглядов.

Не обращая внимания на общее сдержанное недовольство, штатский вызывающе дернул бровями и подошел к монаху. Монах еще больше съежился и, огорченно разведя руками, показал на висевшую у живота кружку с надписью: «Милосердные христиане, пожертвуйте на восстановление разрушенных германцами храмов».

Штатский брезгливо усмехнулся и, отворачиваясь от монаха, довольно бесцеремонно потянул за плечи моего соседа — мальчугана:

— Документ?

— Еще подрасту, тогда запасу,— сердито ответил тот.

Пытаясь высвободиться из-под цепкой руки штатского, мальчуган дернулся, потерял равновесие и выронил кипу листовок.

Штатский поднял одну из бумажек, торопливо просмотрел ее и тихо, но зло сказал:

— Документы мал носить, а прокламации — вырос? А ну-ка захватите его!

Но не только один штатский прочел листовку. Ветер вырвал из рассыпанной пачки десяток беленьких бумажек и разметал их по переполненной людьми палубе.

Не успели еще вялые, смущенные милиционеры подойти к рябому мальчугану, как зажужжала, загомонила вся палуба:

— Корнилова бы лучше поискали!

— Монах без документа ничего, а к мальчишке привязался!

— Тут тебе не город, а Сормово.

— Ну, ну, тише вы! — огрызнулся штатский, растерянно глядя на милиционеров.

— Не нукай, не запряг! Жандарм переодетый! Видали, как он за листовками кинулся?

Огрызок свежего огурца пролетел мимо фуражки штатского.

Стиснутые со всех сторон повскакавшими пассажирами, милиционеры растерянно оглядывались и встревоженно уговаривали:

— Не налезай, не налезай. Граждане, тише!

Внезапно заревела сирена, и с капитанского мостика кто-то отчаянно заорал:

— От левого борта... от левого борта... пароход опрокинете!

По накренившейся палубе толпа шарахнулась в противоположную сторону. Воспользовавшись этим, штатский зло выругал милиционеров и проскользнул к лестнице капитанского мостика, возле которого стояли два побледневших, взволнованных офицера. Пароход причалил, рабочие торопливо сходили на пристань. Возле меня опять очутился рябой мальчуган. Глаза его горели, в растопыренных руках он цепко держал измятый ворох подобранных листовок.

— Приходи! — крикнул он мне.— Прямо на Вариху! Ваську Корчагина спросишь, тебе всякий покажет.

Глава шестая

С удивлением и любопытством поглядывал я на серые от копоти домики, на каменные стены заводов, через черные окна которых поблескивали языки яркого пламени и доносилось глухое рычанье запертых машин.

Был обеденный перерыв. Мимо меня прямо через улицу, паром распугивая бродячих собак, покатил паровоз, тащивший платформы, нагруженные колесами. Разноголосо хрипели гудки. Из ворот выходили толпы потных, усталых рабочих.

Навстречу им неслись стайки босоногих задирчивых ребятишек, тащивших небольшие узелки с мисками и тарелками, от которых пахло луком, кислой капустой и паром.

Кривыми уличками добрался я наконец до переулка, где была квартира Галки.

Я постучал в окно небольшого деревянного домика. Тощая седая старуха, оторвавшись от корыта с бельем, высунула красное, распаренное лицо и сердито спросила, кого мне надо.

Я сказал.

— Нету такого,— ответила она, захлопывая окно.— Жил когда-то, теперь давно уже нету.

Ошеломленный таким сообщением, я отошел за угол и, остановившись возле груды наваленного булыжника, почувствовал, как я устал, как мне хочется есть и спать.

Кроме Галки, в Сормове жил дядя Николай, брат моей матери. Но я совсем не знал, где он живет, где работает и как примет меня.

Несколько часов я шатался по улицам, с тупым упрямством заглядывая в лица проходивших рабочих. Дядю я, конечно, не встретил.

Вконец отчаявшись и почувствовав себя одиноким, никому не нужным, я опустился на небольшую чахлую лужайку, замусоренную рыбьей кожурой и кусками пожелтевшей от дождей известки. Тут я прилег и, закрыв глаза, стал думать о своей горькой судьбе, о своих неудачах.

И чем больше я думал, тем горше становилось мне, тем бессмысленнее представлялся мой побег из дома.

Но даже сейчас я отгонял мысль о том, чтобы вернуться в Арзамас.

Мне казалось, что теперь в Арзамасе я буду еще более одинок: надо мной будут презрительно смеяться, как когда-то над Тупиковым. Мать будет тихонько страдать и еще, чего доброго, пойдет в школу просить за меня директора.

А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь.

К забору подошел старик. Нес он ведро, кисть и свернутые в трубку плакаты. Старик густо смазал клейстером доски, прилепил плакат, разгладил его, чтобы не было морщин, поставил на землю ведро, оглянулся и подозвал меня.

— Достань, малый, спички из моего кармана, а то у меня руки в клейстере... Спасибо,— поблагодарил он, когда я зажег спичку и поднес огонь к его потухшей трубке.

Закурив, он с кряхтением поднял грязное ведро и сказал добродушно:

— Эх, старость не радость! Бывало, пудовым молотом грохаешь, грохаешь, а теперь ведро понес — рука занемела.

— Давай, дедушка, я понесу,— с готовностью предложил я.— У меня не занемеет. Я вон какой здоровый!

И, как бы испугавшись, что он не согласится, я поспешно потянул ведро к себе.

— Понеси,— охотно согласился старик,— понеси, коли так, оно вдвоем-то быстро управимся.

Продвигаясь вдоль заборов, мы со стариком прошли много улиц. Только мы останавливались, как сзади нас собирались прохожие, любопытствовавшие поскорее узнать, что такое мы расклеиваем. Увлекшись работой, я совсем позабыл о своих несчастьях. Лозунги тоже были разные, например: «Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха». Но, по правде сказать, лозунг этот казался мне каким-то будничным, неувлекательным. Гораздо больше нравился мне большой синий плакат с густокрасными буквами: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».

Это «светлое царство», которое пролетариат должен был завоевать, увлекало меня своей загадочной, невиданной красотою еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майн Рида восторженных школьников. Те страны, как ни далеки они, все же разведаны, поделены и нанесены на скучные школьные карты. А это «светлое царство», о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям.

— Может быть, устал, парень? — спросил старик останавливаясь.— Тогда беги домой. Я теперь и один управлюсь.

— Нет, нет, не устал,— проговорил я, с горечью вспомнив о том, что скоро опять останусь в одиночестве.

— Ну, ин ладно,— согласился старик.— Дома только, смотри, чтобы не заругали.

— У меня нет дома,— с внезапной откровенностью сказал я.— То есть у меня есть дом, только далеко.

И, подчиняясь желанию поделиться с кем-нибудь своим горем, я рассказал старику все.

Он внимательно выслушал меня, пристально и чуть-чуть насмешливо посмотрел в мое смущенное лицо.

— Это дело разобрать надо,— сказал он спокойно.— Хотя Сормово и велико, но все же человек — не иголка. Слесарем, говоришь, у тебя дядя?

— Был слесарем,— ответил я ободрившись.— Николаем зовут. Николай Егорович Дубряков. Он партийный, должно быть, как и отец. Может, в комитете его знают?

— Нет, не знаю что-то такого. Ну, да уж ладно, вот кончим расклеивать, пойдешь со мною. Я тут кой у кого из наших поспрошу.

Старик почему-то нахмурился и пошел, молча попыхивая горячей трубкой.

— Так отца-то у тебя убили? — неожиданно спросил он.

— Убили.

Старик вытер руки о промасленные, заплатанные штаны и, похлопав меня по плечу, сказал:

— Ко мне сейчас зайдешь. Картошку с луком есть будем и кипяток согреем. Чай, ты беда как есть хочешь?

Ведро показалось мне совсем легким. И мой побег из Арзамаса показался мне опять нужным и осмысленным.

...Дядя мой отыскался.

Оказывается, он был не слесарем, а мастером котельного цеха.

Дядя коротко сказал, чтобы я не дурил и отправлялся обратно.

— Делать тебе у меня нечего... Из человека только тогда толк выйдет, когда он свое место знает,— угрюмо говорил он в первый же день за обедом, вытирая полотенцем рыжие сальные усы.— Я вот знаю свое место... Был подручным, потом слесарем, теперь в мастера вышел. Почему, скажем, я вышел, а другой не вышел? А потому, что он тары да бары. Работать ему, видишь, не нравится, он инженеру завидует. Ему бы сразу. Тебе, скажем, чего в школе не сиделось? Учился бы тихо на доктора или там на техника. Так нет вот... дай помудрю. От лени все это... А по-моему, раз уж человек определился к какому делу, должен он стараться дальше продвинуться. Потихоньку, полегоньку, глядишь — и вышел в люди.

— Как же, дядя Николай? — тихо и оскорбленно спросил я.— Отца, к примеру, взять. Он солдатом был. По-твоему выходит, что нужно ему было в школу прапорщиков поступать. Офицером бы был. Может, до капитана дослужился. А все, что он делал, и то, что, вместо того чтобы в капитаны, он в подпольщики ушел, этого не нужно было?

Дядя нахмурился.

— Я про твоего отца не хочу плохо сказать, однако толку в его поступках мало что-то вижу. Так, баламутный был человек, неспокойный. Он и меня-то чуть было не запутал. Меня контора в мастера только наметила, и вдруг такое дело сообщают мне: вот, мол, какой к вам родственник приезжал. Насилу замял дело.

Тут дядя достал из миски жирную кость, густо смазал ее горчицей, посыпал крупно солью и, вгрызаясь в мясо крепкими желтыми зубами, недовольно покачал головой. Когда жена его, высокая красивая баба, подала после обеда узорную глиняную кружку домашнего кваса, он сказал ей:

— Сейчас прилягу, разбудишь через часок. Надо сестре Варваре письмо черкнуть. Борис заодно захватит, когда поедет.

— А когда поедет?

— Ну когда — завтра поедет.

В окно постучали.

— Дядя Миколай,— послышался с улицы голос,— на митинг пойдешь?

— Куда еще?

— На митинг, говорю. Народу на площади собралось уйма.

— А ну их,— отмахнулся рукой дядя,— нужно-то не больно.

Подождав, пока дядя ляжет отдыхать, я тихонько выбежал на улицу.

«А дядя-то у меня, оказывается, выжига! — подумал я.— Подумаешь, шишка какая — мастер! А я-то еще думал, что он партийный. Неужели так-таки и придется в Арзамас возвращаться?»

Две или три тысячи человек стояли около дощатой трибуны и слушали ораторов. Из-за людей мелькнуло знакомое рябое лицо пронырливого Васьки Корчагина. Я окликнул его, но он не услышал меня.

Я пустился догонять его. Раза два его курчавая голова показывалась среди толпы, но потом исчезла окончательно. Я очутился недалеко от трибуны.

Ближе пробраться было трудно. Стал прислушиваться.

Ораторы сменялись часто. Запомнился мне один — невзрачный, плохо одетый, с виду такой же рабочий, какие сотнями попадались на сормовских улицах, не привлекая ничьего внимания. Он неловко сдернул сплющенную блином кепку, откашлялся и, напрягая надорванный и, как мне показалось, озлобленный голос, заговорил:

— Вы, товарищи, которые с паровозного, а также с вагонного, да многие и с нефтянки, знаете, что восемь годов я просидел на каторге как политический. И что ж — не успел я только вернуться, не успел свежим воздухом подышать, как бац — опять меня на два месяца в тюрьму! Кто запер? Заперли не полицейские старого режима, а прихвостни нового. От царя было не обидно сидеть. От царя всегда наши сидели. А от прихвостней обидно! Генералы да офицеры понавесили красные банты, вроде как друзья революции. А нашего брата чуть что — опять пхают в кутузки. Травят нас и разгоняют. Я не за свою обиду говорю, товарищи, не за то, что два месяца лишних отсидел. Я за нашу, рабочую обиду говорю.

Тут он закашлялся. Отдышавшись, открыл было рот, опять закашлялся. Долго вздрагивал, вцепившись руками в перила, потом замотал головой и полез вниз.

— Доездили человека! — громко и негодующе сказал кто-то.

С серого, насупившегося неба посыпались крупинки первого

снега. Срывая последние, почерневшие листья, дул сухой, холодный ветер. Ноги у меня захолодали. Я хотел выбраться из толпы, чтобы на ходу согреться.

Проталкиваясь, я перестал было смотреть на ораторов, но вдруг знакомый высокий голос заставил меня повернуться к трибуне. Снежные крупинки засыпали глаза. Сбоку толкали. Кто-то больно наступил на ногу. Приподнявшись на носки, я с удивлением и радостью увидел на трибуне знакомое бородатое лицо Галки.

Двигая локтями, протискиваясь через плотную, с трудом пробиваемую толпу, я продвигался вперед. Я боялся, что, окончив говорить, Галка смешается с толпой, не услышит моего окрика и я опять потеряю его. Я тряс фуражкой, чтобы привлечь его внимание, махал растопыренными пальцами. Но он не замечал меня.

Когда я увидел, что Галка уже поднял руку, уже повышает голос и вот-вот кончит говорить, я закричал громко:

— Семен Иванович!.. Семен Ивано-ви-и-ич!..

Сбоку на меня шикали. Кто-то пихнул меня в спину.

А я еще отчаянней заорал:

— Семен Иванови-и-ич!

Я видел, как удивленный Галка неловко развел руками и, скомкав конец фразы, стал торопливо спускаться по лестнице.

Кто-то из обозленных соседей схватил меня за руку и потащил в сторону.

А я, не обращая внимания на ругательства и тычки, рассмеялся весело, как шальной.

— Ты что хулиганишь? — крепко встряхивая, строго спросил тащивший меня за рукав рабочий.

— Я не хулиганю,— не переставая счастливо улыбаться, отвечал я, подпрыгивая на озябших ногах.— Я Галку нашел... Я Семена Ивановича...

Вероятно, было в моем лице что-то такое, от чего сердитый человек улыбнулся сам и спросил уже не очень сердито:

— Какую еще галку?

— Да не какую... Я Семена Ивановича... Вон он сам сюда пробирается.

Галка вынырнул, схватил меня за плечо:

— Ты откуда?

Толпа волновалась. Площадь неспокойно шумела. Кругом виднелись озлобленные, встревоженные и растерянные лица.

— Семен Иванович,— на ходу спросил я, не отвечая на вопрос,— отчего народ шумит?

— Телеграмма пришла... только что,— пояснил он скороговоркой.— Керенский предает революцию! Генерал Корнилов... поднимает казаков.

...Короткие осенние дни замелькали передо мною, как никогда не виданные станции, сверкающие огнями на пути скорого поезда. Сразу же нашлось и мне дело. И я оказался теперь полезным, втянутым в круговорот стремительно развертывавшихся событий.

В один из беспокойных дней Галка встревоженно сказал мне:

— Беги, Борис, в комитет. Скажи, что с Варихи срочно просили агитатора и я пошел туда. Найди Ершова, пусть он вместо меня сходит в типографию. Если Ершова не найдешь, то... Дай-ка карандаш... Вот, снеси эту записку сам в типографию. Да не в контору, а передай лучше прямо в руки метранпажу! Помнишь... у Корчагина был, черный такой, в очках? Ну вот. Сделаешь все, тогда ко мне, на Вариху. Да если в комитете свежие листовки есть — захвати. Скажешь Павлу, что я просил... Стой, стой!— закричал он озабоченно вдогонку.— Холодно ведь. Ты бы хоть мой старый плащик накинул.

Но я уже с упоением и азартом, как кавалерийская лошадь, пущенная в карьер, несся, перепрыгивая через лужи и выбоины грязной мостовой.

В дверях партийного комитета, шумного, как вокзал перед отправлением поезда, я налетел на Корчагина. Если б это был не он, а кто-нибудь другой, поменьше и послабее, я, вероятно, сшиб бы его с ног. О Корчагина же я ударился, как о телеграфный столб.

— Эк тебя носит! — быстро сказал он.— Что ты, с колокольни свалился?

— Нет, не с колокольни,— сконфуженно потирая зашибленную голову и тяжело дыша, ответил я.— Семен Иванович прислал сказать, что он на Вариху...

— Знаю, звонили уже.

— Еще просили листовки.

— Послано уже. Еще что?

— Еще Ершова надо. Пусть в типографию идет. Вот записка.

— Что тут про типографию? Дай-ка записку,— вмешался в разговор незнакомый мне вооруженный рабочий в шинели, накинутой поверх старого пиджака.

— Мудрит что-то Семен,— сказал он, прочитав записку и обращаясь к Корчагину.— Чего он боится за типографию? Я еще с обеда туда свой караул выслал.

К крыльцу подходили новые и новые люди. Несмотря на холод, двери комитета были распахнуты настежь, мелькали шинели, блузы, порыжевшие кожаные куртки. В сенях двое отбивали молотками доски от ящика. В соломе лежали новенькие, густо промазанные маслом трехлинейные винтовки. Несколько таких же уже опорожненных ящиков валялось в грязи около крыльца.

Опять показался Корчагин. На ходу он быстро говорил троим вооруженным рабочим:

— Идите скорей. Сами там останетесь. И никого без пропусков комитета не пускать. Оттуда пришлите кого-нибудь сообщить, как устроились.

— Кого послать?

— Ну, из своих кого-нибудь, кто под руку подвернется.

— Я подвернусь под руку! — крикнул я, испытывая сильное возбуждение и желание не отставать от других.

— Ну, возьмите хоть его! Он быстро бегает.

Тут я увидел, что из разбитого ящика берет винтовку почти каждый выходящий из двери.

— Товарищ Корчагин,— попросил я,— все берут винтовки, и я возьму.

— Что тебе? — недовольно спросил он, прерывая разговор с крепким татуированным матросом.

— Да винтовку! Что я — хуже других, что ли?

Тут из соседней комнаты громко закричали Корчагина, и он поспешил туда, махнув на меня рукой.

Возможно, что он просто хотел, чтобы я не мешал ему, но я понял этот жест как разрешение. Выхватил из ящика винтовку и, крепко прижимая ее, пустился вдогонку за сходившими с крыльца дружинниками.

Пробегая через двор, я успел уже услышать только что полученную новость: в Петрограде объявлена Советская власть, Керенский бежал, в Москве идут бои с юнкерами.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ФРОНТ

Глава первая

Прошло полгода.

Письмо, адресованное мною к матери, в солнечный апрельский день было опущено на вокзале.

«Мама!

Прощай, прощай! Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев. Уезжает нас трое. Дали нам документы из сормовской дружины, в которой состоял я вместе с Галкой. Мне долго давать не хотели, говорили, что молод. Насилу упросил я Галку,

и он устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова у меня горячая от радости. Все, что было раньше,— это пустяки, а настоящее в жизни только начинается, оттого и весело...»

На третий день пути, во время шестичасовой стоянки на какой-то маленькой станции, мы узнали о том, что в соседних волостях не совсем спокойно: появились небольшие бандитские шайки и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами. Уже поздно ночью к составу подали паровоз. Я и мои товарищи лежали бок о бок на верхних нарах товарного вагона. Заслышав мерное постукивание колес и скрип раскачиваемого вагона, я натянул на себя крепче драповое пальто и собрался спать.

Из темноты слышался храп, покашливание, почесывание. Те, кому удалось протиснуться на нары, спали. С полу же, с мешков, из плотной кучи устроившихся кое-как доносились ворчание, ругательства и тычки в сторону напиравших соседей.

— Не пхайся, не пхайся,— спокойно ворчал бас.— Чего ты меня с моего мешка пхаешь? А то я тебя так пхну, что не запхаешься!

— Гляди-ка, черт! — взвизгнул озлобленный бабий голос.— Куда же ты мне прямо сапожищами в лицо лезешь? А-ах, черт, а-ах, окаянный!

Вспыхнула спичка, тускло осветив шевелившуюся груду сапог, мешков, корзин, кепок, рук и ног, погасла, и стало еще темнее. Кто-то в углу монотонно рассказывал усталым скрипучим голосом длинную, нудную историю своей печальной жизни. Кто-то сочувственно попыхивал цигаркой. Вагон вздрагивал, как искусанная оводами лошадь, и неровными толчками продвигался по рельсам.

Проснулся я оттого, что один из моих спутников дернул меня за руку. Я поднял голову и почувствовал, как из распахнутого окна струя приятного холодного воздуха освежающе плеснула мне в помятое лицо. Поезд шел тихо, должно быть на подъем. Огромное густое зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные огнем пожара, потухали светлячки звезд и таяла побледневшая луна.

— Земля бунтует,— послышалось из темного угла чье-то спокойное, бодрое замечание.

— Плети захотела, оттого и бунтует,— тихо и озлобленно ответил противоположный угол.

Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило, я слетел с нар на головы расположившихся на полу. Все смешалось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую дверь теплушки.

Крушение. Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле

успев вскочить, чтобы не быть раздавленным спрыгивавшими людьми. Два раза ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив дрожащие руки, торопливо говорил:

— Это ничего... Это ничего... Только не надо бежать, а то они откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние станичники. Они только ограбят и отпустят.

К вагону подбежали двое с винтовками, крича:

— Зз...алезай!.. Зз...алезай обратно!.. Куда выскочили?

Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то, я оступился и упал в сырую канаву. Распластавшись, быстро, как ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним, и через минуту я очутился уже наравне с тускло посвечивающим сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтовкой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда.

Один прыжок — и я уже катился вниз по скату скользкого глинистого оврага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам, еле поднимая облипшие глиной ноги.

Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени. Где-то далеко задорно перекликались петухи. С соседней поляны доносилось кваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще островки серого снега, но на солнечных просветах прошлогодняя жесткая трава была суха. Я отдыхал, куском бересты счищал с сапог пласты глины. Потом я взял пучок травы, обмакнул его в воду и вытер перепачканное грязью лицо.

Места незнакомые. Какими дорогами выбраться на ближайшую станцию? Где-то собаки лают — должно быть, деревня близко. Если пойти спросить? А вдруг нарвешься на кулацкую засаду? Спросят — кто, откуда, зачем. А у меня документ, да еще в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запрятать. А маузер? Выбросить?

Я вынул его, повертел. И жалко стало. Маленький маузер так крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил его и сунул обратно за пазуху, во внутренний, приделанный к подкладке потайной карман.

Утро было яркое, гомонливое, и мне на пенушке посреди желтой полянки не верилось тому, что есть какая-то опасность.

Пинь, пинь... таррах! — услышал я рядом с собой знакомый свист. Крупная лазоревая синица села над головой на ветку и, скосив глаза, с любопытством посмотрела на меня.

Пинь, пинь... таррах... здравствуй! — присвистнула она, перескочив с ноги на ногу.

Я невольно улыбнулся и вспомнил Тимку Штукина. Он звал синиц дурохвостками. Ведь вот, давно ли еще?.. И синицы, и кладбище, игры... А теперь поди-ка... И я нахмурил лоб. Что же делать все-таки?

Совсем недалеко щелкнул бич и послышалось мычание. «Стадо,— понял я.— Пойду-ка спрошу у пастуха дорогу. Что мне пастух сделает? Спрошу, да и скорей с глаз долой».

Небольшое стадо коров, лениво и нехотя отрывавших клочки старой травы, медленно двигалось вдоль опушки. Рядом шел старик пастух с длинной, увесистой палкой. Неторопливой и спокойной походкой гуляющего человека я подошел к нему сбоку.

— Здорово, дедушка!

— Здорово! — ответил он не сразу и, остановившись, начал оглядывать меня.

— Далече ли до станции?

— До станции? До какой же тебе станции?

Тут я замялся.

Я даже не знал, какая станция мне нужна, но старик сам выручил меня:

— До Александровки, что ли?

— Как раз же,— согласился я.— До нее самой. Я-то шел, да спутал немного.

— Откуда идешь-то?

Опять я запнулся.

— Оттуда,— насколько мог спокойно ответил я, неопределенно махая рукой в сторону видневшейся у горизонта деревушки.

— Гм... оттуда... Значит, с Деменева, что ли?

— Как раз прямо с Деменева.

Тут я услышал ворчание собаки и шаги. Обернувшись, я увидел подходившего к старику здоровенного парня, должно быть подпаска.

— Что тут, дядя Лександр? — спросил он, не переставая жевать ломоть ржаного хлеба.

— Да вот, прохожий человек... Дорогу на станцию Александровку спрашивает. А говорит, что идет сам из Деменева.

Парень опустил ломоть и, выпялив на меня глаза, спросил, недоумевая:

— Тоись как же это?

— Я уж и сам не знаю как, когда Деменево в аккурат при самой станции стоит. Что Александровка, что Деменево — все одно и то же. И как его сюда занесло?

— В село обязательно отправить надо,— спокойно посове-

товал парень.— Пусть там, на заставе, разбирают. Мало ли чего он набрешет!

Хотя я и не знал еще, что такое за застава, которая «все разберет», и как она разбирать будет, но мне уже не хотелось идти на село по одному тому, что сёла здесь были богатые и неспокойные. И потому, не дожидаясь дальнейшего, сильным прыжком отскочил от старика и побежал от опушки в лес.

Парень скоро отстал. Но проклятая собака успела дважды укусить меня за ногу. Впрочем, боли я тогда не чувствовал, как не чувствовал нахлестывания веток, растопыривших цепкие пальцы перед моим лицом, ни кочек, ни пней, попадавших под ноги.

Так проблуждал я по лесу до вечера. Лес был не дикий, так как торчали пни срубленных деревьев.

Чем больше старался я забраться вглубь, тем реже становились деревья и чаще попадались поляны со следами лошадиных копыт и навоза. Наступила ночь. Я устал, был голоден и исцарапан. Нужно было думать о ночлеге. Выбрав укромное сухое местечко под кустом, положил под голову чурбан и лег. Усталость начала сказываться. Щеки горели, и побаливала прокушенная собакой нога.

«Засну,— решил я.— Сейчас ночь, никто меня здесь не найдет. Я устал... Засну, а утром что-нибудь придумаю».

Засыпая, вспомнил Арзамас, пруд, нашу войну на плотах, свою кровать со старым теплым одеялом. Еще вспомнил, как мы с Федькой наловили голубей и изжарили их на Федькиной сковороде. Потом тайком съели. Голуби были такие вкусные...

По верхушкам деревьев засвистел ветер. Пусто и страшно показалось мне в лесу. Теплым, душистым, как жирный праздничный пирог, всплыл в моем воображении прежний Арзамас.

Я натянул на голову воротник и почувствовал, как непрошеная слеза скатилась по щеке. Я все-таки не плакал.

В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, ложился опять и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь.

Глава вторая

Опять взошло солнце, и стало тепло; затенькали пичужки, и приветливо закричали с неба веселые вереницы журавлей. Я уже улыбался и радовался тому, что ночь прошла, и не было больше никаких пасмурных мыслей, кроме разве одной — где бы достать поесть.

Не успел я пройти и двухсот шагов, как услышал гогот гусей, хрюканье свиньи и сквозь листву увидел зеленую крышу одинокого хутора.

«Подкрадусь,— решил я.— Посмотрю, если нет ничего подозрительного, спрошу дорогу и попрошу немного поесть».

Встал за кустом бузины. Было тихо. Людей не было видно, из трубы шел легкий дымок. Стайка гусей вперевалку направлялась в мою сторону. Легкий хруст обломанной веточки раздался сбоку от меня. Ноги разом напряглись, и я повернул голову. Но тотчас же испуг мой сменился удивлением. Из-за куста, в десяти шагах в стороне, на меня пристально смотрели глаза притаившегося там человека. Человек этот не был хозяином хутора, потому что сам спрятался за ветки и следил за двором. Так поглядели мы один на другого внимательно, настороженно, как два хищника, встретившиеся на охоте за одной и той же добычей. Потом по молчаливому соглашению завернули подальше в чащу и подошли один к другому.

Он был одного роста со мною. На мой взгляд, ему было лет семнадцать. Черная суконная тужурка плотно обхватывала его крепкую, мускулистую фигуру, но на ней не было ни одной пуговицы — похоже, что пуговицы были не случайно оторваны, а нарочно срезаны. К его крепким брюкам, заправленным в запачканные глиной хромовые сапоги, пристало несколько сухих колючек.

Бледное, измятое лицо с темными впадинами под глазами заставляло думать, что он, вероятно, тоже ночевал в лесу.

— Что,— сказал он негромко, кивая головой в сторону хутора,— думаешь, туда?

— Туда,— ответил я.— А ты?

— Не дадут,— проговорил он.— Я увидел уже: там трое здоровенных мужиков. Мало ли на что попасть можно!

— А тогда как же?.. Ведь есть-то надо!

— Надо,— согласился он.— Только не Христа ради. Нынче милостыню не подают. Ты кто? — спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил:— Ладно... Мы и сами достанем. Одному трудно, я пробовал уже, а вдвоем достанем. Тут, в кустах, гуси бродят, здоровые.

— Чужие?

Он посмотрел на меня, как бы удивляясь нелепости моего замечания, и добавил тихо:

— Нынче чужого ничего нет — нынче все свое. Ты зайди на полянку и гони тихонько гуся на меня, а я за кустом спрячусь.

Наметив отбившегося от стайки толстого серого гуся, я преградил ему дорогу. Гусь повернулся и неторопливо пошел прочь, иногда останавливаясь и тыкаясь клювом в землю. Шаг за ша-

гом я подвигался, загоняя его к месту засады. Вот он почти поравнялся с кустом и вдруг, насторожившись, изогнул шею и посмотрел в мою сторону, как бы озадаченный настойчивостью моего преследования. Постояв немного, он решительно направился назад, но тут с быстротою кота, бросающегося за выслеженным воробьем, незнакомец метнулся из-за куста и крепко впился руками в гусиную шею. Птица едва успела крикнуть. Загоготало разом встревоженное стадо, и незнакомец с трепыхавшимся гусем бросился в чащу. Я за ним.

Долго гусь еще хлопал крыльями, дергал лапами и, обессиленный, затих только тогда, когда мы очутились в укромном глухом овраге. Тогда незнакомец отшвырнул гуся и, доставая табак, сказал, тяжело дыша:

— Хватит. Здесь можно и остановиться.

Новый товарищ вынул перочинный нож и стал молча потрошить гуся, изредка поглядывая в мою сторону.

Я набрал хворосту, навалил целую груду и спросил:

— Спички есть?

— Возьми,— и окровавленными пальцами он осторожно протянул коробок.— Не трать много.

Тут я как следует разглядел его. Налет пыли, осевший на коже, не мог скрыть ровной белизны подвижного лица. Когда он говорил, правый уголок его рта чуть вздрагивал и одновременно немного прищуривался левый глаз. Он был старше меня года на два и, по-видимому, сильнее. Пока украденный гусь жарился на вертеле, распространяя вокруг мучительно аппетитный запах, мы лежали на траве.

— Курить хочешь? — спросил незнакомец.

— Нет, не курю.

— Ты в лесу ночевал?.. Холодно,— добавил он, не ожидая ответа.— Ты как сюда попал? Тоже оттуда? — И он махнул рукой в сторону полотна железной дороги.

— Оттуда. Я убежал с поезда, когда его остановили.

— Документы проверяли?

— Нет,— удивился я.— Какие там документы — бандиты напали.

— А-а-а...— И он молча запыхтел папироской.— Ты куда пробираешься? — после долгого молчания неожиданно спросил он.

— Я на Дон...— начал было я и замолчал.

— На До-он? — протянул он привставая.— Ты... на Дон?

Быстрая и недоверчивая улыбка пробежала по его тонким потрескавшимся губам, прищуренные глаза широко раскрылись, но тотчас потухли, лицо его стало равнодушным, и он спросил лениво:

— Что же, у тебя там родные, что ли?

— Родные...— ответил я осторожно, потому что почувствовал, как он старается выпытать все обо мне, а сам умышленно остается в тени.

Он опять замолчал, повернул на другой бок гуся, с которого скатывались капли шипящего жира, и сказал спокойно:

— Я тоже в те места пробираюсь, только не к родным, а в отряд к Сиверсу.

Он рассказал мне, что учился в Пензе, приехал к дяде-учителю в находившуюся неподалеку отсюда волость, но в волости восстали кулаки, и он еле успел убежать.

Уплетая разорванного на части, обгоревшего и пахнувшего дымом гуся, мы долго и дружески болтали с ним.

Я был счастлив, что нашел себе товарища. Прибавилось сразу бодрости, и казалось, что теперь вдвоем нетрудно будет выкрутиться из ловушки, в которую мы оба попали.

— Ляжем спать, пока солнце,— предложил новый товарищ.— Сейчас хоть выспимся, а то ночью из-за холода глаз не сомкнуть.

Мы растянулись на лужайке, и вскоре я задремал. Вероятно, я и уснул бы, если бы не муравей, заползший мне в ноздрю. Я приподнялся и зафыркал. Товарищ уже спал. Ворот его гимнастерки был расстегнут, и на холщовой подкладке я увидел вытисненные черной краской буквы: Гр. А. К. К.

«Какое же это училище? — подумал я.— У меня, например, на пряжке пояса буквы: А. Р. У., то есть Арзамасское реальное училище. А здесь Гр., потом А. К. К.— И так я прикладывал и этак — ничего не выходило.— Спрошу, когда проснется»,— решил я.

После жирной еды мне захотелось пить. Воды поблизости не было, я решил спуститься на дно оврага, где, по моим предположениям, должен был пробегать ручей. Ручей я нашел, но из-за вязкого берега подойти к нему было трудно. Я пошел вниз, надеясь разыскать более сухое место. По дну оврага, параллельно течению ручья, пролегала неширокая проселочная дорога. На сырой глине я увидел отпечатки лошадиных подков и свежий конский навоз. Похоже было на то, что утром здесь прогоняли табун.

Наклонившись, чтобы поднять выпущенную из рук палочку, я заметил на дороге какую-то блестящую, втоптанную в грязь вещичку. Я поднял ее и вытер. Это была сорванная с зацепки жестяная красная звездочка, одна из тех непрочных, грубовато сделанных звездочек, которые красными огоньками горели в восемнадцатом году на папахах красноармейцев, на блузах рабочих и большевиков.

«Как она очутилась здесь?» — подумал я, внимательно оглядывая дорогу. И, опять наклонившись, заметил пустую гильзу от трехлинейной винтовки.

Позабыв даже напиться, я понесся обратно к оставшемуся товарищу. Товарищ почему-то не спал и стоял возле куста, осматриваясь по сторонам и, по-видимому, разыскивая меня.

— Красные! — крикнул я во все горло, подбегая к нему сбоку.

Он отпрыгнул согнувшись, как будто сзади него раздался выстрел, и обернулся ко мне с перекошенным от страха лицом.

Но, увидев только одного меня, он выпрямился и сказал сердито, пытаясь объяснить как-нибудь свой испуг:

— Черт... гаркнул под самое ухо...

— Красные,— гордо повторил я.

— Где красные? Откуда?

— Сегодня утром проходили. По всей дороге следы от подков, навоз совсем свежий... Гильза стреляная и это.— Я протянул ему звездочку.

Товарищ облегченно вздохнул:

— Ну, так бы и говорил.— И опять добавил, как бы оправдываясь:— А то кричит... Я черт знает что подумал.

— Идем скорей... идем по той же дороге. Дойдем до первой деревни, они, может быть, там еще отдыхают. Идем же,— торопил я,— чего раздумывать?

— Идем,— согласился он, как мне показалось, после некоторого колебания.— Да, да, конечно, идем.

Он провел рукой по шее, и опять передо мной мелькнули буквы на холщовой подкладке: Гр. А. К. К.

— Слушай,— спросил я,— что означают у тебя эти буквы?

— Какие еще буквы? — недовольно спросил он, наглухо застегиваясь.

— А на воротнике?

— Черт их знает. Это не мой костюм. Я купил его по случаю.

— А-а... А я бы никогда не сказал, что по случаю,— весело, шагая рядом с ним, говорил я.— Костюм как нарочно по тебе сшит. Мне раз мать купила штаны по случаю, так сколько, бывало, ни подтягивай, всё сваливаются.

Чем ближе мы подходили к незнакомой деревеньке, тем чаще и чаще останавливался мой товарищ.

— Нечего торопиться,— убеждал он,— вечером, в сумерках, удобнее подойти будет. В случае если отряда там нет, нас никто не заметит. Пройдем задами, да и только. А то сейчас чужому человеку в незнакомой местности опасно.

Я соглашался с ним, что в сумерках разведать безопаснее, но меня брало нетерпение скорее попасть к своим, и я еле сдерживал шаг.

Не доходя до деревеньки, мой спутник остановился у заросшей кустарником лощины, предложил свернуть с дороги и обсудить, как быть дальше. В кустах он сказал мне:

— Я так думаю, что вдвоем на рожон переть нечего. Давай — один останется здесь, а другой проберется огородами к деревне и разузнает. Меня что-то сомнение берет. Тихо уж очень, и собаки не лают. Красных там, может, и нет, а кулачье с винтовками найдется.

— Давай тогда вдвоем проберемся.

— Вдвоем хуже. Чудак! — И он дружески похлопал меня по плечу.— Ты останься, а я и один как-нибудь управлюсь, а то зачем тебе понапрасну рисковать? Ты ожидай меня здесь.

«Хороший парень,— подумал я, когда он ушел.— Странный немного, а хороший. Иной бы опасное на другого свалил или предложил жребий тянуть, а этот сам идти вызвался».

Вернулся он через час — раньше, чем я ожидал. В руках его была увесистая, по-видимому только что срезанная и обструганная дубинка.

— Скоро ты! — крикнул я.— Ну что же?

— Нету,— еще издалека замотал он головой.— И нет и не было вовсе! Должно быть, красные завернули на другую дорогу, к Суглинкам, это недалеко отсюда.

— Да хорошо ли ты узнал? — переспросил я упавшим голосом.— Неужели так и нет?

— Так-таки и нет. Мне в крайней избе старуха сказала, да еще мальчишка в огороде попался, тот тоже подтвердил. Видно, брат, заночуем здесь, а завтра дальше вслед.

Я опустился на траву и задумался. И тут-то подкралось ко мне мое первое сомнение в правдивости слов моего спутника. Смутила меня его палка. Палка была тяжелая, дубовая, вырезанная налобком, то есть с шишкой на конце. Видно было, что он вырезал ее только что. До деревни отсюда около часа ходьбы. Если крадучись пробираться да порасспросить и вернуться, тут как раз в два часа еле-еле управишься, а он ходил никак не больше часа и за это время успел еще дубовую палку вырезать и обделать. А над нею одной с перочинным ножом возни не меньше получаса! Неужели он струсил, ничего не разузнал и просидел все время в кустах? Нет, не может быть, он же сам вызвался идти разузнать. Зачем же тогда было ему вызываться? Да он и не похож на труса. Конечно, страшно, нечего и говорить, но ему самому надо ведь как-то выбраться.

Натаскали охапку сухих листьев и улеглись рядом, укрывшись моим пальто. Так лежали молча с полчаса. Сырость от земли начинала холодить бок. «Листьев набрали мало»,— подумал я и поднялся.

— Ты чего? — полусонным недовольным голосом спросил товарищ.— Чего тебе не спится?

— Сыро... Ты лежи, я сейчас еще охапки две подброшу...

Рядом листву мы уже подобрали, и я пошел в кусты, поближе к дороге. Луна только еще всходила, и в темноте было трудно разобраться. Попадались под руку сучья и ветки. Тихий стук донесся со стороны дороги. Кто-то не то шел, не то ехал. Бросив охапку и стараясь не задевать веток, я направился к дороге.

По сырой, мягкой земле неторопливо и почти бесшумно продвигалась крестьянская подвода. Разговаривали вполголоса двое.

— Да ведь как сказать,— спокойно говорил один.— Да ведь если разобраться, он, может, и правильно говорил.

— Командир-от? — переспросил другой.— Конешно, может, и правильно. Да кабы они тут постоянно стояли, а то нынче приехали, поговорили — и дальше. А там придут опять наши заправилы и хотя бы мне, к примеру, скажут: «Ах, такой-разэдакий, ты кулаков показывал, душа из тебя вон!» Красным что... Побыли, а сегодня опять подводы наряжают, а наши-то всегда около. Вот тут и почеши затылок!

— Подводы наряжают?

— А то как же. С вечеру стучал Федор, солдат ихний, чтобы, значит, к двенадцати подводу.

Голоса стихли. Я стоял, не зная, что думать. Значит, правда: значит, красные все-таки в деревне. Значит, мой спутник обманул меня. Красные уезжают, а потом ищи их опять. Надо скорее. Но зачем он обманул меня?

Первою мыслью было броситься одному и бежать по дороге в деревню. Но тут я вспомнил, что пальто мое осталось на полянке. «Надо все-таки вернуться, успею еще. Да и этому сказать надо, хоть он и трус, а все-таки свой же».

Сбоку шорох. Я увидел, что мой товарищ выходит из-за кустов. Очевидно, он пошел вслед за мной и, так же спрятавшись, подслушивал разговор проезжавших мужиков.

— Ты что же это?..— укоризненно и сердито начал было я.

— Идем! — вместо ответа возбужденно проговорил он.

Я сделал шаг в сторону дороги, он — за мной.

Сильный удар дубины сбил меня с ног. Удар был тяжел, хотя его и ослабила моя меховая шапка. Я открыл глаза. Опустившись на корточки, мой спутник торопливо разглядывал при лунном свете вытащенный из кармана моих штанов документ.

«Вот что ему нужно было,— понял я.— Вот оно что: он вовсе не трус, он знал, что в деревне красные, и нарочно не сказал этого, чтобы оставить меня ночевать и обокрасть. Он даже и не повстанец, потому что сам боится кулаков, он — настоящий белый».

К стр. 107

Я сделал попытку привстать, с тем чтобы отползти в кусты. Незнакомец заметил это, сунул документы в свою кожаную сумку и подошел ко мне.

— Ты не сдох еще? — холодно спросил он.— Собака, нашел себе товарища! Я бегу на Дон, только не к твоему собачьему Сиверсу, а к генералу Краснову.

Он стоял в двух шагах от меня и помахивал тяжелой дубиной.

Тук-тук...— стукнуло сердце. Тук-тук...— настойчиво заколотилось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной карман, где был спрятан маузер.

Если незнакомец даже и заметил движение моей руки, он не обратил на это внимания, потому что не знал ничего про маузер. Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько сдернул предохранитель. В это время мой враг отошел еще шага на три — то ли затем, чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего затем, чтобы с разбегу еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека.

Я видел, как внезапно перекосилось его лицо, слышал, как он крикнул, бросаясь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, я нажал спуск...

Он лежал в двух шагах от меня со сжатыми кулаками, вытянутыми в мою сторону. Дубинка валялась рядом.

«Убит»,— понял я и уткнул в траву отупевшую голову, гудевшую, как телефонный столб от ветра.

Так, в полузабытьи, пролежал я долго. Жар спал. Кровь отлила от лица, неожиданно стало холодно, и зубы потихоньку выбивали дробь.

Я приподнялся, посмотрел на протянутые ко мне руки, и мне стало страшно. Ведь это уже всерьез! Все, что происходило в моей жизни раньше, было, в сущности, похоже на игру, даже побег из дома, даже учеба в боевой дружине со славными сормовцами, даже вчерашнее шатанье по лесу, а это уже всерьез. И страшно стало мне, пятнадцатилетнему мальчугану, в черном лесу рядом с по-настоящему убитым мною человеком... Голова перестала шуметь, и холодной росой покрылся лоб.

Подталкиваемый страхом, я поднялся, на цыпочках подкравшись к убитому, схватил валявшуюся на траве сумку, в которой был мой документ, и задом, не спуская с лежавшего глаз, стал пятиться к кустам. Потом обернулся и напролом через кусты побежал к дороге, к деревне, к людям — только бы не оставаться больше одному.

Глава третья

У первой хаты меня окликнули:

— Кого черт несет? Эй, хлопец! Да стой же ты, балда этакая!

Из тени от стены хаты отделилась фигура человека с винтовкой и направилась ко мне.

— Куда несешься? Откуда? — спросил дозорный, поворачивая меня лицом к лунному свету.

— К вам...— тяжело дыша, ответил я.— Ведь вы товарищи...

Он перебил меня:

— Мы-то товарищи, а ты кто?

— Я тоже...— отрывисто начал было я. И, почувствовав, что не могу отдышаться и продолжать говорить, молча протянул ему сумку.

— Ты тоже? — уже веселее, но еще с недоверием переспросил дозорный.— Ну, пойдем тогда к командиру, коли ты тоже!

Несмотря на поздний час, в деревне не спали. Ржали кони. Скрипели распахиваемые ворота — выезжали крестьянские подводы, и кто-то орал рядом:

— До-ку-кин!.. До-ку-кин!.. Куда ты, черт, делся?

— Чего, Васька, горланишь? — строго спросил мой конвоир, поравнявшись с кричавшим.

— Да Мишку ищу,— рассерженно ответил тот.— Нам сахар на двоих выдали, а ребята говорят, что его с караулом к эшелону вперед отсылают.

— Ну и отдаст завтра.

— Отдаст, дожидайся! Будет утром чай пить и сопьет зараз. Он на сладкое падкий!

Тут говоривший заметил меня и, сразу переменив тон, спросил с любопытством:

— Кого это ты, Чубук, поймал? В штаб ведешь? Ну, веди, веди. Там ему покажут. У, сволочь...— неожиданно выругал он меня и сделал движение, как бы намереваясь подтолкнуть меня концом приклада.

Но мой конвоир отпихнул его и сказал сердито:

— Иди, иди... Тебя тут не касается. Нечего на человека допрежь времени лаять. Вот кобель, ей-богу, истинный кобель!

Дзинь-дзинь!.. Дзик-дзак!..— послышался металлический лязг сбоку. Человек в черной папахе, при шпорах, с блестящим волочившимся палашом, с деревянной кобурой маузера и нагайкой, перекинутой через руку, выводил коня из ворот.

Рядом шел горнист с трубой.

— Сбор,— сказал человек, занося ногу в стремя.

Та-та-ра-та... тата...— мягко и нежно запела сигнальная труба.— Та-та-та-та-а-а...

— Шебалов,— окрикнул мой провожатый,— погодь! Вот до тебя человека привел.

— На што? — не опуская занесенной в стремя ноги, спросил тот.— Что за человек?

— Говорит, что наш, свой, значит... и документы...

— Некогда мне,— ответил командир, вскакивая на коня.— Ты, Чубук, и сам грамотный, проверь... Коли свой, так отпусти, пусть идет с богом.

— Я никуда не пойду,— заговорил я, испугавшись возможности опять остаться одному.— Я и так два дня один по лесам бегал. Я к вам пришел. И я с вами хочу остаться.

— С нами? — как бы удивляясь, переспросил человек в черной папахе.— Да ты, может, нам и не нужен вовсе!

— Нужен,— упрямо повторил я.— Куда я один пойду?

— А верно ж! Если вправду свой, то куда он один пойдет? — вступился мой конвоир.— Нынче одному здесь прогулки плохие. Ты, Шебалов, не морочь человеку голову, а разберись. Когда врет, так одно дело; а если свой, так нечего от своего отпихиваться. Слазь с жеребца-то, успеешь.

— Чубук! — сурово проговорил командир.— Ты как разговариваешь? Кто этак с начальником разговаривает? Я командир или нет? Командир я, спрашиваю?

— Факт! — спокойно согласился Чубук.

— Ну, так тогда я и без твоих замечаний слезу.

Он соскочил с коня, бросил поводья на ограду и, громыхая палашом, направился в избу.

Только в избе, при свете сальной коптилки, я разглядел его как следует. Бороды и усов не было. Узкое, худощавое лицо его было коряво. Густые белесоватые брови сходились на переносице, из-под них выглядывала пара добродушных глаз, которые он нарочно щурил, очевидно для того, чтобы придать лицу надлежащую суровость. По тому, как долго он читал мой документ и при этом слегка шевелил губами, я понял, что он не особенно грамотен.

Прочитав документ, он протянул его Чубуку и сказал с сомнением:

— Ежели не фальшивый документ, то, значит, настоящий. Как ты думаешь, Чубук?

— Ага,— спокойно согласился тот, набивая махоркой кривую трубку.

— Ну, а как ты сюда попал? — спросил командир.

Я начал рассказывать горячо и волнуясь, опасаясь, что мне не поверят. Но, по-видимому, мне поверили, потому что, когда я кончил, командир перестал щурить глаза и, обращаясь к Чубуку, проговорил добродушно:

— А ведь если не врет, то, значит, вправду наш паренек! Как тебе показалось, Чубук?

— Угу,— спокойно подтвердил Чубук, выколачивая пепел о подошву сапога.

— Ну, так что же мы будем с ним делать-то?

— А мы зачислим его в первую роту, и пускай ему Сухарев даст винтовку, которая осталась от убитого Пашки,— подсказал Чубук.

Командир подумал, постучал пальцами по столу и приказал серьезно:

— Так сведи же его, Чубук, в первую роту и скажи Сухареву, чтобы дал он ему винтовку, которая осталась от убитого Пашки, а также патронов, сколько полагается. Пусть он внесет этого человека в списки нашего революционного отряда.

Дзинь-дзинь!.. Дзик-дзак!..— лязгнул палаш, шпоры и маузер. Распахнув дверь, командир неторопливо спустился к коню.

— Идем,— сказал солидный Чубук и неожиданно потрепал меня по плечу.

Снова труба сигналиста мягко, переливчато запела. Громче зафыркали кони, сильней заскрипели подводы. Почувствовав себя необыкновенно счастливым, я улыбался, шагая к новым товарищам. Всю ночь мы шли. К утру погрузились в поджидавший нас на каком-то полустанке эшелон. К вечеру прицепили ободранный паровоз, и мы покатили дальше, к югу, на помощь отрядам и рабочим дружинам, боровшимся с захватившими Донбасс немцами, гайдуками и красновцами.

Наш отряд носил гордое название: «Особый отряд революционного пролетариата». Бойцов в нем оказалось немного, человек полтораста. Отряд был пеший, но со своей конной разведкой в пятнадцать человек под командой Феди Сырцова. Всем отрядом командовал Шебалов — сапожник, у которого еще пальцы не зажили от порезов дратвой и руки не отмылись от черной краски. Чудной был командир! Ребята относились к нему с уважением, хотя и посмеивались над некоторыми его слабостями. Одной его слабостью была любовь к внешним эффектам: конь был убран красными лентами, шпоры (и где он их только выкопал, в музее, что ли?) были неимоверной длины, изогнутые, с зубцами,— такие я видел только на картинках с изображением средневековых рыцарей; длинный никелированный палаш спускался до земли, а в деревянную покрышку маузера была врезана медная пластинка с вытравленным девизом: «Я умру, но и ты, гад, погибнешь!» Говорили, что дома у него осталась жена и трое ребят. Старший уже сам работает. Дезертировав после Февраля с фронта, он сидел и тачал сапоги, а когда юнке-

ра начали громить Кремль, надел праздничный костюм, чужие, только что сшитые на заказ хромовые сапоги, достал на Арбате у дружинников винтовку и с тех пор, как выражается он, «ударился навек в революцию».

Глава четвертая

Через три дня, не доезжая немного до станции Шахтной, отряд спешно выгрузился. Примчался откуда-то молодой парнишка-кавалерист, сунул Шебалову пакет и сказал, улыбаясь, точно сообщая какую-то приятную новость:

— А вчера уйму наших немцы у Краюшкова положили. Беда прямо, какая жара была!

Отряду была дана задача: минуя разбросанные по деревенькам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим отрядом донецких шахтеров Бегичева.

— А что же связаться? — недовольно проговорил Шебалов, тыкая пальцем в карту.— Где я тот отряд искать буду? На-кася, написали: между Олешкином и Сосновкой! Ты мне точно место дай, а то «связаться» да еще «между»...

Тут Шебалов выругал штабных начальников, которые ни черта не смыслят в деле, а только горазды приказы писать, и велел скликать ротных командиров. Однако, несмотря на ругань по адресу штабников, Шебалов был доволен тем, что получил самостоятельную задачу и не был подчинен какому-нибудь другому, более многочисленному отряду.

Командиров было трое: бритый и спокойный чех Галда, хмурый унтер Сухарев и двадцатитрехлетний весельчак, гармонист и плясун, бывший пастух Федя Сырцов. Все они расположились на полянке вокруг карты, посреди плотного кольца обступивших красноармейцев.

— Ну,— сказал Шебалов, приподнимая бумагу.— Согласно, значит, полученному мною приказу, приходится идти нам в неприятельский тыл, чтобы действовать вблизи отряда Бегичева, и должны мы выступить сегодня в ночь, минуя и не задевая встречных неприятельских отрядов. Понятно вам это?

— Ну, уж и не задевая! Как же это можно, чтобы не задевая? — с хитроватой наивностью спросил Федя Сырцов.

— А так и не задевая,— настороженно повернув голову, ответил Шебалов и показал Феде кулак.— Я тебя, черта, знаю... Я тебе задену! Ты у меня смотри, чтобы без фокусов... Значит, в ночь выступаем,— продолжал он.— Подвод никаких, пулемет и патроны на вьюки, чтобы ни шуму, ни грому. Ежели деревень-

ка какая на пути — обходить осторожно, а не рваться до нее, как голодные собаки до падали. Это тебя, Федор, особенно касается. У тебя твои байбаки, ежели хутор хоть в стороне заметят, все им нипочем, так и прут на сметану.

— У мине тоже прут,— сознался чех Галда.— У мине прошлый рас расфедчики катку с сирой теста приносиль. Я им говориль: «Защем притащиль сирой?», а они мине говориль: «На огонь пекать будем...»

Все рассмеялись, и даже Шебалов улыбнулся.

— Это за Дебальцевом еще,— засмеялся рядом со мной Васька Шмаков.— Это он про нас жалуется. Мы в разведку ходили, к казаку попали; богатый казак. Как нас из его халупы стеганули из винтовок, ну, да только все равно мы доперли до хутора, смотрим, а там никого уже. Печь топится, квашня на столе. Мы запалили хутор, квашню с собой забрали; потом вечером на кострах запекли. Вкусное тесто, сдобное... чистый кулич.

— Сожгли хутор? — переспросил я.— Разве можно хутор сжигать?

— Дочиста,— хладнокровно ответил Васька.— Как же нельзя, раз из него по нас хозяева стрельбу открыли? Они, казаки, вредные. Он богатый, ему што — новый строить начнет, чем гайдамачничать.

— А ежели еще больше обозлится и еще больше за это красных ненавидеть будет?

— Больше не будет,— серьезно ответил Васька.— Который богатый, тому больше ненавидеть уже некуда! У нас Петьку Кокшина поймали, так прежде, чем погубить, три дня плетьми тиранили. А ты говоришь — больше... Куда же еще больше-то?

Перед ночным походом ребята варили в котелках кашу с салом, пекли на углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке у ротного Сухарева я увидел лишнюю старую шинель. Подол ее был прожжен, но шинель была еще крепкая и годная к носке. Я попросил ее у Сухарева.

— На што она тебе? — спросил он грубовато.— У тебя ж свое пальто, да еще драповое, мне шинелька самому нужна. Я из нее себе штаны сошью.

— А ты сшей из моего,— предложил я,— честное слово... А то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона.

— Ну-у! — Тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня. Его мужиковатое, топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку.— Сменяешь? Конешно,— быстро заговорил он.— И на самом деле, какой же ты солдат в пальто? И виду никакого вовсе. Шинелька не смотри, что прожжена немного, ее обкоротить

можно. А я тебе в придачу серую папаху дам, у меня осталась лишняя.

Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца, с закинутой за плечо винтовкой отходил от него, он сказал подошедшему Ваське:

— Обязательно, как будет случай, бабе отошлю. Ему на што оно? Стукнет пуля — вот тебе и все пальто спортила, а дома баба куда как рада будет!

Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух, для того чтобы не попал отряд на чужую, вражью дорогу. Проводников разделили порознь, и когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого, и только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути. Шли сначала лесом по два, поминутно натыкаясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернули с дороги в рощу. Выбрались на поляну и решили отдыхать: дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги, в гуще малинника, оставили секрет, а к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки.

Мимо прошел озабоченный Шебалов. Рядом упругой, крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева.

До меня долетели слова:

— Разведку по оврагу.

— Конных?

— Конных нельзя, заметно слишком. Пошли трех своих, Сухарев.

— Чубук,— негромко, как бы спрашивая, сказал Шебалов,— ты за старшего пойдешь. С собой Шмакова возьми и еще выбери какого-нибудь понадежнее.

— Возьми меня, Чубук,— тихо попросил я.— Я буду очень надежным.

— Возьми Симку Горшкова,— предложил Сухарев.

— Меня, Чубук,— зашептал я опять,— возьми меня... Я буду самый надежный.

— Угу! — сказал Чубук и мотнул головой.

Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный пристальным, недоверчивым взглядом Сухарева.

— Зачем его берешь? — спросил он Чубука.— Он тебе все дело испортить может — возьми Симку.

— Симку? — переспросил, как бы раздумывая, Чубук и, чиркая спичкой, закурил.

«Дурак! — бледнея от обиды и ненависти к Сухареву, прошептал я про себя.— Как он может при всех так отзываться обо мне? А не возьмут, так я нарочно сам проберусь... Нарочно до самой деревни, все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сдохнет от досады!»

Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин четыре патрона, пятый дослал в ствол и, поставив на предохранитель, сказал равнодушно, точно не чувствуя, как важно для меня его решение:

— Симку? Что ж, можно и Симку.— Он поправил патронташ и, взглянув на мое побледневшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато: — Да что ж Симку... Он... и этот постарается, коли у него есть охота. Пошли, парень!

Я кинулся к опушке.

— Стой! — строго остановил меня Чубук.— Не жеребцуй, это тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня одну. Погоди, да не суй ее в карман рукояткой, станешь вынимать, кольцо сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх, ты,— добавил он уже мягко,— белая горячка!

Глава пятая

— Пробирайся по правому скату,—приказал Чубук.—Шмаков пойдет по левому, я — вниз посередке. Как что заметите, так мне знак подавайте.

Мы стали медленно продвигаться.

Через полчаса на краю левого ската, чуть-чуть позади, я увидел Шмакова. Он шел согнувшись, немного выставив голову вперед. Обыкновенно добродушно-плутоватое, лицо его было сейчас серьезно и зло.

Овраг сделал изгиб, и я потерял из виду и Шмакова и Чубука. Я знал, что они где-то здесь, неподалеку, так же как и я, продвигаются, укрываясь за кусты, и сознание того, что, несмотря на кажущуюся разрозненность, мы крепко связаны общей задачей и опасностью, подкрепляло меня. Овраг расширился. Заросли пошли гуще. Опять поворот, и я пластом упал на землю.

По широкой, вымощенной камнем дороге, пролегавшей всего в сотне шагов от правого ската, двигался большой кавалерийский отряд. Вороные, на подбор сытые кони бодро шагали под всадниками; впереди ехали три или четыре офицера. Как раз напротив меня отряд остановился, командир вынул карту и стал рассматривать ее.

Пятясь задом, я полз вниз и обернулся, отыскивая взглядом Чубука, с тем чтобы скорее подать ему условный сигнал.

Было страшно, но все-таки успела промелькнуть горделивая мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой, а я первый открыл неприятеля.

«Где же Чубук? — подумал я с тревогой, поспешно оглядываясь по сторонам.— Что же это он?» Я уже хотел скатиться вниз и разыскать его, как внимание мое привлек чуть шевелившийся куст на левом скате оврага.

С противоположного ската, осторожно высунувшись из-за ветвей, Васька Шмаков подавал мне рукой какие-то непонятные, но тревожные сигналы, указывая на дно оврага.

Сначала я думал, что он приказывает мне спуститься вниз, но, следуя взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал голову.

По густо разросшемуся дну оврага шел белый солдат и вел в поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из дозорных флангового разъезда, охраняющего движение колонны, но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки. Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами. Мне виден был только Васька. Но Ваське, очевидно, с противоположной стороны было видно еще что-то, скрытое от меня.

Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю, и держал вытянутую в мою сторону руку, предупреждая, чтобы я не двигался, и в то же время смотрел вниз, приготовившись прыгнуть.

Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться. Кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь. В тот же момент Васька широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них я узнал Чубука, в другом — неприятельского солдата.

Не помню даже, как я очутился возле них. Чубук был внизу, он держал за руки белого, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того чтобы сшибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжел и отпихнул меня. Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Белый вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись, появился до пояса мокрый Васька и четким учебным приемом на скаку сбил солдата прикладом.

Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы.

— Васька! — хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой на щипавшего траву коня.

— Ага,— ответил Васька и, схватив тащившийся по земле повод, дернул его к себе.

— С собой,— так же быстро проговорил Чубук, указывая на оглушенного гайдамака.

Васька понял его.

— Вяжи руки!

Чубук поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося солдата.

— Бери за ноги! — крикнул он мне.— Живее, шкура! — выругался он, заметив мое замешательство.

Перевалили пленника через спину лошади. Васька вскочил в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался назад по неровному дну оврага.

— Сюда! — прохрипел мне багровый и потный Чубук, дергая меня за руку.— Кати за мной!

И, цепляясь за сучья, он полез наверх.

— Стой,— сказал он, останавливаясь почти у края,— сиди!

Только-только успели мы притаиться за кустами, как внизу показалось сразу пятеро всадников. Очевидно, это и было ядро флангового разъезда. Всадники остановились оглядываясь: очевидно, они искали своего товарища. Громкие ругательства понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один соскочил с коня и поднял что-то. Это была шапка солдата, впопыхах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговорили, и один из них, по-видимому старший, протянул руку вперед.

«Догонят Ваську,— подумал я,— у него ноша тяжелая. Их пятеро, а он один».

— Бросай вниз бомбу! — услышал я приказание и увидел, как в руке Чубука блеснуло что-то и полетело вниз.

Тупой грохот ошеломил меня.

— Бросай! — крикнул Чубук и тотчас же рванул мою занесенную руку, выхватил мою бомбу и, щелкнув предохранителем, швырнул ее вниз.— Дура! — рявкнул он мне, совершенно оглушенному взрывами и ошарашенному быстрой сменой неожиданных опасностей.— Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил!

Мы бежали по свежевспаханному вязкому огороду. Белые, очевидно, не могли через кусты верхами вынестись по скату наверх и, наверно, выбирались спешившись. Мы успели добежать до другого оврага, завернули в одно из ответвлений, опять побежали по полю, затем попали в перелесок и ударились напрямик в чащу. Далеко, где-то сзади, послышались выстрелы.

— Не Ваську нагнали? — дрогнувшим, чужим голосом спросил я.

— Нет,— ответил Чубук прислушиваясь,— это так... после времени досаду срывают. Ну, понатужься, парень, прибавим еще ходу! Теперь мы им следы запутаем.

Мы шли молча. Мне казалось, что Чубук сердится и презирает меня за то, что я, испугавшись, выронил винтовку и по-мальчишески нелепо укусил солдата за палец, что у меня дрожали руки, когда взваливали пленника на лошадь, и, главное, за то, что я растерялся и не сумел даже бросить бомбу. Еще стыднее и горше становилось мне при мысли о том, что Чубук расскажет обо мне в отряде и Сухарев обязательно поучительно вставит: «Говорил я тебе, не связывайся с ним; взял бы Симку, а то нашел кого!» Слезы обиды и злости на себя, на свою трусость вот-вот готовы были пролиться из глаз.

Чубук остановился, вынул кисет с махоркой, и, пока он набивал трубку, я заметил, что пальцы Чубука тоже чуть-чуть дрожат. Он закурил, затянулся несколько раз с такой жадностью, как будто пил холодную воду, потом сунул кисет в карман, потрепал меня по плечу и сказал просто и задорно:

— Что... живы, брат, остались? Ничего, Бориска, парень ты ничего. Как это ты его за руку зубами тяпнул! — И Чубук добродушно засмеялся.— Прямо как чистый волчонок тяпнул. Что ж, не всё одной винтовкой — на войне, брат, и зубы пригодиться могут!

— А бомбу...— виновато пробормотал я.— Как же это я ее с предохранителем хотел?

— Бомбу? — улыбнулся Чубук.— Это, брат, не ты один, это почти каждый непривыкший обязательно неладно кинет; либо с предохранителем, либо вовсе без капсюля. Я, когда сам молодой был, так же бросал. Ошалеешь, обалдеешь, так тут не то что предохранитель, а и кольцо-то сдернуть позабудешь. Так вроде бы как булыжником запустишь — и то ладно. Ну, пошли... Идти-то нам еще далеко!

Дальнейший путь до стоянки отряда мы прошли и легко и без устали. На душе было спокойно и торжественно, как после школьного экзамена. Никогда ничего обидного больше Сухарев обо мне не скажет.

Доскакавши до стоянки отряда, Васька сдал оглушенного пленника командиру. К рассвету белый очухался и показал на допросе, что полотно железной дороги, которое нам надо было пересекать, охраняет бронепоезд, на полустанке стоит немецкий батальон, а в Глуховке расквартирован белогвардейский отряд под командой капитана Жихарева.

Яркая зелень пахнула распустившейся черемухой. Отдохнув-

шие ребята были бодры и казались даже беззаботными. Вернулся из разведки Федя Сырцов со своими развеселыми кавалеристами и сообщил, что впереди никого нет и в ближайшей деревеньке мужики стоят за красных, потому что третьего дня вернулся в деревню бежавший в начале октября помещик и ходил с солдатами по избам, разыскивая добро из своего имения. Всех, у кого дома нашли барские вещи, секли на площади перед церковью жестче, чем в крепостное время, и потому приходу красных крестьяне будут только рады.

Напившись и закусив шматком сала, я поднялся и направился туда, где возле пленника толпилась куча красноармейцев.

— Эге! — приветливо крикнул мне встретившийся Васька Шмаков, вытирая рукавом шинели лицо, взмокшее после осушенного котелка кипятку.— Ты что же это, брат, вчера-то, а?

— Что вчера?

— Да винтовку-то кинул.

— А ты чего первый со ската прыгнул, а после меня на помощь прибежал? — задорно огрызнулся я.

— Я, брат, как сигнул, да прямо в болото, насилу ноги вытащил, оттого и после. А ловко мы все-таки... Я как заслышал, что сзади дернули бомбой, ну, думаю, каюк вам с Чубуком. Ейбогу, так и думал — каюк. Прискакал к своим и говорю: «Влопались наши, должно, не выберутся». А сам про себя еще подумал: «Вот, мол... не хотел мне сумку сменять, а теперь она белым задаром достанется!» Хорошая у тебя сумка.— И он потрогал перекинутый через плечо ремень плоской сумочки, которую я захватил еще у убитого мною незнакомца.— Ну и наплевать на твою сумку, если не хочешь сменять,— добавил он.— У меня прошлый месяц еще почище была, только продал ее, а то подумаешь какой, сумкой зазнался! — И он презрительно шмыгнул носом.

Я смотрел на Ваську и удивлялся: такое у него было глуповатое красное лицо, такие развихлястые движения, что никак не похоже было на то, что это он вчера с такой ловкостью полз по кустам, выслеживал белых и с яростью стегал непослушного коня, когда мчался с прихваченным к седлу пленником.

Красноармейцы суетились, заканчивая завтрак, застегивали гимнастерки, оборачивали портянками отдохнувшие ноги. Вскоре отряд должен был выступать.

Я был уже готов к походу и поэтому пошел к опушке посмотреть на распустившиеся кусты черемухи. Шаги, раздавшиеся сбоку, привлекли мое внимание. Я увидел захваченного гайдамака, позади него трех товарищей и Чубука.

«Куда это они идут?» — подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника.

— Стой! — скомандовал Чубук, и все остановились.

Взглянув на белого и на Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол березки.

Позади коротко и деловито прозвучал залп.

— Мальчик,— сказал мне Чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления,— если ты думаешь, что война — это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый — это есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют, и мы их жалеть не будем!

Я поднял на него покрасневшие глаза и сказал ему тихо, но твердо:

— Я не пойду домой, Чубук, это просто от неожиданности. А я красный, я сам шел воевать...— Тут я запнулся и тихо, как бы извиняясь, добавил: — За светлое царство социализма.

Глава шестая

Мир между Россией и Германией был давно уже подписан, но, несмотря на это, немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры.

Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора; ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами. Выставляя засады на проселочную дорогу, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли фуражиров.

Но та поспешность, с которой мы убирались прочь от крупных неприятельских отрядов, и постоянное стремление уклониться от открытого боя казались мне сначала постыдными. На самом деле, прошло уже полтора месяца, как я был в отряде, а я еще не участвовал ни в одном настоящем бою. Перестрелки были. Набеги на сонных или отбившихся белых были. Сколько проводов было перерезано, сколько телеграфных столбов спилено — и не счесть, а боя настоящего еще не было.

— На то мы и партизаны,— ничуть не смущаясь, заявил мне Чубук, когда я высказал свое удивление по поводу такого некрасивого, на мой взгляд, поведения отряда.— Тебе бы, милый, как на картине, выстроиться в колонну, винтовки наперевес, и попер. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые! У нас сколько пу-

леметов? Один да и к тому же всего три ленты. А вон у Жихарева четыре «максима» да два орудия. Куда же ты на них попрешь? Мы должны на другом брать. Мы, партизаны, как осы: маленькие, да колючие. Налетели, покусали, да и прочь. А храбрость такая, чтоб для показа,— она нам ни к чему сейчас; это не храбрость, выходит, а дурость!

Многих ребят я узнал за это время. Ночами в караулах, вечером у костра, в полуденную ленивую жару под вишнями медовых садов много услышал я рассказов о жизни своих товарищей.

Всегда хмурый, насупившийся Малыгин, с одним глазом — второй был выбит взрывом в шахте,— рассказывал:

— Про жизнь свою говорить мне нечего. Одним словом, серьезная была жизнь. Жизнь у меня за все последние двадцать годов на три равные части разделена была. В шесть утра встанешь. Башка трещит от вчерашнего; надел шматки, получил лампу и ухнул в шахту. Там, знай свое, забурил, вставил динамит и грохай. Грохаешь, грохаешь, оглохнешь, отупеешь — и к стволу на подъем. Выкинет тебя наверх, как черта, мокрого, черного. Это первая часть моей жизни. А потом идешь в казенку, взял бутылку — денег с тебя не спрашивают: контора заплатит. Потом в хозяйскую лавку; там показал бутылку и выдают тебе оттуда без разговора два соленых огурца, ситного и селедку. Это уж на бутылку такая порция полагалась! Закусывайте на здоровье — контора вычтет. Вот тебе вторая часть моей жизни. А третья — ляжешь спать и спишь. Спал я крепко, пуще водки любил я спать — за сны любил. Что такое сон, до сего времени не понимаю. И с чего бы это такое странное привидеться может? Вот, например, снится мне один раз, что призывает меня штейгер и говорит: «Ступай, Малыгин, в контору и получай расчет».— «За что же,— говорю я ему,— господин штейгер, мне расчет?» — «А за то,— говорит,— тебе, Малыгин, расчет, что замышляешь ты на директорской дочке жениться».— «Что вы,— говорю я ему,— господин штейгер, слыханное ли это дело, чтобы шахтер-запальщик на директорской дочке женился? Где же,— говорю,— мне на директоровой, когда за меня и простая-то девка не каждая из-за выбитого глаза пойдет!» Тут смешалось все, спуталось, штейгер вдруг оказывается не штейгер, а будто жеребец директорский, запряженный в ихнюю коляску. Выходит из той коляски сам директор, вежливо кланяется мне и говорит: «Вот, запальщик Малыгин, возьми в жены мою дочку и приданого десять тысяч и штейгера, то есть жеребца, с коляской». Обомлел я от радости, только было хотел подойти, как ударит меня директор тростью, да еще, да еще, а штейгер ну топтать копытами и ржать... «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. Вот чего за-

хотел!» И бьет и бьет копытами. Так злобно бил, что даже закричал я во сне на всю казарму. И кто-то взаправду в бок меня двинул, чтобы не орал и людей ночью не тревожил.

— Ну уж и сон! — засмеялся Федя Сырцов.— Видно, просто пялил ты глаза на хозяйскую барышню, вот и приснилось. Мне так всегда: про что на ночь думаю, то и снится. Вот сапог третьего дня не успел я с убитого немца снять. Сапог хороший, шевровый, так каждую ночь он мне снится!

— Сапог!.. Сам ты сапог! — рассердившись, ответил Малыгин.— Я ее, дочку-то, один раз за год до того и видел всего. Лежал я пьяный в канаве. Идет она с мамашей пешком возле огородов по тропе, а лошади ихние рядом идут. Мамаша — важная барыня... седая, подошла ко мне и спрашивает: «Как вам не стыдно пить? Где у вас человеческий облик? Вспомнили бы бога».— «Извиняюсь,— говорю я,— облика действительно нет, оттого и пью».

Сжалилась тогда надо мною ихняя мамаша, сует мне в руки гривенник и наставляет: «Посмотрите, мужичок: природа кругом ликует, солнце светит, птички поют, а вы пьянствуете. Пойдите, купите себе содовой воды, протрезвитесь». Тут зло меня разобрало. «Я,— говорю ей,— не мужичок, а рабочий с ваших шахт. Природа пускай ликует, и вы ликуйте на доброе здоровье, а мне ликовать не с чего. Содовой же воды в жизни не пил, и если хотите сделать доброе дело — добавьте еще гривенник до полбутылки, а я за нашу приятную встречу с благодарностью опохмелюсь».— «Хам,— говорит мне тогда благородная женщина,— хам! Завтра я скажу мужу, чтобы вас отсюда, с рудников, уволили». Сели они с дочкой в коляску и уехали. Вот только и было у меня с ней разговору, а дочка вовсе, пока мы говорили, отвернувшись стояла, а ты говоришь — пялил!

— Что ж во сне-то! — усмехнулся Федя Сырцов.— А хотите, я вам расскажу, какой со мной и с одной графиней случай был? Ей-богу, из-за этого случая я, можно сказать, и в революцию ударился. Такой случай — ежели вам рассказать, то и ушами захлопаете.

Тут Федя тряхнул чубатой головой и зажмурил глаза, как кот, выбравшийся из хозяйской кладовой.

— Врать будешь, Федька? — подсаживаясь поближе, с любопытством и недоверием спросил Васька Шмаков.

— Это уже твое дело, хочешь — верь, хочешь — нет, документов я тебе предъявлять не буду.

Федя потянулся, покачал головой, как бы раздумывая, стоит ли еще рассказывать или нет, и, прищелкнув языком, начал решительно:

— Было это три года тому назад. А парень я — нечего гово-

рить об этом — красивый был, лучше еще, чем сейчас. И такая судьба моя вышла, что пришлось мне наняться в подпаски при графской экономии. А у графа нашего жена была, звали ее Эмилия, и гувернантка Анна, то есть по-ихнему Жанет.

Вот однажды сижу я возле стада у пруда и вижу: идут обе, зонтиками от солнца загораживаются. У графини белый зонтик, а у Жанет — красный. А была та Жанет похожа на сушеную тарань, тощая, очки на носу, и когда идет, бывало, по деревне, то платком нос прикрывает, чтобы, значит, от навозного духу голова не болела. Надо вам сказать, что был у меня в стаде бык, настоящий симментал — порода такая, огромный. Как увидел мой бык красный зонт да как попер полным ходом на Жанет! Я вскочил и во весь мах наперескок. Обе барыни закричали. Графиня — в кусты, а Жанет некуда деваться, и она со страху в воду сиганула. Симментал до нее рвется, а она, дура, нет, чтобы бросить зонт, закрывается им от быка — тоже нашла защиту! — и визжит при этом что-то по-немецки там или по-французски — кто ее разберет. Я как ухну в воду, вырвал у нее зонт да в морду симменталу. Он разъярился — за мной, я отплыл от середки и бросил зонт, а сам на другой берег и в кусты. Тут пастухи набежали: крик, гам, быка загоняют, вытащили Жанет из тины, а с ней на берегу обморок случился.

Федька тяжело дышал, как будто только сейчас спасся от быка, прищелкнул языком и хотел было продолжать, но в это время с крыльца хутора послышался окрик:

— Федор... Сыр-цов! Иди до командира.

— Сейчас,— отмахнулся недовольно Федя и, улыбнувшись, продолжал: — Пока Жанет отходила, подходит ко мне графиня Эмилия, белая, на глазах слезы и в груди волнение. «Юноша,— говорит,— кто ты?» — «А я,— говорю ей,— ваше сиятельство, подпасок, зовут меня Федором, а фамилия моя — Сырцов». Тогда вздохнула графиня и говорит мне: «Теодор,— это, то есть, по-ихнему Федор,— Теодор, подойди сюда ко мне поближе».

Что еще сказала Феде графиня и какое отношение имел этот случай к тому, что он впоследствии ушел к красным, в этот раз дослушать мне не пришлось, потому что рядом послышался звон шпор, и рассерженный Шебалов очутился за спиной.

— Федор,— сурово спросил он, останавливаясь и облокачиваясь на палаш,— ты слышал, что я тебя зову?

— Слышал,— буркнул Федя приподнимаясь.— Ну, что еще?

— Как это «ну, что еще»? Должен ты идти, когда тебя командир требует?

— Слушаю, ваше благородие! Чего изволите? — вместо ответа насмешливо огрызнулся Федя.

Но обыкновенно податливого и мягкого Шебалова на этот раз всерьез задело Федино замечание.

— Я тебе не ваше благородие,— серьезно и огорченно сказал он,— я тебе не благородие, и ты мне не нижний чин. Но я командир отряда и должен требовать, чтобы меня слушались. Мужики сейчас с Темлюкова хутора приходили.

— Ну? — Черные глаза Феди виновато и блудливо забегали по сторонам.

— Жаловались. Говорили: «Приезжали вот ваши разведчики. Мы, конечно, обрадовались: свои, мол, товарищи. Старший ихний, черный такой, сходку устроил за поддержку Советской власти, про землю говорил и про помещиков. А мы пока слушали да резолюцию выносили, его ребята давай по погребам сметану шарить да кур ловить». Что же это такое, Федор, а? Ты, может, ошибся малость, ты, может, лучше к гайдамакам пошел бы — у них это заведено, а у меня в отряде этакого безобразия не должно быть!

Федя презрительно молчал и, опустив глаза, постукивал кончиком нагайки о конец своего сапога.

— Я тебе последний раз говорю, Федор,— продолжал Шебалов, теребя пальцем красный темляк блистательного палаша.— Я тебе не благородие, а сапожник и простой человек, но, покуда меня назначили командиром, я требую твоего послушания. И последний раз перед всеми обещаю, что если и дальше так будет, то не посмотрю я на то, что хороший боец ты и товарищ, а выгоню из отряда!

Федя вызывающе посмотрел на Шебалова, повел взглядом по столпившимся вокруг красноармейцам и, не найдя ни в ком поддержки, за исключением трех-четырех кавалеристов, одобрительно улыбнувшихся ему, еще больше озлобился и ответил Шебалову с плохо скрываемой злобой:

— Смотри, Шебалов, ты не очень-то людьми расшвыривайся, нынче люди дороги!

— Выгоню,— тихо проговорил Шебалов и, опустив голову, неторопливо пошел к крыльцу.

У меня остался нехороший осадок от разговора Шебалова с Сырцовым. Я знал, что Шебалов прав, и все-таки был на стороне Феди. «Ну, скажи ему,— думал я,— а нельзя же грозить».

Федя у нас один из лучших бойцов, и всегда он веселый, задорный. Если нужно разузнать что-либо, сделать неожиданный налет на фуражиров, подобраться к охраняемому белыми помещичьему имению, всегда Федя найдет удобную дорогу, проберется скрытно кривыми оврагами, задами.

Любил Федя подкрасться тихо, чтобы не стучали подковы, чтобы не звякали шпоры, чтобы кони не ржали, а не то кулаком

по лошадиной морде, чтобы всадники не шушукались, а не то без разговоров плетью по спине. Не ржали Федины прирученные кони, не шушукались приросшие к седлам всадники; сам Федя впереди разведки, немного пригнувшийся к косматой гриве своего иноходца, был похож на хищного ящера, скользящими изгибами подбирающегося к запутавшейся в траве жирной мухе.

Но зато, когда уже спохватится вражий караул и поднимет ошалелую тревогу, не успеет еще врасплох захваченный белый штаны натянуть, не успеет полусонный пулеметчик ленту заправить, как катится с треском винтовочных выстрелов, с грохотом разбрасываемых бомб, с гиканьем и свистом маленький упругий отряд. Тогда шум и грохот любил Федя. Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась, заставив взметнуться чуть ли не на трубы крыш обалделых кур и жирных гусаков. Было бы побольше грома, побольше паники! Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенною лентою наспех выкаченный пулемет и, главное, пусть вылетит из халупы один, другой солдат и, еще не разглядев ничего, еще не опомнившись от сна, выронит винтовку и заорет одурело и бессмысленно, шарахаясь к забору:

— Окру-жи-ли!.. Красные окружили!

И тогда-то бомбы за пояс, винтовки за спину — и пошли молчаливо работать холодные, до звона отточенные шашки распаленных удачей Фединых разведчиков. Вот каков был у нас Федя Сырцов. «И разве можно,— думал я,— из-за каких-то кур и сметаны выгонять такого неоценимого бойца из отряда?»

Не успел я еще толком опомниться от размышлений по поводу ссоры Феди с Шебаловым, как с крыши хаты закричал Чубук, сидевший наблюдателем, что по дороге на хутор движется большой пеший отряд. Забегали, закружились красноармейцы. Казалось, никакому командиру не удастся привести в порядок эту взбудораженную массу. Никто не дожидался приказаний, и каждый заранее знал уже, что ему делать. Поодиночке, на ходу проверяя патроны в магазинах, дожевывая куски недоеденного завтрака, низко пригибаясь, пробежали ребята из первой роты Галды к окраине хутора и, бухаясь наземь, образовывали все гуще и гуще заполнявшуюся цепочку. Подтягивали подпруги, взнуздывали, развязывали, а иногда и ударом клинка разрезали путы на ногах у коней разведчики. Пулеметчики стаскивали с тачанки «кольт» и ленты. Вслед за красным, потным Сухаревым побежали по тропке

красноармейцы второй роты на опушку рощи. Еще минута, другая — и все стихло. Вот уже сошел с крыльца Шебалов, на ходу приказывая что-то Феде. И Федя мотнул головой: ладно, говорит, будет сделано. Вот уже захлопнулись ставни, и полез хозяин хутора с бабами, ребятишками в погреб.

— Стой,— сказал мне Шебалов.— Останься здесь. Лезай к Чубуку на крышу: что ему оттуда видно будет, передавай на опушку мне! Да скажи ему, чтобы поглядывал он вправо, на Хамурскую дорогу, не будет ли оттуда чего.

Раз, два, дзик, дзак... Крякнула лениво греющаяся на солнце утка; задрав перепачканный колесным дегтем хвост, беспечно-торжествующе заорал с забора оранжевый петух. Когда он смолк, тяжело хлопая крыльями, бултыхнулся и утонул в гуще пыльных лопухов, стало совсем тихо на хуторе, так тихо, что выплыло из тишины до сих пор неслышимое журчание солнечного жаворонка и однотонный звон пчел, собиравших с цветов капли разогретого душистого меда.

— Ты чего? — не оборачиваясь, спросил Чубук, когда я залез на соломенную крышу.

— Шебалов прислал тебе на помощь.

— Ладно, сиди, да не высовывайся.

— Смотри вправо, Чубук,— передал я приказание Шебалова,— смотри, нет ли чего на Хамурской дороге.

— Сиди,— коротко ответил он и, сняв шапку, высунул из-за трубы свою большую голову.

Вражьего отряда не было видно: он скрылся в лощине, но вот-вот он должен был показаться опять.

Солома на крыше была скользкая, и, чтобы не скатиться вниз, я, стараясь не ворочаться, носком расшвыривал себе уступ, на который можно было бы опереться. Голова Чубука была почти у моего лица. И тут я впервые заметил, что сквозь его черные жесткие волосы кое-где пробивается седина. «Неужели он уже старый?» — удивился я.

Отчего-то мне показалось странным, что вот Чубук уже пожилой, и седина, и морщины возле глаз, а сидит тут, рядом со мной, на крыше и, неуклюже раздвинув ноги, чтобы не сползти, высовывает из-за трубы большую взлохмаченную голову.

— Чубук! — окликнул я его шепотом.

— Что тебе?

— Чубук... А ты ведь старый уже,— сам не зная к чему, сказал я.

— Ду-ура... — рассерженно обернулся Чубук.— Чего ты языком барабанишь?

Тут Чубук опустил голову на солому и подался туловищем

назад. Из лощины поднимался отряд. Я чувствовал, как беспокойство овладевает Чубуком. Он смущенно задышал и заворочался.

— Борис, смотри-ка!

— Вижу.

— Беги вниз и скажи Шебалову — вышли, мол, из лощины, но скажи ему — подозрительно что-то: сначала шли походной колонной, а пока в лощине были, развернулись повзводно. Ну, так вот, понял теперь: с чего бы им повзводно? Может быть, они знают уже, что мы на хуторе? Крой скорей и обратно!

Я выдернул носок из ямки, вырытой в соломе, и, скатившись вниз, бухнулся на толстую свинью, с визгом шарахнувшуюся прочь. Разыскал Шебалова. Он стоял за деревом и смотрел в бинокль. Я передал ему то, что велел Чубук.

— Вижу,— ответил Шебалов таким тоном, точно я его обидел чем-то,— сам вижу.

Я понял, что он просто раздражен неожиданным маневром противника.

— Беги обратно, и не слезайте, а смотрите больше на фланг, на Хамурскую дорогу.

Добежав до пустого двора, я полез на сухой плетень, чтобы оттуда взобраться на крышу.

— Солдатик! — услышал я чей-то шепот.

Я испуганно обернулся, не понимая, кто и откуда зовет меня.

— Солдатик! — повторил тот же голос.

И тут я увидел, что дверь погреба приоткрыта и оттуда высунулась голова бабы, хозяйки хутора.

— Что,— спросила она шепотом,— идут?

— Идут,— ответил я также шепотом.

— А как... только с пулеметами или орудия есть? — Тут баба быстро перекрестилась.— Господи, хоть бы только с пулеметами, а то ведь из орудиев начисто разобьют хату.

Не успел я ей ответить, как раздался выстрел и невидимая пуля где-то высоко в небе запела звонко: тии-уу...

Голова бабы исчезла, дверка погреба захлопнулась. «Начинается»,— подумал я, чувствуя прилив того болезненного возбуждения, которое овладевает человеком перед боем, не тогда, когда уже грохочут выстрелы, злятся, звенят россыпи пулеметных очередей и торжественно бухают ввязавшиеся в бой батареи, а когда еще ничего нет, когда все опасное еще впереди... «Ну,— думаешь,— почему же так тихо, так долго? Хоть бы скорей уже начиналось».

Тии-уу... — взвизгнуло второй раз.

Но ничего еще не начиналось. Вероятно, белые подозревали,

но не знали наверное, занят ли хутор красными, и дали два выстрела наугад. Так командир маленькой разведки подбирается к охранению неприятеля, открывает огонь и, по ответному грохоту сторожевой заставы, по треску пулеметов определив силу врага, уходит на другой фланг, начинает пальбу пачками, заставляет неприятеля взбудоражиться и убирается поспешно к своим, никого не победив, никому не нанеся урона, но добившись цели и заставив неразгаданного противника развернуться и показать свои настоящие силы.

Молчал и не отзывался на выстрелы наш рассыпавшийся цепью отряд.

Тогда пятеро кавалеристов на вороных танцующих конях, играя опасностью, отделились от неприятеля и легкой рысью понеслись вперед. Не далее как в трехстах метрах от хутора кавалеристы остановились, и один из них навел на хутор бинокль. Стекло бинокля, скользнув по кромке ограды, медленно поползло вверх по крыше, к трубе, за которой спрятались мы с Чубуком.

«Хитры тоже, знают, где искать наблюдателя»,— подумал я, пряча голову за спину Чубука и испытывая то неприятное чувство, которое овладевает на войне, когда враг помимо твоей воли подтягивает тебя биноклем к глазам или рядом скользит, расплавляя темноту, нащупывая колонну, луч прожектора, когда над головой кружит разведывательный аэроплан и некуда укрыться, некуда спрятаться от его невидимых наблюдений.

Тогда собственная голова начинает казаться непомерно большой, руки — длинными, туловище — неуклюжим, громоздким. Досадуешь, что некуда их приткнуть, что нельзя съежиться, свернуться в комочек, слиться с соломой крыши, с травою, как сливается с кучей хвороста серый взъерошенный воробей под пристальным взглядом бесшумно парящего коршуна.

— Заметили! — крикнул Чубук.— Заметили! — И, как бы показывая, что играть в прятки больше нечего, он открыто высунулся из-за трубы и хлопнул затвором.

Я хотел спуститься вниз и донести Шебалову. Но, вероятно, с опушки уже и сами поняли, что засада не удалась, что белые, не развернувшись в цепь, на хутор не пойдут, потому что из-за дерева вдогонку кавалеристам полетели пули.

Развернутые взводы белых смешались и тонкими черточками ломаной стрелковой цепи поползли вправо и влево. Не доскакав до бугра, по которому рассыпались белые, задний всадник вместе с лошадью упал на дорогу.

Когда ветер отнес клубы поднявшейся пыли, я увидел, что только одна лошадь лежит на дороге, а всадник, припадая на ногу, низко согнувшись, бежит к своим.

Пуля, ударившись о кирпич трубы, обдала пылью осыпавшейся известки и заставила спрятать голову. Труба была хорошей мишенью. Правда, за нею нас не могли достать прямые выстрелы, но зато и мы должны были сидеть не высовываясь. Если бы не приказание Шебалова следить за Хамурской дорогой, мы спустились бы вниз. Беспорядочная перестрелка перешла в огневой бой. Разрозненные винтовочные выстрелы белых стихали, и начинали строчить пулеметы. Под прикрытием их огня неровная цепь передвигалась на несколько десятков шагов и ложилась опять. Тогда стихали пулеметы, и опять начиналась ружейная перестрелка. Так постепенно, с упорством, доказывавшим хорошую дисциплину и выучку, белые подвигались все ближе и ближе.

— Крепкие, черти,— пробормотал Чубук,— так и лезут в дамки. Не похоже что-то на жихаревцев. Уж не немцы ли это?

— Чубук! — закричал я.— Смотри-ка на Хамурскую, там возле опушки что-то движется.

— Где?

— Да не там... Правей смотри. Прямо через пруд смотри... Вот! — крикнул я, увидев, как на опушке блеснуло что-то, похожее на вспышку солнечного луча, отраженного в осколке стекла.

В воздухе послышалось странное звучание, похожее на хрипение лошади, которой перервало горло. Хрип превратился в гул. Воздух зазвенел, как надтреснутый церковный колокол; что-то грохнуло сбоку. В первое мгновение показалось мне, что где-то здесь, совсем рядом со мной, коричневая молния вырвалась из клубов дыма и черной пыли, воздух вздрогнул и упруго, как волна теплой воды, толкнул меня в спину. Когда я открыл глаза, то увидел, что в огороде сухая солома крыши взорванного сарая горит бледным, почти не видимым на солнце огнем.

Второй снаряд разорвался на грядках.

— Слазим,— сказал Чубук, поворачивая ко мне серое, озабоченное лицо.— Слазим, напоролись-таки; кажется, это не жихаревцы, а немцы. На Хамурской — батарея.

Первый, кто попался мне на опушке,— это маленький красноармеец, прозванный Хорьком.

Он сидел на траве и австрийским штыком распарывал рукав окровавленной гимнастерки. Винтовка его с открытым затвором, из-под которого виднелась недовыброшенная стреляная гильза, валялась рядом.

— Немцы! — не отвечая на наш вопрос, крикнул он.— Сейчас сматываемся!

Я сунул ему свою жестяную кружку, чтобы он зачерпнул воды, и побежал дальше.

Собственно говоря, окровавленный рукав Хорька и его слова

о немцах — это было последнее из того, что мог я впоследствии восстановить по порядку в памяти, вспоминая этот первый настоящий бой. Все остальное я помню хорошо, начиная с того момента, когда в овраге ко мне подошел Васька Шмаков и попросил кружку напиться.

— Что это ты в руке держишь? — спросил он.

Я посмотрел и смутился, увидев, что в левой руке у меня крепко зажат большой осколок серого камня. Как и зачем попал ко мне этот камень, я не знал.

— Почему на тебе, Васька, каска надета? — спросил я.

— С немца снял. Дай напиться.

— У меня кружки нет. У Хорька.

— У Хорька? — Тут Васька присвистнул.— Ну, брат, с Хорька не получишь.

— Как — не получишь? Я ему дал воды зачерпнуть.

— Пропала твоя кружка,— усмехнулся Васька, зачерпывая из ручья каской воду.— И кружка пропала, и Хорек пропал.

— Убит?

— До́ смерти,— ответил Васька, неизвестно чему усмехаясь.— Погиб солдат Хорек во славу красного оружия.

— И чего ты, Васька, всегда зубы скалишь? — рассердился я.— Неужели тебе нисколько Хорька не жалко?

— Мне? — Тут Васька шмыгнул носом и вытер грязной ладонью мокрые губы.— Жалко, брат, и Хорька жалко, и Никишина, и Серегу, да и себя тоже жалко. Мне они, проклятые, тоже вон как руку прохватили.

Он шевельнул плечом, и тут я заметил, что левая рука Васьки перевязана серою тряпкой.

— В мякоть... пройдет,— добавил он.— Жжет только.— Тут он опять шмыгнул носом и, прищелкнув языком, сказал задорно: — Да ведь и то разобрать, за что жалеть-то? Силой нас сюда никто не гнал, значит, сами знали, на што идем. Значит, нечего и жалиться!

Отдельные моменты боя запечатлелись в памяти; не мог я восстановить их только последовательно и связно. Помню, как, опустившись на одно колено, я долго перестреливался все с одним и тем же немцем, находившимся не далее как в двухстах шагах от меня. И потому, что, едва успев кое-как прицелиться, уже боялся, что он выстрелит раньше меня, я дергал за спуск и промахивался. Вероятно, он испытывал то же самое и поэтому также давал промахи. Помню, как взрывом снаряда опрокинуло наш пулемет. Его тотчас же подхватили и потащили на другое место.

— Забирай ленты! — крикнул Сухарев.— Помогайте же, черти!

Тогда, схватив один из валявшихся в траве ящиков, я потащил его. Помню потом, как будто бы Шебалов дернул меня за плечо и крепко выругал: за что, я не понял тогда.

Потом, кажется, пуля убила Никишина. Или нет... Никишина убило раньше, потому что он упал, когда еще я бежал с ящиком, и перед этим крикнул мне: «Ты куда же в обратную сторону тащишь? Ты тащи к пулемету!»

Под Федей застрелили лошадь.

— Федька плачет,— сказал Чубук.— Такой скаженный, уткнулся в траву и плачет. Я подошел к нему. «Брось,— говорю,— тут о людях плакать некогда». Как повернулся Федька, хвать за наган. «Уйди,— говорит,— а не то застрелю и тебя». А глаза такие мутные. Я плюнул и ушел. Ну что с сумасшедшим разговаривать?! Непутевый этот Федька,— раскуривая трубку, продолжал Чубук.— Нет у меня веры в этого человека.

— Как — нет веры? — вступился я.— Он же храбрый, что дальше некуда.

— Мало ли что храбрый, а так, непутевый. Порядка не любит, партийных не признает. «Моя,— говорит,— программа: бей белых, докуда сдохнут, а дальше видно будет». Не нравится мне что-то такая программа. Это туман один, а не программа. Подует ветер, и нет ничего!

Убито было десять, раненых четырнадцать, из них шестеро умерли. Был бы лазарет, были бы доктора, медикаменты — многие из раненых выжили бы.

Вместо лазарета была поляна, вместо доктора — санитар германской войны Калугин, а из медикаментов только йод. Йода была целая жестяная баклажка из-под керосина. Йод у нас не жалели. На моих глазах Калугин налил до краев деревянную суповую ложку и вылил йод на широкую рваную рану Лукоянову.

— Ничего,— успокаивал он.— Потерпи... Йод — он полезный. Без йода тебе, факт, конец был бы, а тут, глядишь, может, и обойдется.

Надо было уходить отсюда к своим, к северу, где находилась завеса регулярных частей Красной Армии; в патронах уже была недостача. Но раненые связывали. Пятеро еще могли идти, трое не умирали и не выздоравливали. Среди них был Яшка Цыганенок. Появился этот Яшка у нас неожиданно.

Однажды, выступая в поход с хутора Архиповки, отряд выстроился развернутым фронтом вдоль улицы.

При расчете левофланговый красноармеец, теперь убитый маленький Хорек, крикнул:

— Сто сорок седьмой неполный!

До тех пор Хорек был всегда сто сорок шестым полным.

Шебалов заорал:

— Что врете! Пересчитать снова!

Снова пересчитали, и снова Хорек оказался сто сорок седьмым неполным.

— Пес вас возьми! — рассердился Шебалов.— Кто счет путает, Сухарев?

— Никто не путает,— ответил из строя Чубук,— тут же лишний человек объявился.

Поглядели. Действительно, в строю между Чубуком и Никишиным стоял новичок. Было ему лет восемнадцать-девятнадцать. Черный, волосы кудрявые, лохматые.

— Ты откуда взялся? — спросил удивленно Шебалов.

Парень молчал.

— А он встал тут рядом,— объяснил Чубук.— Я думал, нового какого ты принял. Пришел с винтовкой и встал.

— Да ты хоть кто такой? — рассердился Шебалов.

— Я... цыган... красный цыган,— ответил новичок.

— Кра-а-асный цы-га-ан? — вытаращив глаза, переспросил Шебалов и, вдруг, засмеявшись, добавил: — Да какой же ты цыган, ты же еще цыганенок!

Он остался у нас в отряде, и за ним так и осталась кличка Цыганенок.

Теперь у Цыганенка была прохвачена грудь. Бледность просвечивала через кожу его коричневого лица, и запекшимися губами он часто шептал что-то на чужом, непонятном наречии.

— Вот уж сколько служу... полгерманской отбубнил и теперь тоже,— говорил Васька Шмаков,— а цыганов в солдатах не видел. Татар видал, мордву видал, чувашинов, а цыганов нет. Я так смотрю — вредный народ эти цыганы: хлеба не сеют, ремесла никакого, только коней воровать горазды да бабы их людей дурачат. И никак мне не понятно, зачем к нам его принесло. Свободы — так у них и так ее сколько хочешь! Землю им защищать не приходится. На что им земля? К рабочему тоже он касательства не имеет. Какая же, выходит, ему выгода, чтобы в это дело ввязываться? Уж какая-нибудь есть выгода, скрытая только!

— А может быть, он тоже за революцию, ты почем знаешь?

— В жисть не поверю, чтобы цыган да за революцию. И до переворота за краденых лошадей его били, и после за то же самое бить будут!

— Да, может, он после революции и красть вовсе не будет?

Васька недоверчиво усмехнулся:

— Уж и не знаю, у нас на деревне и дубьем их били и дрючками, и то не помогало — всё они за свое. Так неужто их революция проймет?

— Дурак ты, Васька,— вставил молчавший доселе Чубук.— Ты из-за своей хаты да из-за своей коняки ни черта не видишь. По-твоему, вот вся революция только и кончится тем, что прирежут тебе барской земли да отпустят из помещичьего леса бревен штук двадцать задаром. Ну, да старосту председателем заменят, а жизнь сама какой была, такой и останется.

Глава седьмая

Через два дня Цыганенку стало лучше. Вечером, когда я подошел к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись в черное звездное небо, тихонько напевал что-то.

— Цыганенок,— предложил я ему,— дай я около тебя костер разожгу, чай согрею, пить будем, у меня в баклаге молоко есть. Хочешь?

Я сбегал за водой, подвесил котелок на шомпол, перекинутый над огнем через два воткнутых в землю штыка, и, подсаживаясь к раненому, спросил:

— Какую это ты песню поешь, Цыганенок?

Он ответил не сразу.

— А пою я песню такую старую, в ней говорится, что нет у цыган родной земли и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше спрашивают: «А где же, цыган, тебя хорошо принимают?» И он отвечает: «Много я стран исходил, был у венгров, был у болгар, был у туретчины, много земель исходил я с табором и еще не нашел такой земли, где бы хорошо мой табор приняли».

— Цыганенок,— спросил я его,— а зачем ты у нас появился? Ведь вас же не забирают на службу.

Он сверкнул белками, приподнялся на локте и ответил:

— Я пришел сам, меня не нужно забирать. Мне надоело в таборе! Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой воровал лошадей, а бабка гадала. И никто из них себе счастья не украл, и никто себе хорошей судьбы не нагадал. Надо по-другому...

Цыганенок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно, давала себя еще чувствовать, и, стиснув губы, он с легким стоном опустился опять на кучу листвы.

Вскипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя.

Я не успел выхватить котелок с углей. Цыганенок неожиданно рассмеялся.

— Ты чего?

— Так.— И он задорно тряхнул головой.— Я вот думаю, что и народ весь эдак: и русские, и евреи, и грузины, и татары терпели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка, вспенились и кинулись в огонь. Я вот тоже... сидел, сидел, не вытерпел, захватил винтовку и пошел хорошую жизнь искать.

— И найти думаешь?

— Один не нашел бы... а все вместе должны бы... потому охота большая.

Подошел Чубук.

— Садись с нами чай пить,— предложил я.

— Некогда,— отказался он.— Пойдешь со мной, Борис?

— Пойду,— быстро ответил я, не спрашивая даже о том, куда он меня зовет.

— Ну, так допивай скорее, а то нас подвода ждет.

— Какая подвода, Чубук?

Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается, соединится недалеко отсюда с шахтерским отрядом Бегичева и вместе они будут пробираться к своим. Трех тяжело раненных брать с собой нельзя: пробираться придется мимо белых и немцев.

Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой и согласился приютить у себя раненых на время, пока поправятся. Оттуда Чубук привел подводы, и сейчас надо, пока темно, раненых переправить туда.

— А еще с нами кто?

— Больше никого. Вдвоем мы. Я бы и один управился, да лошадь норовистая попала. Придется одному под уздцы вести, а другому за товарищами присматривать. Так пойдешь, значит?

— Пойду, пойду, Чубук. Я с тобой, Чубук, всегда и всюду пойду. А оттуда куда, назад?

— Нет. Оттуда мы прямой дорогой вброд через речку, там со своими и встретимся. Ну, трогаем.— И Чубук пошел к голове лошади.— Винтовка моя, смотри, чтобы не выпала,— послышался из темноты его голос.

Телега легонько дернула, в лицо брызнули капли росы, упавшие с задетого колесом куста, и черный поворот скрыл от наших глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход отрядом.

Дорога была плохая: ямы, выбоины, то и дело попадались разлапившиеся по земле корни. Темь была такая, что ни лошади, ни Чубука с телеги видно не было. Раненые лежали на охапке свежего сена и молчали.

Я шел позади и, чтобы не оступиться, придерживался свободной от винтовки рукой за задок телеги. Было тихо. Если бы не однотонное посвистывание полуночной пигалицы, можно бы-

ло бы подумать, что темнота, окружавшая нас, мертва. Все молчали. Только изредка, когда колеса проваливались в ямы или натыкались на пень, раненый Тимошкин тихонько стонал.

Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался сейчас непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо черным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось, что мы ощупью движемся каким-то длинным и извилистым коридором.

Мне вспомнилось почему-то, как давно-давно, года три тому назад, в такую же теплую ночь мы с отцом возвращались с вокзала домой прямой тропой через перелесок. Так же вот свиристела пигалица, так же пахло переспелыми грибами и дикой малиной.

На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним несколько рюмок водки. То ли от этого, то ли оттого, что чересчур сладко пахло малиной, отец был особенно возбужден и разговорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и про свое ученье в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о его школьной жизни, о том, что их драли розгами, и мне казалось нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого человека, как мой отец, кто-то когда-то мог драть.

— Это ты у одного писателя вычитал,— возражал я.— У него есть про это книга. «Очерки бурсы» называется. Так ведь то давно было, бог знает когда!

— А я, думаешь, недавно учился? Тоже давно.

— Ты в Сибири, пап, жил. А в Сибири страшно: там каторжники. Мне Петька говорил, что там человека в два счета убить могут и некому пожаловаться.

Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хотел объяснить мне, я так и не понял тогда, потому что по его словам выходило как-то так странно, что каторжники вовсе не каторжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в Арзамасе.

Но все это я пропускал мимо ушей, как и многие другие разговоры, смысл которых я начинал понимать только теперь.

«Нет... никогда, никогда в прошлую жизнь я не подозревал и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что я сейчас с красными, то, что у меня винтовка за плечами,— это не потому, что у меня был отец революционер, а я его сын. Это вышло как-то само собой. Я сам к этому пришел»,— подумал я. И эта мысль заставила меня загордиться. Ведь, правда, на самом деле, сколько партий есть, а почему же я все-таки выбрал самую правильную, самую революционную партию?

Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком. И вдруг

мне показалось, что возле головы лошади никого нет и конь давно уже наугад тащит телегу по незнакомой дороге.

— Чубук! — крикнул я испугавшись.

— Ну! — послышался его грубоватый, строгий голос.— Чего орешь?

— Чубук,— смутился я,— далеко еще?

— Хватит,— ответил он и остановился.— Поди-ка сюда, встань и шинельку раздвинь, закурю я.

Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой лошади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли рядом.

Я сказал Чубуку, о чем думал, и ожидал, что он с похвалой отзовется о моем уме и дальнозоркости, которые толкнули меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он выкурил по крайней мере полтрубки и только тогда сказал серьезно:

— Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдет... Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли...

— А как же, Чубук? — тихо и обиженно спросил я.— Ведь я же сам.

— Сам... Ну конечно, сам. Это тебе только кажется, что сам. Жизнь так повернулась, вот тебе и сам! Отца у тебя убили — раз. К людям таким попал — два. С товарищами поссорился — три. Из школы тебя выгнали — четыре. Вот ежели все эти события откинуть, то остальное, может, и сам додумал. Да ты не сердись,— добавил он, почувствовав, очевидно, мое огорчение.— Разве с тебя кто спрашивает больше?

— Значит, выходит, Чубук, что я нарочно... что я не красный? — дрогнувшим голосом переспросил я.— А это все неправда, и я в разведку всегда с тобой, я и поэтому ведь на фронт ушел, чтобы защищать... а, значит, выходит...

— Ду-ура! Ничего не выходит. Я тебе говорю — обстановка... а ты — «я сам, я сам». Скажем, к примеру: отдали бы тебя в кадетский корпус — глядишь, из тебя и калединский юнкер вышел бы.

— А тебя?

— Меня? — Чубук усмехнулся.— За мной, парень, двадцать годов шахты. А это никакой юнкерской школой не вышибешь!

Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен словами Чубука и замолчал. Но мне не молчалось.

— Чубук... так, значит, меня и в отряде не нужно, раз я такой, что и юнкером бы... и калединцем...

— Дура! — спокойно и как бы не замечая моей злости, ответил Чубук.— Зачем же не нужно? Мало что, кем ты мог бы быть. Важно, кто ты есть. Я тебе только говорю, чтобы ты не задавался. А так... что же, парень, ты хороший. Мы тебя, пого-

ди, поглядим еще немного, да и в партию примем. Ду-ура! — совсем уже ласково добавил он.

Я ведь знал, что Чубук любит меня, но чувствовал ли Чубук, как горячо, больше чем кого бы то ни было в ту минуту, любил я его? «Хороший Чубук,— думал я.— Вот он и коммунист, и двадцать лет в шахте, и волосы уже седеют, а всегда он со мною... И ни с кем больше, а со мной. Значит, я заслуживаю. И еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться, и если меня убьют, то тоже ничего. Тогда матери напишут: «Сын ваш был коммунист и умер за великое дело революции». И мать заплачет и повесит на стену мой портрет рядом с отцовским, а новая светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены».

«Жалко только, что попы наврали,— подумал я,— и нет у человека никакой души. А если б была душа, то посмотрела бы, какая будет жизнь. Должно быть, хорошая, очень интересная будет жизнь».

Телега остановилась. Чубук поспешно сунул руку в карман и сказал тихо:

— Как будто бы стучит что-то впереди. Дай-ка винтовку.

Лошадей с ранеными отвели в кусты. Я остался возле телеги, а Чубук исчез куда-то. Вскоре он вернулся:

— Молчок теперь... Четверо казаков верхами. Дай мешок... лошади морду закрою, а то не заржала бы еще некстати.

Топот подков приближался. Недалеко от нас казаки сменили рысь на шаг. Краешек луны, выскочив в прореху разорванной тучи, озарил дорогу. Из-за кустов я увидел четыре папахи. С казаками был офицер; на его плече вспыхнул и погас золотой погон. Мы выждали, пока топот стихнет, и тронулись дальше.

Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору. На стук телеги вышел к воротам заспанный пасечник — длинный рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпиравшими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле заметная, поросшая травой дорога.

— Туда поедем... У болотца в лесу клуня, там им спокойнее будет.

В небольшом, забитом сеном сарае было свежо и тихо. В дальнем углу были постелены дерюги. Две овчины, аккуратно сложенные, лежали вместо подушек у изголовья. Рядом стояли ведро воды и берестовый жбан с квасом. Перетащили раненых.

— Кушать, может, хотят? — спросил пасечник.— Тогда под головами хлеб и сало. А хозяйка коров подоит, молока принесет.

Нам надо было уходить, чтобы не разойтись у брода со своими. Но, несмотря на то что мы сделали для раненых все, что

могли, нам было как-то неловко перед ними. Неловко за то, что мы оставляли их одних, без помощи в чужом, враждебном краю.

Тимошкин, должно быть, понял это.

— Ну, с богом! — сказал он побелевшими, потрескавшимися губами.— Спасибо, Чубук, и тебе, парень, тоже. Может быть, приведет еще судьба — встретимся.

Более других утомленный, Самарин открыл глаза и приветливо кивнул головой. Цыганенок молчал, облокотившись на руки, серьезно смотрел на нас и чему-то слабо улыбался.

— Так всего хорошего, ребята,— проговорил Чубук,— поправляйтесь лучше. Хозяин надежный, он вас не оставит. Будьте живы, здоровы...

Повернувшись к выходу, Чубук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал выколачивать о приклад трубку.

— Дай вам счастья и победы, товарищи! — звонко крикнул вдогонку Цыганенок. Звук его голоса заставил нас остановиться и обернуться с порога.— Пошли вам победы над всеми белыми, какие только есть на свете,— так же четко и ясно добавил Цыганенок и тихо уронил черную голову на мягкую овчину.

Глава восьмая

Рыжий от загара песчаный берег таял в воде, искрившейся на отмелях солнечной рябью. У брода наших не было.

— Прошли, должно быть,— решил Чубук.— Это нам все равно... Тут недалеко отсюда кордон должен быть брошенный, и возле него отряд привал сделает.

— Давай выкупаемся, Чубук,— предложил я.— Мы скоренько! Вода, посмотри, какая те-е-плая.

— Тут купаться нехорошо. Место открытое.

— Ну и что ж, что открытое?

— Как — что? Голый человек — это не солдат. Голого всякий и с палкой забрать может. Казак, скажем, к броду подъедет, заберет винтовку, и делай с ним что хочешь. Был такой случай у Хопра. Не то что двое, а весь отряд человек в сорок купаться полез. Наскочили пятеро казаков и открыли по реке стрельбу. Так что было-то!.. Которых побило, которые на другой берег убегли. Так нагишом и бродили по лесу. Села там богатые... Кулачье. Куда ни сунешься, всем сразу видно — раз голый, значит, большевик.

Все-таки уговорил я его. Мы отошли от брода в кусты и наскоро выкупались. Реку переходили, нацепив на штыки винтовок связанные ремнем узелки со штанами и сапогами. После

купанья винтовка стала легче и подсумок не давил бок. Бодро зашагали краем рощи по направлению к избушке. Избушка была заброшена, стекла выставлены, даже котел из плиты был выломан. Видно было, что, перед тем как оставить ее, хозяева вывезли все, что только было можно.

Чубук настороженно, сощурив глаза, обошел избу кругом, заложил два пальца в рот и продолжительно свистнул. Долго металось эхо по лесу, рассыпалось и перекатывалось и, измельчав, запуталось, заглохло в чаще однотонно шумливой листвы. Ответа не было.

— Неужели же мы опередили их? Что ж, придется подождать.

В стороне от дороги выбрали тень под кустом и легли. Было жарко. Свернув в скатку шинель, я подложил ее под голову и, чтобы не мешалась, снял кожаную сумку. За время походов и ночевок на сырой земле сумка пообтерлась и выгорела.

В сумке этой у меня лежали перочинный нож, кусок мыла, игла, клубок ниток и подобранная где-то середина из энциклопедического словаря Павленкова.

Словарь — такая книга, которую можно перечитывать без конца: все равно всего не запомнишь. Именно поэтому-то я и носил его с собой и часто в отдых, во время отсиживания где-нибудь в логу или чаще леса, доставал измятые листки и начинал перечитывать по порядку все, что попадалось. Были там биографии монахов, генералов, королей, рецепты лака, философские термины, упоминания о давнишних войнах, история какого-то доселе неслыханного мной государства Коста-Рика и тут же рядом способ добывания удобрения из костей животных. Много самых разнообразных, нужных и ненужных сведений от буквы З до Р, на которой был оборван словарь, получил я за чтение этого словаря.

Несколько дней тому назад, перед тем как идти на пост, заторопившись, я сунул в эту же сумку кусок черного хлеба. И сейчас я увидел, что позабытый кусок раскрошился и залепил мякишем листки. Я вытряхнул все содержимое на траву и стал ладонью прочищать стенку сумки. Нечаянно мой палец задел за отогнувшийся край кожаной подкладки.

Повернув сумку к солнцу, я заглянул в нее и увидел, что из-под отставшей кожи виднеется какая-то белая бумага.

Любопытство овладело мной: я надорвал подкладку побольше и вытащил тоненький сверток каких-то бумажек. Развернул одну: посредине герб с позолоченным двуглавым орлом, пониже золотыми буквами вытиснено: «Аттестат».

Был выдан этот аттестат воспитаннику 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрию Ваальду в том, что он

К стр. 126

успешно окончил курс учения, был отличного прилежания, поведения и переводится в следующий класс.

«Вот оно что!» — понял я, вспоминая убитого мною лесного незнакомца и его черную гимнастерку, на которой нарочно были срезаны пуговицы, и вытесненные на подкладке ворота буквы: Гр. А. К. К.

Другая бумага — было письмо, написанное по-французски, с недавней датой. И хотя школа оставила у меня самое слабое воспоминание об этом языке, все же, посидев с полчаса, по отдельным словам, дополняя провалы строчек догадками, я понял, что письмо это содержит рекомендацию и адресовано какому-то полковнику Коренькову с просьбой принять участие в судьбе кадета Юрия Ваальда.

Я хотел показать эти любопытные бумаги Чубуку, но тут я увидел, что Чубук спит. Мне было жалко будить его: он не отдыхал еще со вчерашнего утра. Я сунул бумаги обратно в сумку и стал читать словарь.

Прошло около часа. Через шорох ветра к трескотне птиц примешался далекий чужой шум. Я встал и приложил ладонь к уху — топот и голоса слышались все ясней и ясней.

— Чубук! — дернул я его за плечо.— Вставай, Чубук, наши идут!

— Наши идут!— машинально повторил Чубук, приподнимаясь и протирая глаза.

— Ну да... рядом уже. Идем скорей.

— Как же это я заснул? — удивился Чубук.— Прилег только и заснул.

Глаза его были еще сонные и жмурились от солнца, когда, вскинув винтовку, он зашагал за мной.

Голоса раздавались почти рядом. Я поспешно выскочил из-за избушки и, подбрасывая шапку, заорал что-то, приветствуя подходящих товарищей.

Куда упала шапка, я так и не видел, потому что сознание страшной ошибки оглушило меня.

— Назад! — каким-то хриплым, рычащим голосом крикнул сзади Чубук.

Тах... тах... тах...

Три выстрела почти одновременно жахнули из первых рядов колонны. Какая-то невидимая сила рванула из рук и расщепила приклад моей винтовки с такой яростью, что я едва устоял на ногах. Но этот же грохот и толчок вывели меня из оцепенения. «Белые»,— понял я, бросаясь к Чубуку. Чубук выстрелил.

Целый час мы были под угрозой быть пойманными рассыпавшейся облавой. Все-таки вывернулись. Но еще долго после того, как смолкли голоса преследовавших, шли мы наугад, мокрые, рас-

красневшиеся. Пересохшими глотками жадно вдыхали влажный лесной воздух и цеплялись ноющими, точно отдавленными подошвами ног за пни и кочки.

— Будет,— сказал Чубук, бухаясь на траву,— отдохнем. Ну и врезались же мы с тобой, Бориска! А все я... Заснул. Ты заорал: «Наши, наши!» — я не разобрал спросонья, думаю, что ты разузнал уже, и пру себе.

Тут только я посмотрел на свою винтовку. Ложе было разбито в щепы, и магазинная коробка исковеркана.

Я подал Чубуку винтовку. Он повертел ее и отбросил в траву.

— Палка,— презрительно сказал он,— это уж теперь не винтовка, а дубинка, свиней ею только глушить. Ну ладно. Хорошо, хоть сам-то цел остался. Шинелька где? Тоже нету. И я свою скатку бросил. Вот какие дела, брат!

Хотелось бы еще отдохнуть, долго лежать не двигаясь, снять сапоги и расстегнуть ворот рубахи, но сильней, чем усталость, мучила жажда, а воды рядом нигде не было.

Поднялись и тихонько пошли дальше. Перешли поле; под горой внизу приткнулись плотно сдвинутые домики деревеньки, и белые мазанки коричневыми соломенными крышами похожи были отсюда на кучу крупных березовых грибов. Спуститься туда мы не решились. Перешли поле и опять очутились в роще.

— Дом,— прошептал я, останавливаясь и показывая пальцем на краешек красной железной крыши.

Опасаясь нарваться на какую-нибудь засаду, мы осторожно подобрались к высокой изгороди. Ворота были наглухо заперты. Не лаяли собаки, не кудахтали куры, не топтались в хлеву коровы — все было тихо, точно все живое нарочно притаилось при нашем приближении. Мы обошли кругом усадьбы — прохода нигде не было.

— Залезай мне на спину,— приказал Чубук,— заглянешь через забор, что там есть.

Через забор я увидел пустой, поросший травой двор, вытоптанные клумбы, из которых кое-где подымались помятые георгины и густо-синие звездочки анютиных глазок.

— Ну? — спросил Чубук нетерпеливо.— Да слезай же! Что я тебе, каменный?

— Нету никого,— ответил я спрыгивая.— Передние окна забиты досками, а сбоку вовсе рамы нету — видать сразу, что брошенный дом. А колодец во дворе есть.

Отодвинув неплотно прибитую доску, мы полезли через дыру во двор. В заплесневелой яме колодца чернильным наплывом отсвечивала глубокая вода, но зачерпнуть было нечем. Под навесом, среди сваленной кучи хлама, Чубук разыскал ржавое, ху-

дое ведро. Пока мы его подтягивали, воды оставалось на донышке. Тогда заткнули дыру пучком травы и зачерпнули второй раз. Вода была чистая, студеная, и пить ее пришлось маленькими глотками. Ополоснули потные, пыльные лица и пошли к дому. Передние окна были заколочены, но зато сбоку дверь, выходившая на веранду, была распахнута и отвисло держалась на одной нижней петле. Осторожно ступая по скрипучим половицам, пошли в комнаты.

На полу, усыпанном соломой, обрывками бумаги, тряпками, стояло несколько пустых дощатых ящиков, сломанный стул и буфет с дверцами, расщепленными чем-то тупым и тяжелым.

— Мужики усадьбу грабили,— тихо сказал Чубук.— Ограбили все нужное и бросили.

В следующей комнате лежала беспорядочная груда запыленных книг, покрытых рогожей, испачканной известкой. Тут же в общей куче валялся надорванный портрет полного господина, поперек пышного белого лба которого пальцем, обмакнутым в чернила, было коряво выведено неприличное слово.

Было странно и интересно пробираться из комнаты в комнату заброшенного, разграбленного дома. Каждая мелочь: разбитый цветной горшок, позабытая фотография, поблескивающая в мусоре пуговица, рассыпанные, растоптанные фигурки шахмат, затерявшийся от колоды король пик, сиротливо прятавшийся в осколках разбитой японской вазы,— все это напоминало о людях, о хозяевах, о непохожем на настоящее прошлом спокойных обитателей этой усадьбы.

За стеной что-то мягко стукнуло, и этот стук, слишком неожиданный среди мертвого тления заброшенных комнат, заставил нас вздрогнуть.

— Кто там? — зычно разбивая тишину, спросил Чубук, приподнимая винтовку.

Большой рыжий кот широкими крадущимися шагами шел нам навстречу. И, остановившись в двух шагах, он с злобным, голодным мяуканьем уставился на нас холодными зелеными глазами. Я хотел погладить его, но кот попятился назад и одним махом, не прикасаясь даже к подоконнику, вылетел на заглохшую клумбу и исчез в траве.

— Как он не сдох?

— Чего ему сдыхать? Он мышей жрет, по духу слышно, что здесь мышей до черта.

Нудным, хватающим за сердце скрипом заныла какая-то далекая дверь, и послышалось неторопливое шарканье: как будто кто-то тер сухой тряпкой об пол. Мы переглянулись. Это были шаги человека.

— Кого тут еще черт носит? — тихо проговорил Чубук, под-

талкивая меня за простенок и бесшумно свертывая предохранитель винтовки.

Донеслось легкое покашливание, захрустел отодвигаемый дверью ком бумаги, и в комнату вошел невысокий, плохо выбритый старичок в потертой пижаме голубого цвета и туфлях, обутых на босу ногу. Старичок с удивлением, но без страха посмотрел на нас, вежливо поклонился и сказал равнодушно:

— А я слушаю... кто это внизу ходит? Думаю, может, мужички пришли, ан нету. Глянул в окно — телег не видно.

— Кто ты есть за человек? — с любопытством спросил Чубук, закидывая винтовку за плечо.

— Позвольте спросить мне прежде, кто вы? — так же тихо и равнодушно поправил старичок.— Ибо если вы сочли нужным нанести визит, то будьте добры представиться хозяину. Впрочем...— тут он немного склонил голову и пыльными серыми глазами скользнул по Чубуку,— я и сам догадываюсь: вы — красные.

Тут нижняя губа хозяина дрогнула, будто кто-то дернул ее книзу. Блеснул желтым огоньком и потух золотой зуб, смахнули ожившие веки пыль с его серых глаз. Широким жестом хлебосольного хозяина старичок пригласил нас за собой:

— Прошу пожаловать.

Недоумевая, мы переглянулись и мимо разгромленных комнат пошли к узенькой деревянной лестнице, ведущей наверх.

— Я, видите ли, наверху принимаю,— точно извиняясь, говорил на ходу хозяин.— Внизу, знаете, беспорядок, не убрано, убирать некому, все куда-то провалились, и никого не дозовешься. Сюда пожалуйте.

Мы очутились в небольшой светлой комнате. У стены стоял старый сломанный диван с вывороченным нутром, вместо простыни покрытый рогожей, а вместо одеяла — остатком красивого, но во многих местах прожженного ковра. Тут же стоял трехногий письменный стол, а над столом висела клетка с канарейкой. Канарейка, очевидно, давным-давно сдохла и лежала в кормушке кверху лапками. Со стены глядело несколько пыльных фотографий. Очевидно, кто-то помог хозяину перетащить негодные остатки разбитой мебели и обставить эту комнату.

— Прошу садиться,— сказал старик, указывая на диван.— Живу, знаете ли, один, гостей давненько уж никого не видел. Мужички заезжают иногда, продукты привозят, а вот порядочных людей давно не видел. Был у меня как-то ротмистр Шварц. Знаете, может быть?.. Ах, впрочем, извините, ведь вы же красные.

Не спрашивая нас, хозяин полез в буфет, достал оттуда две недобитые тарелки, две вилки — одну простую, кухонную, с де-

ревянным черенком, другую — вычурно изогнутую, десертную, у которой не хватало одного зубца, потом достал каравай черного хлеба и полкружка украинской колбасы.

Поставив на кособокую фитильную керосинку залепленный жирной сажей чайник, он вытер руки о полотенце, не стиранное бог знает с какого времени, снял со стены причудливую трубку, с которой беззубо скалился резной козел с человечьей головой, набил трубку махоркой и сел на драное, зазвеневшее выпершими пружинами кресло. Во время всех этих приготовлений мы сидели молча на диване.

Чубук тихонько толкнул меня и, хитро улыбнувшись, постучал незаметно пальцем о свой лоб.

Я понял его и тоже улыбнулся.

— Давненько уже не видал я красных,— сказал хозяин и тут же поинтересовался: — Каково здоровье Ленина?

— Ничего, спасибо, жив-здоров,— серьезно ответил Чубук.

— Гм, здоров...

Старичок помешал проволокой жерло чадившей трубки и вздохнул.

— Да и то сказать, с чего им болеть? — Он помолчал и потом, точно отвечая на наш вопрос, сообщил: — А я вот прихварываю понемногу. По ночам, знаете, бессонница. Нету прежнего душевного равновесия. Встану иногда, пройдусь по комнатам — тишина, только мыши скребутся.

— Что это вы пишете? — спросил я, увидев на столе целую кипу исписанных бисерным почерком листочков.

— Так,— ответил он.— Соображения по поводу текущих событий. Набрасываю план мирового переустройства. Я, знаете, философ и спокойно взираю на все возникающее и проходящее. Ни на что не жалуюсь... нет, ни на что.

Тут старичок встал и, мельком заглянув в окно, сел опять на свое место.

— Жизнь пошумит, пошумит, а правда останется. Да, останется,— слегка возбуждаясь, повторил старик.— Были и раньше бунты, была пугачевщина, был пятый год, так же разрушались, сжигались усадьбы. Проходило время, и, как птица Феникс из пепла, возникало разрушенное, собиралось разрозненное.

— То есть, что же это? На старый лад все повернуть думаете? — настороженно и грубовато спросил Чубук.

При этом прямом вопросе старичок съежился и, заискивающе улыбаясь, заговорил:

— Нет, нет... что вы! Я не к тому. Это ротмистр Шварц хочет, а я не хочу. Вот предлагал он мне возвратить все, что мужики у меня позаимствовали, а я отказался. На что оно мне, говорю. Время не такое, чтобы возвращать. Пусть лучше они мне

понемногу на прожитие продуктов доставляют и пусть на доброе здоровье моим добром пользуются.

Тут старичок опять приподнялся, постоял у окна и быстро обернулся к столу:

— Что же это я... Вот и чайник вскипел. Прошу к столу, кушайте, пожалуйста.

Упрашивать нас было не к чему: хлебные корки захрустели у нас на зубах, и запах вкусной чесночной колбасы приятно защекотал ноздри.

Хозяин вышел в соседнюю комнату, и слышно было, как возится он, отодвигая какие-то ящики.

— Забавный старик,— тихо заметил я.

— Забавный,— вполголоса согласился Чубук,— а только... только... что это он все в окошко поглядывает?

Тут Чубук обернулся, пристально осмотрел комнату и, внимание его привлекла старая дерюга, разостланная в углу. Он нахмурился и подошел к окну.

Вошел хозяин. В руках он держал бутылку и полой пижамы стирал с нее налет пыли.

— Вот,— проговорил он, подходя к столу.— Прошу. Ротмистр Шварц заезжал и не допил. Позвольте, я вам в чай коньячку. Я и сам люблю, но для гостей... для гостей...— Тут старичок выдернул бумагу, которой было закупорено горлышко, и долил жидкостью наши стаканы.

Я протянул руку к стакану, но тут Чубук быстро отошел от окна и сказал мне сердито:

— Что это ты, милый? Не видишь, что ли, что посуды не хватает? Уступи место старику, а то расселся. Ты и потом успеешь. Садись, папаша, вместе выпьем.

Я посмотрел на Чубука, удивляясь тому грубому тону, которым он обратился ко мне.

— Нет, нет! — И старик отодвинул стакан.— Я потом... вы же гости.

— Пей, папаша,— повторил Чубук и решительно подвинул стакан хозяину.

— Нет, нет, не беспокойтесь,— упрямо отказался старик и, неловко отодвигая стакан, опрокинул его.

Я сел на прежнее место, а старик отошел к окну и задернул грязную ситцевую занавеску.

— Пошто задергиваешь? — спросил Чубук.

— Комары,— ответил хозяин.— Комары одолели. Место тут низкое... столько расплодилось, проклятых.

— Ты один живешь? — неожиданно спросил Чубук.— Как же это один?.. А чья это вторая постель у тебя в углу? — И он показал на дерюгу.

Не дожидаясь ответа, Чубук поднялся, отдернул занавеску и высунул голову в окно. Вслед за ним приподнялся и я.

Из окна открывался широкий вид на холмы и рощицы. Ныряя и выплывая, убегала вдаль дорога; у края приподнятого горизонта на фоне покрасневшего неба обозначались четыре прыгающие точки.

— Комары! — грубо крикнул Чубук хозяину и, смерив презрительным взглядом его съежившуюся фигуру, добавил: — Ты, как я вижу, и сам комар. Идем, Борис!

Когда по лесенке мы сбежали вниз, Чубук остановился, вынул коробку и, чиркнув спичкой, бросил ее на кучу хлама. Большой ком сухой бумаги вспыхнул, и пламя потянулось к валявшейся на полу соломе. Еще минута, другая, и вся замусоренная комната загорелась бы. Но тут Чубук с неожиданной решимостью растоптал огонь и потянул меня к выходу.

— Не надо,— как бы оправдываясь, сказал он.— Все равно наше будет.

Минут через десять мимо кустов, в которых мы спрятались, промчались четверо всадников.

— На усадьбу скачут,— пояснил Чубук.— Я, как увидел в углу постеленную дерюгу, понял, что старик не один живет, а еще с кем-то. Видел ты, он все к окну подходил? Пока мы внизу по комнатам лазили, он послал за белыми кого-то. Так же и с чаем. Подозрительным мне что-то этот коньяк показался: может, разбавил его каким-нибудь крысомором? Не люблю я и не верю разграбленным, но гостеприимным помещикам! Кем он ни прикидывайся, а все равно про себя он мне первый враг.

Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую погоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня.

— Теперь караулить друг друга надо,— сказал он.— Я уже давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторожи. Неравно как пойдет кто. Да смотри не засни тоже!

— Нет, Чубук, я не засну.

Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась речка. Вчера мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсохла, и тина липкой коростой облепила тело.

«Искупаться бы,— подумал я.— Речка рядышком, только под горку спуститься».

С полчаса я сидел и караулил Чубука и все не мог отвязаться от желания сбегать и искупаться. «Никого нет кругом,— думал я,— кто в этакую рань пойдет, да тут и дороги никакой около не видно. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов».

Соблазн был слишком велик, тело зудело и чесалось. Скинув никчемный патронташ, я бегом покатился под гору.

Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне казалось, и прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я был на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которой я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце ёкнуло. Забарахтался. Сразу стало тепло. У-ух, как хорошо! Поплыл тихонько на середину. Там, на отмели, стоял куст. Под кустом запуталось что-то: не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздвинул ветки и сразу отпрянул назад. Зацепившись штаниной за сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана, и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми саженками, точно опасаясь, что кто-то вот-вот больно укусит меня, поплыл назад.

Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста, буйно зеленевшего на отмели. То ли вода ударила крепче, то ли, раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника, а только он выплыл, его перевернуло течением и понесло к моему берегу.

Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку, чтобы скорей убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот, тело расстрелянного было уже рядом, почти у моих ног.

Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись, едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех раненых, оставленных нами на пасеке: это был наш Цыганенок.

— Эгей, хлопец! — услышал я позади себя окрик.— Подойди-ка сюда.

Трое незнакомых направились прямо ко мне. Двое из них были с винтовками. Бежать мне было некуда — спереди они, сзади река.

— Ты чей? — спросил меня высокий чернобородый мужчина.

Я молчал. Я не знал, кто эти люди — красные или белые.

— Чей? Тебя я спрашиваю! — уже грубее переспросил он, хватая меня за руку.

— Да что с ним разговаривать! — вставил другой.— Сведем его на село, а там без нас спросят.

Подъехали две телеги.

— Дай-ка кнут-то! — закричал чернобородый одному из мужиков-подводчиков, робко жавшемуся к своей лошади.

— Для че? — недовольно спросил другой.— Для че кнутом? Ты веди к селу, там разберут.

— Да не драть. Руки ему перекручу, а то вон как смотрит — того и гляди, что стреканет.

Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толкнули к телеге:

— Садись!

Сытые кони дернули и быстро рысцой понесли к большому селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке.

Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые — партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится и меня сразу же отпустят.

В кустах недалеко от села постовой окликнул:

— Кто едет?

— Свои... староста,— ответил чернобородый.

— А-а-а!.. Куда ездил?

— Подводы с хутора выгонял.

Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не успел рассмотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внимание было приковано к его плечам. На плечах были погоны.

Глава девятая

Солдат на улице еще не было видно — вероятно, спали.

Возле церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на растопку лучину.

— В штаб везти? — спросил возница у старосты.

— Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит из-за такого мальца тревожить. Вези пока в холодную.

Телега остановилась возле низкой каменной избушки с решетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери. Наспех прощупав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь захлопнулась, хрустнула пружина замка.

В первые минуты острого, причинявшего физическую боль страха я решил, что погиб окончательно и бесповоротно, что нет никакой надежды на спасение. Взойдет солнце выше, проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет, и тогда смерть, тогда конец.

Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, закоченел в каком-то тупом бездумье. В виски молоточками стучала кровь, и мысль, как неисправная граммофонная пластинка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же: «Конец, конец, конец...» Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного толчка острие сознания попало в нужную извилинку мозга, и мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой.

«Неужели никак нельзя спастись? И так нелепо попался! Мо-

жет быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на село идут красные и успеют отбить? А если не нападут? Или нападут уже потом, когда будет поздно? Может быть... Нет, ничего не может быть, ничего не выходит».

Мимо окна погнали стадо. Тесно сгрудившись, колыхались овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бичом пастух. Маленький теленок бежал, подпрыгивая, и смешно пытался на ходу ухватить вымя коровы.

Эта мирная деревенская картина заставила еще больше почувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешивалась и даже подавила его на короткое время злая обида: вот... утро такое... все живут. И овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты умирай!

И, как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых и невозможных планов выплыла одна необыкновенно простая и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естественней всего и прежде всего должна была прийти на помощь.

Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя принадлежность к красным как бы подразумевалась сама собой и не требовала никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне вообще таким никчемным, как объяснять постороннему, что волосы мои белые, а не черные.

«Постой,— сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную нить.— Ну ладно... я красный. Это я об этом знаю, а есть ли какие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом они?»

Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению, что признаков таких нет. Красноармейских документов у меня не было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял, убегая от кордона. Тогда же бросил я и шинель. Разбитая винтовка валялась в лесу на траве, патронташ перед тем, как идти купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная, ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще остается?

Ах, да! Маленький маузер, спрятанный на груди, и еще что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Но маузер можно запихать под печь, а историю... историю можно и выдумать.

Чтобы не запутаться, решил не усложнять обстоятельств выдумыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гориковым, учеником пятого класса Арзамасского реального училища, отправившимся с дядей (чтобы не сбиться, дядю настоящего вспомнил) в город Харьков к тетке (адрес тетки остался у дяди). По дороге я отстал от дяди, меня ссадили с поезда за

проезд без пропуска и документов (они у дяди). Тогда я решил пройти вдоль полотна, чтобы сесть на поезд со следующей станции. Но тут красные кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел, скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направился в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся узнать в адресном столе. Если скажут: «Какие же, к черту, могут быть сейчас адресные столы?» — удивлюсь и скажу, что могут, потому ж на что Арзамас худой город, и то там есть адресный стол. Если спросят: «Как же так дядя надеялся пробраться из красной России в белый Харьков?» — скажу, что дядя у меня такой пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу проберется. А я вот... нет, не пройдоха, не могу никак. На этом месте нужно будет заплакать. Не особенно, а так, чтобы печаль была видна. Вот и все пока, остальное будет видно на месте.

Вынул маузер. Хотел было сунуть его под печь, но раздумал. Даже если отпустят, отсюда его уж не вытащишь. Комната имела два окна: одно выходило на улицу, другое — в узенький проулок, по которому пролегала тропка, заросшая по краям густой крапивой. Тогда я поднял с полу обрывок бумаги, завернул маузер и бросил небольшой сверток в самую гущу крапивы. Только что успел я это сделать, как на крыльце застучали. Привезли еще троих: двух мужиков, скрывших лошадей при обходе за подводами, и парнишку, уж не знаю зачем укравшего запасную возвратную пружину с двуколки у пулеметчика. Парнишка был избит, но не охал, а только тяжело дышал, точно его прогнали бегом.

Между тем улица села оживилась. Проходили солдаты, ржали кони, звякали котелки возле походной кухни. Показались связисты, разматывавшие на рогульки телефонный провод. Четко, в ногу, под командой важного унтера прошел мимо не то караул к разводу, не то застава к смене.

Опять щелкнул замок, просунулась голова солдата. Остановившись у порога, солдат вытащил из кармана смятую бумажку, заглянул в нее и крикнул громко:

— Который тут Ваалд, что ли? Выходи.

Я посмотрел на своих соседей, те на меня — никто не подымался.

— Ваалд... Ну, кто тут?

«Ваалд Юрий!» — ужаснулся я, вспомнив про бумаги, которые нашел в подкладке и о которых позабыл среди волнений последнего времени. Выбора у меня не было. Я встал и нетвердо направился к двери.

«Ну да, конечно,— понял я.— Они нашли бумаги и принимают меня за того... за убитого. Ой, как это скверно! Какой хо-

роший и простой был мой первый план, и как легко мне теперь сбиться и запутаться. А отказаться от бумаг нельзя. Сразу же возникнет подозрение — где достал документы, зачем?» Вылетела из головы вся тщательно придуманная история с поездкой к тете, с пройдохой-дядей... Нужно уж что-то сообразить новое, но что сообразишь? Тут уж придется, видно, на месте. Выпрямился и попробовал улыбнуться. Но как трудно иногда быть веселым, как невольно, точно резиновые, сжимаются и вздрагивают насильно растянутые в улыбку губы!

С крыльца штаба спускался высокий пожилой офицер в погонах капитана. Рядом, с видом собаки, которой дали пинка, шагал староста. Заметив меня, староста остановился и развел руками: извините, мол, ошибка вышла.

Офицер сказал старосте что-то резкое, и тот, подобострастно кивнув головой, побежал вдоль улицы.

— Здравствуй, военнопленный,— немного насмешливо, но совсем не сердито сказал капитан.

— Здравия желаю, господин капитан! — ответил я так, как учили нас в реальном на уроках военной гимнастики.

— Ступай,— отпустил офицер моего конвоира и подал мне руку.— Ты как здесь? — спросил он, хитро улыбаясь и доставая папироску.— Родину и отечество защищать? Я прочел письмо к полковнику Коренькову, но оно ни к чему тебе теперь, потому что полковник уже месяц как убит.

«И очень хорошо, что убит»,— подумал я.

— Пойдем ко мне. Как же это ты, братец, не сказался старосте? Вот и пришлось тебе посидеть. Попал к своим, да сразу и в кутузку.

— А я не знал, кто он такой. Погонов у него нет, мужик мужиком. Думал, что красный это. Тут ведь, говорят, шатаются,— выдавил я из себя и в то же время подумал, что офицер, кажется, хороший, не очень наблюдательный, иначе бы он по моему неестественному виду сразу догадался, что я не тот, за кого он меня принимает.

— Знавал я твоего отца,— сказал капитан.— Давненько, в седьмом году на маневрах в Озерках у вас был. Ты тогда еще совсем мальчуганом был, только смутное какое-то сходство осталось. А ты не помнишь меня?

— Нет,— как бы извиняясь, ответил я,— не помню. Маневры помню чуть-чуть, только тогда у нас много офицеров было.

Если бы я не имел того «смутного сходства», о котором упоминал капитан, и если бы у него появилось хоть маленькое подозрение, он двумя вопросами об отце, о кадетском корпусе мог бы вконец угробить меня.

Но офицер и не подозревал ничего. То, что я не открылся

старосте, казалось очень правдоподобным, а воспитанники кадетских корпусов на Дон бежали тогда из России табунами.

— Ты, должно быть, есть хочешь? Пахомов! — крикнул он раздувавшему самовар солдату.— Что у тебя приготовлено?

— Куренок, ваше благородие. Самовар сейчас вскипит... да попадья квашню вынула, лепешки скоро будут готовы.

— Куренок! Что нам на двоих куренок? Ты давай еще чего-нибудь.

— Смалец со шкварками можно, ваше благородие, со вчерашними варениками разогреть.

— Давай вареники, давай куренка, да скоренько!

Тут в соседней комнате заныл вызов телефонного аппарата.

— Ваше благородие, ротмистр Шварц к телефону просит.

Уверенным, спокойным баритоном капитан передавал распоряжения ротмистру Шварцу.

Когда он положил трубку, кто-то другой, по-видимому, также офицер, спросил у капитана:

— Что Шварц знает нового об отряде Бегичева?

— Пока ничего. Заходили вчера двое красных на Кустаревскую усадьбу, а поймать не удалось. Да! Виктор Ильич, напишите донесение, что, по агентурным сведениям Шварца, отряд Шебалова будет пытаться проскочить мимо полковника Жихарева в районе завесы красных. Нужно не дать им соединиться с Бегичевым... Ну-с, молодой человек, пойдем завтракать. Покушайте, отдохните, а тогда будем решать, как и куда вас следует пристроить.

Только что мы успели сесть за стол, денщик поставил плошку с дымящимися варениками, куренка, который по размерам походил скорее на здорового петуха, и шипящую сковородку со шкварками, только что успел я протянуть руку за деревянной ложкой и подумать о том, что судьба, кажется, благоприятствует мне, как возле ворот послышался шум, говор и ругательства.

— До вас, ваше благородие,— сказал вернувшийся денщик,— красного привели с винтовкой. На Забеленном лугу в шалаше поймали. Пошли пулеметчики сено покосить, глянули, а он в шалаше спит, и винтовка рядом и бомба. Ну, навалились и скрутили. Завести прикажете?

— Пусть приведут... Не сюда только. Пусть в соседней комнате подождут, пока я завтракаю.

Опять затопали, застучали приклады.

— Сюда! — крикнул за стеной кто-то.— Садись на лавку да шапку-то сыми, не видишь — иконы!

— Ты руки прежде раскрути, тогда гавкай!

Вареник захолодел в моем полураскрытом рту и плюхнулся обратно в миску. По голосу в пленном я узнал Чубука.

— Что, обжегся? — спросил капитан.— А ты не наваливайся очень-то. Успеешь, наешься.

Трудно себе представить то мучительное, напряженное состояние, которое охватило меня. Чтобы не внушать подозрения, я должен был казаться бодрым и спокойным. Вареники глиняными комьями размазывались по рту. Требовалось чисто физическое усилие для того, чтобы протолкнуть кусок через сжимавшееся горло. Но капитан уверен в том, что я сильно голоден, да и я сам еще до завтрака сказал ему об этом. И теперь я должен был через силу есть. Тяжело ворочая одеревенелыми челюстями, машинально нанизывая лоснящиеся от жира куски на вилку, я был подавлен и измят сознанием своей вины перед Чубуком. Это я, несмотря на его предупреждения, самовольно ушел купаться. Это я виноват в том, что его захватили в плен двое пулеметчиков. Я виноват в том, что самого дорогого товарища, самого любимого мной человека взяли сонным и привели во вражеский штаб.

— Э-э, брат, да ты, я вижу, совсем спишь,— как будто бы издалека донесся до меня голос капитана.— Вилку с вареником в рот, а сам глаза закрыл. Ляг поди на сено, отдохни. Пахомов, проводи!

Я встал и направился к двери. Теперь нужно было пройти через комнату телеграфистов, в которой сидел пленный Чубук. Это была тяжелая минута. Нужно было, чтобы удивленный Чубук ни одним жестом, ни одним восклицанием не выдал меня. Нужно было дать понять, что я попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы спасти его.

Чубук сидел, низко опустив голову. Я кашлянул. Чубук приподнял голову и быстро откинулся назад.

Но, уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам, и по тому, как Чубук быстро сощурил глаз и перевел взгляд с меня на шагавшего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки ничего не понял и считает меня также арестованным по подозрению, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся. Я тебя не выдам».

Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее никто не заметил. Покачиваясь, я вышел во двор.

— Сюда пожалуйте,— указал мне денщик на небольшой сарайчик, примыкавший к стене дома.— Там сено снутри и одеяло. Дверцу только заприте за собой, а то поросюки набегут.

Глава десятая

Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. «Что же делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему убежать? Я виноват, я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареники, и Чубук должен за меня расплачиваться».

Но придумать ничего я не мог.

Голова нагрелась, щеки горели, и понемногу лихорадочное, возбужденное состояние овладело мной. «А честно ли я поступаю? Не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» Мысль эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конечно,— шептал я,— это будет, по крайней мере, искуплением моей невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный рассказ из времен французской революции, когда отпущенный на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому офицеру. «Ну да, конечно,— торопливо убеждал и уговаривал себя я,— я встану сейчас, выйду и все скажу. Пусть видят тогда и солдаты и капитан, как могут умирать красные. И когда меня поставят к стенке, я крикну: «Да здравствует революция!» Нет... не это. Это всегда кричат. Я крикну: «Проклятие палачам!» Нет, я скажу...»

Все больше и больше упиваясь сознанием мрачной торжественности принятого решения, все более разжигая себя, я дошел до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое настоящее значение.

«Встаю и выхожу.— Тут я приподнялся и сел на сено.— Так что же я крикну?»

На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью, какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в сознании, и, вместо того чтобы придумать предсмертное слово, уж не знаю почему, я вспомнил старого цыгана, который играл на свадьбах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не связанное с тем, о чем я пытался думать в ту минуту.

«Встаю...» — подумал я. Но сено и одеяло крепким, вяжущим цементом обволокли мои ноги.

И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось подниматься, и все эти раздумья о последней фразе, о цыгане — все было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент. Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончательно не хотелось идти открываться и становиться к стенке. Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим мальчиком из далекой французской революции.

Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым: не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса.

Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана:

— ...поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе делаешь. Сколько пулеметов в отряде?

— Хуже уж некуда, а вилять мне нечего,— ответил Чубук.

— Пулеметов сколько, спрашиваю?

— Три... два «максима», один кольт.

«Нарочно говорит,— понял я.— У нас в отряде всего только один кольт».

— Так. А коммунистов сколько?

— Все коммунисты.

— Так-таки все? И ты коммунист?

Молчание.

— И ты коммунист? Тебя спрашиваю!

— Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает.

— Мо-ол-чать! Ты, как я смотрю, кажется, идейный. Стой прямо, когда с тобой офицер разговаривает. Это ты в усадьбе был?

— Я.

— С тобой еще кто?

— Товарищ... Еврейчик один.

— Жид? Куда он делся?

— Убег куда-то... в другую сторону.

— В какую сторону?

— В противоположную.

Что-то стукнуло, двинулась табуретка, баритон протяжно заговорил:

— Я тебе дам «в противоположную»! Я тебя сейчас самого пошлю в противоположную.

— Чем бить, распорядились бы лучше скорей, да и делу конец,— тише прежнего донесся голос Чубука.— Наши бы, если вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду — и в расход. А вы, глядите-ка, всего плетюгой исполосовали, а еще интеллигентный.

— Что-о?.. Что ты сказал? — высоким, срывающимся голосом закричал капитан.

— Я говорю, нечего человека зря валандать!

Вмешался прежний голос:

— Господин командир полка, к аппарату!

Минут десять за стеной молчали. Потом с крыльца уже послышался голос денщика Пахомова:

— Ординарец! Мусабеков!.. Ибрагишка!..

— Ну-у? — донесся из малинника ленивый отклик.

— И где ты, черт, делся? Седлай жеребца капитану.

За стенкой опять баритон:

— Виктор Ильич! Я в штаб... Вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шебалова соединились возле разлома.

— А с этим что?

— Этого... этого можно расстрелять. Или нет — держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. Пахомов,— повышая тон, продолжал капитан,— лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. Да! Когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо. Я там пообедаю.

Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я увидел, как конвоиры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром.

«Капитан вернется поздно,— подумал я,— значит, в следующий раз Чубука выведут для допроса ночью».

Робкая надежда легким, прохладным дуновением освежила мою голову.

Я здесь на свободе... Никто меня ни в чем не подозревает, больше того: я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить где хочу, и, когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чубуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его безоружным, сможет убить и того и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь темные; два шага отскочил — и пропал. Только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через окно, сидит у крыльца и сторожит дверь; только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет.

Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку.

Решетчатое окошко, за которым сидел Чубук, черной дырой уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы.

«Хорошо, если бы Чубук заметил меня,— подумал я.— Это ободрит его, он поймет, что раз я здесь на свободе, то постараюсь спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой помахать — часовой заметит... Ага! Вот как. Так же, как

когда-то в детстве я вызывал Яшку Цуккерштейна в сад или на пруд».

Сбегал в комнату, снял со стены небольшое походное зеркальце и вернулся на завалинку. Сначала я занимался рассматриванием прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил солнечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда незаметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому, сидевшему на крыльце, был невидим острый луч, ударивший через окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигая зеркала, я закрыл стекло, открыл опять, и так несколько раз.

Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтересуется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался. В следующую минуту в окне под лучами моего солнечного прожектора возник силуэт человека. Сверкнув несколько раз, чтобы Чубук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав во весь рост, как бы потягиваясь, поднял руку вверх, что на языке военной сигнализации всегда означало: «Внимание! Будьте готовы!»

К крыльцу подошли два стройных юнкера в запыленных бескозырках, с карабинами, ловко перекинутыми наискосок за спину, и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана младший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет:

— От полковника Жихарева.

С завалинки я услышал жужжание телефона: младший офицер настойчиво вызывал штаб полка. Четыре солдата, присланные от рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут распахнулись ворота околицы, и десять черных казаков легкой стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно поразили меня.

Вышколенные юнкера и вымуштрованные казаки, из которых состоял сводный отряд, были не похожи на наших храбрых, но горластых и плохо дисциплинированных ребят.

Солнце еще только близилось к закату, а мне уже не сиделось. По приготовлениям и отдельным фразам я понял, что в ночь отряд будет выступать. Чтобы скоротать до темноты время, а заодно получше осмотреться, я пошел вдоль села и вышел на пруд, в котором казаки купали лошадей. Лошади фыркали, чавкали копытами, увязавшими в вязком, глинистом дне. Взбаламученная затхлая вода теплыми струйками стекала с их лоснящейся, жирной кожи.

На берегу бородатый голый казак с крестом на шее рубил шашкой кусты густого ракитника.

Занося шашку, казак поджимал губы, а когда опускал ее, то

из груди его вылетал короткий вздох, производивший тот самый неопределенный звук, который вырывается у мясников, разделывающих топором коровью тушу: ыых... ыых...

Под острым блестящим клинком толстые сучья валились, как трава. Попади ему сейчас под замах вражья рука — не будет руки. Попади ему красноармейская голова — разрубит наискосок, от шеи до плеча.

Видел я следы казачьих шашек: как будто бы не на скаку, не узким лезвием шашки нанесен гибельный удар, а на плахе топором спокойно, хорошо нацелившегося заплечных дел мастера.

Заслышав звон колокола, призывавшего ко всенощной, казак кончил рубить. Серой суконной портянкой вытер разгоревшийся клинок, вложил его в ножны и, тяжело дыша, перекрестился.

Меж картофельных гряд узенькой тропкой дошел я до родника. Ледяная вода с веселым журчаньем стекала со старой, покрытой мхом колоды. Заржавленная икона, врезанная в подгнивший крест, тускло глядела выцветшими глазами. Под иконой слабо обозначалась вырезанная ножом надпись:

«Все иконы и святые — ложь».

Начинало темнеть. «Еще полчаса,— подумал я,— и можно будет пробираться к каменной избушке». Я решил выйти на конец села, пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетчатому окну. Я хорошо знал место, на которое упал маузер. Белая обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти дальше как ни в чем не бывало.

Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучу солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном.

— Что ты тут ходишь? — удивившись, спросил он.— Или ты тоже пришел посмотреть? Тебе ведь еще в диковинку.

— Вы разве уже приехали? — заплетающимся языком глупо выдавил я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит.

Слова команды, раздавшиеся сбоку, заставили нас обернуться. И то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава.

В двадцати шагах, в стороне, пять солдат с винтовками, взятыми наизготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянуты назад, и он в упор смотрел на нас.

— Чубук,— прошептал я зашатавшись.

Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул.

Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану.

И, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я повалился на землю.

— Кадет,— строго сказал капитан, когда я опомнился,— это еще что такое? Баба... тряпка! Незачем было лезть смотреть, если не можешь. Так нельзя, батенька,— уже мягче добавил он,— а еще в армию прибежал.

— С непривычки это,— зажигая спичку и закуривая, вставил поручик, командовавший солдатами.— Вы не обращайте на это внимание. У меня в роте телефонистик один из кадетов. Сначала по ночам маму звал, а теперь такой аховый. А этот-то хорош,— понижая голос, продолжал офицер.— Стоял, как на часах, не коверкался. И ведь еще плюнул!

Глава одиннадцатая

В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала я убежал.

Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило бы меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы. Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только: скорей попасть к своим.

Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я, как под хлороформом, в кустах запущенной лощины; ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал, где приблизительно мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами — никто не останавливал меня.

Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами душная ночь.

Отчаяние стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну, поросшую душистым диким клевером. Так

лежал я долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук, на меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал про документы кадета, я забыл сказать ему про них. Сначала Чубук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на завалинке, а особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицером. Его плевок, брошенный в последнюю минуту, жег меня, как серная кислота.

И еще горше становилось от сознания, что поправить дело нельзя, объяснить и оправдаться не перед кем и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда...

Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина. Только гам птиц да лягушиное кваканье.

К злобе на самого себя примешивалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда, обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, дернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики.

Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха.

Я прямо зашагал вдоль опушки.

— Эй, кто там идет? — услышал я вскоре из-за кустов.

— Я иду,— ответил я не останавливаясь.

— Что за я?.. Стрелять буду!

— Стреляй! — с непонятной вызывающей злобой крикнул я, вырывая маузер из-за пазухи.

— Стой, шальной! — раздался другой голос, показавшийся мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику.— Васька, стой же ты, черт! Да ведь это же, кажется, наш — Бориска.

У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда, шахтера Малыгина.

— Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас разузнать: бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли?

— Я.

— Чего ты разошелся так? И бомбами швыряешься и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?

...Все рассказал я товарищам: как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, только о последнем плевке Чубука не сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слышал в штабе о планах белых, о расположении, о том, что отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших.

— Что же,— сказал Шебалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах палаш,— слов нету, жалко Чубука. Был Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить... Большую оплошку сделал ты, парень... Да, большую.— Тут Шебалов вздохнул.— Ну, а как мертвого все равно не воротишь, нечего мне тебе говорить, да и ты сам не нарочно, а с кем беды не бывает.

— С кем беды не бывает,— подхватило несколько голосов.

— Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, что торопился ты сообщить об этом товарищам,— за это тебе вот моя рука и спасибо!

Круто завернув вправо, большими ночными переходами далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шебалова и Бегичева вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино.

В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней.

— Борис,— спросил он,— верхом ездил когда?

— Ездил,— ответил я,— в деревне только у дядьки, да и то без седла. А что?

— Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную?

— Хочу,— ответил я и недоверчиво посмотрел на Федю.

— Ну, так заместо Бурдюкова будешь. Его коня возьмешь.

— А Гришка где?

— Шебалов выгнал.— И Федя выругался.— Вовсе из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко да и забыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка — красная цена. Так поди ж ты поговори с Шебаловым! Выгнал, черт, попову сторону взял.

Я хотел было возразить Феде, что вряд ли Шебалов станет держать попову сторону и что, вероятно, Гришка Бурдюков не нечаянно позабыл снять кольцо. Но тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение, он, чего доброго, разду-

мает брать меня в конную разведку, и я смолчал. А в конную давно уже мне хотелось.

Пошли к Шебалову.

Шебалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданно хмурый Малыгин.

— Пусти его,— сказал он.— Парень молодой, проворный. Да и так он ходит все, без Чубука скучает. Они ведь всегда на пару, а теперь не с кем ему!

Шебалов отпустил, но, исподлобья посмотрев на Федю, сказал ему не то шутя, не то серьезно:

— Ты, Федор, смотри... не спорть у меня парня! Ты не вихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю!

Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне: ладно, дескать, сами не маленькие.

Через месяц я уже, как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего пегого жеребца, который достался мне после Бурдюкова.

Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя вовсе не был похож на расстрелянного Чубука. Если правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Станет иногда выговаривать или стыдить, стоишь и злишься, а язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и поругаться и помириться, с ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя. Иной раз заладит свое, так ничем его не сшибешь.

Глава двенадцатая

Однажды Шебалов приказал Феде:

— Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Вы́селки. Второй полк по телефону разведать просил, нет ли там белых. У нас своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через Костырево, а они думают прямо через Выселки к нам связь протянуть.

Федя заартачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото, километров восемь такой грязью переть, что раньше чем к ночи оттуда вернуться и думать было нечего.

— Кто на Выселках есть? — возмутился Федя.— Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болота. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки.

— Тебя не спрашивают! Сказано тебе отправиться — отправляйся,— оборвал его Шебалов.

— Мало ли что сказано! Ты, может, чертову бабушку разыскивать пошлешь меня! Так я и послушался! Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековать, а кроме того, табаку фельдшер два ведра напарил, от чесотки коням растирку сделать нужно, а ты... на Выселки!

— Федор,— устало сказал Шебалов,— ты мне хоть разбейся, а приказа своего я не отменю.

Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались. Никому из нас не хотелось по дождю и слякоти тащиться из-за каких-то телеграфистов на Выселки. Ругали ребята Шебалова, обзывали телеграфистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали мокрых лошадей и нехотя, без песен, тронулись к окраине деревушки.

Вязкая, жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, вода струйками сбегала с шапок. Дорога раздваивалась.

В полукилометре направо, на песчаной горке, стоял хутор в пять или шесть дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод.

— Отогреемся, тогда поедем дальше,— сказал он.— А то на дожде и закурить нельзя.

В большой, просторной избе было тепло, чисто прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой.

— Эге! — тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом.— Хутор-то, я вижу, еще того, еще не объеденный.

Хозяин попался радушный. Мигнул здоровой девке, и та, задорно глянув на Федю, плюхнула на стол деревянные миски, высыпала ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь:

— Что ж стали-то? Садитесь.

— А что, хозяин,— спросил Федя,— далеко ли отсюда еще до Выселок?

— В лето, когда сухо,— ответил старик,— тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе не далеко, полчаса ходьбы всего. Ну, а сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, часа два проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять у меня нынче вернулся оттуда, так оглоблю сломал.

— Сегодня оттуда? — спросил Федя.

— Сегодня, с утра еще.

— Что там, не слыхать белых?

— Да нет, не слыхать пока.

— Пес его, Шебалова, задери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит, и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай раздевайся, ребята. Не за каким чертом лезть дальше. Только ноги коням вывертывать.

— Ладно ли, Федька, будет? — спросил я.— А что Шебалов скажет?

— Что Шебалов? — ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку.— Скажем Шебалову, что были, мол, и никого нету!

За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил и мне.

— Пейте,— сказал он чокаясь.— Выпьем за всемирный пролетариат, за итальянскую революцию! Пошли, господи, чтобы на наш век революции хватило и белые не переводились! Дай им доброго здоровья, хоть порубать есть кого, а то скучно было бы без них жить на свете. Ну, дергаем!

Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул:

— Фью!.. Да ты что, Борис, али не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а красная девушка.

— Как не пил! — горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот.

Пахучая едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос.

Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец.

Вскоре мне стало весело. Вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, от чего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще, пили и за здоровье красных бойцов, которые бьются с белыми, и за наших товарищей коней, которые носят нас в смертельный бой, и за наши шашки, чтобы не тупились, не осекались и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили.

Больше всех пил и меньше всех пьянел Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу, он яростно растягивал мехи баяна и мягким тенором выводил:

Как за Доном за рекою красные гуляют...

А мы нестройно, но с воодушевлением подхватывали:

Э-эй-эй, гуляй, красные гуляют...

И опять Федя заливался, качая головой, и жмурил влажные глаза:

Им товарищ — острый нож,
Шашка-лиходейка...

А мы с хвастливым, бесшабашным молодечеством вторили речитативом:

Шашка-ли-хо-дей-ка...

И разом дружно:

И-эх! Пра-а-падем мы ни за грош...
Жизнь наша — ко-пей-ка-а-а-а-а...

Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по столу, потянулся опять к чашке.

Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, задние наезжали на передних. Долго шатало меня по седлу, и наконец я приник к гриве коня, как неживой.

Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно за вчерашнее. В торбе у коня овса не было. Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяну в грязь. Зато у Федькина жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков; оба злые, глаза мутные, посоловелые.

«Неужели же и у меня такое лицо?» — испугался я и пошел умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки, и на затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал:

— Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебя за эдакие дела по морде бить буду!

— Сдачи получишь,— огрызнулся я.— Что, твоему коню лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал?

— Не твое дело,— брызгая слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью.

— Убери плеть, Федька! — взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки.— Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебя плашмя клинком по башке заеду!

— А, ты вот как!

Тут Федька разъярился вконец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не появился из-за угла Шебалов.

Шебалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью жиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и, погрозив мне кулаком, ушел.

— Поди сюда,— сказал мне Шебалов.

Я подошел.

— Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь? Зайдем-ка ко мне в хату.

Притворив за собой дверь, Шебалов сел и спросил:

— На Выселках и ты с Федькой был?

— Был,— ответил я и смутился.

— Не ври! Никто из вас там не был. Где прошатались это время?

— На Выселках,— упрямо повторил я не сознаваясь.

Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить.

— Ну ладно,— после некоторого раздумья сказал Шебалов и вздохнул.— Это хорошо, что на Выселках, а я, знаешь, засомневался что-то, Федьку не стал и спрашивать: он соврет — недорого возьмет. Байбаки его тоже как на подбор. Мне со второго полка звонили. Ругаются. «Мы,— говорят,— послали телефонистов в Выселки, поверили вам, а их оттуда как жахнули!» Я отвечаю им: «Значит, уж опосля белые пришли», а сам думаю: «Пес этого Федьку знает, вернулся он что-то поздно, и вроде как водкой от него несет».

Тут Шебалов замолчал, подошел к окну, за которым белой россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут.

— Беда мне прямо с этими разведчиками,— сказал он оборачиваясь.— Слов нету, храбрые ребята, а непутевые! И Федька этот тоже — никакой в нем дисциплины. Выгнал бы — заменить некем.

Шебалов посмотрел на меня дружелюбно; беловатые насупившиеся брови его разошлись, и от серых, всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне:

— Знаешь, ведь беда как трудно отрядом командовать! Это не то что сапоги тачать. Сижу вот целыми ночами... к карте привыкаю. Иной раз в глазах зарябит даже. Образования нет ни простого, ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и всегда на военном деле сидят, а я ведь приказ даже по складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина. Сказано — сделано! А у нас не привыкли еще, за всем самому надо глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил-просил — нету,

отвечают: «Ты пока и так обойдешься, ты и сам коммунист». А какой же я коммунист?..— Тут Шебалов запнулся.— То есть, конечно, коммунист, но ведь образования никакого.

В дверь ввалились грузный Сухарев и чех Галда.

— Я сольдат в расфедку даль, я сольдат... к пулеметшик даль... Я сольдат... на кухонь, а он нишего не даль,— возмущенно говорил крючконосый Галда, показывая пальцем на красного, злого Сухарева.

— Он на кухню дал,— кричал Сухарев,— картошку чистить, а я ночную заставу только к полудню снял! Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, как ты хочешь, Шебалов. Пусть он людей для связи даст, а я не дам!

Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза, и не осталось и следа смущенной, добродушной улыбки на сером, обветренном лице Шебалова.

— Сухарев,— строго сказал он, опираясь на свой палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами,— ты не дури! У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты же знаешь, что я нарочно Галде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет.

Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани; крючконосый Галда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел.

Мне было стыдно за то, что я соврал Шебалову. «Шебалов,— думал я,— командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы... мы вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уж нечестно, нечестно перед революцией и перед товарищами».

Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя— начальник и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же поймал себя на этом и обозлился: «А водку пить тоже начальник приказал? А старшего командира обманывать тоже начальник заставил?»

Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он крикнул негромко:

— Бориска!

Я сделал вид, что не слышал.

— Борька! — примирительно повторил Федя.— Брось кобениться. Иди оладьи есть. Иди... У меня до тебя дело... Жри! — как ни в чем не бывало сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо.— Тебя зачем Шебалов звал?

— Про Выселки спрашивал,— прямо ответил я.— Не были вы, говорит, там вовсе!

— Ну, а ты?

Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковородку.

— Что я? Надо было сознаться. Тебя только, дурака, пожалел.

— Но-но... ты, не очень-то,— заносчиво завел было Федя, но, вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, подвинулся и спросил с тревожным любопытством: — А еще что он говорил?

— Еще говорил, что трусы вы и шкурники,— нагло уставившись на Федю, соврал я.— «Побоялись,— говорит,— на Выселки сунуться да отсиделись где-то в логу. Я,— говорит,— давно замечаю, что у разведчиков слабить стало».

— Врешь! — разозлился Федя.— Он этого не говорил.

— Поди спроси,— злорадно продолжал я.— «Лучше,— говорит,— вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики только и горазды, что погреба со сметаной разведывать».

— Вре-ешь! — совсем взбеленился Федор.— Он, должно быть, сказал: «Байбаки, от рук отбились, порядку ни черта не признают», а про то, что с разведчиками слабо́ стало, он ничего не говорил.

— Ну и не говорил,— согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства.— Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вот что. Соседний полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смотреть будут? «Шкурники,— скажут,— и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на Выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать — их оттуда стеганули».

— Кто стеганул? — удивился Федя.

— Кто? Известно, белые.

Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, попавших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату.

И по тому, что Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс «На сопках Маньчжурии», я понял, что у Феди дурное настроение.

Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обитую серебром кавказскую шашку, вышел из хаты.

Минут через пятнадцать он появился под окном.

— Вылетай к коню! — хмуро приказал он через стекло.

— Ты где был?

— У Шебалова. Вылетай живей!

Немного спустя наша разведка легкой рысцой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей, корявой дороге.

Глава тринадцатая

На том перекрестке, где мы свернули вчера на хутор, Федя остановился и, отозвав в сторону двух самых ловких, долго говорил им что-то, указывая пальцем на дорогу, и наконец, выругав и того и другого, чтобы крепче поняли приказание, вернулся к нам и велел сворачивать на хутор. На хуторе, ни одним словом не напоминая хозяину о вчерашнем, Федя стал расспрашивать его о прямой дороге через болото в Выселки.

— Не проехать вам, товарищи,— убеждал хозяин.— Коней только потопите. Целую неделю дождь шел, там и пешком-то не всякий проберется, а не то что верхами.

Когда вернулись двое высланных вперед разведчиков и донесли, что Выселки заняты белыми и на дороге застава, Федя, не обращая внимания на увещевания хозяина, приказал ему собираться. Хозяин пуще забожился, что пройти через болото никак невозможно. Хозяйка заплакала. Краснощекая девка, дочь, та, что вчера весело перемигивалась с Федей, рассерженно огрызнулась на него за то, что он наследил сапогами на полу. Но Федю ничто не пробирало, и он стоял на своем. Я хотел было спросить насчет его планов; он в ответ не выругался даже, а только взглянул на меня искоса и зло усмехнулся.

Вскоре мы выехали из хутора. Хозяин на плохонькой лошадке ехал впереди, рядом с Федей. Сразу свернули в березняк. Под ногами лошадей из упругого, разбухшего мха выдавливалась мутная вода. Дорога все ухудшалась. Глубже вязли лошади; мшистые кочки почерневшими островками кое-где высовывались из залитого водой луга.

Спешились и пошли дальше. Так шли до тех пор, пока не очутились возле старой гати, о которой предупреждал нас хозяин. Перед нами была узкая полоска, покрытая густой жижей всплывших прутиков и перегнившей соломы.

— Н-да,— пробурчал Федя, искоса поглядывая на прихмурившихся товарищей,— дорожка!..

— Потопнем, Федька!

— А недолго и потонуть,— поддакнул старик провожатый.— Гать худая, настилка сгнила, тут и в хорошую-то погоду кое-как, а не то что в эдакую мокрятину.

— Тут кони ни вплавь, ни вброд. Чисто чертова каша.

— Но!—подбодрил Федя, искусственно улыбаясь.—Расхлебаем и чертову!

Он дернул за повод упиравшегося жеребца и первый ухнул по колено в пахнувшую гнилью жижу. За ним медленно по двое потянулись и мы. Вода, кое-где покрытая паутиной утреннего льда, заливала за голенища сапог. Невидимая тоненькая настил-

ка колебалась под ногами. Было жутко ступать наугад, и казалось мне, что вот-вот под ногой не окажется никакой опоры и я провалюсь в вязкую, засасывающую ямину.

Кони храпели, упрямились и вздрагивали. Откуда-то из тумана, точно с того света, донесся Федин вопрос:

— Эй, там, все целы?

— Ну, ребята, кажется, зашли, что дальше некуда. Воротиться бы лучше,— стуча от холода зубами, пробормотал рыжий горнист.

Внезапно из тумана вынырнул Федя.

— Ты мне, Пашка, панику не наводи,— тихо и сердито предупредил он.— А будешь ныть, так лучше заворачивай и езжай один назад. Папаша,— обратился он к старику,— лошади у меня по брюхо. Долго еще?

— Тут-то недолго. Сейчас — как взъём — посуше пойдет, да место-то перед этим самое гиблое. Вот если пройдем сейчас, то, значит, уже кончено, пройдем и дальше.

Вода дошла до пояса. Остановившись, старик снял шапку и перекрестился.

— Теперичка, как я пойду, так вы по одному за мной вровень, а то тут оступиться можно.

Старик нахлобучил шапку и полез дальше. Шел он тихо, часто останавливался и нащупывал шестом невидимый под водой настил.

Коченея от морозного ветра, подмоченные снизу водой болота, сверху — всосавшимся в одежду туманом, растянувшись по одному, за полчаса прошли мы не больше ста метров. Руки у меня посинели и колени дрожали.

«Черт Федька! — думал я.— То вчера по грязной дороге ехать не хотел, а сегодня в трясину завел».

Донеслось спереди тихое ржанье. Туман разорвался, и на бугре мы увидели Федю, уже сидящего верхом на коне.

— Тише,— шепотом сказал он, когда мы, мокрые, продрогшие, столпились вокруг него.— Выселки за кустами, в сотне шагов. Дальше сухо.

С гиканьем, с остервенелым свистом ворвалась в деревеньку наша продрогшая кавалерия с той стороны, откуда нас белые никак не могли ожидать. Расшвыривая бомбы, пронеслись мы к маленькой церкви, возле которой находился штаб белого отряда.

В Выселках мы захватили десять пленных и один пулемет. Когда, усталые, но довольные, возвращались мы большой дорогой к своим, Федя, ехавший рядом со мною, засмеялся зло и задорно:

— Шебалов-то!.. Утерли мы ему нос... То-то удивится!

— Как утерли? — не понял я.— Он сам рад будет.

— Рад, да не больно. Досада его возьмет, что все-таки хоть не по его вышло, а по-моему, и вдруг такая нам удача.

— Как не по его, Федька? — почуяв что-то недоброе, переспросил я.— Ведь тебя же Шебалов сам послал.

— Послал, да не туда. Он в Новоселово послал. Галду там дожидаться. А я взял да и завернул на Выселки. Пусть не собачится за вчерашнее. Ну, да ему теперь крыть нечем. Раз мы пленных и пулемет захватили, то ему ругаться уж не приходится.

«Удача-то удачей,— думал я поеживаясь,— а все-таки как-то не того. Послал в Новоселово, а мы — в Выселки. Хорошо еще, что все так кончилось. Вдруг бы не пробрались мы через болото, тогда что? Тогда и оправдываться нечем!»

Еще не доезжая до села, где стоял наш отряд, заметили какое-то необычайное в нем оживление. По окраине бежали, рассыпаясь в цепь, красноармейцы. Несколько всадников проскакало мимо огородов.

И вдруг разом от села застрочил пулемет. Рыжий горнист Пашка, тот самый, который советовал повернуть с болота назад, грохнулся на дорогу.

— Сюда! — заорал Федя, повертывая коня в лощину.

Прозвенела вторая очередь, и двое задних разведчиков, не успевших соскочить в овраг, полетели на землю.

Нога у одного застряла в стремени, конь испугался и потащил раненого за собой.

— Федька,— деревенея, пробормотал я,— что ты? Наш кольт шпарит. Ведь наши не ожидают тебя с этой стороны. Мы же должны быть в Новоселове.

— А я вот им зашпарю! — злобно огрызнулся Федор, соскакивая с коня и бросаясь к захваченному нами у белых пулемету.

— Федька, что ты, сумасшедший?! По своим хочешь? Ведь они же не знают, а ты знаешь!

Тогда, тяжело дыша, остервенело ударив нагайкой по голенищу хромового сапога, Федька поднялся, вскочил на коня и открыто вылетел на бугор. Несколько пуль завизжало над его головой, но как ни в чем не бывало Федька во весь рост стал на стременах и, надев шапку на острие штыка, поднял ее высоко над своей головой.

Еще несколько выстрелов раздалось со стороны села, потом все стихло.

Наши обратили внимание на сигнализацию одиноко стоявшего под пулями всадника.

К стр. 147

Тогда, махнув нам рукой, чтобы мы не двигались раньше времени, Федька, пришпорив жеребца, карьером понесся по селу. Обождав немного, вслед за ним выехали и мы. На окраине нас встретил серый, окаменевший Шебалов. Дымчатые глаза его потускнели, лицо осунулось, палаш был покрыт грязью и запачканные шпоры звенели глухо. Остановив разведку, он приказал всем отправляться по квартирам. Потом, скользнув усталым взглядом по всадникам, велел мне слезть с коня и сдать оружие. Молча, перед всем отрядом, соскользнул я с седла, отстегнул шашку и передал ее вместе с карабином нахмурившемуся кривому Малыгину.

Дорого обошелся отряду смелый, но самовольный набег разведки на Выселки. Не говоря уже о трех кавалеристах, попавших по ошибке под огонь своего же пулемета, была разбита в Новоселове не нашедшая Феди вторая рота Галды, и сам Галда был убит. Обозлились тогда красноармейцы нашего отряда и сурового суда требовали над арестованным Федей.

— Эдак, братцы, нельзя. Будет! Без дисциплины ничего не выйдет. Эдак и сами погибнем и товарищей погубим. Не для чего тогда и командиров назначать, если всяк будет делать по-своему.

Ночью пришел ко мне Шебалов. Я рассказал ему начистоту, как было дело, сознался, что из чувства товарищества к Феде соврал тогда, когда меня спрашивали в первый раз, были мы или нет на Выселках. И тут же поклялся ему, что ничего не знал про Федькин самовольный поступок, когда повел он нас вместо Новоселова на Выселки.

— Вот, Борис,— сказал Шебалов,— ты уже раз соврал мне, и если я поверю тебе еще один раз, если я не отдам тебя под суд вместе с Федором, то только потому, что молод ты еще. Но смотри, парень, чтобы поменьше у тебя было эдаких ошибок! По твоей ошибке погиб Чубук, через вас же нарвались на белых телефонисты. Хватит с тебя ошибок! Я уж не говорю про этого черта Федьку, от которого беды мне было, почитай, больше, чем пользы. А теперь пойди ты опять в первую роту к Сухареву и встань на свое старое место. Я и сам, по правде сказать, маху дал, что отпустил тебя к Федору. Чубук, тот... да, возле того было тебе чему поучиться... А Федор что?.. Ненадежный человек! А вообще, парень, что ты то к одному привяжешься, то к другому? Тебе надо покрепче со всеми сойтись. Когда один человек, он и заблудиться и свихнуться легко может.

В ту же ночь, выбравшись через окно из хаты, в которой он сидел, захватив коня и четырех закадычных товарищей, ускакал Федя по первому пушистому снегу куда-то через фронт на юг. Говорили, что к батьке Махно.

Глава четырнадцатая

Красные по всему фронту перешли в наступление.

Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге третьего полка.

Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе.

Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию.

Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стиснув зубы, бледнея, вставал во весь рост в цепи, в то время, когда многие даже бывалые бойцы стреляли с колена или лежа.

Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство.

Сухарев даже заметил однажды вскользь:

— Ты, Гориков, эти Федькины замашки брось!.. Нечего перед людьми бахвалиться... Тут похрабрей тебя есть, и те без толку башкой в огонь не лезут.

«Опять Федькины замашки,— подумал я, искренне огорчившись.— Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выполнишь — все с тебя снимется, будешь опять по-прежнему друг и товарищ».

Чубука нет. Федька у Махно. Да и не нужен мне Федька. Дружбы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что Малыгин всегда, бывало, поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь — и тот теперь холодней стал. Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Шебалову:

— Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось, когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго!

Краска залила мне лицо. Это была правда: я как-то скоро освоился с гибелью Чубука, но неправда, что я скучал о Федоре,— я ненавидел его.

Я слышал, как Шебалов звенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу:

— Это ты зря говоришь, Малыгин! Зря... Парень он не спорченный. С него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, сорок, тебя не переделаешь, а ему шестнадцатый... Мы с тобой— сапоги стоптанные, гвоздями подбитые, а он — как заготовка: на какую колодку натянешь, такая и будет. Мне вот Сухарев говорит: у него Федькины замашки, любит-де в цепи вскочить, храбростью без толку похвастаться. А я ему говорю: «Ты, Сухарев, бородатый... а слепой. Это не Федькины замашки, а это просто парень хочет оправдаться, а как — не знает».

На этом месте Шебалова вызвал постучавший в окно верховой. Разговор был прерван.

Мне стало легче.

Я ушел воевать за «светлое царство социализма». Царство это было где-то далеко; чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий.

Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шебалов и десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое.

А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь.

И через эту глубокую ненависть далекие огни «светлого царства социализма» засияли еще заманчивее и ярче.

В тот же день вечером я выпросил у нашего каптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию.

С этим листом я пошел к Шебалову. Шебалов был занят: у него сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого Галды.

Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжение этого разговора Шебалов несколько раз поднимал голову, пристально глядя на меня, как бы пытаясь угадать, зачем я пришел.

Когда завхоз и ротный ушли, Шебалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил:

— Ну... ты что?

— Я, товарищ Шебалов... к вам, товарищ Шебалов...— ответил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу.

— Вижу, что ко мне! — как-то мягче добавил он, вероятно угадав мое возбужденное состояние.— Ну, выкладывай, что у тебя такое.

Все то, что я хотел сказать Шебалову, перед тем как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но, в сущности, я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду,— все это вылетело из моей памяти.

Молча я подал ему исписанный лист бумаги.

Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления.

Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу.

Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шебалова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины разрисованного морозными узорами окна.

— Садись,— сказал Шебалов.

Я сел.

— Что же ты, в партию хочешь?

— Хочу,— негромко, но упрямо ответил я.

Мне казалось, что Шебалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания.

— И очень хочешь?

— И очень хочу,— в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами, и окончательно решив, что Шебалов надо мною смеется.

— Это хорошо, что ты очень хочешь,— заговорил опять Шебалов, и только теперь по его тону я понял, что Шебалов не смеется, а дружески улыбается мне.

Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета.

Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал совсем добродушно:

— Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крёстный папаша... Ты уж не подведи меня...

— Нет, товарищ Шебалов, не подведу,— искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая со стола лист.— Я ни за что ни вас, ни кого из товарищей не подведу!

— Погоди-ка,— остановил он меня.— А вторую-то подпись надо... Кого бы еще в поручители?.. А-а! — весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева.— Вот как раз кстати.

Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер о мешок огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки:

— Зачем звал?

— Звал за делом. Насчет караула... На кладбище надо будет ребят в церковь определить... Не замерзать же людям... Сейчас поп придет, тогда сговоримся. А теперь вот что...— Тут Шебалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня: — Как у тебя парень-то?

— Что как? — осторожно спросил Сухарев, ухмыляясь во все свое красное, обветренное лицо.

— Ну... солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме.

— Солдат ничего,— подумав, ответил Сухарев.— Службу хорошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Сердиты у нас дюже ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало.

Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели; лицо еще больше покраснело, и он продолжал сердито:

— Чтоб ему гайдамак башку ссек! Такого командира, как Галда, загубил! А какой ротный был! Разве же ты найдешь еще такого ротного, как Галда? Разве ж Пискарев... это ротный?.. Это чурбан, а не ротный... Я ему сегодня говорю: «Твои дозоры для связи... Я вчера лишних десять человек в караул дал», а он...

— Ну, ну! — прервал Шебалов.— Это ты мне не разводи. Это ты теперь Галду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним собачился. Какие еще там десять лишних человек. Ты мне очки не втирай. Ну да ладно, об этом потом... Ты вот что скажи... Парень в партию просится. Поручишься за него? Что глаза-то уставил? Сам же говоришь: и боец хороший и не замечен ни в чем, а насчет прошлого — ну, об этом не век помнить!

— Оно-то так! — почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев.— Да ведь только черт его знает!

— Черт ничего не знает! Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше черта должен знать, годится твой красноармеец в коммунисты или нет.

— Парень ничего,— подтвердил Сухарев,— форс только любит. Из цепи без толку вперед лезет. А так ничего.

— Ну, не назад же все лезет. Это еще полбеды! Так как же, смотри сам... Подписываешь ты или нет?

— Я-то бы подписал, этот парень ничего,— повторил осторожно Сухарев.— А еще кто подпишет?

— Еще я. Давай садись за стол, вот заявление.

— Ты подписал!..— говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш.— Это хорошо, что ты... Я же говорю, парень— золото, драли его только мало!

Глава пятнадцатая

Уже несколько дней шли бои под Новохоперском. Были втянуты все дивизионные резервы, а казаки все еще крепко держали позиции.

На четвертый день с утра наступило затишье.

— Ну, братцы! — говорил Шебалов, подъезжая к густой цепи отряда, рассыпавшегося по оголенной от снега вершине пологого холма.— Сегодня после обеда общее наступление будет... Всей дивизией ахнем.

Пар валил от его посеребренного инеем коня. Ослепительно сверкал на солнце длинный тяжелый палаш, красная макушка черной шебаловской папахи ярко цвела среди холодного снежного поля.

— Ну, братцы,— опять повторил Шебалов звенящим голосом,— сегодня день такой... серьезный день. Выбьем сегодня — тогда до Богучара белым зацепки не будет. Постарайтесь же напоследок, не оконфузьте перед дивизией меня, старика!

— Что пристариваешься? — хриплым, простуженным голосом гаркнул подходивший Малыгин.— Я, чать, постарше тебя, и то за молодого схожу.

— Ты да я — сапоги стоптанные,— повторил Шебалов свою обычную поговорку.— Бориска,— окликнул он меня приветливо,— тебе сколько лет?

— Шестнадцатый, товарищ Шебалов,— гордо ответил я,— с двадцать второго числа уже шестнадцатый пошел!

— «Уже»! — с деланным негодованием передразнил Шебалов.— Хорошо «уже»! Мне вот уже сорок седьмой стукнул. А-а! Малыгин, ведь это что такое — шестнадцатый! Что, брат, он увидит, того нам с тобой не видать...

— С того свету посмотрим,— хрипло и с мрачным задором ответил Малыгин, кутая горло в рваный офицерский башлык с галуном.

Шебалов тронул шпорами продрогшего коня и поскакал вдоль линии костров.

— Бориска, иди чай пить... Мой кипяток — твой сахар! — крикнул Васька Шмаков, снимая с огня закопченный котелок.

— У меня, Васька, сахару тоже нет.

— А что у тебя есть?

— Хлеб есть, да дам яблоки мороженые.

— Ну, кати сюда с хлебом, а то у меня вовсе ничего нет! Голая вода.

— Гориков! — крикнул меня кто-то от другого костра.—Поди-ка сюда.

Я подошел к кучке споривших о чем-то красноармейцев.

— Вот ты скажи,— спросил меня Гришка Черкасов, толстый рыжий парень, прозванный у нас псаломщиком.— Вот послушайте, что вам человек скажет. Ты географию учил?.. Ну, скажи, что отсюда дальше будет...

— Куда дальше? На юг дальше Богучар будет.

— А еще?

— А еще... Еще Ростов будет. Да мало ли! Новороссийск, Владикавказ, Тифлис, а дальше Турция. А что тебе?

— Много еще! — смущенно почесывая ухо, протянул Гришка.— Эдак нам полжизни еще воевать придется... А я слышал, что Ростов у моря стоит. Тут, думаю, все и кончится!

Посмотрев на рассмеявшихся ребят, Гришка хлопнул руками о бедра и воскликнул растерянно:

— Братцы, а ведь много еще воевать придется!

Разговоры умолкли.

По дороге из тыла карьером несся всадник. Навстречу ему выехал рысью Шебалов. Орудие на фланге ударило еще два раза...

— Первая рота, ко мне-е! — протяжно закричал Сухарев, поднимая и разводя руки.

Несколько часов спустя из белых сугробов поднялись залегшие цепи. Навстречу пулеметам и батареям, под картечью, по колено в снегу двинулся наш рассыпанный и окровавленный отряд для последнего, решающего удара. В тот момент, когда передовые части уже врывались в предместье, пуля ударила мне в правый бок.

Я пошатнулся и сел на мягкий истоптанный снег. «Это ничего,— подумал я,— это ничего. Раз я в сознании — значит, не убит... Раз не убит — значит, выживу».

Пехотинцы черными точками мелькали где-то далеко впереди.

«Это ничего,— подумал я, придерживаясь рукой за куст и прислоняя к ветвям голову.— Скоро придут санитары и заберут меня».

Поле стихло, но где-то на соседнем участке еще шел бой. Там глухо гудели тучи, там взвилась одинокая ракета и повисла в небе огненно-желтой кометой.

Струйки теплой крови просачивались через гимнастерку. «А что, если санитары не придут и я умру?» — подумал я, закрывая глаза.

Большая черная галка села на грязный снег и мелкими шажками зачастила к куче лошадиного навоза, валявшегося неподалеку от меня. Но вдруг галка настороженно повернула голову, искоса посмотрела на меня и, взмахнув крыльями, отлетела прочь.

Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она прилетит и сядет, не пугаясь, рядом.

Голова слабела и тихо, точно укоризненно, покачивалась. На правом фланге глуше и глуше гудели взрываемые снежные сугробы. ярче и чаще вспыхивали ракеты.

Ночь выслала в дозор тысячи звезд, чтобы я еще раз по-

смотрел на них. И светлую луну выслала тоже. Думалось: «Чубук жил, и Цыганенок жил, и Хорек... Теперь их нет, и меня не будет». Вспомнил, как один раз сказал мне Цыганенок: «С тех пор я пошел искать светлую жизнь».— «И найти думаешь?»— спросил я. Он ответил: «Один не нашел бы, а все вместе должны найти... Потому охота большая».

— Да, да! Все вместе,— ухватившись за эту мысль, прошептал я,— обязательно все вместе.— Глаза сомкнулись, и долго молча думал я о чем-то незапоминаемом, но хорошем-хорошем.

— Бориска! — услышал я прерывающийся шепот.

Открыл глаза. Почти рядом, крепко обняв расщепленный снарядом ствол молоденькой березки, сидел Васька Шмаков.

Шапки на нем не было, а глаза были уставлены туда, где впереди, сквозь влажную мглу густых сумерек, золотистой россыпью мерцали огни далекой станции.

— Бориска,— долетел до меня его шепот,—а мы все-таки заняли.

— Заняли,— ответил я тихо.

Тогда он еще крепче обнял молодую сломанную березку, посмотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голову на вздрогнувший куст.

Мелькнул огонек... другой... Послышался тихий, печальный звук рожка. Шли санитары.

1929 г.

ВОЕННАЯ ТАЙНА

Из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в три с половиной.

Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя,— крикнула опечаленная Натка,— я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро

затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку.— Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя,— виновато и весело заговорила Натка,— хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горкоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут еще поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском.— Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя,— продолжала Натка.— Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девочка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки ревут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка,— улыбнулся Шегалов.— Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомиловке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще и еще куда-то.

И когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильней бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и морожсное.

— Дядя,— задумчиво сказала Натка,— три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу,— учись, говорят, в совпартшколе,— а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу,— упрямо повторила Натка.— Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю,— через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов.— Не любишь или не справляешься?

— Не люблю,— созналась Натка.— Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел,— насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал:— А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целых три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперед наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарах-

нули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. Два эшелона полудохлой скотины и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приемщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи,— говорят,— да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отощалые». Помню, один неспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мной поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьезно посмотрел на Натку:

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чем это я? Так ты не робей, Натка, тогда все, как надо, будет.— И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она.— Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка!— пристыдил ее Шегалов.— Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была летчик! — с грустной улыбкой докончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через туннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй,— говорил ей на прощанье Шегалов.— Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Си-

дел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... все старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров».— Она перевернула страничку и прищурилась.— И вот это... Это тоже уже прошлое».

Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее — молдавская, еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна.

...Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда,— сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа...— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом,— ответил отец.

— Ладно, потом,— согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька,— попросил он,— я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто,— повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор.

Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принес,— спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю,— ответил отец.— Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то у отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

Мальчуган, придерживаясь за спинку стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

— Это моя книжка,— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл,— объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

— Что же, возьми, если твоя,— ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови.— Тебя как зовут?

— Алька,— отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Еще раз Натка увидала их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор.

Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем не знакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу.

Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они дер-

жали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здорово, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!.. Мурманцы!..— охотно закричали ей в ответ.

— Машиной,— спросила Натка,— или с парохода?

— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке,— тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алеша Николаев.

— Натка,— соскакивая с велосипеда, закричал он сверху,— уральцы приехали?

— Не видала, Алеша. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то. Кажется, опять украинцы.

— Ну, значит, еще не приехали... Натка,— закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда,— выкупаешься, зайди ко мне или к Федору Михайловичу! Есть важное дело.

— Какое еще дело? — удивилась Натка, но Алеша махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое; вода светлая и теплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться еще с детства, плыть по соленым спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зеленые виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

...На обратном пути она вспомнила, что ее просил зайти Алеша. «Какие у него ко мне дела, да еще важные?» — подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была теплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

...Алешу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушел в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала Тольке набить по дороге карманы яблоками, а Владику — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и все никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик сидели невозмутимые и спокойные.

— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

— Из-под Тамбова. Один я приехал,— басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган.— Из колхоза я. Меня в премию послали.

— Как в премию? — не совсем поняла Натка.

— Баранкин мое фамилие. Семен Михайлов Баранкин,— охотно объяснил мальчуган.— А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

— Какой завод?

— Походный, фильтровальный,— серьезно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смирные и лукавые гонцы, он добавил сердито:— И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а еще кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца ее окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Федор Михайлович.

— Заходи,— сказал он, пропуская Натку в комнату.— Садись. Вот что, Ната,— начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась,— в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приемка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

— Но я ничего не понимаю ни в приемке, ни в горячке,— испугалась Натка.— Я и сама тут, Федор Михайлович, третий день.

— Да тебе и понимать ничего не надо,— взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик.— Там есть и фельдшерица и сестры. Они сами примут. А твое дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьешь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

— Два года,— сердито ответила Натка.—А долго ли, Федор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник.— Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй, сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

— Да сколько хоть человек в этом отряде? — унылым голосом спросила Натка.

— Там узнаешь, иди, иди,— повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил:— Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

...Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала вожатой Натка, бушевала неуемная суета.

Только что прибыла последняя партия — средневолжцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запыленные, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты. В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннобородый Гейка.— Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!..

Несколько раз забегал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:

— Что за безобразие? Прекратите это безобразие!

И новенькие ребята, которые еще не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он еще больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущенно выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой и еще не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

— Иоська! — окликнула Натка.— Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать... А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська.— Кто не прививал, вылетай живо!

— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку.— Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалеву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.

— Лыбатько?

— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

— Подавай сигнал,— ответила Натка,— сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить,— подумала Натка.— Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утеса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в черную тень листвы, чтобы ее не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую черную ночь Натка узнала бы их по голосам.

Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чем-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

— А как по-твоему,— останавливаясь, спросил высокий,— стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

— Не стоит,— согласился мальчуган и добавил сердито:— Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы все идем да идем, а дома все нет и нет.

— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали,— догадалась Натка.— Что же они здесь делают?»

...В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон.

Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетанье. Неподалеку от террасы чернорабочий Гейка колол дрова.

— Хорошо! — негромко крикнула Натка и рассмеялась, услыхав откуда-то из-под скалы такой же, как и ее, вскрик — веселое, чистое эхо.

— Натка... ты что? — услышала она позади себя удивленный голос.

— Корабли, Нина...— не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далекий сверкающий горизонт.

— А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лег. Я — из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвешь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать». И просила,

и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слыхала?

— Нина,— помолчав, спросила Натка,— ты не встречала здесь таких двоих?.. Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.

— В сером френче...— повторила Нина.— Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?

— Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.

— Видела я человека во френче,— не сразу вспомнила Нина.— Только тот был без мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.

— И большой шрам на лице,— подсказала Натка.

— Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка? — спросила Нина и с любопытством посмотрела на подругу.

— Не знаю, Нина.

— Я встал, можно звонить подъем? — басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

— Можно,— сказала Натка.— Звони. «Экий увалень!»— подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.

Все оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трех старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошел к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечевки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

...Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвертые что-то строгали, пятые просто ничего не делали, а, лежа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за

куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренка Карасикова.

Так они и сделали. Послушали и про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто ее за ногу хватила собака.

— Толька,— спросил Владик,— а ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька.— Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

— Ничего не врать, мне мама все рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.

— А мать где? — спросил Толька.— Ты все рассказывай, по порядку.

— Я и так по порядку. А мать все наверху бегает: то хлеб принесет, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылазить. Толкнулась, а крышка погреба заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь — это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрепанная. «Вылезайте»,— говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылазит. Насилу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы? — спрашивает.— Ну, скорее». А бабка не идет и злобно на отца ругается.

— Чего же это она ругалась? — удивился Толька.

— Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

— Так и не пошла?

— И не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор да на телегу. А кругом все горит: деревня горит, костел горит... Это

от снарядов. А дальше у матери все смешалось: как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

— Отец-то почему с винтовкой приходил?

— А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и еще там разных... Как поймают, так и в ревком.

— Нельзя было отцу оставаться,— согласился Толька.— Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

— Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня — ей уже сейчас двадцать восемь лет,— так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее — три года сидела. Потом выпустили — три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

— Скоро опять выпустят?

— Нет, еще не скоро. Еще четыре года пройдет, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

— Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

— Толька! — тихо и оживленно заговорил вдруг Владик.— А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрешься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь все это враки, Владик,— усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы? — заинтересовался Толька.— Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

— Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

— Зачем же билеты? — удивился Толька.— Ведь нас бы и так никто не увидел.

— Чудак ты! — усмехнулся Владик.— Так мы бы сначала, не натершись, поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм — мы мимо, а он ничего не видит.

— Можно было бы подойти сзади да кулаком по башке стукнуть,— предложил Толька.

— Можно,— согласился Владик.— Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, все оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

— Вот уж нет,— возразил Толька.— В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дернули бы, что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно! А потом?

— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик! — поежившись, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть? — холодно ответил Владик.— Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал он рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и все до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали? — нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры отперты, часовые побиты. Небось сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да еще четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

— Нельзя наедаться,—серьезно поправил Толька.—Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные — они ведь не натертые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут! — согласился Владик.

И оба они расхохотались.

— Сказки все это,— помолчав, сознался и сам Владик.— Все это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лег на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чем-то другом.

— Сказки,— повторил он, поворачиваясь к Тольке.— А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. По-

том стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

— Как — невидимый? — насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и все никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. В Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда,— с гордостью ответил Владик.— Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите,— говорит,— к черту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

— Так это он нарочно!— с восхищением воскликнул Толька.

— А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно,— усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно:— Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?

Издалека донесся гул колокола — к обеду, и ребятишки, хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники еще с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толька вскоре задремал, но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал.

Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подергал Тольку за ногу:

— Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься.

Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дернул Тольку за руку:

— Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды... Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьемся!..

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

— За такие дела можно и по шее...— начал было рассерженный Толька.

— Отбились! — торжественно заявил Владик.— За такие геройские дела представляю тебя к ордену.— И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке.— Брось, Толька, дуться! Вон под горою какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы все разведаем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своем пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчанье злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ажины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре. Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом — ни души.

— Это древняя крепость,— объяснил Владик.— Давай, Толька, поищем, может быть, и наткнемся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжелых цепей, ни человечьих костей им не попалось.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под

стеной, меж колючей травы, они наткнулись на темное, пахнувшее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъему.

Надо было уходить, но они решили вернуться сюда еще раз, захватив бечевку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

— Владик,— с любопытством спросил Толька,— вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет,— ответил Владик.— Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездою и с маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

— Коля,— говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана,— ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

— Это мне брат из колхоза пишет,— громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят.— Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий — тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий — он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотных, а одна еще неграмотная, мала девка.

— А теток у тебя сколько?

— А корова у вас есть?

— А курицы есть? А коза есть? — закричали Баранкину сразу несколько человек.

— Теток у меня нет,— охотно отвечал Баранкин, протягивая

руку за шершавым пакетом.— Корова у нас есть, свинью закололи, только поросенок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. И что смеетесь? — добродушно и удивленно обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех.— Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошел Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошел прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги — от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушел с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потертый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Ее черная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристегнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и еще какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб и что она торопится, потому что неподалеку от нее смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый — вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные серые громады незаконченных построек и клочья густого, черного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем, все хорошо — устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела еще раз на черную пыльную спецовку, на тяжелые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристегивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись, и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

— Баранкин,— удивилась и рассердилась Натка,— ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

— Это не игра,— убежденно произнес Баранкин, каваливаясь грудью на подоконник.— Ну, завязали мне ноги в мешок — беги, говорят. Я шагнул и — бац на землю. Шагнул — и опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять — беги! Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго.— Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил:— Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл,— спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки.— Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идет. Совсем забыл,— повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил:— У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся я в сарай лошадь запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин,— спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо,— у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут,— охотно и обрадованно ответил Баранкин.— Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего... поздоровела. Бык ее в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду! — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далекий хриплый окрик.— Это Гейка зовет,— объяснил он.— Мы с ним дружки.

Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноградниках. Зажглись зеленые огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки дает Картузик»,— подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновенье над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой

плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

— Пасовать,— вполголоса строго сказал ей Картузик.

— Есть пасовать,— также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

— Пасовать,— повторил Картузик.— Спокойней, Натка.

Но вот он, крученый, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

— Дай! — вскрикнула Натка Картузику.

— Возьми! — ответил Картузик.

— Режь! — вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

— Есть! — ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

— Один — ноль,— объявил судья и, засвистев, предупредил:— Шегалова, Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

— Шегалова,— крикнул ей кто-то из ребят,— тебя Алеша Николаев зачем-то ищет!

— Еще что! — отмахнулась Натка.— Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгущалась. На счете «один — ноль» догорела заря. На «восемь — пять» зажглись звезды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.

— Сэт-бол! — крикнул судья, и почти тотчас же черный мяч взвился высоко над серединой сетки.

«Дай!» — глазами попросила Натка у Картузика.

«Возьми!» — ответил он молчаливым кивком головы.

«Режь!» — зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и еще втемную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

— Шегалова и Картузик, не переговариваться! — добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кипу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился.

— Федор Михайлович спрашивал,— угрюмо сообщил он Натке.— Меня посылал искать, да я не нашел. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?» — с тревогой подумала Натка и

круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под ее ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Все было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, что все равно уже поздно и все спят, тихонько прошла в коридор. Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чем дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстегивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевельнуться, Натка прислушалась и теперь, уже ясно расслышав чье-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидела, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит все тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Все тот же белокурый и темноглазый Алька.

Все это было очень неожиданно, а главное — совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдернула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

— Ольга Тимофеевна,— полушепотом спросила Натка,— кто это? Почему это?

— Это Алька,— равнодушно ответила дежурная.— Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алешки Николаева.

«Натка! — писал Алеша.— Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не сердись — мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кроватки стояла белая табуретка. На ней лежали синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алешу Николаева она не сердилась.

...Не доезжая до верхних бараков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Еще издалека он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись еще на полметра, вода пойдет назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется еще на метр, перельется через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвет первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и бревна.

— Когда прорвало? — спросил инженер.— Шалимов где?

— Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рвануло это снизу, им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать, а они — туды, сюды, меня искать... Пока то да се, пока меня разыскали, а ее — дыру-то — чуть ли не в сажень разворотило.

— Шалимов где?

— Сейчас придет. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода.

И когда наконец, сбросив последнюю груду балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер раскрасневшееся лицо и сошел на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголек, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна гораздо правее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте, и по-видимому, прорвало еще сильнее, чем прежде.

Мимо обозленных землекопов инженер подошел к Дягилеву и Шалимову. Он повел их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменистой грядой.

— Вот! — сказал он.— Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперек, и мы спустим воду по скату.

— Грунт-то какой, Сергей Алексеевич! — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым.— Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмем, а дальше, сами видите, голый камень.

— Ройте,— повторил инженер.— Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвем динамитом.

— Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей измотаем.

— Ройте,— отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер.— Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошел к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома — Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решетки, он зашел в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин еще с утра уехал в Ялту и вернется только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошел к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой черной бородой.

— Здравствуйте! — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

— Ба!.. Ба!.. Сергей! — улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом.— Откуда? И в каком виде — сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

— Дело, товарищ Гитаевич,— сказал Сергей, сжимая протянутую руку.— Спешное дело.

— Уволь, уволь,— заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку.— Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чем хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так погово-

рим — это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

— Дело, товарищ Гитаевич,— упрямо повторил Сергей.— Если бы не важное, то и не просил бы.

— Полицын где?.. Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах ты! Да как же его, этого, что со шрамом? — как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

— Много со шрамом было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом,— продолжал Сергей.— Мне динамит нужен. Взрывсельпром не дает. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф.

— Какой динамит? Какие шефы? — с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич.— И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

— Дело ерундовое,— согласился Сергей и рассказал все, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял протянутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

— Возьми,— грубовато сказал он.— От тебя не отстанешь.

— Ваша школа, товарищ Гитаевич,— ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил:— Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищурив под дымчатыми стеклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

— Так посадил, говоришь? — неожиданно веселым, но все тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу.— Давно это было, Сергей,— уже тише добавил он.

— Давно, товарищ Гитаевич.

— Так ты теперь не в армии?

— Инженер. Командир запаса.

— Почему же, Сережа, ты инженер? Я что-то не припоминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были... Постой, куда же ты? — спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается и застегивает полевую сумку.— Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдем к морю, выкупаемся, поговорим. Ты

один? — глядя в лицо Сергея и почему-то тише и ласковей спросил Гитаевич.

— Один. То есть нас двое — я и Алька,— ответил Сергей.— Двое, я и сын,— повторил он и замолчал.

— Ну, до свиданья,— сказал Гитаевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чем-то спросить, но раздумал — не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но, еще не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травою и засыпанная мелкими камнями. Неподалеку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник.

Конь насторожил уши,— на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечевки. Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.

— Из лагеря? — спросил Сергей.— А ну-ка, подите сюда!

— Из лагеря,— хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой.— Мы гуляли.

— Вот что,— сказал Сергей.— Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите ее во весь дух к начальнику лагеря и скажите: пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чем плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко.

Над низовым кустарником, пронзительно чирикая, носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды.

— Много вынули? — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом.

— А не мерил еще,— медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов.— Кубометров десять, должно быть, вынули.

— Мало,— сказал Сергей.— Плохо работаешь, Шалимов.

— Грунт тяжелый,— равнодушно ответил Шалимов,— не земля, а камень.

— Ну, камень! До камня еще далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальет второй участок, и оставим мы ребят без воды.

— Как можно без воды? — согласился Шалимов.— Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? — разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — крикнул запыхавшийся десятник Дягилев.— Вы посмотрите на выемку — так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка.

— Видел,— ответил Сергей.— До утра продержимся.

— Ой ли, продержимся, Сергей Алексеевич?

— Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на три-четыре часа.

— Дягилев,— сказал он напоследок,— я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как ни приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

— Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

— Вы потом покажите мне все эти ведомости,— сказал Сергей.— Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

— Ну, давай! — подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофером.— Ночь темная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!..— звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах.

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая, беззвездная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушенный собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое.

И вот почему-то пылал костер. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!..— звонко гудела машина, взлетая в гору все круче и круче.

...Темные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, настороженно прислушиваясь к неразгаданному шуму.

— Это мой конь! — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

— Да,— согласился начальник заставы,— эта худая, недобитая скотина — твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

— Хорошо! Посмотрим! — гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конем в этой разбитой, но смелой армии.

— Плохо! — крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы.— Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костер, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

— Это беженцы! — крикнул возвратившийся Сергей.— Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и ве-

село пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

— Это мой конь! — гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку.— Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли черный хлеб.

— Это хороший конь! — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

— Хороший конь,— слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью.— И конь хороший, и сам ты хороший.

Ра-а-а!..— заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно. Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофер громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары...—машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало все южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел.

Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку.

Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно,— созналась Натка.— Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются,— успокоил ее Алька.— Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась,— к великому удовольствию Альки, подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька,— спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу,— скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивленно переспросил Алька.— Ну, просто человек. Я да папа.— И, серьезно поглядев на нее, он спросил: —

А ты что за человек? Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала.

— Алька,— спросила Натка,— почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

— Мамы нет,— ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

— Мамы нет,— повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно.

— Алька,— быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море,— посмотри, какой быстрый, большой корабль.

— Это сторожевое судно,— ответил Алька.— Я его видел еще вчера.

— Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?

— Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развернутым красным флагом.

— Ты не так прыгаешь, Эмка,— терпеливо повторял Василюк.— Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь — я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться? — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает его.— Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

— Пионер? — смело спросила она, указывая на его красный галстук.

— Пионер,— ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником.— Это белый,— хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька.— Это белый. Это царь.

— Это красный,— еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине.— Это Буденный.

— Это белый,— настойчиво повторил Алька, указывая на саблю.— Вот сабля.

— Это красный,— твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху.— Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок.

— Ты откуда? Куда?

— В клуб бегал,— быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину.— В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

— Иоська,— удивилась Натка,— почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу?

— Памятка потом. Мы сегодня с купанья шли — глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

— Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

— Это? Это орехи,— с отчаянием заговорил Иоська, еще нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки.— Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

— Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увертливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты — на спортивную площадку, танцоры — в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки. Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным.

— А что, если у нас бечевы не хватит, тогда как? — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки.—А что,

если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идешь... идешь подземным ходом, вдруг — бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

— Какие еще змеи? — переспросил Толька, поглядывая на сырую черную дыру.— И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

— А что, Толька,— обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик,— а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

— И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? — совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на черную дыру.

— Лезем! — оборвал его Владик.— Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

— Тоже, крепость! — рассердился Толька.— А все, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море — огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

— Толька! — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели.— А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света и разбили бы они Красную Армию и поставили бы они все по-старому?.. Мы бы с тобой тогда как?

— Еще что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию,— упрямо и дерзко продолжал Владик,— перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

— Еще что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными.— Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская... На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Толька покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

— Ну и пусть глупый! Пусть знаю,— спокойнее продолжал Владик.— Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

— Тогда бы и придумали,— вздохнул Толька.

— Что там придумывать? — быстро заговорил Владик.— Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда! — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владику.

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах? — спросил он, подвигаясь поближе.

— Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешают. Кто же тогда работать будет — сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает.

— Что-то уж очень много грохает! — усомнился Толька.— Так, пожалуй, и все дома закачаются.

— Пусть качаются,— ответил Владик.— Так им и надо.

— Тише, Владик! — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища.— Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращающегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать.— У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась,— не совсем уверенно ответила Натка.— А у тебя, Алька?

— У меня? — Алька запнулся.— А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу.

«У него умерла мать»,— почему-то подумала Натка, и, чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька,— сказала Натка, закончив рассказ.— Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь,— попросила Натка.— Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории,— подумав, ответил Алька.— Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

— Расскажи мне, Алька, смелую, военную сказку,— попросила Натка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далекий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжелые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила, что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются — это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами.

— Что это? — спросил он тревожным полушепотом.

— Спи, Алька, спи! — быстро ответила Натка, укладывая его в постель.— Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

— А, папа...— уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже реву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг нее веселой босоногой звездочкой.

— Расскажи, Натка!

— Почитай, Натка!

— Покажи картинки!

— Спой, Натка! — на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

— Расскажи, Натка, интересное,— попросил обиженно октябренок Карасиков.— А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

— Расскажи, Натка, сказку,— попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

— Сказку? — задумалась Натка.— Я что-то не знаю сказок. Или нет... я расскажу вам Алькину сказку. Можно? — спросила она у насторожившегося Альки.

— Можно,— позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

— Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

...В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется.

Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты! — говорит он Мальчишу.— Это дальние грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за Синей Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну, никак не засыпается.

Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник.— Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же,— говорит старшему сыну,— я рожь густо сеял — видно, убирать тебе много придется. Что же,— говорит он Мальчишу,— я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

— Так... так, Натка,— тихо ответил Алька и положил свою руку на ее загорелое плечо.

— Ну вот... День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать еще Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка — стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник.— Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы все боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу — ну, какой тут сон?

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка — шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз.— И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало.

И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась.

Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает когда, подползло бесшумно все пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьезная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

— Так, Натка, так... Еще лучше, чем так,— ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе.

— Ну, вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге,— подумал Плохиш,— вот это мне и нужно».

А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин,— отвечают буржуины,— мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им.— Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

Вдруг как взорвались зажженные ящики! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули все его верные мальчиши.

Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать? Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моем Высоком Буржуинстве, и в другом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежном Царстве, и в четвертом — Знойном Государ-

стве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи?

И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что́ у вас скажут, над тем у нас задумаются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

— Есть,— говорит он,— и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали, не будет вам победы.

— Есть,— говорит,— и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.

— Есть,— говорит,— и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро.

Идут и головами покачивают.

— Нет,— говорят они,— начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?..

— Это не по тайным... это Красная Армия скачет! — восторженно крикнул не вытерпевший октябренок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая еще недавно, подскакивая

на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше.

Тут Натка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду.

— Досказывай,— повелительно произнес Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

— Досказывай,— убедительно произнес раскрасневшийся Иоська.— Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на нее смотрели глаза — большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, черные, как у Эмине, и много-много других глаз — обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных.

— Хорошо, ребята, я доскажу.

...И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель?

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин.— Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва.

— И погиб Мальчиш-Кибальчиш...— произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябренка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой.

Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

— Но... видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят.— Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенистые потоки, так же при первом грохоте войны за-

бурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

Вот вам, ребята, и вся сказка.

...Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали.

— Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого черта Шалимова сейчас же сюда позвали.

— Зачем черта? Зачем ругаешься? — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова.— Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

— Ночью замок сорвали,— плачущим голосом объяснил Дягилев.— Начисто. Вместе с пробоем. Ружье украли, двустволку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казенных денег, документы, ведомости, расписка. Что же это такое, Сергей Алексеевич? — недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком.

— Зачем кулаком махаешь? — все так же невозмутимо переспросил Шалимов.— Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил:

— Вон татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошел вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

— Спать, спать иди! — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев.— И что за народ! Что за народ! — скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить

крепежные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз, к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.

— Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остается. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, всем не так. А тут еще вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что сто восемьдесят метров желоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было еще повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уж бестолково вынули двести кубометров земли не оттуда, откуда было надо.

Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одернул помятый френч и пошел к лагерю.

.

За обедом звеньевой Иоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая

мороженое, подошел дежурный по столу пионер Башкатов, а при нем никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего.

Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно.

— Хулиган! — рассердился Иоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику.

Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что подошел дежурный по лагерю и Владика с позором выставили из-за стола. Обозленный Владик показал Иоське кулак и тотчас же ушел прочь.

Сразу же после обеда Натка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых — готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра.

Во время перерыва Алеша Николаев спросил:

— Что это, Шегалова, ребята сегодня все время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

— Сказку, Алеша, рассказывала. Хорошая сказка.

— Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

— Рассказала уже,— рассмеявшись, ответила Натка.— Ну, говорят, шел, ну, увидел, что у рельса гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

— Черт тебя знает, что ты городишь, Натка! — перебил ее Алеша.— Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

— Мальчиша заковали! — настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: — А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? — И, неожиданно улыбнувшись, она повторила:—«Плывут пароходы — привет Мальчишу! Бегут паровозы — привет Мальчишу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли? А пройдут,

Алеша, пионеры — салют Мальчишу! Эх, ты... гайка! — рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алешу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

После совещания Натка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела, что это колючая проволока.

— Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной! — раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоногий Гейка.

Увидев нагруженную поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

— Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые — кабан не раскусит. Все равно лезут. Вечор двоих ваших поймал. «Стыдно,— говорю.— Вас, голоштанных, и пирожными кормят и мороженым. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что». По-настоящему надо бы их крапивой, да вижу — скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зеленые груши, дал по спелому яблоку. Все одно стоят и молчат. «Ладно,— говорю им,— бегите. Эх вы... босоногая диктатура!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, все еще продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

— Папка,— предложил Алька,— знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем да не поем.

— Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

— А ты бы без крику,— посоветовал Алька.— Ну, давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно, теперь, когда на пустой полянке смешной октябренок Алька, подергивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что все хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постелей весь ее неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ёрзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает»,— прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка,— заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька,— отчего это, когда мы поем «Заводы, вставайте» и «шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо. А вот как допоем до «товарищей в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей.— Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звезды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька.— Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Натка так и не смогла увидеть.

Натка подвинулась. Из-под ее ног с шумом покатились камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

— Это и есть она самая! — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.

— Наташа? — догадался Сергей.

— Я и есть самая,— подтвердила Натка.

— Ну, что Алька?

— Бегает, балуется. Такой...— Натка запнулась,— такой малыш. Не дергай, Алька, за ленты. Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы еще с нею не поссорились?

— Нет, не поссорились,— ответил Алька.— Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит: дай! А я — не дам. Он меня — раз. А я его — раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

— Эмине — это маленькая девчонка такая, веселая... башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр... Да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда ее за пятки схватишь: орет на всю палату.

Издалека загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

— Алька ко мне? Или вы его с собой возьмете?

— Нет, не с собою,— ответил, поднимаясь, Сергей.— Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

— Обязательно послезавтра, — приказал Алька. — Вечером будет костер, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придешь, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого влажного камня.

Потом он свистнул, одернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владику, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом, через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот еще напасть!»—подумал огорченный Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесенку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябренка Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаясь спихнуть его под откос, в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябренку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щетку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан.

Такая смелая просьба Владику понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза.

— Ты хороший человек,— внезапно придумал Владик.—

Жалко, что ты мал еще, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну.

— И я бы тоже залез,— обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет,— охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик.— Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры... тревога!.. тревога!.. Вставайте, товарищи!.. Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Летчики — к самолетам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

— Я бы тоже побежал! — уныло завопил оскорбленный Карасиков.— Раз все бегут — значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

— А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!..

Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хмыкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

— Ничего! — успокоил Алька.— Он тебе только два раза. А про все другое — это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

— И я бы тоже не шелохнулся,— не уступал Карасиков.

— Нет, ты бы шелохнулся! — рассердился Алька.— Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

— И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползали,— обидчиво возразил Карасиков.

— А разве же у часовых сползают? — снисходительно усмехнулся Алька.— Эх ты, хвастунишка!

Из-за кустов выскочил Иоська.

— Где вы запропастились? — размахивая руками, затараторил он.— Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы!.. Ворошиловцы!..

...Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря — ворошиловцы.

В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

— Мишка, здорово!

Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом, а сейчас он, пионер, матрос-ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала:

— Привет старай гвардий от юнай смена!

На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а прыткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить.

— Так, значит, завтра? — уговаривался Толька с Владиком.

— Сказано, завтра.

— И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда — он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

— А если там кто-нибудь уже есть?

— Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

— Я-то свистну! — усмехнулся Владик и, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем.

Наступил вечер праздника. При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

— Ты не видала папу? — уже в третий раз спрашивал огорченный Алька у Натки.

— Нет, Алька, еще не видала. А ну, ребята, одернуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?

Пока ребята одергивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку:

— Ты не печалься. Раз он сказал, что придет,— значит, придет. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанный звеньевой Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

— Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается,— хмуро оправдывался Баранкин.

— Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? — возмущался Иоська.— И тут пятно и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

— Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу — опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать ни-как не буду.

— Значит, у беседки,— еще раз шепотом напомнил Толька.— Спички взял?

— Взял... Помалкивай,— тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся:

— Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

— А тебе что? — испуганно прошипел Владик.— Какие спички?

— Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься! А то не посмотрю, что товарищ, и скажу вожатой.

— Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дернулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновенье снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета «всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрет никогда, двинулись вниз.

Внизу, невдалеке от моря, с трех сторон окаймленная крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплывала на моторке ялтинская делегация. Подошли летчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на седлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузиков.

— Ну что?.. Здóрово? — не останавливаясь, спросил он.— Приходи завтра на волейбол.— И уже издалека он крикнул: — Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? — с неудовольствием подумала Натка.— И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешно посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. Успею!» — подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков.

Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею еще и сейчас,— подумала она.— Добежать долго ли?»

Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьезное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в

три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей и уже разбил Наткину дареную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там еще кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая сторона и какой народ?

Поняла она только одно: что мать просит ее приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, веселой музыки, потом многоголосая знакомая песня рванулась через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

— Ты что пропала? Я тебя искал,— сердито спросил откуда-то выползший Алька.— Идем скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

— Туда нельзя,— остановил ее озабоченный Алеша Николаев.— Это места для шефов. И чего только опаздывают!

— Ну, что шефы! Придут — мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алеша.

— Пусти одного, потом другой, потом третий... — ворчливо начал было Алеша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел летчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонек и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашел такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки — танцорки и физкультурницы,

и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче, громче, и наконец зашумело, загудело:

— Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? — растерялась Натка.— Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?»

Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал ее сразу и засмеялся — закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

— Кто это у тебя? — шутливо спросил Гитаевич.— Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

— Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован,— пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся. Он протер очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка.

— Я побегу... мне пора... Я сюда вернусь,— заторопился Алька и с обидою добавил: — Эх, папка, папка, так и не пришел.

— Сережи Ганина? — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

— Да, Ганина. А вы его разве знаете?

— Я-то его знаю,— ответил Гитаевич,— очень давно. Еще по армии знаю.

— Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка.— А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Буденного». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колесных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню буденовского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

— Жулики! — обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку Карасиков.— Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечевках тянут. Я уже все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на ее вопросы:

— У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита.

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула пораженная Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

— Танком ее по носу задело,— сердито объяснял Натке звеньевой Василюк.— Я ей говорю: не суйся. Так нет, растяпа,

не послушалась. Иоськина башня повернулась — и бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстрый летящий огонек — должно быть, пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул ее за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

— Алька где? Я спрашивал, мне сказали, что он с вами, Наташа.

— Он со мною,— обрадовалась Натка.— Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдемте... Он вас ждал, ждал...

— Опоздал я, Наташа,— виновато ответил Сергей.— Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и все смолкло.

— Стойте! — шепнула Натка.— Сейчас зажгут костер.

В темной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал еще раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела еще Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашевский привел исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеенчатом диване, с лицом, заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежурная:

— Говорит, что когда заканчивался костер и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой... А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся.

Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь. Тольку повезли в свой же лагерный лазарет, а Натка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику: строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи.

Перед тем как идти, Натка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он еще не спал.

— Владик,— спросила Натка,— расскажи, пожалуйста, где... как это все случилось?

Владик не отвечал.

— Дашевский,— строго повторила Натка,— ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря.

С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре Толька.

— Черт вас ночью по оврагам носит,— не сдержавшись, выругалась Натка и в потемках устало побрела к начальнику.

А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего.

Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй. Там еще не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем еще не начинали.

Он спросил: «Где Дягилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика татарина, который и был ему нужен.

В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо.— Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало!

— Грунт тяжелый,— еще глубже вздохнул Шалимов,— камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышли. Сегодня опять некоторые говорят: если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? — И Шалимов огорченно развел руками.

— Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно́ что-то, Шалимов.

— Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

— Ладно,— решил Сергей.— К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше,— быстро и наугад соврал Сергей,— а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

— Где, начальник? — забеспокоился Шалимов.— На водосливе или у насыпи?

— Не спросил. Некогда было. Ты там старший — тебе на месте видней. До свиданья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно»,— подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно.

— Дягилев где? — спросил Сергей у встретившегося парня.

— А вон он! — И парень показал топорищем куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

— Да вон он! — повторил парень.— Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

— С каким братом?

— Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился.— То-то Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь.

— Так смотрите же! — строго крикнул ему вдогонку Дягилев.— Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш,— объяснил он Сергею.— Он у них за старшего. Работник хороший! — И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: — Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

— Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчет расценок? — спросил Сергей.

— Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?

— На что жаловались?

— Известно, на что: грунт плохой, нормы велики; расценки малы. Что же им еще говорить?

— А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

— Чудно́ дело,— удивился Сергей.— Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

— Значит, такой уж у них характер вредный,— не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: — На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон поглядите, плотники рубят.

Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика татарина.

«Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему.

Старик поздоровался и тихо пошел рядом.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Сергей.— И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?.. Обманули?.. Обидели?..

— Обманули,— равнодушно согласился старик,— и обсчитали — верно. И обидели... верно!

— Ты и сейчас работаешь?

— Нет,— так же равнодушно, точно и не о нем шла речь, продолжал старик.— В тот раз Шалимов заметил, что я тебе

жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал — плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие,—дергая Сергея за рукав, продолжал старик.— Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкая. Я ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу — ведомость — и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю — верно. Вы с ним и считайтесь, а я и языка вашего не понимаю, кто свою мне фамилию распишет, кто чужую... Аллах вас разберет». Конечно, аллах,— с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: — До свиданья, начальник, спасибо!

— Погоди! — окликнул Сергей.— Постой, куда же ты? Пойдем со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына третьего дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошел к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберется, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка.

«Опаздываю,— понял Сергей.— Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

— Кто? — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке.

Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно.

Раздраженная Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо.

Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы.

Молча и внимательней, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и пре-

дупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

— Неправда! — прозвучал по всей линейке негодующий голос.— Все это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська.

Ребята зашевелились и зашептались.

— Тишина! — громко окрикнула Натка.— Почему говоришь, что все неправда?

— Все неправда,— убежденно повторил Иоська.— Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они еще куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге с костра, с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнет оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

— Дашевский,— в упор спросила Натка,— это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевельнувшись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

— Дашевский,— сердито сказала тогда Натка,— сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдешь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату.

Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем.

Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спаленной солнцем акации, сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают, как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владик посмотрел на мяч и не пошевельнулся.

Он не пошевельнулся и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха: все бегали, разыскивая потерянный мяч, и громче других раздавался недоумевающий голос Иоськи: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик и нехотя повернулся, заслышав чьи-то шаги.

Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то сырое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владику, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик.— Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно,— сплевывая на траву, охотно согласился парень.— Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду, и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика еще более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво:

— Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев нету.

— Конечно,— все так же охотно поддакнул парень.— Это такой народ... Ты им сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибегал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове.— Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеною все так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали.

Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна: из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.

— Это тебя толстый избил? — тихо спросил Алька.— А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

— Алька,— пробормотал испуганный Владик,— иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадина, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но когда все вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак...

— Алька,— быстро заговорил Владик,— ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утесом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет — никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно пополаскивать безрукавку.

«Ничего,— думал он,— выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдется. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! — злорадно вспомнил он серомордого парня.— Что, получил? Тоже нашел себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул его по

имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребенка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдет купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и уличкам.

— Знаешь, Алька,— грустно заговорил Владик,— когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу. А сестра, Влада, уже большая была — семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я как сейчас помню, услышал вдруг: «фю-фю». Смотрю — птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она все прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом вспорхнула — и на дерево.

Гляжу — на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. Иду, иду — нет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу — это лента от ее платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо еще, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал ее про себя дурой, дрянью и еще как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, два по затылку! Я стою — ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что, пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

— Она и сейчас в тюрьме сидит? — спросил не пропустивший ни слова Алька.

— И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит — может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов — нет... не выпускают... А потом на другой день пошел я уже один в рощу и назло гнездо разорил и в птицу камнем так свистнул, что насилу она увернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих.— Завтра меня из отряда выгонят,— объяснил он Альке.— Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал,— заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел.

— Так ты еще малыш! — рассмеялся Владик.

Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадет: зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет, зачем я тебя к

морю утащил. Идем, Алька. Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама тоже в тюрьме была убита,— неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго проканителилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной. С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врет и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде. Библиотекарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябренку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламмариона.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно все убрали, и ей досталось только два помидора да холодное вареное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала ее кастелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спросила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам.— Вася! — крикнула она пробегавшему октябренку Бубякину.— Сбегай позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом узнай, нашел Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрепа, не нашел.

— Он на меня вчера плюнул,— мрачно заявил Вася,— и я с ним больше не вожусь.

— Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке,— пригрозила Натка. И, обернувшись к кастелянше, она продолжала: — Полотенец у нас уже четырех не хватает. Галстуки еще вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут — может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что ее тихонько трогает за рукав Алька.

— Ну, что тебе? — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

— Знаешь что? — негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька.— А я тебя искал, искал... Знаешь... он совсем не виноват. Я сам был и все видел.

— Кто не виноват? — рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: — А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберется. А у меня... откуда же?

— Он совсем не виноват,— еще тише и взволнованней продолжал Алька.— Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он все письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а ее не выпустили.

— Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! — машинально пригрозила Натка.— Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

— Он на меня фигу показал,— хмуро пожаловался Вася,— и я с ним больше никогда не вожусь. А платка у него все равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался.

— Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марта Адольфовна.

— Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь,— уже со злобой и едва сдерживая слезы, забормотал Алька.— Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

— Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? — резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы — нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать: где, как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу,

вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!», то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошел было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Все это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленей и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припомнились ей какие-то непонятные Алькины слова: «...А я тебя искал, искал... Он все письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез. «Хорошо,— подумала Натка.— Хорошо, завтра тебе и это все припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И когда, наконец, вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарем, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

— Не надо,— задыхаясь, сказал он,— не надо...

— Ты нашел? — крикнула Натка.— Где он? Уже дома? В отряде?

— А то как же! — негромко ответил Владик. И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему все равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашел Альку в двух километрах от лагеря, в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с ее разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что ее хочет видеть Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и все ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойденный мастер.

И еще что заметила Натка — это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Натка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек.

Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, к а ж е т с я, забыл ее дома. А Натка очень уверенно ответила, что, к а ж е т с я, он опять забыл банку под кустом или у ручья. И все же когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати.

Озадаченная Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика.

А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли веселые ручейки.

Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час.

Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха сторожиха сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма.

Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимнастерку, умылся, закурил и только тогда распечатал.

Он прочел. Сел. Перечел еще раз и задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная. Смысл ее был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошел к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. Потом еще издалека послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое: давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

— Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи ее! — завопил Карасиков, с негодованием глядя на хладнокровно остановившегося товарища.

— Доганай! — гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко.— У, глупый... На! — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко: — На! — А сама уже издалека звонко крикнула: — Ты Алькин?.. Да? Кушай! — и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

— А ваш Алька вчера ее, Эмку, водой облил,— торжественно съябедничал Карасиков.— А Ваську Бубякина за ухо дернул.

— Что же вы его не поколотите? — полюбопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

— Его не надо колотить,— помолчав немного, объяснил он.— У него мать была хорошая.

— Откуда вы знаете, что хорошая?

— Знаем,— коротко ответил Карасиков.— Нам Натка рассказывала.— И, помолчав немного, он добавил: — А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал кра-

пиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся. Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда.

Потом подошла Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок, до краев наполненный яблоками, грушами и сливами.

— Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим,— объяснил Алька.— Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву,— неохотно сообщил Сергей.— Так надо,— ответил он на удивленный взгляд Натки.— Надо так, Наташа.

— Ганин! — набравшись решимости, спросила Натка.— А что, Алька когда-нибудь мать свою видел? То есть... видел, конечно, но он ее хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатились по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то ее отпустят вместе с семьей.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли дядя... папаха, дядина сабля за печкой... мать с хворостиной... Давно ли пионеротряд... сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два — и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

— Ты что? Спи, малыш! — накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал:

— А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мамка?» Он подумал и показал: «Вон в той». Я смотрел, смотрел, все равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон в той». Чудно́, правда, Натка?

— Что же чудно́, Алька?

— И в той стороне... и в другой стороне... — протяжно сказал Алька.— Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Натка? — живо продолжал он.— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи,— быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось.

Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки:

— Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве:

Плыл кораблик голубой,
А на нем и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звездочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли...

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька.— А я все-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где? — не сдержавшись, быстро спросила Натка.

Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой:

— Нет, не скажу... это наша с папкой тоже — военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

...После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приемки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру.

Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного — человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

— Тридцать пять,— откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик.— Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

— Тридцать выбью,— поколебавшись, решил Иоська.

— Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищей и взял винтовку. Приготавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И все-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошел Дягилев.

— Дурная голова! — с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу.— Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернемся — я тогда прежний порву.

— Сорок выбью,— уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку.— Меньше сорока не будет,— твердо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

— Сорок мне не выбить,— сознался Иоська.— У меня после третьего выстрела рука устает.

— А ты не целься по часу,— посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

— А ты не целься по часу,— повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

— Сорвал! Что ты? Что ты? — зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

— Ну, двойка! — разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошел прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

— Не сердись,— успокоил он, задерживая его руку.— Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

— Нет,— сердито ответил Владик.— Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

— Я знаю,— сказал он останавливаясь,— это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

— Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

— И я тоже.— Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек.— Это кто к вам сейчас подходил?

— Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик?

Владик запнулся.

— А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона — тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

— Постой, постой, да ты не кричи! — остановил Владика Сергей.— Кто меня убил? Какое ружье? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

— Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

— Ну?

— Это мы с Толькой были. На башню, дураки, лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана...

— Я не по кустам, а в воздух.

— Все равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он — под откос и расшибся.

— А ружье? Ружье где вы взяли?

— А ружье вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Там мы лазили и нечаянно натолкнулись.

— Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот? — настойчиво переспрашивал Сергей.

— Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку,— с досадой добавил Владик.— Я обернулся, гляжу — он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьем? Раз, раз — и сорвал.

— А ружье где?

— Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом,— уже нехотя докончил Владик.— Если надо, так сходим, можно и найти.

— Владик,— торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева.— Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с собой Альку и пойдемте вместе гулять. Там заодно все посмотрим и поищем.

В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о камни, грязная двустволка стояла в углу. Ее нашли в колючках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чем не виноват.

Вошел Дягилев. Еще с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками.

Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку-рассыльного и сел напротив Сергея.

— Врешь, что тебя обворовали,— прямо сказал Сергей.— Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил:

— А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли?

— Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть,— быстро ответил нерастерявшийся Дягилев.— Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?

Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова:

— Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь напророчил?

— Я ничего не говорил,— испуганно забормотал Шалимов.— Я ничего не видал, ничего не слыхал и не знаю. Это бог все знает.

— Святая истина,— мрачно согласился Дягилев.— Ну и что дальше?

— Документы у тебя свои или чужие? — спросил Сергей.

— Документ советский, а свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил, а я-то тут при чем?

В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.

— Владик,— спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева,— этот человек ружье прятал?

Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону.

Почуяв недоброе, Дягилев тоже встал, и отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошел к двери.

— Ты постой, вор! — вскрикнул побледневший Владик.— Здесь еще я стою.

— А ты что за орел-птица? — крикнул озадаченный Дягилев и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

— Отпустите лучше, Сергей Алексеевич,— сказал Дягилев.— Стройка закончена. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я — в другую. Всем жрать надо.

— Всем надо, да не все воруют.

— Вам воровать не к чему. У вас и так все свое.

— А у вас?

— А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

— Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй! — окликнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку.

— Был с кулаком, остался с кукишóм,— огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

— Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете,— как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дернул за рукав все еще что-то бормотавшего Шалимова.— Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю.

Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, еще мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей несся отчаянный визг. И суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:

— Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивой по голому. И скажи, что за баловная нация!

...Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган — на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы,— всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнет его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого малыша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошел день, прошел другой, а телеграммы все не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на теплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали.

— Папка,— трогая за плечо отца, спросил Алька,— Владик говорит, что у одного летчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул, летел, летел и все-таки спустился прямо в руки белым. Зачем же он тогда прыгал?

— Должно быть, он не знал, что попадет к белым, Алька.

— А если бы знал?

— Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьется.

— Не отбился,— с сожалением вздохнул Алька.— Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?

— А у вас, может быть, уж никакой войны не будет.

— А если?

— Ну, тогда вырастешь — сам увидишь. Ты почему про летчика вспомнил, Алька?

— По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

— Пойдем, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, прошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на полянке папиросы.

— Принеси, Алька,— попросил он,— я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чащу.

— Ау! Где вы? — донесся издалека голос Натки.

— Эгей-ге! Здесь! — громко откликнулся Сергей.— Сюда, Наташа!

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

— Зачем брата посадил? — глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами.— Хитрый! — протяжно добавил он и погрозил пальцем.

— Иди проспись,— посоветовал Сергей.— Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил.

— И все-то вы хи-итрые! — так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

— Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!

— Брат твой кулак и вор — туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи,— резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

— Брат — вор, а я и вовсе бандит! — дико выкрикнул пьяный, и, схватив с земли тяжелый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

— Брось, оставь! — крикнул отклонившийся Сергей.

Но ослепленный злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул.

— Стой!.. Назад... Назад, Алька! — в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному.

Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш — Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

— Алька,— почти шепотом попросил Сергей,— ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки и, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошел в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая веселая, черноволосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

— Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

— А он, кажется, уже не спит,— как-то по-чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что пораженная Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу.

И светлым, солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку.

Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова — шахтер.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден.

Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумаги, то он не нашел там Алькиной фотографии. Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого — на себя, на других ли — сердиться.

Он пошел к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинки с краснозвездным всадником уже не было.

— Завтра я уезжаю, Наташа,— сказал Сергей.— Меня вызвали.

— И я тоже. Мы вместе поедем. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

— Да, теперь вода холодная,— машинально повторил Сергей.— Ты у меня не была сегодня, Наташа?

— Нет, не была. А что... Сережа?

— Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул — не помню. Искал, искал — нету. В Москве у меня еще есть,— словно оправдываясь, добавил он.— А здесь больше нету.

В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Натку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидев Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова.

Они решили ехать завтра рано утром — машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрята. Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами.

Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку.

Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину.

— Зачем это? — с укором спросила Натка.— Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

— Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам,— стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

— Владик,— ласково заговорила Натка, положив ему руку на плечо,— а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится.

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку.

Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по щекам.

— Да, Натка,— беспомощным, горячим полушепотом заговорил он,— у отца, наверно, еще есть. Он, наверно, еще достанет. А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды.

...Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

— Возьми... Это ему и тебе,— отрывисто сказал Владик.— Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке. Мы

попросили садовника. Мы сказали кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рявкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зеленому лагерю:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рявкнула, плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору.

Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек.

Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь в двадцатом был убит и похоронен их сосед, один веселый сапожник, который, перед тем как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал, с тем чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку — Всемиру — никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

— А все-таки где же Алька видел Марицу? — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

— Он видел ее полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей».— «Почему же ты смеешь-

ся? Разве тебе не больно?» — «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насупился, присел поближе и потрогал ее косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьем тоже».

— А почему Алька говорил, что это тайна?

— Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали — пусть ищет. И никому не говорили.

— А потом?

— А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим, пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли, росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса — целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом.

— Сережа,— сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку,— ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

— Постой! Как это? — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов.— Сережа Ганин! — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся.— А я смотрю... Кто? Кто это?.. Ты откуда?.. Куда?..

— Мы вместе приехали. А ты его знаешь! — обрадовалась Натка.— Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем.

— Поедем, поедем,— согласился Шегалов.— Только мне сей-

час прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

— Слов нету,— ответил Сергей.— А к вечеру, Шегалов, я все припомню.

— А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

— Дядя,— перебила сразу насторожившаяся Натка,— идем, дядя. Где машина?

Натка сидела посередине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

— Ну как ты? Конечно, жена есть, дети?

— Дядя,— дергая его за рукав, перебила Натка,— ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

— Как это? — удивился Шегалов.— Твои ноги вон где, а мои шпоры — вот они.

— Не сейчас,— смутилась Натка,— это еще когда мы в машину садились.

— Так неужели ты не женат? — продолжал Шегалов и рассмеялся.— А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девчонка темноглазая, чернокосая...

— Дядя! — почти испуганно вскрикнула Натка.— Это была...— Она запнулась.— Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

— И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать?— возмутился Шегалов.— То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина,— с досадой ответил он.— Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером,— обернулся он к Сергею.— А то я на днях и сам в командировку еду. Дела, брат! — уже тише добавил он.— Серьезные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше.

Это очень опечалило Натку. До четырех часов Натка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные.

«Скорей надо за дело,— опуская газету, подумала Натка.— Домой ли, в Таджикистан ли... все равно. Всюду работа нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились,— подумала Натка.— А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать,— думала Натка.— Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа,— писал Сергей.— Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У нее оставалось еще полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются. И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно угрюмый, и ждет, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далекий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея.

Он был в форме командира ниженерных войск, его товарищи — тоже.

Но что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

— Сережа! — негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу.

— Ну вот,— сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь.— Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он ее понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок только потому, что туда прошел с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидала, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец.

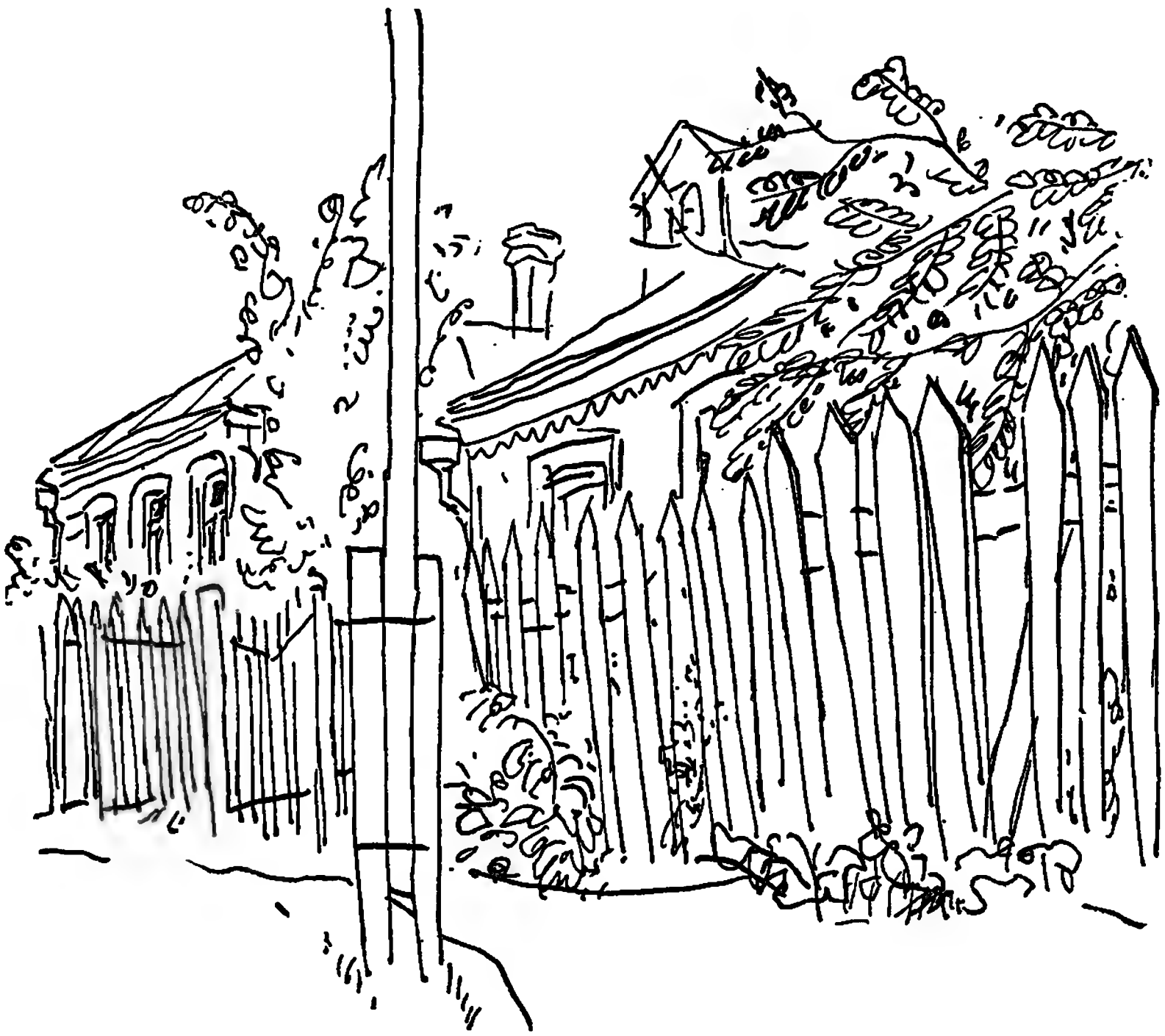
У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

1934 г.



ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

Вот уже три месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте.

В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой, на даче.

Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила:

— Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. Можешь бровями не дергать и губы не облизывать. Потом запри дверь. Книги отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграмму. За-

тем садись в поезд и приезжай на дачу... Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя сестра...

— И я твоя тоже.

— Да... но я старше... и, в конце концов, так велел папа.

Когда во дворе зафыркала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась. Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыльному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца.

Хорошо! Пусть Ольга старше и пока ее нужно слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, такой же, как у него, будет характер.

Она туже перевязала косынкой волосы. Сбросила сандалии. Взяла тряпку. Сдернула со стола скатерть, сунула под кран ведро и, схватив щетку, поволокла к порогу груду мусора.

Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус.

Пол был залит водой. В бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена. А прохожие с улицы удивленно поглядывали на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике третьего этажа, смело протирала стекла распахнутых окон.

Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле. На коленях у нее лежал рыжий котенок и теребил лапами букет васильков.

У тридцатого километра их нагнала походная красноармейская мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели. При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам еще недозрелые яблоки, кричали вдогонку «ура» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в полынь и крапиву стремительными кавалерийскими атаками.

Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей.

Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу.

Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький красный флаг.

Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина — это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены.

Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад.

На стволах обклеванных воробьями вишен блестела горячая смола. Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода.

Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину.

Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка.

Тут Ольга услышала быстрый, тревожный шепот. И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лестница — та, что была приставлена к окну чердака сарая,— с треском полетела вдоль стены, подминая лопухи, гулко брякнулась о землю.

Веревочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, котенок кувыркнулся в крапиву. Недоумевая, Ольга остановилась, осмотрелась, прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим забором, ни в черном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно.

Она вернулась к крыльцу.

— Это ребятишки по чужим садам озоруют,— объяснила Ольге молочница.— Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ пошел... хулиганы. Я, дорогая, сына в Красную Армию служить проводила. И как пошел, вина не пил. «Прощай,— говорит,— мама». И пошел и засвистел, милый. Ну, к вечеру, как положено, взгрустнулось, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь одинокий, заступиться некому... А много ли мне, старой, надо? Кирпичом по голове стукни — вот я и готова. Однако бог миловал — ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Кадка у меня во дворе стояла — дубовая, вдвоем не своротишь,— так ее шагов на двадцать к воротам подкатили. Вот и все. А что был за народ, что за люди — дело темное.

В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. Тут из кожаного футляра бережно достала она белый, сверкающий перламутром аккордеон — подарок отца, который он прислал ей ко дню рождения.

Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею песенки:

Ах, если б только раз
Мне вас еще увидеть,

Ах, если б только... раз...
И два... и три...
А вы и не поймете
На быстром самолете,
Как вас ожидала я до утренней зари.
Да!
Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.

Еще в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько раз бросала она короткие настороженные взгляды в сторону темного куста, который рос во дворе у забора.

Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, громко спросила:

— Послушайте! Зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?

Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он наклонил голову и вежливо ей ответил:

— Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать. И вот я стоял и слушал.

— Да, но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор.

— Я?.. Через забор?..— обиделся человек.— Извините, я не кошка. Там, в углу забора, выломаны доски, и я с улицы проник через это отверстие.

— Понятно!— усмехнулась Ольга.— Но вот калитка. И будьте добры проникнуть через нее обратно на улицу.

Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошел через калитку, запер за собой задвижку, и это Ольге понравилось.

— Погодите! — спускаясь со ступени, остановила его она.— Вы кто? Артист?

— Нет,— ответил человек.— Я инженер-механик, но в свободное время я играю и пою в нашей заводской опере.

— Послушайте,— неожиданно просто предложила ему Ольга.— Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестренку. Уже темно, поздно, а ее все нет и нет. Помните, я никого не боюсь, но я еще не знаю здешних улиц. Однако постойте, зачем же вы открываете калитку? Вы можете подождать меня и у забора.

Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на темную, пахнувшую росой и цветами улицу.

Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий,

фамилия его Гараев и он работает инженером-механиком на автомобильном заводе.

Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда, наконец прошел и третий, последний.

— С этой негодной девчонкой хлебнешь горя! — огорченно воскликнула Ольга.— Ну, если бы еще мне было лет сорок или хотя бы тридцать. А то ей тринадцать, мне — восемнадцать, и поэтому она меня совсем не слушается.

— Сорок не надо! — решительно отказался Георгий.— Восемнадцать куда как лучше! Да вы зря не беспокойтесь. Ваша сестра приедет рано утром.

Перрон опустел.

Георгий вынул портсигар. Тут же к нему подошли два молодцеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои папиросы.

— Молодой человек,— зажигая спичку и озаряя лицо старшего, сказал Георгий.— Прежде чем тянуться ко мне с папиросой, надо поздороваться, ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Михаил Квакин. Не так ли?

Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял Ольгу за локоть и повел ее к дому.

Когда они отошли, то второй мальчишка сунул замусоленную папиросу за ухо и небрежно спросил:

— Это еще что за пропагандист выискался? Здешний?

— Здешний,— нехотя ответил Квакин.— Это Тимки Гараева дядя. Тимку бы поймать, излупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, кажется, гнут против нас дело.

Тут оба приятеля заметили под фонарем в конце платформы седого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался по лесенке.

Это был местный житель, доктор Ф. Г. Колокольчиков. Они помчались за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек. Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, потому что, обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошел своей дорогой.

...С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту.

Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекресток двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо.

Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла за рога упрямую козу.

— Скажи, дорогая, пожалуйста,— закричала ей Женя,— как мне пройти отсюда на почту?

Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом. Женя огляделась: уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу.

— Скажите, пожалуйста,— не открывая дверь, громко, но очень вежливо спросила Женя,— как бы мне отсюда пройти на почту?

Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла большая светло-рыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и, тихо зарычав, легла поперек пути у двери.

— Ты, глупая! — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женя.— Я не вор! Я у вас ничего не взяла. Это вот ключ от нашей квартиры. Это телеграмма папе. Мой папа — командир. Тебе понятно?

Собака молчала и не шевелилась. А Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала:

— Ну вот! Ты лежишь? И лежи... Очень хорошая собачка... такая с виду умная, симпатичная.

Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычаньем вскочила, и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги.

— Очень странно,— чуть не плача, заговорила она.— Ты лови разбойников и шпионов, а я... человек. Да! — Она показала собаке язык.— Дура!

Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дожидаться хозяев.

Но прошел час, другой... Уже стемнело. Через открытое окно доносились далекие гудки паровозов, лай собак и удары волейбольного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь, около серой дачи, все было глухо и тихо.

Положив голову на жесткий валик дивана, Женя тихонько заплакала.

Наконец она крепко уснула.

Она проснулась только утром.

За окном шумела пышная, омытая дождем листва. Неподалеку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, было по-прежнему тихо.

Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты легкой простыней. Собаки на полу не было.

Значит, сюда ночью кто-то приходил!

Женя вскочила, откинула волосы, одернула помятый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать.

И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано:

«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». Ниже стояла подпись: «Тимур».

«Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека».

Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных краг, лежал старый, ободранный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла клинок над своей головой и посмотрела в зеркало.

Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом притащить в школу карточку! Можно было бы соврать, что когда-то отец брал ее с собой на фронт. В левую руку можно взять револьвер. Вот так. Это будет еще лучше. Она до отказа стянула брови, сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок.

Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна. Упало на пепельницу настольное зеркало. И, оставив на столе и ключ и телеграмму, оглушенная Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома.

Каким-то путем она очутилась на берегу речки. Теперь у нее не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы. И теперь Ольге надо было рассказывать все: и про собаку, и про ночевку в пустой даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про выстрел. Скверно! Был бы папа, он бы понял. Ольга не поймет. Ольга рассердится или, чего доброго, заплачет. А это еще хуже. Плакать Женя и сама умела. Но при виде Ольгиных слез ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши.

Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать свою дачу.

Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уставилась на Женю.

— Оля, здравствуй! — останавливаясь на верхней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала Женя.— Оля, ты ругаться не будешь?

— Буду! — не сводя глаз с сестры, ответила Ольга.

— Ну, ругайся,— покорно согласилась Женя.— Такой, знаешь ли, странный случай, такое необычайное приключение! Оля, я тебя прошу, ты бровями не дергай, ничего страшного, я просто ключ от квартиры потеряла, телеграмму папе не отправила...

Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом. Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила, вся в репьях, лохматая коза и, низко опустив рога, помчалась в глубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене босоногая девчонка.

Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный разговор и кинулась в сад выгонять козу. Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу за рога.

— Девочка, ты ничего не потеряла? — быстро сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками.

— Нет,— не поняла Женя.

— А это чье? Не твое? — И девчонка показала ей ключ от московской квартиры.

— Мое,— шепотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону террасы.

— Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отправлена,— все так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка.

И, сунув Жене в руку бумажный сверток, она ударила козу кулаком.

Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом за калиткою они исчезли.

Сжав плечи, как будто бы поколотили ее, а не козу, Женя раскрыла сверток:

— Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит, кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто? Ага, вот записка! Что же это такое?

В этой записке крупно синим карандашом было написано: «Девочка, никого дома не бойся. Всё в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А ниже стояла подпись: «Тимур».

Как завороженная, тихо сунула Женя записку в карман. Потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге.

Ольга стояла все там же, возле неразожженного примуса, и на глазах ее уже выступили слезы.

— Оля! — горестно воскликнула тогда Женя.— Я пошутила.

Ну за что ты на меня сердишься? Я прибрала всю квартиру, я протерла окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя люблю! Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши спрыгну?

И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась к ней на шею.

— Да... но я беспокоилась,— с отчаянием заговорила Ольга.— И вечно нелепые у тебя шутки... А мне папа велел... Женя, оставь! Женька, у меня руки в керосине! Женька, налей лучше молоко и поставь кастрюлю на примус!

— Я... без шуток не могу,— бормотала Женя в то время, когда Ольга стояла возле умывальника.

Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежавшую в кармане записку и спросила:

— Оля, бог есть?

— Нету,— ответила Ольга и подставила голову под умывальник.

— А кто есть?

— Отстань! — с досадой ответила Ольга.— Никого нет!

Женя помолчала и опять спросила:

— Оля, а кто такой Тимур?

— Это не бог, это один царь такой,— намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга,— злой, хромой, из средней истории.

— А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?

— Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе Тимур дался?

— А на то, что, мне кажется, я очень люблю этого человека.

— Кого? — И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо.— Что ты все там бормочешь, выдумываешь, не даешь спокойно умыться. Вот погоди, приедет папа, и он в твоей любви разберется.

— Что ж папа! — скорбно, с пафосом воскликнула Женя.— Если он и приедет, то так ненадолго. И он, конечно, не будет обижать одинокого и беззащитного человека.

— Это ты-то одинокая и беззащитная? — недоверчиво спросила Ольга.— Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только ты уродилась!

Тогда Женя опустила голову и, разглядывая свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумывая ответила:

— В папу. Только. В него. Одного. И больше ни в кого на свете.

...Пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков, сидел в своем саду и чинил стенные часы.

Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля.

Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле вот уже целый час, как он держал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится.

Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на свое место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца-края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и сведущего. И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал Коле знаки, столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина сестра Татьянка, которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно завопила и дернула дедушку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла.

Наконец пружина легла на свое место.

— Человек должен трудиться,— поднимая влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно произнес седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков.— У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Подай отвертку и возьми клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же душевного благородства как раз не хватает. Например, вчера ты съел четыре порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился.

— Она врет, бессовестная! — бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный Коля.— Три раза я давал ей откусить по два раза. Она же пошла на меня жаловаться да еще по дороге стянула с маминого стола четыре копейки.

— А ты ночью по веревке из окна лазил,— не поворачивая головы, хладнокровно ляпнула Татьянка.— У тебя под подушкой есть фонарь. А в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камнем. Кинет да посвистит, кинет да еще свистнет.

Дух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки. Дрожь пронизала тело от головы до пяток. Но, к счастью, занятый работой дедушка на такую опасную клевету внимания не обратил или просто ее не расслышал. Очень кстати в сад тут вошла с бидонами молочница и, отмеривая кружками молоко, начала жаловаться:

— А у меня, батюшка Федор Григорьевич, жулики ночью чуть было дубовую кадку со двора не своротили. А сегодня люди говорят, что чуть свет у меня на крыше двух человек видели: сидят на трубе, проклятые, и ногами болтают.

— То есть как на трубе? С какой же это, позвольте, целью? — начал было спрашивать удивленный джентльмен.

Но тут со стороны курятника раздался лязг и звон. Отверт-

ка в руке седого джентльмена дрогнула, и упрямая пружина, вылетев из своего гнезда, с визгом брякнулась о железную крышу. Все, даже Татьянка, даже ленивая собака, разом обернулись, не понимая, откуда звон и в чем дело. А Коля Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через морковные грядки и исчез за забором.

Он остановился возле коровьего сарая, изнутри которого, так же как из курятника, доносились резкие звуки, как будто бы кто-то бил гирей по отрезку стальной рельсы. Здесь-то он и столкнулся с Симой Симаковым, у которого взволнованно спросил:

— Слушай... Я не пойму. Это что?.. Тревога?

— Да нет! Это, кажется, по форме номер один позывной сигнал общий.

Они перепрыгнули через забор, нырнули в дыру ограды парка. Здесь с ними столкнулся широкоплечий, крепкий мальчуган Гейка. Следом подскочил Василий Ладыгин. Еще и еще кто-то. И бесшумно, проворно, одними только им знакомыми ходами они неслись к какой-то цели, на бегу коротко переговариваясь:

— Это тревога?

— Да нет! Это форма номер один позывной общий.

— Какой позывной? Это не «три — стоп», «три — стоп». Это какой-то болван кладет колесом десять ударов кряду.

— А вот посмотрим!

— Ага, проверим!

— Вперед! Молнией!

А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий темноволосый мальчуган лет тринадцати. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя безрукавка с вышитой красной звездой.

К нему подошел седой лохматый старик. Холщовая рубаха его была бедна. Широченные штаны —в заплатах. К колену его левой ноги ремнями была пристегнута грубая деревяшка. В одной руке он держал записку, другой сжимал старый, ободранный револьвер.

— «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь»,— насмешливо прочел старик.— Итак, может быть, ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на диване?

— Одна знакомая девочка,— неохотно ответил мальчуган.— Ее без меня задержала собака.

— Вот и врешь! — рассердился старик.— Если бы она была тебе знакомая, то здесь, в записке, ты назвал бы ее по имени.

— Когда я писал, то я не знал. А теперь я ее знаю.

— Не знал. И ты оставил ее утром одну... в квартире? Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший. Эта дрянь разбила зеркало, расколотила пепельницу. Ну хорошо, что револьвер был заряжен холостыми. А если бы в нем были патроны боевые?

— Но, дядя... боевых патронов у тебя не бывает, потому что у врагов твоих ружья и сабли... просто деревянные.

Похоже было на то, что старик улыбнулся. Однако, тряхнув лохматой головой, он строго сказал:

— Ты смотри! Я все замечаю. Дела у тебя, как я вижу, темные, и как бы за них я не отправил тебя назад, к матери.

Пристукивая деревяшкой, старик пошел вверх по лестнице. Когда он скрылся, мальчуган подпрыгнул, схватил за лапы вбежавшую в комнату собаку и поцеловал ее в морду.

— Ага, Рита! Мы с тобой попались. Ничего, он сегодня добрый. Он сейчас петь будет.

И точно. Сверху из комнаты послышалось откашливание. Потом этакое тра-ля-ля!.. И наконец низкий баритон запел:

Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине...

— Стой, сумасшедшая собака! — крикнул Тимур.— Что ты мне рвешь штаны и куда ты меня тянешь?

Вдруг он с шумом захлопнул дверь, которая вела наверх к дяде, и через коридор вслед за собакой выскочил на веранду.

В углу веранды, возле небольшого телефона, дергался, прыгал и колотился о стену подвязанный к веревке бронзовый колокольчик.

Мальчуган зажал его в руке, замотал бечевку на гвоздь. Теперь вздрагивающая бечевка ослабла, должно быть где-то лопнула. Тогда, удивленный и рассерженный, он схватил трубку телефона.

Часом раньше, чем все это случилось, Ольга сидела за столом. Перед нею лежал учебник физики.

Вошла Женя и достала пузырек с йодом.

— Женя,— недовольно спросила Ольга,— откуда у тебя на плече царапина?

— А я шла,— беспечно ответила Женя,— а там стояло на пути что-то такое колючее или острое. Вот так и получилось.

— Отчего же это у меня на пути не стоит ничего колючего или острого? — передразнила ее Ольга.

— Неправда! У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий и острый. Вот, посмотри, срежешься!.. Олечка, не

ходи на инженера, ходи на доктора,— заговорила Женя, подсовывая Ольге настольное зеркало.— Ну, погляди: какой из тебя инженер? Инженер должен быть — вот... вот... и вот... (Она сделала три энергичные гримасы.) А у тебя — вот... вот... и вот...— Тут Женя повела глазами, приподняла брови и очень нежно улыбнулась.

— Глупая! — обнимая ее, целуя и легонько отталкивая, сказала Ольга.— Уходи, Женя, и не мешай. Ты бы лучше сбегала к колодцу за водой.

Женя взяла с тарелки яблоко, отошла в угол, постояла у окна, потом расстегнула футляр аккордеона и заговорила:

— Знаешь, Оля! Подходит ко мне сегодня какой-то дяденька. Так с виду ничего себе — блондин, в белом костюме, и спрашивает: «Девочка, тебя как зовут?» Я говорю: «Женя...»

— Женя, не мешай и инструмент не трогай,— не оборачиваясь и не отрываясь от книги, сказала Ольга.

— «А твою сестру,— доставая аккордеон, продолжала Женя,— кажется, зовут Ольгой?»

— Женька, не мешай и инструмент не трогай! — невольно прислушиваясь, повторила Ольга.

— «Очень,— говорит он,— твоя сестра хорошо играет. Она не хочет ли учиться в консерватории?» (Женя достала аккордеон и перекинула ремень через плечо.) «Нет,— говорю я ему,— она уже учится по железобетонной специальности». А он тогда говорит: «А-а!» (Тут Женя нажала один клавиш.) А я ему говорю: «Бэ-э!» (Тут Женя нажала другой клавиш.)

— Негодная девчонка! Положи инструмент на место! — вскакивая, крикнула Ольга.— Кто тебе разрешает вступать в разговоры с какими-то дяденьками?

— Ну и положу,— обиделась Женя.— Я и не вступала. Это вступил он. Хотела я тебе рассказать дальше, а теперь не буду. Вот погоди, приедет папа, он тебе покажет!

— Мне? Это тебе покажет. Ты мешаешь мне заниматься.

— Нет, тебе! — хватая пустое ведро, уже с крыльца откликнулась Женя.— Я ему расскажу, как ты меня по сто раз в день то за керосином, то за мылом, то за водой гоняешь! Я тебе не грузовик, не конь и не трактор.

Она принесла воды, поставила ведро на лавку, но, так как Ольга, не обратив на это внимания, сидела, склонившись над книгой, обиженная Женя ушла в сад.

Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из кармана рогатку и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста.

Взлетев кверху ногами, парашютист перевернулся. Над ним раскрылся голубой бумажный купол, но тут крепче рванул ве-

тер, парашютиста поволокло в сторону, и он исчез за темным чердачным окном сарая.

Авария! Картонного человечка надо было выручать. Женя обошла сарай, через дырявую крышу которого разбегались во все стороны тонкие веревочные провода. Она подтащила к окну трухлявую лестницу и, взобравшись по ней, спрыгнула на пол чердака.

Очень странно! Этот чердак был обитаем. На стене висели мотки веревок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта поселка, вся исчерченная непонятными знаками. В углу лежала покрытая мешковиной охапка соломы. Тут же стоял перевернутый фанерный ящик. Возле дырявой, замшелой крыши торчало большое, похожее на штурвальное, колесо. Над колесом висел самодельный телефон.

Женя заглянула через щель. Перед ней, как волны моря, колыхалась листва густых садов. В небе играли голуби. И тогда Женя решила: пусть голуби будут чайками, этот старый сарай с его веревками, фонарями и флагами — большим кораблем. Она же сама будет капитаном.

Ей стало весело. Она повернула штурвальное колесо. Тугие веревочные провода задрожали, загудели. Ветер зашумел и погнал зеленые волны. А ей показалось, что это ее корабль-сарай медленно и спокойно по волнам разворачивается.

— Лево руля на борт! — громко скомандовала Женя и крепче налегла на тяжелое колесо.

Прорвавшись через щели крыши, узкие прямые лучи солнца упали ей на лицо и платье. Но Женя поняла, что это неприятельские суда нащупывают ее своими прожекторами, и она решила дать им бой. С силой управляла она скрипучим колесом, маневрируя вправо и влево, и властно выкрикивала слова команды.

Но вот острые прямые лучи прожектора поблекли, погасли. И это, конечно, не солнце зашло за тучу. Это разгромленная вражья эскадра шла ко дну.

Бой был окончен. Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала; она думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку.

Голос звонкий и резкий спрашивал:

— Алло! Алло! Отвечайте. Какой осел обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?

— Это не осел,— пробормотала озадаченная Женя.— Это я — Женя!

— Сумасшедшая девчонка! — резко и почти испуганно прокричал тот же голос.— Оставь штурвальное колесо и беги прочь. Сейчас примчатся... люди, и они тебя поколотят.

Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот на свету показалась чья-то голова: это был Гейка, за ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков, а вслед лезли еще и еще мальчишки.

— Кто вы такие? — отступая от окна, в страхе спросила Женя.— Уходите!.. Это наш сад. Я вас сюда не звала.

Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула.

В то же мгновенье в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда.

— Тише, Женя! — громко сказал он.— Кричать не надо. Никто тебя не тронет. Мы с тобой знакомы. Я — Тимур.

— Ты Тимур?! — широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя.— Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?

Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил:

— А вот оставайся с нами! Садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно.

На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята.

У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем.

Неподалеку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому не известного штаба. Говорил Тимур:

— Завтра, на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею (он показал на Женю) провода.

— Он проспит,— хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка.— Он просыпается только к завтраку и к обеду.

— Клевета! — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков.— Я встаю вместе с первым лучом солнца.

— Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно,— упрямо продолжал Гейка.

Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакали.

По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки.

Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. Дивизион умчался.

— Это они на вокзал, на погрузку, поехали,— важно объяснил Коля Колокольчиков.— Я по их обмундированию вижу: когда они скачут на ученье, когда на парад, а когда и еще куда.

— Видишь — и молчи! — остановил его Гейка.— Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную Армию!

— Нельзя,— вмешался Тимур.— Это затея совсем пустая.

— Как нельзя? — покраснев, спросил Коля.— А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?

— То раньше! А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее.

— Как по шее? — вспылив и еще больше покраснев, вскричал Коля Колокольчиков.— Это... своих-то?

— Да вот!..— И Тимур вздохнул.— Это своих-то! А теперь, ребята, давайте к делу.

Все расселись по местам.

— В саду дома номер тридцать четыре по Кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню,— обиженно сообщил Коля Колокольчиков.— Они сломали две ветки и помяли клумбу.

— Чей дом? — И Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь.— Дом красноармейца Крюкова. Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?

— Я,— раздался сконфуженный голос.

— Кто это мог сделать?

— Это работал Мишка Квакин и его помощник, под названием «Фигура». Яблоня мичуринка, сорт «золотой налив», и, конечно, взята на выбор.

— Опять и опять Квакин! — Тимур задумался.— Гейка! У тебя с ним разговор был?

— Был.

— Ну и что же?

— Дал ему два раза по шее.

— А он?

— Ну и он сунул мне раза два тоже.

— Эк у тебя все — «дал» да «сунул»... А толку что-то нету. Ладно! Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше.

— В доме номер двадцать пять у старухи молочницы взяли в кавалерию сына,— сообщил из угла кто-то.

— Вот хватил! — И Тимур укоризненно качнул головой.— Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков, ты?

— Я.

— Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Взялся сделать — сделай хорошо. Люди придут — смеяться будут. Давайте дальше.

Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки:

— В доме номер пятьдесят четыре по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу — старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по закону!» Она говорит: «Коза пропала. Ах, будь ты проклята!» — «Да куда же она пропала?» — «А вон там, в овраге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!»

— Погоди! Чей дом?

— Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка — его дочь, зовут Нюрка. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная. Зовут Манька.

— Козу разыскать! — приказал Тимур.— Пойдет команда в четыре человека. Ты... ты, ты и ты. Ну всё, ребята?

— В доме номер двадцать два девчонка плачет,— как бы нехотя сообщил Гейка.

— Чего же она плачет?

— Спрашивал — не говорит.

— А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил... обидел?

— Спрашивал — не говорит.

— А велика ли девчонка?

— Четыре года.

— Вот еще беда! Кабы человек... а то — четыре года! Постой, а чей это дом?

— Дом лейтенанта Павлова. Того, что недавно убили на границе.

— «Спрашивал — не говорит»! — огорченно передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал.— Ладно... Это я сам. Вы к этому делу не касайтесь.

— На горизонте показался Мишка Квакин! — громко доложил наблюдатель.— Идет по той стороне улицы. Жрет яблоко. Тимур! Выслать команду: пусть дадут ему тычка или взашеину!

— Не надо. Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро.

Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова:

— У калитки, в поле моего зрения, неизвестная девица, красивого вида, стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверно, хозяйка дачи.

— Это твоя сестра? — дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерег: — Ты смотри не вздумай ей отсюда крикнуть.

— Сиди! — выдергивая рукав, насмешливо ответила ему Женя.— Тоже ты мне начальник...

— Не лезь к ней,— поддразнил Гейка Колю,— а то она тебя поколотит.

— Меня? — Коля обиделся.— У нее что? Когти? А у меня — мускулатура. Вот... ручная, ножная!

— Она поколотит тебя вместе с ручною и ножною. Ребята, осторожно! Тимур подходит к Квакину.

Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.

— Здорово, комиссар! — склонив голову набок, негромко сказал он.— Куда так торопишься?

— Здорово, атаман! — в тон ему ответил Тимур.— К тебе навстречу.

— Рад гостю, да угощать нечем. Разве вот это? — Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко.

— Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко.

— Они самые,— объяснил Квакин.— Сорт «золотой налив». Да вот беда: нет еще настоящей спелости.

— Кислятина! — бросая яблоко, сказал Тимур.— Послушай: ты на заборе дома номер тридцать четыре вот такой знак видел? — И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке.

— Ну видел,— насторожился Квакин.— Я, брат, и днем и ночью все вижу.

— Так вот: если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили.

— Ой, комиссар! Какой ты горячий! — растягивая слова, сказал Квакин.— Хватит, поговорили!

— Ой, атаман, какой ты упрямый,— не повышая голоса, ответил Тимур.— А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний.

Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги, а не два теплых друга.

И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чем-то с хулиганом Квакиным.

— Не знаю,— с сердцем ответила молочница.— Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то все возле вашего дома околачивается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестренку не отколошматили.

Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек, прошла на террасу, поставила кувшин, за-

перла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа как не показывала глаз домой.

...Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум. Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене.

— Ну что? — спросил он.— Теперь тебе все понятно?

— Все,— ответила Женя,— только еще не очень. Ты объясни мне проще.

— А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры все равно сейчас нет дома.

Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу.

Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом.

Они остановились у домика, где жила старуха молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч которой действительно изгибался, как пиявка.

Уверенно лучи он обровнял, заострил и выпрямил.

— Скажи, зачем? — спросила его Женя.— Ты объясни мне проще: что все это значит?

Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер закрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал:

— А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную Армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. У тебя отец в армии?

— Да! — с гордостью ответила Женя.— Он командир.

— Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже.

Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь на заборе была начерчена звезда. Но прямые светлые лучи ее были обведены широкой черной каймой.

— Вот! — сказал Тимур.— И из этого дома человек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее.

Он сказал все это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был теплый и даже душный.

Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила:

— А разве Гейка добрый?

— Да,— ответил Тимур.— Он сын моряка, матроса. Он ча-

сто бранит малыша и хвастунишку Колокольчикова, но сам везде и всегда за него заступается.

Окрик резкий и даже гневный заставил их обернуться. Неподалеку стояла Ольга.

Женя дотронулась до руки Тимура: она хотела подвести его и познакомить с ним Ольгу.

Но новый окрик, строгий и холодный, заставил ее от этого отказаться.

Виновато кивнув Тимуру головой и недоуменно пожав плечами, она пошла к Ольге.

— Евгения! — тяжело дыша, со слезами в голосе сказала Ольга.— Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой. Тебе понятно?

— Но, Оля,— пробормотала Женя,— что с тобою?

— Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке,— твердо повторила Ольга.— Тебе тринадцать, мне восемнадцать. Я твоя сестра... Я старше. И когда папа уезжал, он мне велел...

— Но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь! — с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправдаться. Но она не могла. Она была не вправе. И, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова.

Сразу же она легла в постель. Но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно и подали от отца телеграмму.

...Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. Старуха молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу:

— Качай!

— Давай!

— Бери!

— Хватай!

Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую кадку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу.

К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил:

— Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. Скорей торопитесь! Старуха пойдет сейчас обратно.

Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур стал под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завернутые в одеяло ноги.

К стр. 291

Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал:

— Коля, вставай! Колька!

Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя.

Легкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался хрипловатый изумленный вопль. Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну.

Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева.

А седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил.

Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика.

Тут Тимур увидел, что старуха молочница с коромыслом и ведрами выходит из калитки за водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краев бочки прямо ей под ноги.

Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли замок у двери. И, наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседке.

Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить. Уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода все еще исправлены не были.

Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходящее в сад окно.

У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала.

Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты.

Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ею же самой оборванные провода.

Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала:

— Не знаю за что, но моя сестра тебя очень ненавидит.

— Ну вот,— огорченно ответил Тимур,— и мой дядя тебя тоже.

Он хотел уйти, но она его остановила:

— Постой, причешись. Ты сегодня очень лохматый.

Она вынула гребенку, протянула ее Тимуру, и тотчас же позади, из окна раздался негодующий окрик Ольги:

— Женя! Что ты делаешь?..

Сестры стояли на террасе.

— Я тебе знакомых не выбираю,— с отчаянием защищалась Женя.— Каких? Очень простых. В белых костюмах. «Ах, как ваша сестра прекрасно играет!» Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот смотри! Я уже обо всем пишу папе.

— Евгения! Этот мальчишка — хулиган, а ты глупа,— холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной, Ольга.— Хочешь, пиши папе, пожалуйста, но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твердое?

— Да... мучительница! — со слезами ответила Женя.— Это-то я знаю.

— А теперь возьми и читай.— Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла.

В телеграмме было написано:

«На днях проездом несколько часов буду Москве число часы телеграфирую дополнительно тчк Папа».

Женя вытерла слезы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала:

— Папа, приезжай скорей! Папа! Мне, твоей Женьке, очень трудно.

Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два воза дров.

Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался теперь только трехлетний братишка Нюрки — человек,

как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевернутому кверху дном корыту.

Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя другими вихрем ворвался во двор.

Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из крыла галки, и вся четверка рванулась укладывать дрова в поленницу.

Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора, возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щелку.

Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор.

Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора.

Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони.

Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора.

Сима Симаков опять заглянул в щель, но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный, он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться.

Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стегнула Симу Симакова по рукам крапивой.

Размахивая обожженными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою работу четверка.

Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты.

За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила:

— Это кто же тут без меня работает?

Малыш, укладывая бересту в поленницу, важно ответил:

— А ты, бабушка, не видишь — это я работаю.

Во двор вошла молочница, и обе старухи оживленно начали обсуждать эти странные происшествия с водой и с дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша, однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и еще пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и с четырьмя ногами. А потом дрова покидали и опять ускочили.

В калитку вошла Нюрка.

— Нюрка,— спросила ее бабка,— ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал?

— Я козу искала,— уныло ответила Нюрка.— Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала.

— Украли! — горестно пожаловалась бабка молочнице.— А какая была коза! Ну, голубь, а не коза. Голубь!

— Голубь! — отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка.— Как почнет шнырять рогами, так не знаешь, куда и деваться. У голубей рогов не бывает.

— Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бестолковая! — закричала бабка.— Оно, конечно, коза была с характером. И я ее, козушку, продать хотела. А теперь вот моей голубушки и нету.

Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога, во двор вбежала коза и устремилась прямо на молочницу. Подхватив тяжелый бидон, молочница с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась.

И тут все увидели, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено:

Я коза-коза,
Всех людей гроза.
Кто Нюрку будет бить,
Тому худо будет жить.

А на углу за забором хохотали довольные ребятишки.

Воткнув в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел:

Мы не шайка и не банда,
Не ватага удальцов,
Мы веселая команда
Пионеров-молодцов,
У-ух ты!

И, как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умчались прочь.

...Работы на сегодня было еще немало, но, главное, сейчас надо было составить и отослать Мишке Квакину ультиматум.

Как составляются ультиматумы, этого еще никто не знал, и Тимур спросил об этом у дяди.

Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер, но в конце для вежливости полагается приписать:

«Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к Вам почтении».

Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы.

Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели; во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посовещавшись, они решили отправить ультиматум попроще, на манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами.

...За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем — от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко и в темном лесу он не одинок.

Держа куклу кверху ногами, так, что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная.

Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки. А вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени.

Девочка посмотрела на Женю и спросила:

— Это ты со мной играешь?

— Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну?

— Здесь крапива,— подумав, предупредила девочка.— И здесь я вчера обожгла себе руку.

— Ничего,— спрыгивая с забора, сказала Женя,— я не боюсь. Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива? Вот эта? Ну, смотри: я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть: ты держи зайца, а я возьму куклу.

Ольга видела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дому, подошла к воротам и открыла калитку.

Женя и девчурка стояли уже у окна, возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке.

По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна.

— Вы на нее не сердитесь,— негромко сказала Ольге женщина.— Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе...— Женщина помолчала.— Я плачу, а она...— Женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила: — А она и не знает, что ее отца недавно убили на границе.

Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно.

— А я одна,— продолжала женщина.— Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко, братья в армии, сестер нет.

Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила:

— Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?

— Нет,— быстро ответила Женя.— Это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших.

— Кто? — И Ольга непонимающе взглянула на Женю.

— Я не знаю,— испугавшись, заговорила Женя,— это не я. Я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди.

За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира.

— Это ко мне,— сказала женщина.— Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий...

Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам, и, очевидно расслышав ее последние слова, старший — капитан — сказал:

— Ни в Крым, ни на Кавказ, ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете.

— Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина.— Вами?

— Нет,— ответил летчик-капитан,— нашими и вашими товарищами.

Подбежала маленькая девчушка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.

— Мама,— попросила она,— сделай мне качели, и я буду летать туда-сюда, туда-сюда. Далеко-далеко, как папа.

— Ой, не надо! — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать.— Нет, не улетай так далеко... как твой папа.

...На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правей картины Страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты.

Денег у игроков не было, и они резались «на тычка», «на щелчка» и на «оживи покойника». Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратий своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам.

Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы.

Это снаружи у стены стояли посланцы от команды Тимура.

Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейка держал склеенный из оберточной бумаги пакет.

— Это что же тут за цирк или комедия? — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой.— Мишка! — оборачиваясь, заорал он.— Брось карты, тут к тебе какая-то церемония пришла!

— Я тут,— залезая на ограду, отозвался Квакин.— Эгей, Гейка, здоро́во! А это еще что с тобой за хлюпик?

— Возьми пакет,— протягивая ультиматум, сказал Гейка.— Сроку на размышление вам двадцать четыре часа дадено. За ответом приду завтра, в такое же время.

Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек оба парламентера с достоинством удалились.

— Это что же такое? — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин.— Жили-жили, ни о чем не тужили... Вдруг... труба, гроза! Я, братцы, право, ничего не понимаю!..

Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать.

— «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину...» Это мне,— громко объяснил Квакин.— С полным титулом, по всей форме. «...и его.— продолжал он читать,— гнуснопрославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой...» Это тебе,— с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре.— Эк они завернули: «гнуснопрославленный»! Это уж что-то очень по-благородному, могли бы дурака назвать и попроще. «...а также ко всем членам этой позорной компании

ультиматум». Это что такое, я не знаю,— насмешливо объявил Квакин.— Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле.

— Это такое международное слово. Бить будут,— объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка.

— А, так бы и писали! — сказал Квакин.— Читаю дальше. Пункт первый:

«Ввиду того что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак — красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем...»

— Ты посмотри, как, собаки, ругаются! — смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин.— А какой дальше слог, какие запятые! Да!

«...приказываем: не позже чем завтра утром Михаилу Квакину и гнусноподобной личности Фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки.

А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».

— То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин.— Мы их, кажется, пока никуда не запирали.

— Это такое международное слово. Бить будут,— опять объяснил бритоголовый Алешка.

— А, тогда так бы и говорили! — с досадой сказал Квакин.— Жаль, что ушел Гейка; видно, он давно не плакал.

— Он не заплачет,— сказал бритоголовый,— у него брат — матрос.

— Ну?

— У него и отец был матросом. Он не заплачет.

— А тебе-то что?

— А то, что у меня дядя матрос тоже.

— Вот дурак — заладил! — рассердился Квакин.— То отец, то брат, то дядя. А что к чему — неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, Фигура?

— Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить,— коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом Фигура.

На том и порешили.

Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у Фигуры:

— Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?

— Ну, я.

— Так вот...— с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену.— Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду...

— Хорошо,— согласился Фигура.— А что ты мне пальцем на чертей тычешь?

— А то,— скривив губы, ответил ему Квакин,— что ты мне хоть и друг, Фигура, но никак на человека не похож ты, а скорей вот на этого толстого и поганого черта.

Утром молочница не застала дома троих постоянных покупателей. На базар было идти уже поздно, и, взвалив бидон на плечи, она отправилась по квартирам. Она ходила долго без толку и наконец остановилась возле дачи, где жил Тимур. За забором она услышала густой приятный голос: кто-то негромко пел. Значит, хозяева были дома и здесь можно было ожидать удачи.

Пройдя через калитку, старуха нараспев закричала:

— Молока не надо ли, молока?

— Две кружки! — раздался в ответ басистый голос.

Скинув с плеча бидон, молочница обернулась и увидела выходящего из кустов косматого, одетого в лохмотья хромоногого старика, который держал в руке кривую обнаженную саблю.

— Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли? — оробев и попятившись, предложила молочница.— Экий ты, отец мой, с виду серьезный! Ты что ж это, саблей траву косишь?

— Две кружки. Посуда на столе,— коротко ответил старик и воткнул саблю клинком в землю.

— Ты бы, батюшка, купил косу,— торопливо наливая молоко в кувшин и опасливо поглядывая на старика, говорила молочница.— А саблю лучше брось. Этакой саблей простого человека и до смерти напугать можно.

— Платить сколько? — засовывая руку в карман широченных штанов, спросил старик.

— Как у людей,— ответила ему молочница.— По рублю сорок — всего два восемьдесят. Лишнего мне не надо.

Старик пошарил и достал из кармана большой ободранный револьвер.

— Я, батюшка, потом...— подхватывая бидон и поспешно удаляясь, заговорила молочница.— Ты, дорогой мой, не трудись! — прибавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она.— Мне, золотой, деньги не к спеху.

Она выскочила за калитку, захлопнула ее и сердито с улицы закричала:

— В больнице тебя, старого черта, держать надо, а не пускать по воле. Да, да! На замке, в больнице.

Старик пожал плечами, сунул обратно в карман вынутую оттуда трешницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад вошел пожилой джентльмен, доктор Ф. Г. Колокольчиков.

С лицом сосредоточенным и серьезным, опираясь на палку, прямою, несколько деревянною походкой он шагал по песчаной аллее.

Увидав чудно́го старика, джентльмен кашлянул, поправил очки и спросил:

— Не скажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой дачи?

— На этой даче живу я,— ответил старик.

— В таком случае,— прикладывая руку к соломенной шляпе, продолжал джентльмен,— вы мне скажете: не приходится ли вам некий мальчик, Тимур Гараев, родственником?

— Да, приходится,— ответил старик.— Этот некий мальчик — мой племянник.

— Мне очень прискорбно,— откашливаясь и недоуменно косясь на торчавшую на земле саблю, начал джентльмен,— но ваш племянник сделал вчера утром попытку ограбить наш дом.

— Что?! — изумился старик.— Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?

— Да, представьте! — заглядывая старику за спину и начиная волноваться, продолжал джентльмен.— Он сделал попытку во время моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло.

— Кто? Тимур вас ограбил? Похитил байковое одеяло? — растерялся старик. И спрятанная у него за спиной рука с револьвером невольно опустилась.

Волнение овладело почтенным джентльменом, и, с достоинством пятясь к выходу, он заговорил:

— Я, конечно, не утверждал бы, но факты... факты! Милостивый государь! Я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, не знаю, чему приписать... Но ваш вид, ваше странное поведение...

— Послушайте,— шагая к джентльмену, произнес старик,— но все это, очевидно, недоразумение.

— Милостивый государь! — не спуская глаз с револьвера и не переставая пятиться, вскричал джентльмен.— Наш разговор принимает нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направление.

Он выскочил за калитку и быстро пошел прочь, повторяя:

— Нет, нет, нежелательное и недостойное направление...

Старик подошел к калитке как раз в ту минуту, когда шед-

шая купаться Ольга поравнялась с взволнованным джентльменом.

Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она остановилась. Но джентльмен проворно, как козел, перепрыгнул через канаву, схватил Ольгу за руку, и оба они мгновенно скрылись за углом.

Тогда старик расхохотался. Возбужденный и обрадованный, бойко притопывая своей деревяшкой, он пропел:

А вы и не поймете,
На быстром самолете,
Как вас ожидала я до утренней зари.
Да!

Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную ногу и, на ходу сдирая парик и бороду, помчался к дому.

Через десять минут молодой и веселый инженер Георгий Гараев сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, чтобы она караулила дом, нажал стартер и, вскочив в седло, помчался к реке разыскивать напуганную им Ольгу.

В одиннадцать часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум.

— Ты иди ровно,— ворчал Гейка на Колю.— Ты шагай легко, твердо. А ты ходишь, как цыпленок за червяком скачет. И все у тебя, брат, хорошо — и штаны, и рубаха, и вся форма, а виду у тебя все равно нет. Ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Ну, вот скажи: зачем ты идешь и языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, и пусть он там и лежит на своем месте... А ты зачем появился? — спросил Гейка, увидав выскочившего наперерез Симу Симакова.

— Меня Тимур послал для связи,— затараторил Симаков.— Так надо, и ты ничего не понимаешь. Вам свое, а у меня свое дело. Коля, дай-ка я дудану в трубу. Экий ты сегодня важный! Гейка, дурак! Идешь по делу — надел бы сапоги, ботинки. Разве послы босиком ходят? Ну ладно, вы туда, а я сюда. Гоп-гоп, до свиданья!

— Этакий балабон! — покачал головой Гейка.— Скажет сто слов, а можно бы четыре. Труби, Николай, вот и ограда.

— Подавай наверх Михаила Квакина! — приказал Гейка высунувшемуся сверху мальчишке.

— А заходите справа! — закричал из-за ограды Квакин.— Там для вас нарочно ворота открыты.

— Не ходи,— дергая за руку Гейку, прошептал Коля.— Они нас поймают и поколотят.

— Это все на двоих-то? — надменно спросил Гейка.— Труби, Николай, громче. Нашей команде везде дорога.

Они прошли через ржавую железную калитку и очутились перед группой ребят, впереди которых стояли Фигура и Квакин.

— Ответ на письмо давайте,— твердо сказал Гейка.

Квакин улыбался, Фигура хмурился.

— Давай поговорим,— предложил Квакин.— Ну, сядь, посиди, куда торопишься?

— Ответ на письмо давайте,— холодно повторил Гейка.— А разговаривать с вами будем мы после.

И было странно, непонятно: играет ли он, шутит ли, этот прямой, коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле которого стоит маленький, уже побледневший трубач? Или, прищурив строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя за собой и право и силу?

— На́, возьми,— протягивая бумагу, сказал Квакин.

Гейка развернул лист. Там был грубо нарисован кукиш, под которым стояло ругательство.

Спокойно, не изменившись в лице, Гейка разорвал бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки.

Они не сопротивлялись.

— За такие ультиматумы надо бы вам набить шею,— подходя к Гейке, сказал Квакин.— Но... мы люди добрые. До ночи мы запрем вас вот сюда,— он показал на часовню,— а ночью мы обчистим сад под номером двадцать четыре наголо.

— Этого не будет,— ровно ответил Гейка.

— Нет, будет! — крикнул Фигура и ударил Гейку по щеке.

— Бей хоть сто раз,— зажмурившись и вновь открывая глаза, сказал Гейка.— Коля,— подбадривающе буркнул он,— ты не робей. Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер один общий.

Пленников втолкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили его деревянным клином.

— Ну что? — подходя к двери и прикладывая ко рту ладонь, закричал Фигура.— Как оно теперь: по-нашему или по-вашему выйдет?

И из-за двери глухо, едва слышно донеслось:

— Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет.

Фигура плюнул.

— У него брат — матрос,— хмуро объяснил бритоголовый Алешка.— Они с моим дядей на одном корабле служат.

— Ну,— угрожающе спросил Фигура,— а ты кто — капитан, что ли?

— У него руки схвачены, а ты его бьешь. Это хорошо ли?

— На́ и тебе тоже! — обозлился Фигура и ударил Алешку наотмашь.

Тут оба мальчишки покатились на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали.

И никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова.

Винтом соскользнул он на землю. И напрямик, через чужие огороды, помчался к Тимуру, к своим на речку.

Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке пляжа и читала.

Женя купалась. Неожиданно кто-то обнял ее за плечи.

Она обернулась.

— Здравствуй,— сказала ей высокая темноглазая девочка.— Я приплыла от Тимура. Меня зовут Таней, и я тоже из его команды. Он жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, очень злая?

— Пусть он не жалеет,— покраснев, пробормотала Женя.— Ольга совсем не злая, у нее такой характер.—И, всплеснув руками, Женя с отчаянием добавила:— Ну, сестра, сестра и сестра! Вот погодите, приедет папа...

Они вышли из воды и забрались на крутой берег, левей песчаного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку.

— Девочка, ты меня узнала? — как всегда быстро и сквозь зубы, спросила она у Жени.— Да! Я тебя узнала сразу. А вон Тимур! — сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противоположный берег.— Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю,— обернулась она к Тане.— Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку?.. Гей! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу.— Девочки, давайте в воду прыгнем!

Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная, эта маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка.

Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода.

— Ну, прыгнули?

— Прыгнули!

И они разом бросились в воду.

Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый.

Это, как он был — в сандалиях, трусах и майке,— Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь, длинными саженками он поплыл на другой берег.

— Беда, Женя! Беда! — прокричал он обернувшись.— Гейка и Коля попали в засаду!

Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались.

— Я ехал,— объяснил ей Георгий,— смотрю, вы идете. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге.

— Неправда! — не поверила Ольга.— Вы стояли и ожидали меня нарочно.

— Ну, верно,— согласился Георгий.— Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине.

Ольга отрицательно качнула головой.

Он положил ей букет на книгу. Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и... бросила его на дорогу.

Этого Георгий не ожидал.

— Послушайте! — огорченно сказал он.— Вы хорошо играете, поете, глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди... даже самой железобетонной специальности.

— Цветов не надо! — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга.— Я... и так, без цветов, с вами поеду.

Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги.

Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле.

— Вы не туда повернули,— крикнула Ольга,— нам надо направо!

— Здесь дорога лучше,— отвечал Георгий,— здесь дорога веселая.

Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их, собака. Но нет! Куда там! Далеко.

Как тяжелый снаряд, прогудела встречная грузовая машина. И когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города.

— Это наш завод! — прокричал Ольге Георгий.— Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику.

Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась.

— Прямо! — предостерегающе кричала Ольга.— Давайте только прямо домой.

Вдруг мотор заглох, и они остановились.

— Подождите,— соскакивая, сказал Георгий,— маленькая авария.

Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать.

— Вы кого в вашей опере играете? — присаживаясь на траву, спросила Ольга.— Почему у вас грим такой суровый и страшный?

— Я играю старика инвалида,— не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий.— Он бывший партизан, и он немного... не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые — смеются, после караула в волейбол играют. Девчонки там у них разные... Катюши!

Георгий нахмурился и тихо запел:

За тучами опять померкнула луна.
Я третью ночь не сплю в глухом дозоре.
Ползут в тиши враги. Не спи, моя страна!
Я стар. Я слаб. О, горе мне... о, горе!

Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел:

Старик, спокойно... спокойно!

— Что значит «спокойно»? — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга.

— А это значит,— продолжая стучать ключом по втулке, объяснял Георгий,— это значит, что: спи спокойно, старый дурак! Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте... Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?

— Говорила, я ее выругала.

— Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «а», она мне «бэ»!

— С этой забавной девочкой хлебнешь горя,— снова повторила Ольга.— К ней привязался какой-то мальчишка, зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отвадить.

— Тимур!.. Гм...— Георгий смущенно кашлянул.— Разве он из компании? Он, кажется, не того... не очень... Ну ладно! Вы

не беспокойтесь... Я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь — инженер! Я и сам инженер, а что толку?

— Разве вы плохой инженер?

— Зачем плохой? — подвигаясь к Ольге и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий.— Совсем не плохой, но вы очень хорошо играете и поете.

— Послушайте, Георгий,— смущенно отодвигаясь, сказала Ольга.— Я не знаю, какой вы инженер, но... чините вы машину как-то очень странно.

И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу.

— Ничего не странно. Все делается так, как надо.— Он вскочил и стукнул ключом по раме.— Ну, вот и готово! Оля, ваш отец командир?

— Да.

— Это хорошо. Я и сам командир тоже.

— Кто вас разберет! — пожала плечами Ольга.— То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?

— Нет,— усмехнулся Георгий.— Летчики глушат бомбами по головам сверху, а мы с земли через железо и бетон бьем прямо в сердце.

И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец вот и дача.

На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидев Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала:

— Ох, какая ты сегодня счастливая!

Условившись встретиться неподалеку от сада дома № 24, мальчишки из-за ограды разбежались.

Задержался только один Фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали и на вопросы и окрики Фигуры не отзывались.

Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было.

И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном.

— Эй, кто там? — бросаясь к двери, рассердился Фигура.— Эй, не балуй, а то дам по шее!

Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса.

Заскрипели петли ставен. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех. И от этого смеха Фигуре стало плохо.

Наконец наружная дверь распахнулась. Перед Фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин.

— Открой второй засов! — не двигаясь, приказал Тимур.— Открой сам, или будет хуже!

Нехотя Фигура отодвинул засов. Из часовни вышли Коля и Гейка.

— Лезь на их место! — приказал Тимур.— Лезь, гадина, быстро! — сжимая кулаки, крикнул он.— Мне с тобой разговаривать некогда!

Захлопнули за Фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок.

Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал:

«Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером».

Затем все скрылись. Через пять минут за ограду зашел Квакин.

Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертый Фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери.

От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал:

— Стучи, Гейка, стучи! Нет, брат, ты еще до вечера настучишься.

Дальше события развертывались так.

Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки — квас, воды, овощи, табак, бакалея, мороженое,— у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники.

В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго.

В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы.

Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много — двадцать — тридцать. А через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали всё новые и новые люди.

Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома. Она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу.

На чердаке у колеса стоял Тимур.

— Повтори сигнал по шестому проводу,— озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков.— Там что-то не отвечают.

Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина.

Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома № 24.

— Пора,— сказал Тимур.— Всем приготовиться!

Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем под неровным светом бегущей меж облаков луны медленно поднялся и заколыхался флаг команды — сигнал к бою.

Вдоль забора дома № 24 подвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал:

— Все на месте, а Фигуры нет.

— Он хитрый,— ответил кто-то.— Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет.

Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка.

Из поросшей крапивой и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло пять голов. Четыре из них сразу же спрятались. Пятая — Коли Колокольчикова — задержалась, но чья-то ладонь хлопнула ее по макушке, и голова исчезла.

Часовой Алешка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие — послушать, что делается внутри сада.

От канавы отделилось трое. И в следующее мгновенье часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки. И, не успев крикнуть, он отлетел от забора.

— Гейка,— пробормотал он, поднимая лицо,— ты откуда?

— Оттуда,— прошипел Гейка.— Смотри молчи! А то я не посмотрю, что ты за меня заступался.

— Хорошо,— согласился Алешка,— я молчу.— И неожиданно он пронзительно свистнул.

Но тотчас же рот его был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь.

Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторился. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему показалось, что кусты в углу сада шевельнулись.

— Фигура! — негромко окликнул Квакин.— Это ты там, дурак, прячешься?

— Мишка! Огонь! — крикнул вдруг кто-то.— Это идут хозяева!

Но это были не хозяева.

Позади, в гуще листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей. И, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков.

— Бей, не отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин.— Рви фонари с руками! Это идет он... Тимка!

— Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, вырываясь из-за куста, Симаков.

И еще десяток мальчишек рванулись с тылу и с фланга.

— Эге! — заорал Квакин.— Да у них сила! За забор вылетай, ребята!

Попавшаяся в засаду шайка в панике метнулась к забору.

Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки. Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса:

— Пусти!

— Оставь!

— Не лезь! Не тронь!

— Всем тише! — раздался в темноте голос Тимура.— Пленных не бить! Где Гейка?

— Здесь Гейка!

— Веди всех на место.

— А если кто не пойдет?

— Хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону богородицы.

— Пустите, черти! — раздался чей-то плачущий голос.

— Кто кричит? — гневно спросил Тимур.— Хулиганить мастера, а отвечать боитесь! Гейка, давай команду, двигай!

Пленников подвели к пустой будке на краю базарной площади. Тут их одного за другим протолкнули за дверь.

— Михаила Квакина ко мне,— попросил Тимур.

Подвели Квакина.

— Готово? — спросил Тимур.

— Все готово.

Последнего пленника втолкнули в будку, задвинули засов и просунули в пробой тяжелый замок.

— Ступай,— сказал тогда Тимур Квакину.— Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен.

Ожидая, что его будут бить, ничего не понимая, Квакин стоял, опустив голову.

— Ступай,— повторил Тимур.— Возьми вот этот ключ и отопри часовню, где сидит твой друг Фигура.

Квакин не уходил.

— Отопри ребят,— хмуро попросил он.— Или посади меня вместе с ними.

— Нет,— отказался Тимур,— теперь все кончено. Ни им с тобою, ни тебе с ними больше делать нечего.

Под свист, шум и улюлюканье, спрятав голову в плечи, Ква-

кин медленно пошел прочь. Отойдя десяток шагов, он остановился и выпрямился.

— Бить буду! — злобно закричал он, оборачиваясь к Тимуру.— Бить буду тебя одного. Один на один, до смерти! — И, отпрыгнув, он скрылся в темноте.

— Ладыгин и твоя пятерка, вы свободны,— сказал Тимур.— У тебя что?

— Дом номер двадцать два, перекатать бревна по Большой Васильевской.

— Хорошо. Работайте!

Рядом на станции заревел гудок. Прибыл дачный поезд. С него сходили пассажиры, и Тимур заторопился.

— Симаков и твоя пятерка, у тебя что?

— Дом номер тридцать восемь по Малой Петраковской.— Он рассмеялся и добавил: — Наше дело, как всегда: ведра, кадка да вода... Гоп! Гоп! До свиданья!

— Хорошо, работайте! Ну, а теперь... сюда идут люди. Остальные все по домам... Разом!

Гром и стук раздался по площади. Шарахнулись и остановились идущие с поезда прохожие. Стук и вой повторился. Загорелись огни в окнах соседних дач. Кто-то включил свет над ларьком, и столпившиеся люди увидели над палаткой такой плакат:

ПРОХОЖИЕ, НЕ ЖАЛЕЙ!

Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей. Ключ от замка висит позади этого плаката, и тот, кто отопрет этих арестантов, пусть сначала посмотрит, нет ли среди них его близких или знакомых.

Поздняя ночь. И черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут.

Сад того дома, где живет маленькая девочка. С ветвистого дерева спустились веревки. Вслед за ними по шершавому стволу соскользнул мальчик. Он кладет доску, садится и пробует, прочны ли они, эти новые качели. Толстый сук чуть поскрипывает, листва шуршит и вздрагивает. Вспорхнула и пискнула потревоженная птица. Уже поздно. Спит давно Ольга, спит Женя. Спят и его товарищи: веселый Симаков, молчаливый Ладыгин, смешной Коля. Ворочается, конечно, и бормочет во сне храбрый Гейка.

Часы на каланче отбивают четверти: «Был день — было дело! Дин-дон... раз, два!..»

Да, уже поздно.

Мальчуган встает, шарит по траве руками и поднимает тяжелый букет полевых цветов. Эти цветы рвала Женя.

Осторожно, чтобы не разбудить и не испугать спящих, он всходит на озаренное луною крыльцо и бережно кладет букет на верхнюю ступеньку. Это — Тимур.

Было утро выходного дня. В честь годовщины победы красных под Хасаном комсомольцы поселка устроили в парке большой карнавал — концерт и гулянье.

Девчонки убежали в рощу еще спозаранку. Ольга торопливо доканчивала гладить блузку. Перебирая платья, она тряхнула Женин сарафан, и из его кармана выпала бумажка.

Ольга подняла и прочла:

«Девочка, никого дома не бойся. Все в порядке, и никто от меня ничего не узнает. Тимур».

«Чего не узнает? Почему не бойся? Что за тайна у этой скрытной и лукавой девчонки? Нет! Этому надо положить конец. Папа уезжал, и он велел... Надо действовать решительно и быстро».

В окно постучал Георгий.

— Оля,— сказал он,— выручайте! Ко мне пришла делегация. Просят что-нибудь спеть с эстрады. Сегодня такой день — отказать было нельзя. Давайте аккомпанируйте мне на аккордеоне.

— Да... Но это вам может сделать пианистка! — удивилась Ольга.— Зачем же на аккордеоне?

— Оля, я с пианисткой не хочу. Хочу с вами! У нас получится хорошо. Можно, я к вам через окно прыгну? Оставьте утюг и выньте инструмент. Ну вот, я его вам сам вынул. Вам только остается нажимать на лады пальцами, а я петь буду.

— Послушайте, Георгий,— обиженно сказала Ольга,— в конце концов, вы могли не лезть в окно, когда есть двери...

В парке было шумно. Вереницей подъезжали машины с отдыхающими. Тащились грузовики с бутербродами, с булками, бутылками, колбасой, конфетами, пряниками.

Стройно подходили голубые отряды ручных и колесных мороженщиков. На полянах разноголосо вопили патефоны, вокруг которых раскинулись приезжие и местные дачники с питьем и снедью.

Играла музыка. У ворот ограды эстрадного театра стоял дежурный старичок и бранил монтера, который хотел пройти через калитку вместе со своими ключами, ремнями и железными «кошками».

— С инструментами, дорогой, сюда не пропускаем. Сегодня праздник. Ты сначала сходи домой, умойся и оденься.

— Так ведь, папаша, здесь же без билета, бесплатно!

— Все равно нельзя. Здесь пение. Ты бы еще с собой телеграфный столб приволок. И ты, гражданин, обойди тоже,— остановил он другого человека.— Здесь люди поют... музыка. А у тебя бутылка торчит из кармана.

— Но, дорогой папаша,— заикаясь, пытался возразить человек,— мне нужно... я сам тенор.

— Проходи, проходи, тенор,— показывая на монтера, отвечал старик.— Вон бас не возражает. И ты, тенор, не возражай тоже.

Женя, которой мальчишки сказали, что Ольга с аккордеоном прошла на сцену, нетерпеливо ерзала по скамье.

Наконец вышли Георгий и Ольга. Жене стало страшно: ей показалось, что над Ольгой сейчас начнут смеяться.

Но никто не смеялся.

Георгий и Ольга стояли на подмостках, такие простые, молодые и веселые, что Жене захотелось обнять их обоих.

Но вот Ольга накинула ремень на плечо.

Глубокая морщина перерезала лоб Георгия, он ссутулился, наклонил голову. Теперь это был старик, и низким звучным голосом он запел:

Я третью ночь не сплю. Мне чудится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине.
Винтовка руку жжет. Тревога сердце гложет,
Как двадцать лет назад ночами на войне.
Но если и сейчас я встречусь с тобою,
Наемных армий вражеский солдат,
То я, седой старик, готовый встану к бою,
Спокоен и суров, как двадцать лет назад.

— Ах, как хорошо! И как этого хромого смелого старика жалко! Молодец, молодец...— бормотала Женя.— Так, так. Играй, Оля! Жаль только, что не слышит тебя наш папа.

После концерта, дружно взявшись за руки, Георгий и Ольга шли по аллее.

— Все так,— говорила Ольга.— Но я не знаю, куда пропала Женя.

— Она стояла на скамье,— ответил Георгий,— и кричала:

«Браво, браво!» Потом к ней подошел...— тут Георгий запнулся,— какой-то мальчик, и они исчезли.

— Какой мальчик? — встревожилась Ольга.— Георгий, вы старше, скажите, что мне с ней делать? Смотрите! Утром я у нее нашла вот эту бумажку!

Георгий прочел записку. Теперь он и сам задумался и нахмурился.

— Не бойся — это значит не слушайся. Ох, и попадись мне этот мальчишка под руку, то-то бы я с ним поговорила!

Ольга спрятала записку. Некоторое время они молчали. Но музыка играла очень весело, кругом смеялись, и, опять взявшись за руки, они пошли по аллее.

Вдруг на перекрестке в упор они столкнулись с другой парой, которая, так же дружно держась за руки, шла им навстречу. Это были Тимур и Женя.

Растерявшись, обе пары вежливо на ходу раскланялись.

— Вот он! — дергая Георгия за руку, с отчаянием сказала Ольга.— Это и есть тот самый мальчишка.

— Да,— смутился Георгий,— а главное, что это и есть Тимур — мой отчаянный племянник.

— И ты... вы знали! — рассердилась Ольга.— И вы мне ничего не говорили!

Откинув его руку, она побежала по аллее. Но ни Тимура, ни Жени уже видно не было. Она свернула на узкую кривую тропку, и только тут она наткнулась на Тимура, который стоял перед Фигурой и Квакиным.

— Послушай,— подходя к нему вплотную, сказала Ольга.— Мало вам того, что вы облазили и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девчурки; мало тебе того, что от вас бегут даже собаки,— ты портишь и настраиваешь против меня сестренку. У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто... негодяй.

Тимур был бледен.

— Это неправда,— сказал он.— Вы ничего не знаете.

Ольга махнула рукой и побежала разыскивать Женю.

Тимур стоял и молчал.

Молчали озадаченные Фигура и Квакин.

— Ну что, комиссар? — спросил Квакин.— Вот и тебе, я вижу, бывает невесело?

— Да, атаман,— медленно поднимая глаза, ответил Тимур.— Мне сейчас тяжело, мне невесело. И лучше бы вы меня поймали, исколотили, избили, чем мне из-за вас слушать... вот это.

— Чего же ты молчал? — усмехнулся Квакин.— Ты бы сказал: это, мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом.

— Да! Ты бы сказал, а мы бы тебе за это наподдали,— вставил обрадованный Фигура.

Но совсем не ожидавший такой поддержки Квакин молча и холодно посмотрел на своего товарища. А Тимур, трогая рукой стволы деревьев, медленно пошел прочь.

— Гордый,— тихо сказал Квакин.— Хочет плакать, а молчит.

— Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет,— сказал Фигура и запустил вдогонку Тимуру еловой шишкой.

— Он... гордый,— хрипло повторил Квакин,— а ты... ты — сволочь! — И, развернувшись, он ляпнул Фигуре кулаком по лбу.

Фигура опешил, потом взвыл и кинулся бежать. Дважды нагоняя его, давал ему Квакин тычка в спину.

Наконец Квакин остановился, поднял оброненную фуражку; отряхивая, ударил ее о колено, подошел к мороженщику, взял порцию, прислонился к дереву и, тяжело дыша, жадно стал глотать мороженое большими кусками.

На поляне возле стрелкового тира Тимур нашел Гейку и Симу.

— Тимур! — предупредил его Сима.— Тебя ищет (он, кажется, очень сердит) твой дядя.

— Да, иду, я знаю.

— Ты сюда вернешься?

— Не знаю.

— Тима! — неожиданно мягко сказал Гейка и взял товарища за руку.— Что это? Ведь мы же ничего плохого никому не сделали. А ты знаешь, если человек прав...

— Да, знаю... то он не боится ничего на свете. Но ему все равно больно.

Тимур ушел.

К Ольге, которая несла домой аккордеон, подошла Женя.

— Оля!

— Уйди! — не глядя на сестру, ответила Ольга.— Я с тобой больше не разговариваю. Я сейчас уезжаю в Москву, и ты без меня можешь гулять с кем хочешь, хоть до рассвета.

— Но, Оля...

— Я с тобой не разговариваю. Послезавтра мы переедем в Москву. А там подождем папу.

— Да! Папа, а не ты — он все узнает! — в гневе и слезах крикнула Женя и помчалась разыскивать Тимура.

Она разыскала Гейку, Симакова и спросила, где Тимур.

— Его позвали домой,— сказал Гейка.— На него за что-то из-за тебя очень сердит дядя.

В бешенстве топнула Женя ногой и, сжимая кулаки, вскричала:

— Вот так... ни за что... и пропадают люди!

Она обняла ствол березы, но тут к ней подскочили Таня и Нюрка.

— Женька! — закричала Таня.— Что с тобой? Женя, бежим! Там пришел баянист, там начались танцы — пляшут девчонки.

Они схватили ее, затормошили и подтащили к кругу, внутри которого мелькали яркие, как цветы, платья, блузки и сарафаны.

— Женя, плакать не надо! — так же, как всегда, быстро и сквозь зубы сказала Нюрка.— Меня когда бабка колотит, и то я не плачу! Девочки, давайте лучше в круг!.. Прыгнули!

— «Пр-рыгнули»! — передразнила Нюрку Женя.

И, прорвавшись через цепь, они закружились, завертелись в отчаянно веселом танце.

Когда Тимур вернулся домой, его подозвал дядя.

— Мне надоели твои ночные похождения,— говорил Георгий.— Надоели сигналы, звонки, веревки. Что это была за странная история с одеялом?

— Это была ошибка.

— Хороша ошибка! К этой девочке ты больше не лезь: тебя ее сестра не любит.

— За что?

— Не знаю. Значит, заслужил. Что это у тебя за записки? Что это за странные встречи в саду на рассвете? Ольга говорит, что ты учишь девочку хулиганству.

— Она лжет,— возмутился Тимур,— а еще комсомолка! Если ей что непонятно, она могла бы позвать меня, спросить. И я бы ей на все ответил.

— Хорошо. Но пока ты ей еще ничего не ответил, я запрещаю тебе подходить к их даче, и вообще, если ты будешь самовольничать, то я тебя сейчас же отправлю домой к матери.

Он хотел уходить.

— Дядя,— остановил его Тимур,— а когда вы были мальчишкой, что вы делали? Как играли?

— Мы?.. Мы бегали, скакали, лазили по крышам; бывало, что и дрались. Но наши игры были просты и всем понятны.

...Чтобы проучить Женю, к вечеру, так и не сказав сестренке ни слова, Ольга уехала в Москву.

В Москве никакого дела у нее не было. И поэтому, не заезжая к себе, она отправилась к подруге, просидела у нее дотемна и только часам к десяти пришла на свою квартиру. Она открыла

дверь, зажгла свет и тут же вздрогнула: к двери в квартиру была пришпилена телеграмма.

Ольга сорвала телеграмму и прочла ее. Телеграмма была от папы.

К вечеру, когда уже разъезжались из парка грузовики, Женя и Таня забежали на дачу. Затевалась игра в волейбол, и Женя должна была сменить туфли на тапки.

Она завязывала шнурок, когда в комнату вошла женщина — мать белокурой девчурки. Девочка лежала у нее на руках и дремала.

Узнав, что Ольги нет дома, женщина опечалилась.

— Я хотела оставить у вас дочку,— сказала она.— Я не знала, что нет сестры... Поезд приходит сегодня ночью, и мне надо в Москву — встретить маму.

— Оставьте ее,— сказала Женя.— Что же Ольга... А я не человек, что ли? Кладите ее на мою кровать, а я на другой лягу.

— Она спит спокойно и теперь проснется только утром,— обрадовалась мать.— К ней только изредка нужно подходить и поправлять под ее головой подушку.

Девчурку раздели, уложили. Мать ушла. Женя отдернула занавеску, чтобы видна была через окно кроватка, захлопнула дверь террасы, и они с Таней убежали играть в волейбол, условившись после каждой игры прибегать по очереди и смотреть, как спит девочка.

Только что они убежали, как на крыльцо вошел почтальон. Он стучал долго, а так как ему не откликались, то он вернулся к калитке и спросил у соседа, не уехали ли хозяева в город.

— Нет,— отвечал сосед,— девчонку я сейчас тут видел. Давай я приму телеграмму.

Сосед расписался, сунул телеграмму в карман, сел на скамью и закурил трубку. Он ожидал Женю долго.

Прошло часа полтора. Опять к соседу подошел почтальон.

— Вот,— сказал он.— И что за пожар, спешка? Прими, друг, и вторую телеграмму.

Сосед расписался. Было уже совсем темно. Он прошел через калитку, поднялся по ступенькам террасы и заглянул в окно. Маленькая девочка спала. Возле ее головы на подушке лежал рыжий котенок. Значит, хозяева были где-то около дома. Сосед открыл форточку и опустил через нее обе телеграммы. Они аккуратно легли на подоконник, и вернувшаяся Женя должна была бы заметить их сразу.

Но Женя их не заметила. Придя домой, при свете луны она поправила сползшую с подушки девчурку, турнула котенка, разделась и легла спать.

Она лежала долго, раздумывая о том: вот она какая бывает, жизнь! И она не виновата, и Ольга как будто бы тоже. А вот впервые они с Ольгой всерьез поссорились.

Было очень обидно. Спать не спалось, и Жене захотелось булки с вареньем. Она спрыгнула, подошла к шкафу, включила свет и тут увидела на подоконнике телеграммы.

Ей стало страшно. Дрожащими руками она оборвала заклейку и прочла.

В первой было:

«Буду сегодня проездом от двенадцати ночи до трех утра тчк Ждите на городской квартире папа».

Во второй:

«Приезжай немедленно ночью папа будет в городе Ольга».

С ужасом глянула на часы. Было без четверти двенадцать. Накинув платье и схватив сонного ребенка, Женя, как полоумная, бросилась к крыльцу. Одумалась. Положила ребенка на кровать. Выскочила на улицу и помчалась к дому старухи молочницы. Она грохала в дверь кулаком и ногой до тех пор, пока не показалась в окне голова соседки.

— Чего стучишь? — сонным голосом спросила она.— Чего озоруешь?

— Я не озорую,— умоляюще заговорила Женя.— Мне нужно молочницу, тетю Машу. Я хотела ей оставить ребенка.

— И что городишь? — захлопывая окно, ответила соседка.— Хозяйка еще с утра уехала в деревню гостить к брату.

Со стороны вокзала донесся гудок приближающегося поезда. Женя выбежала на улицу и столкнулась с седым джентльменом, доктором.

— Простите! — пробормотала она.— Вы не знаете, какой это гудит поезд?

Джентльмен вынул часы.

— Двадцать три пятьдесят пять,— ответил он.— Это сегодня на Москву последний.

— Как последний? — глотая слезы, прошептала Женя.— А когда следующий?

— Следующий пойдет утром, в три сорок. Девочка, что с тобой? — хватая за плечо покачнувшуюся Женю, участливо спросил старик.— Ты плачешь? Может быть, я тебе чем-нибудь смогу помочь?

— Ах нет! — сдерживая рыдания и убегая, ответила Женя.— Теперь уже мне не может помочь никто на свете.

...Дома уткнулась головой в подушку, но тотчас же вскочила и гневно посмотрела на спящую девчурку. Опомнилась, одернула одеяло, столкнула с подушки рыжего котенка.

Она зажгла свет на террасе, в кухне, в комнате, села на диван и покачала головой. Так сидела она долго и, кажется, ни о чем не думала. Нечаянно она задела валявшийся тут же аккордеон. Машинально подняла его и стала перебирать клавиши. Зазвучала мелодия, торжественная и печальная. Женя грубо оборвала игру и подошла к окну. Плечи ее вздрагивали.

Нет! Оставаться одной и терпеть такую муку сил у нее больше нет. Она зажгла свечку и, спотыкаясь, через сад пошла к сараю.

Вот и чердак. Веревка, карта, мешки, флаги. Она зажгла фонарь, подошла к штурвальному колесу, нашла нужный ей провод, зацепила его за крюк и резко повернула колесо.

Тимур спал, когда Рита тронула его за плечо лапой. Толчка он не почувствовал. И, схватив зубами одеяло, Рита стащила его на пол.

Тимур вскочил.

— Ты что? — спросил он не понимая.— Что-нибудь случилось?

Собака смотрела ему в глаза, шевелила хвостом, мотала мордой. Тут Тимур услыхал звон бронзового колокольчика.

Недоумевая, кому он мог понадобиться глухой ночью, он вышел на террасу и взял трубку телефона.

— Да, я, Тимур, у аппарата. Это кто? Это ты... ты, Женя?

Сначала Тимур слушал спокойно. Но вот губы его зашевелились, по лицу пошли красноватые пятна. Он задышал часто и отрывисто.

— И только на три часа? — волнуясь, спросил он.— Женя, ты плачешь? Я слышу... Ты плачешь... Не смей! Не надо! Я приду скоро...

Он повесил трубку и схватил с полки расписание поездов.

— Да, вот он, последний, в двадцать три пятьдесят пять. Следующий пойдет только в три сорок.— Он стоит и кусает губы.— Поздно! Неужели ничего нельзя сделать? Нет! Поздно!

Но красная звезда днем и ночью горит над воротами Женина дома. Он зажег ее сам, своей рукой, и ее лучи, прямые, острые, блестят и мерцают перед его глазами.

Дочь командира в беде! Дочь командира нечаянно попала в засаду.

Он быстро оделся, выскочил на улицу, и через несколько минут он уже стоял перед крыльцом дачи седого джентльмена.

В кабинете доктора еще горел свет. Тимур постучался. Ему открыли.

— Ты к кому? — сухо и удивленно спросил его джентльмен.

— К вам,— ответил Тимур.

— Ко мне? — Джентльмен подумал, потом широким жестом распахнул дверь и сказал: — Тогда прошу пожаловать!

Они говорили недолго.

— Вот и все, что мы делаем,— поблескивая глазами, закончил свой рассказ Тимур.— Вот и все, что мы делаем, как играем, и вот зачем мне нужен сейчас ваш Коля.

Молча старик встал. Резким движением он взял Тимура за подбородок, поднял его голову, заглянул ему в глаза и вышел.

Он прошел в комнату, где спал Коля, и подергал его за плечо.

— Вставай,— сказал он,— тебя зовут.

— Но я ничего не знаю,— испуганно тараща глаза, заговорил Коля.— Я, дедушка, право, ничего не знаю.

— Вставай,— сухо повторил ему джентльмен.— За тобой пришел твой товарищ.

На чердаке на охапке соломы, охватив колени руками, сидела Женя. Она ждала Тимура. Но вместо него в отверстие окна просунулась взъерошенная голова Коли Колокольчикова.

— Это ты? — удивилась Женя.— Что тебе надо?

— Я не знаю,— тихо и испуганно отвечал Коля.— Я спал. Он пришел. Я встал. Он послал. Он велел, чтобы мы с тобой спустились вниз, к калитке.

— Зачем?

— Я не знаю. У меня у самого в голове какой-то стук, гудение. Я, Женя, и сам ничего не понимаю.

Спрашивать позволения было не у кого. Дядя ночевал в Москве. Тимур зажег фонарь, взял топор, крикнул собаку Риту и вышел в сад. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да! Он знал — так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая.

— Рита! — горько сказал он, становясь на колено и целуя собаку в морду.— Ты не сердись! Я не мог поступить иначе.

Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстро приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них, послышался треск мотора. Ослепленные, они зажмурились, попятились к за-

бору, как вдруг огонь погас, мотор заглох и перед ними очутился Тимур.

— Коля,— сказал он, не здороваясь и ничего не спрашивая,— ты останешься здесь и будешь охранять спящую девчонку. Ты отвечаешь за нее перед всей нашей командой. Женя, садись. Вперед! В Москву!

Женя вскрикнула, что было у нее силы обняла Тимура и поцеловала.

— Садись, Женя, садись! — стараясь казаться суровым, кричал Тимур.— Держись крепче! Ну, вперед! Вперед, двигаем!

Мотор затрещал, гудок рявкнул, и вскоре красный огонек скрылся из глаз растерявшегося Коли.

Он постоял, поднял палку и, держа ее наперевес, как ружье, обошел вокруг ярко освещенной дачи.

— Да,— важно шагая, бормотал он.— Эх, и тяжела ты, солдатская служба! Нет тебе покоя днем, нет и ночью!

Время подходило к трем ночи. Полковник Александров сидел у стола, на котором стоял остывший чайник и лежали обрезки колбасы, сыра и булки.

— Через полчаса я уеду,— сказал он Ольге.— Жаль, что так и не пришлось мне повидать Женьку. Оля, ты плачешь?

— Я не знаю, почему она не приехала. Мне ее так жалко, она тебя так ждала. Теперь она совсем сойдет с ума. А она и так сумасшедшая.

— Оля,— вставая, сказал отец,— я не знаю, я не верю, чтобы Женька могла попасть в плохую компанию, чтобы ее испортили, чтобы ею командовали. Нет! Не такой у нее характер.

— Ну вот! — огорчилась Ольга.— Ты ей только об этом скажи. Она и так заладила, что характер у нее такой же, как у тебя. А чего там такой! Она залезла на крышу, спустила через трубу веревку. Я хочу взять утюг, а он прыгает кверху. Папа, когда ты уезжал, у нее было четыре платья. Два — уже тряпки. Из третьего она выросла, одно я ей носить пока не даю. А три новых я ей сама сшила. Но все на ней так и горит. Вечно она в синяках, в царапинах. А она, конечно, подойдет, губы бантиком сложит, глаза голубые вытаращит. Ну конечно, все думают — цветок, а не девочка. А пойди-ка. Ого! Цветок! Тронешь и обожжешься. Папа, ты не выдумывай, что у нее такой же, как у тебя, характер. Ей только об этом скажи! Она три дня на трубе плясать будет.

— Ладно,— обнимая Ольгу, согласился отец.— Я ей скажу. Я ей напишу. Ну и ты, Оля, не жми на нее очень. Ты скажи ей, что я ее люблю и помню, что мы вернемся скоро и что ей обо мне нельзя плакать, потому что она дочь командира.

— Все равно будет,— прижимаясь к отцу, сказала Ольга.— И я дочь командира. И я буду тоже.

Отец посмотрел на часы, подошел к зеркалу, надел ремень и стал одергивать гимнастерку. Вдруг наружная дверь хлопнула. Раздвинулась портьера. И, как-то угловато сдвинув плечи, точно приготовившись к прыжку, появилась Женя.

Но вместо того чтобы вскрикнуть, подбежать, прыгнуть, она бесшумно, быстро подошла и молча спрятала лицо на груди отца. Лоб ее был забрызган грязью, помятое платье в пятнах. И Ольга в страхе спросила:

— Женя, ты откуда? Как ты сюда попала?

Не поворачивая головы, Женя отмахнулась кистью руки, и это означало: «Погоди!.. Отстань!.. Не спрашивай!..»

Отец взял Женю на руки, сел на диван, посадил ее к себе на колени. Он заглянул ей в лицо и вытер ладонью ее запачканный лоб.

— Да, хорошо! Ты молодец человек, Женя!

— Но ты вся в грязи, лицо черное! Как ты сюда попала? — опять спросила Ольга.

Женя показала ей на портьеру, и Ольга увидела Тимура.

Он снимал кожаные автомобильные краги. Висок его был измазан желтым маслом. У него было влажное, усталое лицо честно выполнившего свое дело рабочего человека. Здороваясь со всеми, он наклонил голову.

— Папа! — вскакивая с колен отца и подбегая к Тимуру, сказала Женя.— Ты никому не верь! Они ничего не знают. Это Тимур — мой очень хороший товарищ.

Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку. Быстрая и торжествующая улыбка скользнула по лицу Жени — одно мгновенье испытующе глядела она на Ольгу. И та, растерявшаяся, все еще недоумевающая, подошла к Тимуру:

— Ну... тогда здравствуй...

Вскоре часы пробили три.

— Папа,— испугалась Женя,— ты уже встаешь? Наши часы спешат.

— Нет, Женя, это точно.

— Папа, и твои часы спешат тоже.— Она подбежала к телефону, набрала «время», и из трубки донесся ровный металлический голос:

— Три часа четыре минуты!

Женя взглянула на стену и со вздохом сказала:

— Наши спешат, но только на одну минуту. Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!

— Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?

— Есть.

— В мягком?

— В мягком.

— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..

И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй на Сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд. Приоткрылось железное окно, мелькнуло и скрылось озаренное пламенем лицо машиниста. На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправляться?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три часа пятьдесят три минуты.— Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком?

— Да! В мягком...

Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним. Ровно, без толчков, без лязга вся эта броневая громада трогается и плавно набирает скорость. Проходит паровоз. Плывут орудийные башни. Москва остается позади. Туман. Звезды гаснут. Светает.

Утром, не найдя ни Тимура, ни мотоцикла, вернувшийся с работы Георгий тут же решил отправить Тимура домой к матери. Он сел писать письмо, но через окно увидел идущего по дорожке красноармейца.

Красноармеец вынул пакет и спросил:

— Товарищ Гараев?

— Да.

— Георгий Алексеевич?

— Да.

— Примите пакет и распишитесь.

К стр. 295

Красноармеец ушел. Георгий посмотрел на пакет и понимающе свистнул. Да! Вот и оно, то самое, чего он уже давно ждал. Он вскрыл пакет, прочел и скомкал начатое письмо. Теперь надо было не отсылать Тимура, а вызывать его мать телеграммой сюда, на дачу.

В комнату вошел Тимур — и разгневанный Георгий стукнул кулаком по столу. Но следом за Тимуром вошли Ольга и Женя.

— Тише! — сказала Ольга.— Ни кричать, ни стучать не надо. Тимур не виноват. Виноваты вы, да и я тоже.

— Да,— подхватила Женя,— вы на него не кричите. Оля, ты до стола не дотрагивайся. Вон этот револьвер у них очень громко стреляет.

Георгий посмотрел на Женю, потом на револьвер, на отбитую ручку глиняной пепельницы. Он что-то начинает понимать, он догадывается и спрашивает:

— Так это тогда ночью здесь была ты, Женя?

— Да, это была я. Оля, расскажи человеку все толком, а мы возьмем керосин, тряпку и пойдем чистить машину.

На следующий день, когда Ольга сидела на террасе, через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно, как будто бы шел к себе домой, и удивленная Ольга поднялась ему навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий.

— Это что же? — тихо спросила Ольга.— Это опять... новая роль оперы?

— Нет,— отвечал Георгий.— Я на минуту зашел проститься. Это не новая роль, а просто новая форма.

— Это,— показывая на петлицы и чуть покраснев, спросила Ольга,— то самое?.. «Мы бьем через железо и бетон прямо в сердце»?

— Да, то самое. Спойте мне и сыграйте, Оля, что-нибудь на дальнюю путь-дорогу.

Он сел. Ольга взяла аккордеон:

...Летчики-пилоты! Бомбы-пулеметы!
Вот и улетели в дальний путь.
Вы когда вернетесь?
Я не знаю, скоро ли,
Только возвращайтесь... хоть когда-нибудь.
Гей! Да где б вы ни были,
На земле, на небе ли,
Над чужими ль странами —

Два крыла,
Крылья краснозвездные,
Милые и грозные,
Жду я вас по-прежнему,
Как ждала.

Вот,— сказала она.— Но это все про летчиков, а о танкистах я такой хорошей песни не знаю.

— Ничего,— попросил Георгий.— А вы найдите мне и без песни хорошее слово.

Ольга задумалась, и, отыскивая нужное хорошее слово, она притихла, внимательно поглядывая на его серые и уже не смеющиеся глаза.

Женя, Тимур и Таня были в саду.

— Слушайте,— предложила Женя.— Георгий сейчас уезжает. Давайте соберем ему на проводы всю команду. Давайте грохнем по форме номер один позывной сигнал общий. То-то будет переполоху!

— Не надо,— отказался Тимур.

— Почему?

— Не надо! Мы других так никого не провожали.

— Ну, не надо так не надо,— согласилась Женя.— Вы тут посидите, я пойду воды напиться.

Она ушла, а Таня рассмеялась.

— Ты чего? — не понял Тимур.

Таня рассмеялась еще громче:

— Ну и молодец, ну и хитра у нас Женька! «Я пойду воды напиться»!

— Внимание! — раздался с чердака звонкий, торжествующий голос Жени.— Подаю по форме номер один позывной сигнал общий.

— Сумасшедшая! — подскочил Тимур.— Да сейчас сюда примчится сто человек! Что ты делаешь?

Но уже закрутилось, заскрипело тяжелое колесо, вздрогнули, задергались провода: «Три — стоп», «три — стоп», остановка! И загремели под крышами сараев, в чуланах, в курятниках сигнальные звонки, трещотки, бутылки, жестянки. Сто не сто, а не меньше пятидесяти ребят быстро мчались на зов знакомого сигнала.

— Оля,— ворвалась Женя на террасу,— мы пойдем провожать тоже! Нас много. Выгляни в окошко.

— Эге,— отдергивая занавеску, удивился Георгий.— Да у

вас команда большая. Ее можно погрузить в эшелон и отправить на фронт.

— Нельзя! — вздохнула, повторяя слова Тимура, Женя.— Крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. А жаль! Я бы и то куда-нибудь там... в бой, в атаку. Пулеметы на линию огня!.. Пер-р-вая!

— Пер-р-вая... ты на свете хвастунишка и атаман! — передразнила ее Ольга, и, перекидывая через плечо ремень аккордеона, она сказала: — Ну что ж, если провожать, так провожать с музыкой.

Они вышли на улицу. Ольга играла на аккордеоне. Потом ударили склянки, жестянки, бутылки, палки — это вырвался вперед самодельный оркестр, и грянула песня.

Они шли по зеленым улицам, обрастая все новыми и новыми провожающими. Сначала посторонние люди не понимали: почему шум, гром, визг? О чем и к чему песня? Но, разобравшись, они улыбались и кто про себя, а кто и вслух желали Георгию счастливого пути. Когда они подходили к платформе, мимо станции, не останавливаясь, проходил военный эшелон.

В первых вагонах были красноармейцы. Им замахали руками, закричали. Потом пошли открытые платформы с повозками, над которыми торчал целый лес зеленых оглобель. Потом — вагоны с конями. Кони мотали мордами, жевали сено. И им тоже закричали «ура». Наконец промелькнула платформа, на которой лежало что-то большое, угловатое, тщательно укутанное серым брезентом. Тут же, покачиваясь на ходу поезда, стоял часовой. Эшелон исчез, подошел поезд. И Тимур попрощался с дядей.

К Георгию подошла Ольга.

— Ну, до свиданья! — сказала она.— И, может быть, надолго?

Он покачал головой и пожал ей руку:

— Не знаю... Как судьба!

Гудок, шум, гром оглушительного оркестра. Поезд ушел. Ольга была задумчива. В глазах у Жени большое и ей самой непонятное счастье.

Тимур взволнован, но он крепится.

— Ну вот,— чуть изменившимся голосом сказал он,— теперь я и сам остался один.— И, тотчас же выпрямившись, он добавил: — Впрочем, завтра ко мне приедет мама.

— А я? — закричала Женя.— А они? — Она показала на товарищей. — А это? — И она ткнула пальцем на красную звезду.

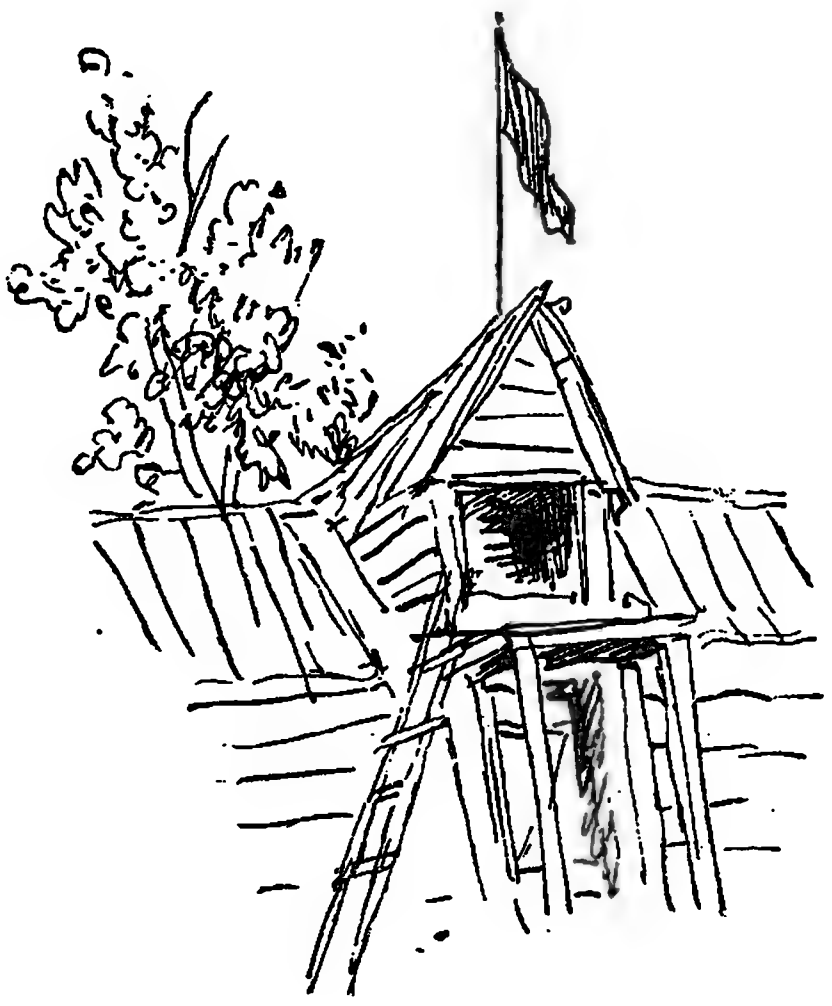
— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга.— Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.

Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!

Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:

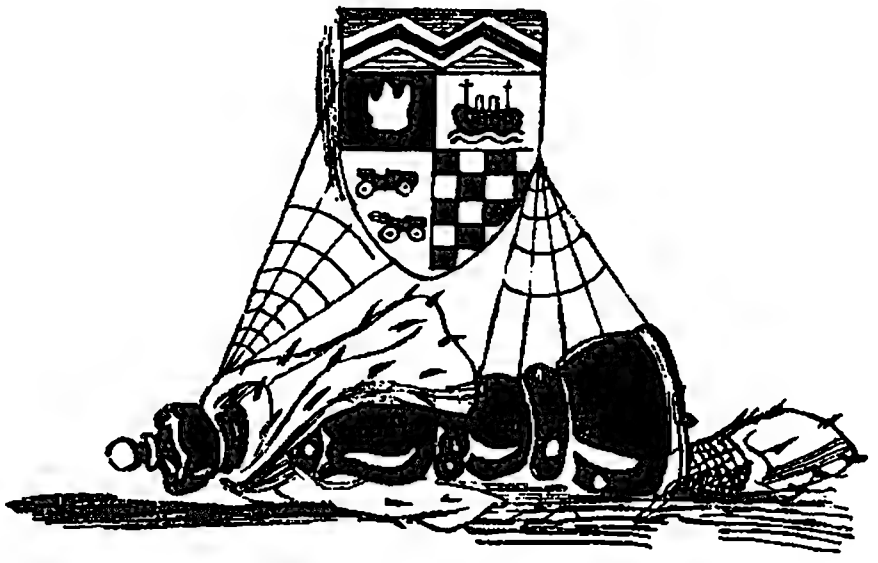
— Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже.

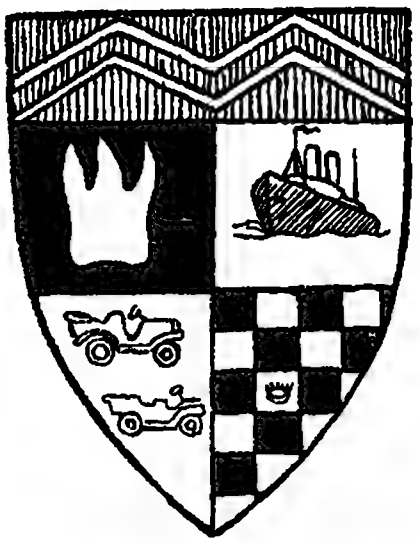
1940 г.



ЛЕВ КАССИЛЬ

Кондуит и Швамбрания





КОНДУИТ И ШВАМБРАНИЯ

ПОВЕСТЬ О НЕОБЫЧАЙНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ДВУХ РЫЦАРЕЙ,

в поисках справедливости
открывших на материке
Большого Зуба

ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО ШВАМБРАНСКОЕ,

с описанием удивительных событий,
происшедших на блуждающих
островах, а также о многом ином,

изложенном

БЫВШИМ ШВАМБРАНСКИМ АДМИРАЛОМ

АРДЕЛЯРОМ КЕЙСОМ,

ныне живущим под именем

ЛЬВА КАССИЛЯ,

с приложением множества
тайных документов,
мореходных карт,
государственного герба
и
собственного флага

КНИГА ПЕРВАЯ

КОНДУИТ

СТРАНА ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Открытие

Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб, на 68-й день своего плавания, заметил вдали какой-то движущийся свет, Колумб пошел на огонек и открыл Америку.

Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку, как младшего, помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию.

Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота

Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске.

Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами.

Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно.

Точеные лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая поход-

ка полотеров: к их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король — за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пáгоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея... Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат!

В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась везти на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры.

Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг — о ужас! — мы заметили исчезновение черной королевы...

Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно! Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженые головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа.

Да, это была непогодка! Какая там гроза! Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас! Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами[1]. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения и он не потерпит этого инстинкта и вандализма.

— Марш оба в «аптечку» — в угол! — закричал в довершение всего отец.— Вандалы!!!

Мы поглядели друг на друга и дружно заревели.

— Если бы я знал, что у меня такой папа будет,— ревел Оська,— ни за что бы в жизни не родился!

Мама тоже часто заморгала глазами и готова была «капнуть». Но это не смягчило папу. И мы побрели в «аптечку». «Аптечкой» у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку.

В одном из углов «аптечки» была маленькая скамеечка, из-

[1] Вандалы — древняя германская народность. В 450 году вандалы разграбили Рим. Название «вандалы» стало нарицательным для тех, кто совершает дикие и бессмысленные поступки.

вестная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал.

Мы сидели на позорной скамье. В «аптечке» синели тюремные сумерки. Оська сказал:

— Это он про цирк ругался... что там ведмедь с вещами обращается? Да?

— Да.

— А вандалы тоже в цирке?

— Вандалы — это разбойники,— мрачно пояснил я.

— Я так и догадался,— обрадовался Оська,— на них набуты канда́лы.

В кухонной двери показалась голова нашей кухарки Аннушки.

— Что же это такое? — негодующе всплеснула руками Аннушка.— Из-за бариновой бирюльки дитёв в угол содят... Ах вы, грешники мои! Принести, что ль, кошку поиграться?

— А ну ее, твою кошку! — буркнул я, и уже погасшая обида вспыхнула с новой силой.

Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к Солнцу, и мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но ме́ста для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверно, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли! Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипяток в шахматном короле...

Так думали мы оба, сидя в углу.

— Давай убегем! — предложил Оська.— Как припустимся!

— Беги, пожалуйста, кто тебя держит!.. Только куда? — резонно возразил я.— Все равно всюду большие, а ты маленький.

И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак «аптечки», как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром (потом оказалось, что это Аннушка на кухне уронила противень).

Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную,— пальмы, корабли, дворцы, горы...

— Оська, земля! — воскликнул я, задыхаясь.— Земля! Новая игра на всю жизнь!

Оська прежде всего обеспечил себе будущее.

— Чур, я буду дудеть... и машинистом! — сказал Оська.— А во что играть?

— В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране... в нашем государстве. Левое вперед! Даю подходный.

— Есть левое вперед! — отвечал Оська.— Ду-у-у-у-у!!!

— Тихай!—командовал я.—Трави носовую! Выпускай пары!

— Ш-ш-ш...— шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары.

И мы сошли со скамейки на берег новой страны.

— А как она будет называться?

Любимой книгой нашей была в то время «Греческие мифы» Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией. Но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «м», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы — швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрании.

А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.

У мамы в спальне, на столе, за зеркалом, стоял красивый, всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву.

На бумажке мы выписали три буквы: «В. Т. Ш.» (Великая Тайна Швамбрании). Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом.

Запоздавшее предисловие

Швамбрания была землей вулканического происхождения.

Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закостенелый уклад старой семьи и общества.

Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах, а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили.

Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми — нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городовой.

Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям.

Мы играли с братишкой в Швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция — суровый педагог и лучший наставник — помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании.

У меня сохранились «швамбранские письма», географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое...

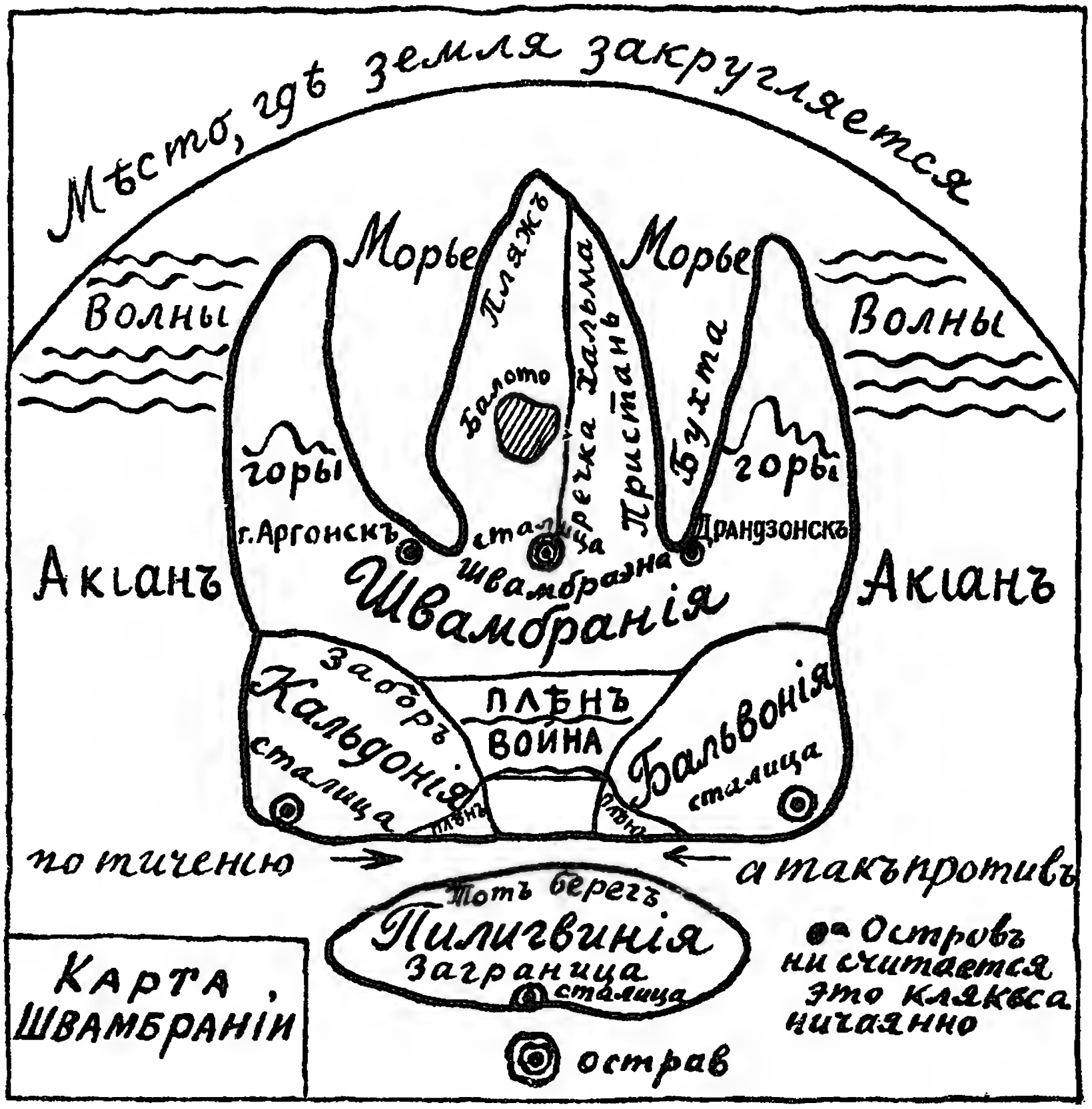
География

Можно убедиться,
что земля поката,—
сядь на собственные ягодицы
и катись!

Маяковский

Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население.

Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону Нибелунгов и на букву «Ш» — заглавную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл, и мы усмотрели: то был зуб швамбранской мудрости. Швамбрании были приданы очертания зуба. По океану были разбросаны острова и кляксы. Около клякс имелась честная надпись: «Островъ ни считается это клякьса ничаянно». Вокруг зуба простирался «Акіанъ». Ося провел по глади океана бурные зигзаги и засвидетельствовал, что это «волны»... Затем на карте было изображено «морье», на котором



Карта Швамбрании в эру Пилигвинских и Бальвонских войн.

одна стрелка указывала: «по тичению», а другая заявляла: «а так против». Был еще «пляж», вытянувшаяся струнка речка Хальма, столица Швамбраэна, города Аргонск и Драндзонск, бухта Заграница, «тот берег», пристань, горы и, наконец, «место, где земля закругляется».

Кривизна нашей подножной планеты очень беспокоила Оську. Он сам стремился безоговорочно убедиться в ее круглости. Хорошо еще, что мы не были знакомы в то время с Маяковским, иначе погибли бы Оськины штанишки, ибо, разумеется, он проверил бы покатость земли собственным сиденьем... Но Ося нашел другие способы доказательств. Перед тем как закон-

чить карту Швамбрании, он со значительным видом повел меня за ворота нашего двора. Около амбаров еле заметно возвышались над площадью остатки какой-то круглой насыпи — не то земляного постамента для часовни, не то клумбы. Время почти сровняло эту жалкую горбушку. Оська, сияя, подвел меня к ней и величественно указал пальцем.

— Вот,— изрек Оська,— вот место, где земля закругляется.

Я не посмел возразить: возможно, что земля закруглялась именно здесь. Но, чтоб не спасовать перед младшим братом, я сказал:

— Это что! Вот в Саратове, я видел, есть одно место — там еще не так закругляется.

Необычайно симметричной получилась на карте наша Швамбрания. Строгим очертаниям швамбранского материка мог бы позавидовать любой орнамент. На западе — горы, город и море. На востоке — горы, город и море. Налево — залив, направо — залив. Эта симметрия осуществляла ту высокую справедливость, на которой зиждилось Швамбранское государство и которая лежала в основе нашей игры. В отличие от книг, где добро торжествовало, а зло попиралось лишь в последних главах, в Швамбрании герои были вознаграждены, а негодяи уничтожены с самого начала. Швамбрания была страной сладчайшего благополучия и пышного совершенства. Ее география знала лишь плавные линии.

Симметрия — это равновесие линий, линейная справедливость. Швамбрания была страной высокой справедливости. Все блага, даже географические, были распределены симметрично. Налево — залив, направо — залив. На западе — Драндзонск, на востоке — Аргонск. У тебя — рубль, у меня — целковый. Справедливость.

История

Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков швамбранской эры.

Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ Большого Зуба отсечь двумя полукругами. Около написали: «Забор». А в отсеках появились два вражеских государства: «Кальдония» — от слов «колдун» и «Каледония» — и «Бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «Боливия».

Между Бальвонией и Кальдонией находилось г л а д к о е м е с т о. Оно было специально отведено под сражения. На карте так и значилось: «Война».

Слово это, черное и жирное, мы вскоре увидели в газетах...

В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плац-парада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое.

— Вся война покрыта тротуаром,— убеждал я брата.

— А Волга на войне есть? — интересовался Оська.

Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку.

По бокам «войны» помещались «плены». Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью: «Плен».

Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император.

— Распишитесь, ваше императорское величество,— говорил почтальон.— Заказное.

— Откуда бы это? — удивлялся император, мусоля карандаш.

Почтальоном был Оська, царем — я.

— Почерк вроде знакомый,— говорил почтальон.— Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя.

— А из Кальдонии не получалось письма? — спрашивал император.

— Пишут,— убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря Небогу. (Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма.)

— Царица! Дай шпильку! — кричал затем император.

Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал:

«Дорогой господин царь Швамбрании!

Как вы поживаете? Мы поживаем ничего, слава богу, вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в Плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбранцы дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать. Мы божьей милостью объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на Войну. Мы вас победим и посадим в Плен. А если вы не выйдете на Войну, то вы трусы, как девчонки. И мы на вас презираем. Вы дураки.

Передайте поклон вашей мадам царице и молодому человеку наследнику.

На подлинном собственной ногой моего величества отпечатано каблуком

Бальвонский Царь».

Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику «телеграмму с нарочным и заплоченным обратом». В телеграмме было написано:

ИДУ НА ВЫ.

В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы» — телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегам или половцам и мчался «отмстить неразумным хозарам». Но с таким нахалом, как бальвонский царь, не стоило говорить на «вы», поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы» и писал: «иду на ты». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества, лейб-обер-доктора, и начинал призываться.

— Ну-с,— говорил лейб-обер-доктор,— как мы живем? Что желудок? Э-э... стул, то есть трон, был?.. Сколько раз? Дышите!

После этого царь говорил кучеру:

— Но! Трогай с богом! Гони их в хвост и в гриву!

И ехал на войну. Все кричали «ура» и отдавали честь, а царица махала из окошка чистым платком.

Разумеется, из всех войн Швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена к Швамбрании. Не успели подмести «плац-войну» и проветрить «плен», как на Швамбранию полезла Кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в Кальдонию без билета во все дни, кроме воскресенья.

На «том берегу» было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины — путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к Швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пилигвиния была оставлена для «развития истории».

От Покровска до Драндзонска

В Швамбрании мы обитали на главной улице города Драндзонска, в бриллиантовом доме, на 1001-м этаже. В России мы жили в слободе Покровской (потом город Покровск), на Волге, против Саратова, на Базарной площади, в первом этаже.

В открытые окна рвалась визгливая булга торговок. Пряная ветошь базара громоздилась на площади. Хрумкая жвачка сотрясала торбы распряженных лошаденок... Возы молитвенно простирали к небу оглобли. Снедь, рухлядь, бакалея, зелень, галантерея, рукоделие, обжорка... Тонкокорые арбузы лежали в пирамидках, как ядра на бастионах в картине «Севастопольская оборона».

Картина эта шла за углом в синематографическом электротеатре «Эльдорадо». Кинематограф всегда окружали козы. У афиш, расклеенных на мучном клейстере, паслись целые стада.

От «Эльдорадо» до нашей квартиры шла так называемая Брешка, или Брехаловка. Вечерами на Брехаловке происходило гулянье. Вся Брешка — два квартала. Гуляющие часами толкались туда и назад, от угла до угла, как волночки в ванне от борта до борта. Девчата с хуторов двигались посередине. Они плыли медленно, колыхаясь. Так плывут арбузные корки у волжских пристаней. Сплошной треск разгрызаемых каленых семечек стелился над толпой. Вся Брешка была черна от шелухи подсолнухов. Семечки называли у нас «покровский разговор».

Вдоль Брешки рядом стояли парни в резиновых ботах, напяленных на сапоги. Парни шикарно согнутым мизинцем снимали с губ гирлянды налипшей скорлупы. Парни изысканно обращались к девчатам:

— Спозвольте причепиться. Як вас по имени кличут... Маруся чи Катя?

— А ну не замай... Який скорый!—отвечала неприступная.— Ну, хай тоби бис... чипляйся.

И целый вечер грузно толкалась перед окнами грегочущая, лузгающая хуторская Брехаловка.

А мы сидели в темной гостиной на подоконнике. Мы глядели на полутемную улицу. Мимо плыла Брешка. А на подоконнике воздвигались невидимые дворцы, воздушные замки, распускались пальмы, неслышная канонада сотрясала нас. Разрушительные снаряды нашего воображения рвали ночь. Мы расстреливали со своего подоконника Брешку. На подоконнике была Швамбрания.

Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие,

словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ и Меркурием» [1]. Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» — вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым.

Джек, Спутник Моряков

Вообще мир для нас — это бухта, заставленная пароходами, жизнь — сплошная навигация, каждый день — рейс. Все швамбраны, само собой понятно,— мореходы и водники. У каждого во дворе ошвартован свой пароход. И самым уважаемым гражданином Швамбрании признан Джек, Спутник Моряков.

Этот государственный муж обязан своим происхождением маленькой книжке «Карманный спутник моряков и словарь необходимых разговорных фраз». Книжку эту, засаленную до прозрачности, мы купили на базаре за пятак и всю мудрость ее вложили в уста новому герою — Джеку, Спутнику Моряков. Так как в книжке был, кроме краткой лоции и навигации, словарь, то Джек стал настоящим полиглотом [2]. Он разговаривал по-немецки, по-английски, по-французски и по-итальянски.

Я, изображая Джека, просто читал подряд словарь разговорных фраз. Получалось очень здóрово.

— Гром, молния, смерч, тифон! — говорил Джек, Спутник Моряков.— Доннер, блитц, вассерхозе!.. Здравствуйте, сударь или сударыня, гоод морнинг, бонжур. Говорите ли вы на других языках? Да, я говорю по-немецки и по-французски. Доброго утра, вечера. Прощайте, гутен морген, абенд, адье. Я прибыл на пароходе, на корабле, пешком, на лошадях; пар мер, а пье, а шваль... Человек за бортом. Ун уомо ин маре. Как велика плата за спасение? Вифиль ист дер бергелон?

Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него.

— Лоцман посадил меня на мель,— сердился Джек, Спутник

---

[1] «Самолет» и «Кавказ и Меркурий»— названия волжских пароходных обществ.

[2] Полиглот — человек, владеющий многими языками.

Моряков на сто третьей странице, но тут же, на сто четвертой, признавался на всех языках: — Я нарочно посадил судно на мель, чтобы спасти часть груза...

Наш покровский день мы открываем подходным гудком еще в постелях. Это мы возвращаемся из ночной Швамбрании. Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре.

— Тихай! — командует Оська, отгудев.— Бросай чалку!

Мы сбрасываем одеяла.

— Стой! Спускай трап!

Мы спускаем ноги.

— Готово! Приехали! Слезай!

— С добрым утром!

У тихой пристани

Наш дом — тоже большой пароход. Дом бросил якорь в тихой гавани Покровской слободы. Папин врачебный кабинет — капитанский мостик. Вход пассажирам второго класса, то есть нам, запрещен. Гостиная — рубка первого класса. В столовой — кают-компания. Терраса — открытая палуба. Комната Аннушки и кухня — третий класс, трюм, машинное отделение. Вход пассажирам второго класса сюда тоже запрещен. А жаль... Там настоящий дым.

Труба не «как будто», а настоящая. Топка гудит подлинным огнем, Аннушка, кочегар и машинист, шурует кочергой и ухватами. Из рубки требовательно звонят. Самовар дает отходный свисток. Самовар бежит, но Аннушка ловит его и несет, пленного, в кают-компанию. Она несет самовар на вытянутых руках, немного на отлете. Так несут младенцев, когда они собираются неприлично вести себя.

Нас требуют «наверх», и мы покидаем машинное отделение дома.

Мы уходим нехотя. Кухня — главный иллюминатор нашего парохода. Как говорится, окошко в мир. Туда вечно заходят люди, про которых нам раз навсегда сказано, что это неподходящее знакомство. Неподходящим знакомством называются: старьевщики, точильщики, шарманщики, разносчики, черкесы-слесари, стекольщики, почтальоны, пожарные, нищие, трубочисты, дворники, соседские кухарки, угольщики, цыганки-гадалки, ломовые извозчики, бондари, кучера, дровоколы... Все это пассажиры третьего класса. Вероятно, они самые лучшие, самые интересные люди в мире. Но нас уверяют, что вокруг них так и реют, так и кишат всякие микробы и зловредные бациллы.

Оська однажды спросил даже нищего золотаря, помойных дел мастера Левонтия Абрамкина:

— А правда, говорят, на вас киша-кишмят... нет... кимшат, ну, то есть лазают, скарлатинки?

— Ну,— обиделся Левонтий,— какие там скарлатинки?.. Это на мне просто так, обыкновенные воши... А скарлатины — такой животной и нет вовсе... Скарланпендря есть, так то засекомая, вроде змеи. В кишках существует.

— А у вас, значит,— обрадовался Оська,— скарланпендра в кишках кишмит? Да?

Абрамкин обиделся окончательно, нахлобучил шапку и сердито захлопнул за собой дверь.

Очень поучительное место эта кухня. В Швамбрании у нас царь сам сидит в кухне и всем другим позволяет. В Покровске перед рождеством, например, приходят сюда колядовать ребята. Они поют:

Маланья ходыла,
Васыльку просыла:
— Васылько, батько мий...

На Новый год является «проздравить» сам городовой. Он стукает каблуками и говорит:

— Честь имею...

Ему выносят на блюдце рюмку водки и серебряный рубль. Городовой берет целковый, благодарствует и пьет за наше здоровье. Мы смотрим ему в рот. Крякнув, городовой замирает, предаваясь внутреннему созерцанию, словно прислушиваясь, как вливается водка в его полицейский желудок. Затем он опять щелкает каблуками и прикладывает руку к козырьку.

— Зачем это он? — шепотом интересуется Оська.

— Это он отдает нам честь,— поясняю я.— Помнишь, когда он вошел сначала, он сказал: «Имею честь»? А теперь он ее отдает нам.

— За рубль? — спрашивает Оська.

Городовой смущен.

— Вы что тут торчите, архаровцы? — раздается бас отца.

— Папа,— кричит Оська,— а нам тут полицейский честь отдал за рубль!

— Переплатили, переплатили! — хохочет отец.— Полицейская честь и пятака не стоит... Ну, живо, марш из кухни!.. Как это у вас там? Левое назад, правое вперед...

Домашний капитан

Отец — высоченный пышно-курчавый блондин. Это невероятно работоспособный человек. Он не знает, что такое усталость. Зато, наработавшись, он может выпить целый самовар. Движется он быстро и говорит громко. Когда папа, рассердившись, кричит иной раз на бестолковых пациентов-хуторян, то мы всегда боимся, как бы больные не умерли со страху. Мы бы на их месте обязательно умерли.

Но, кроме того, папа очень веселый человек. И бывает так: придет к нему больной, у которого «в грудях як огнем пече», а через несколько минут забудет про грудь и хватается за живот — заболел от смеха... А когда отец начинает грохотать сам, то кошка стремглав бросается под буфет и в аквариуме идет зыбь. К ужасу Аннушки, он выносит маму к обеду на руках. Он ставит ее на пол и говорит: «Вот барыня приехала».

Много веселых слов знает отец.

— Жри да рожу пачкай,— говорит он нам за обедом.— Эй вы, братья-разбойники, кальдонцы, бальвонцы, подберите нюни! — и ущемляет наши носы между указательным и средним пальцами.

И это у него собезьянничал швамбранский царь манеру говорить кучеру: «Дуй их в хвост и в гриву».

Иногда, упорно отстаивая новую койку для общественной больницы, он выступает на волостных сходках. А сход — богатеи хуторяне — сыто бубнит: «Нэ треба...» Потом в газетке «Саратовский вестник» обязательно описывается, как господин старшина призывал господина доктора к порядку, а господин доктор требовал занесения в протокол слов господина Гутника, а господин Гутник на это...

Отец знаком со всей слободой. Нарядные свадебные кортежи почти всегда считают долгом остановиться перед нашими окнами. Цветистая кутерьма окружает тогда наш дом. Брешка засеяна конфетами: их швыряют пригоршнями с саней в толпу. Сотни бубенцов брякают на перевитых лентами хомутах. На передних санях рявкает среди ковров оркестр. И пляшут, пляшут прямо в широких санях, с лентами и бумажными цветами в руках багровые визжащие свахи.

А еще вспоминали об отце и такое. В слободе прежде шибко хулиганили. «Фулиганы», как называли их покровчане, были пожилыми семейными людьми... От хулиганов этих в слободе не было житья... Полиция бездействовала.

Жители решили действовать сами. Был составлен список самых матерых разбойников. По этому списку адресов толпа шла из улицы в улицу. Толпа шла и убивала...

Было это глухой ночью.

Один из главарей хулиганской банды скрылся у папы в больнице. Он действительно был серьезно болен. Он умолял спасти его. Он валялся в ногах у папы.

— Бьют вас за дело. Только ваше счастье, что вы заболели вовремя. В данную минуту вы для меня прежде всего пациент, больной. И больше я ничего знать не хочу. Вставайте с пола, ложитесь на койку.

Распаленная толпа осадила больницу. Она ярилась и гудела у закрытых ворот.

Отец вышел за ограду к толпе.

— Чего надо? Не пущу,— сказал отец,— поворачивайте-ка оглобли! Вы мне еще тут заразы нанесете в родильный. Дезинфицируй потом...

— Ты, доктор, только бы Балбаша на руки выдал... Под расписку. Мы б его... вылечили.

— У больного Балбашенко,— строго и раздельно ответил папа,— высокая температура. Я не могу его выписать. И никаких разговоров! И не шумите. А то больные пугаются — это им вредно.

Толпа тихо подвинулась ближе. Но тут из нее вышел старый грузчик и сказал так:

— Доктор, ребята, правильно излагает. Им ихняя специальность не позволяет. Пошли, ребята. А только мы Балбаша и после закончим. Извиняйте за беспокойство.

Балбаша «закончили» через три месяца.

Земля Ханонская

Папа очень вспыльчив. В сердцах он оглушителен. Нам тогда влетает «под первое число» и под двадцатое. Нам всыпается и в хвост и в гриву, нас распекают во всю ивановскую, нам прописывают ижицу... Тогда на сцену выступает мама. Мама у нас служит модератором (глушителем) в слишком бравурных папиных разговорах. Папа начинает звучать тише.

Мама — пианистка, учительница музыки. Целые дни у нас по дому разбегаются «расходящие гаммы», скачут, пиликают экзерсисы — упражнения. Унылый голос насморочной ученицы сонно отсчитывает:

— Раз-ын, два-ын, три-ын... Раз-ын, два-ын...

И мама поет на мотив бессмертного «Ханона» [1]:

[1] Ханон — составитель известного сборника упражнений для пианистов.

— Первый, пятый, третий палец, снова первый и четвертый. Тише руку, не качайте. Пятый, первый...

И все наше детство было положено на эту музыку. У меня до сих пор все воспоминания поются на мотив «Ханона». Только дни, утонувшие в липкой микстуре жара, дни нашего дифтерита, кори, скарлатины, кру́па вспоминаются без аккомпанемента. Мама сама выхаживала нас.

Мама близорука. Она низко наклоняется к пюпитру, и к концу дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами.

На папином столе в кабинете есть бумагодержатель — тонкая, длинная дамская рука из бронзы зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышней она храбро покинула большой город и уехала с папой в «земство», в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студеной воющей тьме плутал папа, скача на розвальнях в далекое — километров за двадцать — село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол — маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезало черное село. При зыбком свете лучины, в овчинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.

Гудок разбудил Швамбранию

Зимами по Покровску тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все до́ма. У нас тепло. За окнами крутится вьюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от вьюги и всех невзгод в тихой гавани.

У нас обычные гости: податной инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и ко всеобщему смущению назвал его «зубным порошком».

Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле менуэт Падеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку: «Фррря...» И посвистывает: «Фефела...»

Веселый податной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает будто хочет сделать Аннушке «бочки́». При этом

податной издает какой-то особенный, свой обычный пронзительный звук:

— Кркльххх...

Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податной хохочет и спрашивает:

— Видал миндал?

Папа смотрит на часы и говорит:

— Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем.

Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную Швамбранию.

Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки. Подается команда:

— Левое вперед! Ш-ш-ш-ш-ш... У... у!.. Средний ход! Вперед до полного!.. Полный!

Теперь мы опять швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы Драндзонска ждут нас.

Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок.

Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями.

Гудит.

И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон. Слышен папа.

— Ах мерзавцы! — разносится по дому.—Что они? Не предвидели? Ну ладно. Есть носилки? Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают.

Гудит, гудит чья-то большая беда.

Мама прибежала в детскую и рассказывает.

На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье: рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки, а она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. Пятьдесят рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых.

Да... Вот как... Вот как... Вот какие вещи происходят, оказывается...

Нет, у нас в Швамбрании этого бы никогда не могло быть. Никогда!

Критика мира и собственной биографии

Вместе со стеной костемольного завода рухнула и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что:

несправедливость

1. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются «неподходящим знакомством».

2. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший полсотни людей, не подходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого.

3. Мы с Оськой ничего не делаем (только учимся), а Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей, а карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная: у нее нет никакой Швамбрании...

Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово: *Несправедливость.*

Езда «в народ»

Позже мы занесли в список несправедливости и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бранить наших родителей. Они были только люди своего времени, и, уж конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно: наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадью. Мы ехали «в народ». Правил сам папа, одетый в чесучовую рубаху. Папа со вкусом произносил «тпрру», «но», «эй». Но, если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас:

— Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь... только громче, чтоб она обернулась. Не могу же, в самом деле, я ей крикнуть: «Эй, берегись!» Тем более, это, кажется, знакомая...

Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил:

— Тетя, мадам... папа просит вас немножко подвинуться. А то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно.

Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали.

Кончилась эта езда «в народ» тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились.

Мир животных

Чтобы внедрить в нас любовь к «малым сим» и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак, были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичечные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб.

Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...

Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигла полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы. Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме.

— Вот,— сказал папа,— это вам. Смотрите ухаживайте за ним хорошенько!

Козленок в ответ на это сказал «бе-е-е» и тотчас посыпал «кедровых орешков» на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в сто-

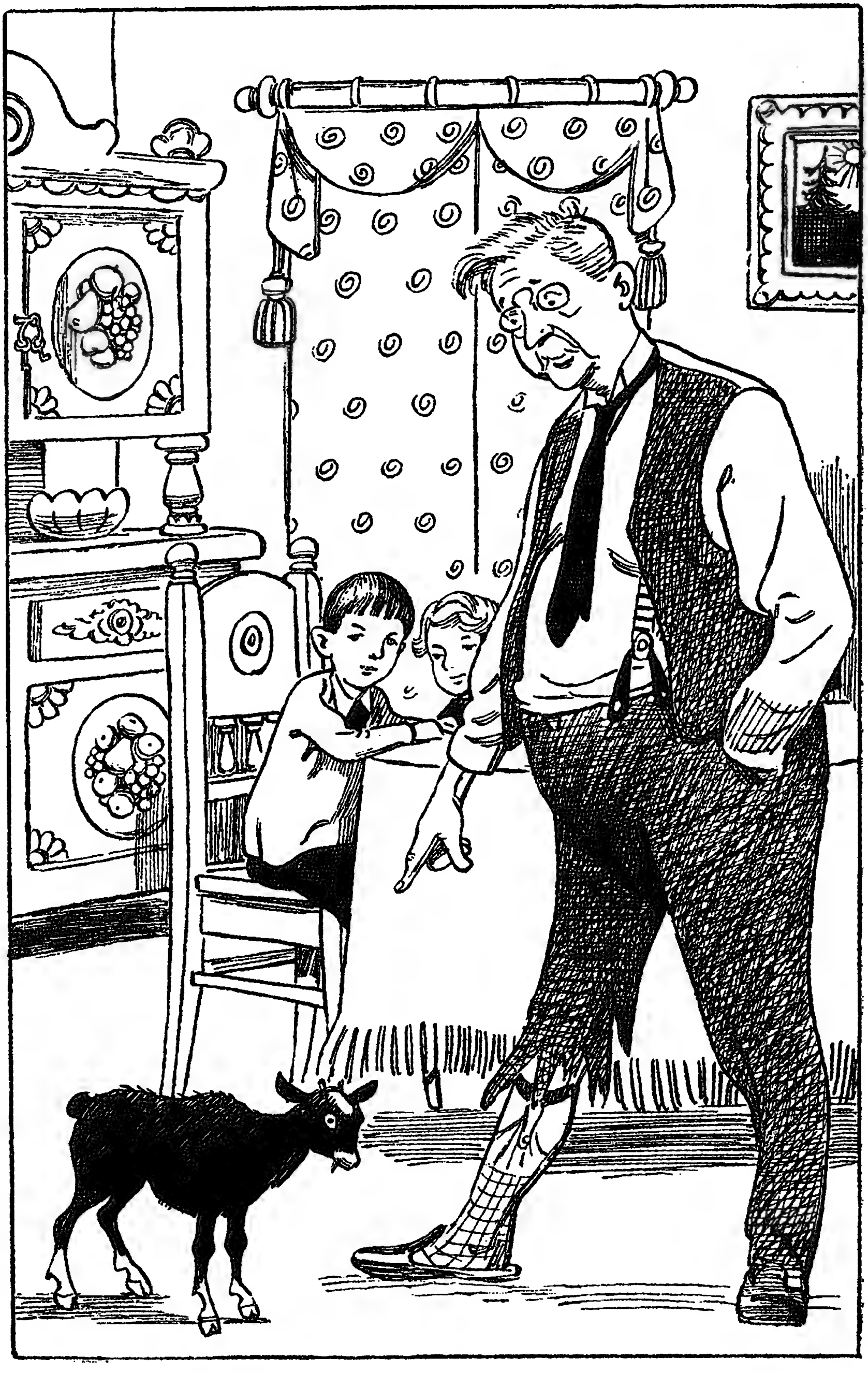
ловую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер... Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге... Вот куда исчезал козленок!

В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину.

Вокруг нас

Отец и мать работали с утра до вечера, а мы росли, положа руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое «золотое детство» — с идеалами, вычитанными из книжек «Золотой библиотеки». У нас была специальная гимназическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы. Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготовляют кирпич, льют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градирню, чугунок со щами — через доменную печь. Ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай — все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев — людей «чистого умственного труда». Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создавать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи.

Мы даже завидовали некоему Фектистке, рябому ученику жестянщика. Фектистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то, купаясь, Фектистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки — несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил Фектистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой Фектисткиной спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость...



Мы перестали завидовать Фектистке. Мучительные догадки влезли в наши головы.

Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей.

Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтоб «кто-нибудь» пришел. «Кто-нибудь» приходил, и вещи смирялись перед ним: пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила: «Золотые руки» — и пересчитывала в буфете серебряные ложки...

Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к «их милости» наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся «во первых строках» поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:

— Вот она, умственность! А то что наше рукомесло? Чистый мрак без понятия.

А в душе этажи тихонько презирали друг друга.

— Подумаешь, искусство,— говорил уязвленный папа,— раковину в уборной починил... Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа.

А внизу думали:

«Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука — перышком чиркать!»

Между нашим и полуподвальным этажами поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля — зрячего, но безногого. Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища. Безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако все же люди из группы «неподходящее знакомство» сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить и нас, но... из нас готовили «людей чистого умственного труда», и нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители, от мала до велика, не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их...

Бог и Оська

Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и четырех лет запоминал все, что угодно,— от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак: непонятные и новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не сиволапый, а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал:

— Мама, намажь мне брамапутер...[1]

— Боже мой,— сказала мама,— это какой-то вундеркинд![2]

Через день Оська сказал:

— Мама! А в конторе тоже есть вундеркинд; на нем стукают и печатают.

Он перепутал «вундеркинд» и «ундервуд»[3].

Но у него были и свои верные понятия и взгляды.

Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом.

— Понял, в чем тут дело? — спросила мама.

— Понял,— сказал Оська.— Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть...

Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами.

Однажды я оставил его одного играть в Народном саду, Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он попробовал достать мячик, помял цветы и, увидя дощечку «Траву не мять», испугался.

Тогда он решил обратиться к посторонней помощи.

В глубине аллеи спиной к Оське сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы ниспадали на плечи длинные кудри.

— Мой мяч упрыгнул, где «Цветы не рвать»,— сказал Оська в спину даме.

Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч.

— Тетя! — спросил он.— Тетя, а зачем на вас борода?

---

[1] Брамапутер — правильно: Брамапутра — река в Индии.

[2] Вундеркинд — выдающийся, гениальный ребенок.

[3] «Ундервуд» — название фирмы пишущих машинок.

— Да разве я тетя? — ласковым баском сказала дама.— Да я ж священник.

— Освещенник? — недоверчиво сказал Оська.— А юбка зачем? — И он представил себе, как неудобно, должно быть, в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы.

— Сие не юбка,— отвечал поп,— а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка я, понял?

— Сейчас,— сказал Оська, вспоминая что-то.— Вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки-матушки...

— Ох ты забавник! — засмеялся поп.— Некрещеный, что ли? Отец-то твой кто? Папа?.. Ах, доктор... Так, так. Понятно... Про бога-то знаешь?

— Знаю,— отвечал Оська.— Бог — это на кухне у Аннушки висит... в углу. Христос Воскрес его фамилия...

— Бог везде,— строго и наставительно сказал священник,— дома, и в поле, и в саду — везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а господь бог нас слышит... Он ежечасно с нами.

Оська посмотрел кругом, но бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру.

— А бог взаправду или как будто? — спросил он.

— Ну поразмысли ты,— сказал поп.— Ну кто это все сделал? — спросил он, указывая на цветы.

— Честное слово, правда, это не я! Так было,— испугался Оська, думая, что поп заметил помятые цветы.

— Бог все это создал,— продолжал священник.

А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что бог,— мне лучше».

— И тебя самого бог произвел,— говорил поп.

— Неправда! — сказал Оська.— Меня мама.

— А маму кто?

— Ее мама, бабушка!

— А самую первую маму?

— Сама вышла,— сказал Оська, с которым мы уже читали «Первую естественную историю»,— понемножку из обезьянки.

— Уф! — сказал вспотевший поп.— Безобразие, беззаконное воспитание, разврат младенчества!

И он ушел, пыля рясой.

Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом.

— Такой смешной весь! — вспоминал Оська.— Сам в юбке, а борода!

Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что бог вряд ли есть, а мама говорила, что бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки, потом он вошел в квартиру через неплотно закрытую дверь из

кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого духа, который шел от свежих куличей. А иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка: бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть.

Небесная Швамбрания

Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие и Аннушка говорила им «не взыщите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди не подходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике.

Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой.

В церкви было красиво, как в Швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было как в настоящем царстве небесном. И все крестились.

Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу», а Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся», а жених: «Не хочу». И Мариша немножко поплакала.

— Вот дура! — сказал Оська.— Чего ревет? Ведь это же как будто.

После этого они стали играть в колечки, а когда кончили,

поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось:

«Кого любишь, поцелуй. Ой-ли-луя, поцелуй».

Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались.

После посещения церкви мы решили, что царство небесное — это такая Швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных.

А в нашей Швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради духовенство (Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром). Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая, приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прелатов звали «ваше преподобие». Мы величали Гематогена «ваше неправдоподобие»...

Покровская Золушка

Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые сироты обретали родителей... На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, но в рот не попадали.

В Швамбрании, в стране наполовину сказочной, все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку.

Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности же даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружавшие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городового.

Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице, по прозванию Золушка-Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слыхал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце?

Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуитном журнале Покровской мужской гимназии.

Надзиратель Покровской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуитного журнала новый вариант этой исто-

рии. Но Цап-Царапыч был краток и сердит. Поэтому мне придется самому рассказать о покровской Сандрильоне. Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки.

Клейменые орлы

Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними, в конвертах, были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоев, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий.

Но Марфушу не интересовало содержание конвертов.

Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок.

Конверты на кухню доставляли мы с братишкой.

На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей.

Мы были посвящены во все ее тайны.

Мы знали, что кучер из папиной больницы — Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина — зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу Метламарфозой...

Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ахчхи, спичка в нос, пара колес, конец о́си, чтоб чесало в но́се; чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут...» Все... уф!

Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами.

Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: I, II и III. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменые орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля.

Мы, благоговея, созерцали эту пеструю коллекцию, а Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух:

— Как вот до двух тыщ насобираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на заде бант и кругом вуаль с мушкой. Поглядю тогда, кто меня Метламарфозой обзовет... Поглядю...

Газообразное начальство

Митьку Ламберга исключили из 2-й Саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя «жертвой реакции» и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам.

Он говорил:

— Я мстю, то есть я хотел сказать — мщу, начальству во всех его видах: в жидком, твердом и газообразном.

Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевались правительство, полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшеклассники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угер. Когда кончались уроки, сани земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурели и бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано: «Коток».

Святки

На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и носат...

— Оне симпатичные,— сказала о нем Марфуша,— только уж больно носом здоровы.

На святках в Коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея — насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы.

Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом вбегал в столовую и кричал:

— Я придумал! Страшно смешное...

— Ну? — говорили все.

— Надо одеться самоубийцей... А на трупе, то есть на костю-

ме, написать: «Прошу в моей смерти винить земского начальника»... Х-ха...

— А музыка при этом играет марш Шопена,— ехидно дополняла мама.— Страшно смешно!

— Да,— грустно говорил папа,— никогда в жизни я так не хохотал.

Сконфуженный Митя становился на голову и, болтая ногами, кричал:

— Вот так и буду назло стоять вверх ногами, пока идеи к голове не прильют!..

В двенадцать часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм.

Кроме того, план папин был вообще замечателен: на маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника.

Все отправились в кухню.

— Марфа-Посадница,— торжественно проговорил папа,— не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в Коммерческое собрание?

— Да господи ж! — смутилась Марфуша.— Только ведь туды по пригласительным. Как же я?

— Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны... все ваши марки. Что? Жалеете?..

— Марфуша,— проникновенно сказал Митя,— подумайте! В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала.

— Эх, уж ладно,— сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.

Дни склеены синдетиконом

Два дня весь дом работал над костюмом. Груды искромсанного картона и бумаги лежали на столе в «бариновой кухне», как называла Марфуша отцовский кабинет. Все были перепачканы краской и гуммиарабиком. Тюбики синдетикона источали липучие паутинные нити. Витя ходил, распорядительно задрав нос, и с него капали пот и тушь. Папа безуспешно отдирал от пиджака аргентинскую марку, а мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. Мы же с Осей превратились в сиамских близнецов, нечаянно сев на обмазанную синдетиконом ленту. Лента прилипла к штанам. Мы крепко приклеились друг к другу.

Вечером, перед маскарадом, надушенную и завитую Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный

почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. Полуаршинные марки были наклеены по углам. На каждую из них пошла добрая сотня Марфушиных марок. Рисунок и цвет марок искусно подобрал Витя. По маркам прошли жирные колеи невероятных штемпелей. Адрес был выделен изящным рондо:

ЗАКАЗНОЕ

Северный полюс

Улица капитана Гаттераса,
дом с террасой, направо

ПОЛЯРНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА

Его превосходительству
северному сиятельству

НАЧАЛЬНИКУ ЗЕМСКОМУ Г-НУ ЭМСКОМУ

Обратный адрес: Лондон, Сити. На углу спросите.

Марфушу запечатали в конверт.

На голову напялили другой конверт — понятно, во много раз меньший.

По углам тоже пестрели марки.

На колпаке-конверте было написано:

Не узнать вам анонима,
Все догадки ваши мимо!
И никто вас не уважит,
Ничего вам не расскажет.
Мани, Тони, Зои, Эммы —
Все сегодня будут немы.

Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли Марфуше.

— Ты такая красивая, Марфуша! — сказал ей Оська.— Ты прямо как тетя на картинке «Мойте голову пиксафоном». Даже красивше.

Белая шелковая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо.

Почетным почтальоном был избран Витя.

В городе его никто не знал, да и к тому же он наклеил черные усы и надел черную мамину шляпу со страусовым пером.

Искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический... Не то испанский гранд, не то румынский шарманщик.

Анонимка

Витя лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу и снимает с нее шубу. Он раскланивается с неподражаемой учтивостью.

— Труакар вуазем нотр дам де Пари абракадабра! — говорит он и закручивает примерзшие усы.

Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу сразу окружают и вперебой читают адрес. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальные отверстия ее маски вплывает растерянная физиономия земского.

Земский читает и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, оклеенные марками, прельщают земского.

— Гм,— говорит земский,— дорогая анонимочка... Разрешите на вальс?..

— Ол райт,— говорит анонимочка.— Спик инглиш? [1]

Земский смущен. Инглиш — он ни бе ни ме. Богач Адольф Эдуардович Штарк пытается помочь ему. Кое-как они объясняют ей жестами: начальник приглашает ее на вальс. Музыка рявкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены зала раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Штарк тает вместе с мороженым. Земский целует руку анонимке. Дамы ревнуют. По залу ползут догадки и серпантин. Сыплется конфетти. Сыплются на Марфушину тарелочку жетоны — голоса за приз.

— Музыка, стой! — гремит земский начальник.

И, разогнавшись, оркестр стихает сразу, как граммофон, у которого кончился завод.

— Господа,— кричит земский,— наибольшее количество жетонов собрала маска «Письмо»! Ей присуждается первый приз — золотые часы! Ура прелестной анонимке, ура!!! Вскроем письмо!

Зал шумит. Над головой лопаются бомбы конфетти. Кто-то шепчет Марфуше:

— Молодчина, Марфа-Посадница, ай молодчина! Дуй дальше!

Митя стоит среди товарищей-гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к земскому. Он говорит:

— Знаете, я, кажется, узнал, кто эта анонимка... Это — известная... Впрочем, что я делаю! Я же обещал молчать!

[1] Очень хорошо. Говорите по-английски?

— Умоляю, молодой человек,— шепчет земский,— плюньте на обещание. Скажите! Хотите мороженого?

— Нет, не просите,— говорит, злорадствуя, Митя и поедает мороженое.

— Вскроем письмо, господа! — кричит земский.

И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами.

— Каррамба кракатоа мелинсфунд, пепермент доминант септ аккорд олеонафт! [1] — рычит незнакомец на своем тарабарском языке, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице.

Земский кидается за ним. Маски, домино, арлекины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре — весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Устрашающие нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей.

Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу, сани трогаются.

Витя вскочил на ходу. Они несутся по сонным улицам. У Марфуши смыкаются веки. Фонари, как медузы, шевелят золотые нити. Золушка возвращается на кухню.

Ночью на пустом сундуке тихо щелкают на своих маленьких счетах новые часики.

Счастливая и уставшая, спит Марфуша. Разорванный конверт — шелуха сказочного вечера — пустует у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных штиблет.

Утром их надо вычистить.

Золушка разоблачена

В газете «Саратовский вестник» в столбце покровской хроники было напечатано:

«В среду в клубе Коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо».

Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом.

Вполне справедливо присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником г. Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса».

---

[1] Ничего не значащий, бессмысленный набор иностранных слов.

А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге земского. После осмотра пациентки отец пил с земским чай. Разуданов корил папу:

— Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну... Немножко, правда, меня прокатили, но зато что за ножки! А руки! Порода, батенька мой, порода! Вероятно, иностранка... Из головы не идет!

— Ну что вы,— скромно сказал папа,— ничего особенного — это наша горничная Марфуша.

— Ка-акх? — откинулся земский, побагровев, и лицо его вытянулось, так как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли наверх.

Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги земского снова вернулась на место.

Туфелька Сандрильоны

На этом, собственно, кончается рассказ о последней Золушке. Паж не принес Марфуше на кухню туфельку.

Однако след знаменитой туфельки Сандрильоны отыскался на страницах кондуитного журнала.

Голуби-сизяки, вытащившие для Марфуши из горшка золы золотую крупинку, поплатились.

Через несколько дней на парадном крыльце земского начальника был обнаружен резиновый, чудовищных размеров бот. Бот был накрепко привинчен шурупами к ступенькам крыльца.

В то же утро на заборах были кем-то прикреплены следующие «приказы»:

«ПРИКАЗ

Приказываю всему женскому населению г. Покровска явиться в кратчайший срок к земскому начальнику для примерки на правую ногу туфельки, утерянной анонимной посетительницей маскарада в Коммерческом собрании. Та, которой туфелька придется впору, будет немедленно назначена земской начальницей. Земский начальник обязуется вечно быть под каблуком этой туфли.

Земский начальник
Разуданов».

Рассказывают, что утром, пока полиция еще не сняла бот с крыльца, приезжала хуторянка — услышав о приказе, решила попытать счастья, но нога не полезла.

— Трошки маловат,— с досадой сказала баба и плюнула в бот.

А Мите и еще троим товарищам «за неуместное, порочащее учебное заведение, дерзкое озорство и недостойное поведение в публичном месте» был объявлен выговор и сбавлены отметки в поведении. Таков эпилог, отличающий историю покровской Сандрильоны от старой сказки о Золушке.

ГОЛУБИНАЯ КНИГА

Вступительное

Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить «коренные слова на ять». Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил:

— Ну, как котелок? Варит?

С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила:

— Главное, не волнуйся! Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует.

Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения вразбивку и подряд. До «девятью девять» и до гимназии мы дошли одновременно.

День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные, междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный. Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя сквозь пенсне видны были его добрейшие, чудесные глаза.

— Ну, теперь руки по швам! — сказал он и внезапно спросил: — А ну, быстро: гимназия — какая часть речи?

— Имя существительное, нарицательное, неодушевленное! — отчеканил я.

— А гимназист?

— Одушевленное...

В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме. Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и так же мрачно сказал:

— Ошибаешься, юноша! Брешешь. Гимназист — существо неодушевленное.

Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку.

В коридоре гимназии было холодно от волнения.

Потом была перекличка. Стол, накрытый зеленым сукном. Диктант: «Купи поросенка за грошш, да посади его в рожж, так будет он хорошш!»

Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица: поставят в слове «рожь» мягкий знак или нет?

Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии.

Потом была письменная по арифметике и устные экзамены.

На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения: подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковнославянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русый и бородатый, неуверенно сказал:

— Батюшка! А ведь это им не требуется, кажется?.. Вообще иных вероисповеданий...

И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел.

— Тем паче необходимо,— строго сказал батюшка.— Вот возьми и прочти. Прочти.

Я прочел и перевел какую-то страницу.

Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.

Забрили! Оболванили!

Лето мы провели на даче в деревне Подлесное, Хвалынского уезда, куда в сосновые и липовые леса увез я казавшееся мне чрезвычайно почетным звание гимназиста. Это звание я гордо нес на вершины хвалынских меловых гор, в ущелья Теремшаня и густые малинники, куда мы тихонько забирались.

В то время Россия, Европа, мир начинали войну.

Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пароход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали:

— Последние телеграммы! Три тысячи пленных! Наши трофеи!

На пристанях бились у пароходных сходен плачущие, растрепанные женщины — старухи и молодки: они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач, причитания, нестройное «ура», разнобой оркестра. Пароход разворачивал большую вспененную дугу по воде и давал прощальные гудки. Долго-долго. Короткий перерыв — и опять тревожно... протяжно...

В рубке первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре. Гремело пианино. Пахло Волгой, ухой и духами. Смеялись дамы.

В окно салона был виден уплывавший крутой берег. По берегу вверх от пристани тянулись тяжело и сиротливо деревенские таратайки.

Проводили...

В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии. Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья! Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, «оболванили», как сказал отец.

— Совсем зольдат,— говорил портной Виркель, примеряя на мне готовую форму.

Пуговицы

То были торжественные дни всеобщего признания моего величия и длинных брюк навыпуск.

Мальчишки кричали мне на улице: «Сизяк!» Сизяками дразнили гимназистов. Я был горд, что меня теперь тоже можно так дразнить.

Солнце сияло на моем животе, отражаясь в латунной бляхе кожаного кушака. На бляхе чернели буквы «П. Г.» — «Покровская гимназия». Выпуклые блестящие пуговицы, как серебряные божьи коровки, выползли на серую гимнастерку. И в первый день, торжественный и страшный, серьезный августовский день, я в новых ботинках (левый чуть жал) поднялся к дверям гимназии.

Прохладный рокот коридора овеял меня. За дверьми, в августовском дне остались Подлесное, меловые горы, лето, свобода.

Маленький старичок в мундире с медалью пошел мне навстречу. Он показался мне серьезным и рассерженным, как все

в этот день. Помня, что говорила мне мама, я щелкнул каблуками и низко поклонился, сняв за козырек фуражку.

— Здравствуй, здравствуй! — сказал старичок.— Положь фуражечку вон туда. В первый, поди? Вон — третий налево.

Я тщательно и почтительно поклонился еще раз.

— Ну, иди, иди, накланялся! — засмеялся старичок и, взяв из угла щетку, пошел подметать коридор.

В классе сидели здоровенные стриженые ребята. Я оказался чуть ли не самым маленьким. По классу расхаживало несколько громадных детин в потрепанных гимнастерках или выцветших мундирах — второгодники. Один из них поманил меня пальцем к себе:

— Сидай ко мне. У меня место свободное. Как твое фамилие?.. А мое Фьютингеич-Тпрунтиковский-Чимпарчифаречесалов-Фамин-Трепаковский-По-колено-Синеморе-Переходященский! Повтори без передышки!

Я повторить не смог.

— Ничего,— утешал он,— насобачишься. Макуху лопаешь? Нет? Закурить есть?.. Нема?.. А как мужик яйца на базаре продавал, слышал?

Об этой истории я ничего не слышал. Второгодник сказал, что вообще я большая баба. В это время к парте нашей подошел подвижной, лопоухий и лохматый второгодник. Он внимательно разглядел меня. Сел на крышку парты и быстро спросил:

— Ты доктора сын? Да? Доктор едет на свинье с докторенком на спине! Это чья пуговица? — И он ухватил блестящую пуговицу на обшлаге моей гимнастерки.

— Моя, а то чья же еще? — ответил я.

— А раз твоя, так держи ее! — И, вырвав пуговицу, он сунул мне ее в руки.— А это чья? — спросил он, берясь за следующую.

Наученный горьким опытом прошлого ответа, я сказал, что не знаю.

— Не знаешь? — закричал лопоухий второгодник.— Значит, не твоя?

И, оторвав вторую пуговицу, он бросил ее на пол. Класс загрохотал. Так я остался бы, вероятно, без единой пуговицы, если бы не пришел инспектор. Все встали сразу вместе. Мне это очень понравилось. Инспектор щурил веселые, хитрые глаза. Пушистая, расчесанная надвое, как ласточкин хвост, борода его мела мелкие звезды на лацканах мундира. Инспектор сказал весело и ласково:

— Ну! Стрючки-новички! Отшарлатанили? Погоняли голубей? То-то, сорванцы, горлопаны... Смирно!!! Гавря Степан!

Убери брюхо! Спрячь живот в ранец! Второй год сидишь, мерзавец, а стоять не умеешь! В кондуит захотел? Ишь отрастил космы на хуторе. Остригись!

Потом инспектор вынул список и сделал перекличку. При этом он нарочно смешно путал фамилии второгодников.

— Туфельд! — кричал он вместо Куфельд.— Варекухонко! — вместо Куховаренко.

Дошла очередь до меня.

— Здесь!!! — оглушительно выпалил я.

Инспектор удивился:

— Маленький, а горластый! Вот так взревел! Недаром Львом прозываешься. Сколько лет?

Чтобы угодить второгодникам, я решил сострить:

— Полдесятого!

Инспектор спокойно сказал:

— А я вот тебя, Лев, царь зверей... прохвост этакий, оставлю без обеда до половины десятого, тогда ты узнаешь, как острить. Постой, постой! — закричал он, как будто я хотел куда-то уйти.— Постой! Это зачем у тебя на обшлаге пуговицы? Здесь по форме не полагается, значит, нечего и выдумывать.

Он подошел и взял меня за рукав. Потом вынул из кармана какие-то странные щипцы и вмиг отхватил лишние, по уставу не полагающиеся пуговицы.

Теперь я весь был по уставу.

Наполеон и кондуит

В кондуит я попал очень скоро.

Надо было докупать кое-какие учебники. С мамой и братишкой мы поехали в Саратов.

Занятия уже начались. Заполнялась первая страница гимназического дневника. Повернулись первые страницы учебника, открывшие массу важного и интересного. Я чувствовал себя весьма ученым. Пароходик «Клеопатра», на котором мы ехали, шел мимо давно знакомого острова Осокорья. А я уже видел не просто остров, но «часть суши, со всех сторон ограниченную водой»...

В Саратове, купив учебники, мы зашли сниматься. Фотограф навеки запечатлел негнущуюся фуражку с гербом и новые ботинки. Потом мы гуляли по Немецкой. Фуражка стояла над головой, как венец у святых на иконе. Ботинки скрипели и пели, будто орга́н.

Мы зашли в кафе-кондитерскую «Жан». Мама заказала кофе

с пирожными наполеон. В кафе было прохладно и полутемно. В зеркале блестели герб моей фуражки и носки ботинок. Напротив сидел невероятно прямой, сухой господин в форменной фуражке. Господин разговаривал с дамой и смотрел в нашу сторону. Глаза у него были тусклые, снулые, как у рыбы на кухонном столе. Я вгляделся в него, и... наполеон застрял у меня в глотке, как в снегах России. Это был наш директор — Ювенал Богданович Стомолицкий.

Я вскочил, с губами, липкими от волнения и пирожного. Я поклонился. Сел. Опять встал. Директор кивнул головой и отвернулся.

Мы вышли. По дороге, у дверей, я еще раз поклонился. День был испорчен. Наполеон беспокойно бурчал в животе...

На другой день на большой перемене в класс вошел наш классный наставник. Он потребовал мой дневник и на кондуитной страничке написал:

Воспитанникам средних учебных заведений воспрещается посещать кафе, хотя бы и с родителями.

Второгодник Кузьменко, взглянув на запись, сказал:

— Эге! Здорово! Это ловко: уже в кондуит попал. Молодец, брат. Хвалю за храбрость!

Я, признаться, сначала здорово струсил. Но тут приободрился. Равнодушно пожал плечами:

— Втяпался. Черт с ним!

А кондитерские с тех пор мы стали называть «кондуитерские».

П. Г.

Покровская мужская гимназия была похожа на все другие мужские гимназии. Холодные кафельные полы, мытые мокрыми опилками. Длинный коридор. Классы. В коридоре — короткий прибой перемен и отлив уроков.

Звонок. Лязгающий звон его имел два выражения. Одно, в конце урока,— веселое, хихикающее, беззаботное:

«Дунь!.. Жизнь — дребедень!»

Другое — в начале урока, когда кончается перемена. Брюзжащая, злая морда:

«Дррать вас надо, дрянь!»

Уроки. Уроки. Уроки. Классные журналы. Кондуит. «Вон из класса!», «К стенке!».

Молитвы, молебны. Царские дни. Мундиры. Шитая позументом тишина молебнов. Руки по швам. Обмороки от духоты и двухчасового неподвижного стояния.

Сизые шинели. Сизая тоска. Дни листались страницами дневника. Расписание. Что задано? Балл — отметка. Подписью классного наставника кончалась неделя. И только воскресенье, самый короткий день в неделе, не имело своей графы в дневнике. Все остальное было отчеркнуто «от сих до сих».

§ 18. Воспитанникам средних учебных заведений запрещается с 1 ноября по 1 марта пребывать вне дома после семи часов вечера.

§ 20. Воспрещается посещение воспитанниками театров, кинематографов и прочих увеселительных заведений без особого на то разрешения г. инспектора для каждого раза. Безусловно воспрещается посещение кондитерских, кафе, ресторанов, мест публичного гулянья и т. д.

Примечание. В г. Покровске таковыми местами являются: Народный сад, Базарная площадь и железнодорожные платформы.

Так было написано в наших гимназических «билетах», и всякий поступок, нарушающий святость устава, грозил кондуитом. Говорят: все дороги ведут в Рим. В гимназии все дороги вели в кондуит. Жизнь каждого сизяка (гимназиста) была вписана в кондуитный журнал. Штрафы, «безобеды», выговоры, исключения из гимназии... Страшная это была книга! Тайная книга, «Голубиная книга».

Есть такое предание, что «Голубиная книга» упала много веков тому назад с неба и написано было в ней будто бы про все тайны мироздания. Замечательная такая книга, вроде кондуита для планет. И никто из мудрецов не смог прочесть ее целиком и понять: слишком глубоки были ее тайные смыслы. Вот такой «Голубиной книгой» казался нам, гимназистам, кондуит, ибо тайны его свято блюлись начальством Никто не смел и думать о том, чтоб прочесть кондуитные записи.

Голуби-сизяки

Сизяками называют диких голубей. Сизяками нас дразнили за сизые шинели, которые мы должны были носить. В «Голубиную книгу», в кондуит, была вписана жизнь трехсот «диких голубей». Триста голубей томились в силке.

Город Покровск раньше был слободой. Слобода Покровская. Слобода была богатая. На всю Россию торговала хлебом. На берегу Волги стояли громадные, пятиэтажные деревянные, с теремками, амбары. Миллионы пудов зерна хранились в этом амбарном городке. Тучи голубей закрывали солнце. Зерно грузили

на баржи. Маленькие буксирные пароходы выводили громадные баржи из бухты, как выводит мальчик-поводырь слепца.

Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты, лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян. Летом калились до синевы под степным солнцем, гоняли верблюдов. Ездили на займище, дрались на берегу. Гонялись на лодках с саратовцами. Зимой пили. Справляли свадьбы, танцуя по Брешке. Лущили подсолнухи. Зажиточные хуторяне собирались в волостном правлении «на сходку». И, если подымался вопрос о постройке новой школы, о замощении улиц и т. д., горланили обычную «резолюцию»:

— Нэ треба!

Болота и грязь затопляли слободские улицы. Так жили в слободе Покровской, в семи верстах от Саратова.

И вот великовозрастные сыны этой степной вольницы, хуторские дикари, дюжие хлопцы, были засажены за парты Покровской гимназии, острижены «под три нуля», вписаны в кондуит, затянуты в форменные блузы.

Трудно, почти невозможно описать все, что творилось в Покровской гимназии. Дрались постоянно. Дрались парами и поклассно. Отрывали совершенно на нет полы шинели. Ломали пальцы о чужие скулы. Дрались коньками, ранцами, свинчатками, проламывали черепа. Старшеклассники (о, это господствующие классы!) дрались с нами, первоклассниками. Возьмут, бывало, маленьких за ноги и лупят друг друга нашими головами. Впрочем, были такие первоклассники, что от них бегали самые здоровые восьмиклассники.

Меня били редко: боялись убить. Я был очень маленький. Все-таки раза три случайно валялся без сознания.

На пустырях играли в особый «футбол» вывернутыми телеграфными столбами и тумбами. Столб надо было ногами перекатить через неприятельскую черту. Часто столб катился по упавшим игрокам, давя их и калеча.

Сдували, списывали, подсказывали на уроках безбожно и изощренно. Выдумывали хитроумнейшие способы. Изобретались сложные приборы. Механизировались парты, полы, доски, кафедры. Была организована «спешная почта», «телеграф». Во время письменных ухитрялись получать решения из старших классов.

Некоторые «назло учителям» нарочно горбились. Так, уродуя себя, согнувшись в три погибели, они стояли в углах, куда их ставили «на выпрямление». Дома же это были прямые, стройные парни.

В классах жевали макуху (жмых), играли в карты, фехто-

вали ножами, меняли козны и свинчатки, читали Ната Пинкертона. На некоторых уроках половина класса стояла у стенки, четверть отдыхала и курила в уборной или была выгнана из класса. За партами лишь кое-где торчали головы.

В классах жгли фосфор — для вони. Приходилось проветривать класс, и заниматься было невозможно.

Под учительскую кафедру прикрепляли пищалку. Во время урока потянешь за ниточку — игрушка пищит. Учитель бегает по классу — пищит. Учитель обыскивает парты — пищит.

— Встаньте и стойте!

Класс на ногах — пищит.

Приходит инспектор — пищит. Весь класс сидит два часа без обеда.

Пищит...

Гимназисты воровали на базаре, дрались на всех улицах с парнями. Били городовых. Учителям, которых невзлюбили, наливали всякой гадости в чернила. На уроках тихонько играли на расщепленном пере, воткнутом в парту. У расщепленного пера звук нестерпимый, зудящий, как зубная боль: зинь-ицив...

Директор

Директор Ювенал Богданович Стомолицкий был худ, высок, несгибаем и тщательно выутюжен. Глаза у него были круглые, тяжелые, оловянные. За это прозвали его «Рыбий Глаз».

Рыбий Глаз был ставленником прославившегося своей мерзостью министра народного просвещения Кассо. Больше всего на свете Рыбий Глаз любил муштровку, тишину и дисциплину. Каждый день, когда кончались уроки, он становился у выхода из раздевалки. Одевшись, мы должны были проходить мимо директора, останавливаться, снимать фуражку за козырек (обязательно за козырек!) и низко кланяться.

Один раз я торопился домой и снял фуражку не за козырек, а за околыш.

— Стой! — сказал директор.— Иди обратно и пройди еще раз. Надо кланяться как следует.

Он никогда не кричал. Голос у него был пустой, бесцветный, как жестянка из-под консервов. Распекая, он говорил: «Скверный мальчишка». Это было самым грозным ругательством в его устах. Это пахло всегда тройкой по поведению и другими неприятностями.

Всюду, где он ни появлялся, будь то класс или учительская,

стихали разговоры; все, встав, напряженно молчали. Становилось душно. Хотелось открыть форточку, громко закричать.

Любил Рыбий Глаз неожиданно зайти в класс во время урока. Класс вскакивал с дробным грохотом парт. Учитель краснел, закашливался на полуслове и казался сам накурившимся гимназистом.

Директор садился у кафедры и следил за тем, чтоб вызываемые ученики сначала кланялись ему, а потом уже преподавателю. А когда приехал однажды попечитель округа, старенький, седой, с большой звездой, то директор, придя с ним в класс, показывал глазами тем, кого вызывали, что сначала надо кланяться попечителю, потом ему, директору, а потом учителю.

В кондуите по милости директора были такие записи:

Глухин Андрей был встречен г. директором в шинели, надетой внакидку. Оставить на четыре часа после уроков. Гавря Степан... был замечен г. директором на улице в рубашке с вышитым воротником. Шесть часов после уроков. Авдотенко Николай без разрешения не посетил занятий 13 и 14 октября. Оставить на двенадцать часов в классе (в два праздника).

(У Авдотенко Николая 13 октября умерла тетка, у которой он жил.)

Попечитель, приезжавший из округа, остался доволен директором.

— Я доволен, милоштивый гошдарь,— шепелявил он директору.— Порядок у ваш обращцовый.

Учительская

В конце коридора, вправо от кабинета директора, была учительская. Материки и океаны, свернутые в трубку, стояли в углу за шкафом. Громадные круглые очки земных полушарий смотрели со стены. В стекле шкафа отражались «мы, божией милостью» — голубая лента, сусальная бородка, пробор с зачесом, ордена,— «царь Польский и прочая и прочая». (Портрет царя висел напротив.) В шкафу лежал кондуит. Кривая белка на шкафу пускала облезшим своим хвостом «гусара в нос» богине. Богиня была старая и гипсовая. Звали ее Венерой. Когда шкаф открывали, богиня легонько качалась, словно собираясь чихнуть. Шкаф открывали тогда, когда надо было достать кондуит. Ключ от шкафа хранился у надзирателя Цезаря Карпыча. Мы его звали Цап-Царапычем и изводили всячески. Он был кривым и ходил со стеклянным глазом... Это Цап-Царапыч всеми сила-

ми скрывал. Но стоило ему только повернуться к нам искусственным глазом, как ему уже строили безобразные рожи, показывались «носы», кукиши... Новички, не знавшие, что этим глазом Цап-Царапыч не видит, преклонялись перед храбростью озорников. Цап-Царапыч был автором доброй половины кондуитных записей. Это на его обязанности лежало следить за поведением учеников в гимназии и вне ее.

Он ловил нас на Брешке, где гимназистам гулять запрещалось. Искал гимназистов по улицам после семи. Приходил на дом, чтоб убедиться, действительно ли болен отсутствующий ученик. Подстерегал гимназистов у кинематографа «Пробуждение». Он рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита. Все же гимназисты умудрялись проводить его самым наглым образом. Однажды, например, он настиг целую компанию шестиклассников в кинематографе «Пробуждение». Гимназисты скрылись в ложе и заперлись там. Цап-Царапыч пошел за городовым. Стали ломать дверь ложи. В зале уже шел сеанс. Тогда шестиклассники оторвали портьеры ложи, связали их одну с другой и спустились по ним в зал. Сначала на экране появились чьи-то болтающиеся ноги, а затем прямо на головы зрителей свалились гимназисты. Публика всполошилась. В суматохе шестиклассники удрали через запасный выход.

Тюлевые полосы папиросного дыма плавали в учительской, обвивая глобусы и чучела птиц. Рядом с кондуитным шкафом стоял стол, на котором лежали комплекты прилежаний и вниманий, единиц и пятерок всех учеников — классные журналы. Их во время перемен просматривал обычно инспектор.

Инспектор

Инспектора Николая Ильича Ромашова гимназисты почти любили. Это был красивый плотный человек. Волосы ершиком. Гемные прищуренные глаза. Языкаст он был, однако, до грубости.

И у него были свои собственные методы воспитания. Если, например, какой-нибудь класс совершал коллективное преступление или не хотел выдать виновных, Ромашов являлся туда после уроков. Он медленно входил в класс и становился перед вытянувшимися гимназистами. Затем, высоко задрав голову, оглядывал класс. Борода его, казалось, мела нас по головам.

— Дежурный,— спокойно-зловеще говорил инспектор,— а ну-ка, дежурный... закрой дверь. Тэ-э-эк-с.

Дежурный плотно закрывал дверь. Гимназисты, проголодав-

шиеся и уставшие после пяти уроков, стояли не шелохнувшись. Ромашов продолжал разглядывать класс сквозь бороду. Потом он вынимал из кармана книгу, садился за кафедру и углублялся в чтение. Класс стоял. Десять минут. Полчаса...

Просидев так с часик, инспектор вдруг откладывал книгу в сторону и негромким, но звучным баритоном начинал спокойно отчитывать:

— Ну-с! Что, болваны? Доостолопились, хулиганы, брандахлысты, голубятники?! У-у, «хохландия»!.. Голодранцы! При всей честной гимназии ошельмую, головотяпы! Шарлатаны! Галахи! Лодыри! Эй, чей это там дурацкий затылок? А-а, это твой, Гавря? Я, кстати, ведь и о тебе говорю. Чего рожу воротишь? Сам — первейший оболтус! Ну, что? Стыдно небось, обормоты? Мерзавцы! Оборванцы! Я еще доберусь до вас, прохвосты. Сидите вот теперь всем классом без обеда. А дома-то обед ждет. Щи горячие. Говядина жареная. Дух идет.— И инспектор щелкал языком и крутил носом.— Что? Хочется жрать? То-то и оно-то. А дома еще батька зад взгреет. Обязательно. Я записку специальную пошлю: спустите, дескать, вашему сыну штаны и всыпьте ему в задний кондуит по первое число... Нечего смеяться, лоботрясы. Шалопаи! Го-ло-во-ре-зы! Безобедники! Срам!

И, погрозив так около часа, отпускал домой. По одному, промежутками. Нас уже не держали ноги.

Агнцы и козлищи

Всех гимназистов Ромашов делил на «козлищ» и «агнцев». Так и знакомил нового преподавателя с классом.

— Садись, лоботрясы!.. Это вот, изволите видеть,— агнцы, зубрилки, пятерочники, дурохлопы. А вот тут — единичники, двоечники, второгодники, безобедники, горлодеры, лодыри, «камчатка», «сахалин», «хохландия»... Алеференко! Спрячь живот в ранец. Выпятил!

Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между «пятерочным», задним левым углом класса, и «двоечным», передним правым, существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа и сдувания.

Сказание об Афонском Рекруте

Восемь непонятных записей хранит на своих страницах кондуитный журнал. Восемь загадочно одинаковых записей, помеченных одним днем. Вот что написано в кондуите восемь раз:

Ученику... такому-то... объявлен строжайший выговор с последним предупреждением за злостные хулиганские проступки. Отметка в поведении за четверть 4 — (4 с минусом). Двадцать часов лишения праздника. Предупреждены родители. Классный наставник такой-то (подпись). Надзиратель (подпись).

Восемь записей этих скрывают в себе скандальную и трагическую историю, взволновавшую в свое время весь город. Но никому не известны развязка этой истории, ее конец и истинные участники. В кондуите ни слова нет о фараоне Козодаве, Афонском Рекруте и шалманском дворце мадам Коленкоровны. Покойный гимназический сторож Мокеич поведал мне тайну кондуита. Об этом я и хочу рассказать.

Первый звонок

Лет восемнадцать назад в городе не было электрических звонков. Висели на крылечках проволочные ручки, ну вроде тех, какие в уборной бывают. За ручки дергали. Но вот приехал в слободу (Покровск был тогда еще слободой Покровской) новый доктор, про которого говорили, что он очень уважает науку и технику. Действительно, доктор выписал «Ниву» и провел у себя в квартире звонки с электрическими батареями. На двери рядом с карточкой выпятился беленький кукиш кнопочки звонка. Пациенты нажимали кнопочку, и тогда в передней оживал голосистый звонок. Это страшно всем нравилось. Доктор приобрел громадную практику, а в слободе завелась повальная мода иметь электрический звонок на парадном крыльце. Через пять лет не осталось почти ни одного домика с крылечком, на котором не было бы кнопочки. Звонки звенели на разные голоса. Одни трещали, другие переливались, третьи шипели, четвертые просто звонили. Около некоторых кнопок висели вразумляющие объявления: «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка».

Покровчане гордились своим культурным звоном. О звонках говорили с нежностью и увлечением. При встрече справлялись о здоровье звонка:

— Петру Степановичу! Мое вам... Ну, як ваш новенький? Справил мастер?

— Спасибо, справил. О це ж и гарный звоночек. Милости просим послухать. Чистый канарей.

Свахи, расхваливая невесту, хвастали:

— Дом за ей дают флигерем, на парадном звонок ликстрический.

А слободской богач Млынарь завел у себя семь разных звонков на все дни недели. Самый веселый разливался по воскресеньям. В постные дни дребезжали большие звонки самого мрачного тембра.

Когда какой-нибудь звонок переставал вдруг звонить, хозяин сейчас же посылал за Афонским Рекрутом. Рекрут врачевал старые звонки, ставил новые и слыл лучшим «звонковым мастером» в слободе. Слава его была велика. В слободской летописи он занимал столь же почетное место, как Сапсаево озеро — лучшее и поныне болото в Покровске, как Лазарь — лучший из извозчиков, здравствующий и сейчас, как пожар амбаров — лучший из пожаров.

Шалман

Афонский Рекрут жил на базаре, у мясных, пахнущих кровью рядов, в шалмане. Так называли свое неуютное, грязное жилье обитатели его. Рядом с шалманом была большая яма. На дне ее вечно стояли вонючие лужи, и собаки волочили петли кишок, комья требухи, облепленные золотисто-зелеными мухами. Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скобяной ряд.

В шалмане жил Афонский Рекрут. Откуда взялся он, почему его звали так, какого роду-племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех, худ, гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серьга. Из-под горбатого носа торчали длинные и черные усы. Левый ус загибался кверху, правый — книзу, и усы были похожи на кран умывальника. Белоснежные зубы всегда сверкали в улыбке. Руки были вечно заняты какой-нибудь работой. А руки у Рекрута были, что называется, золотые. Все умел делать. Был механиком, парикмахером, фокусником, часовщиком — чем хотите.

Он был самым уважаемым человеком в шалмане. Все слушались его и любили. Никто не видал его сердитым. Даже когда в шалмане вспыхивала ссора, обнажались ножи,— даже тогда ярче их блистала улыбка Афонского Рекрута. Он, словно из-под земли, появлялся между ссорившимися, разнимал их и, взлетев балаганным чертом на нары, кричал:

— Поштенный публик! Киляля! Последний новейший фокус-покус черной, белой и полосатой с крапинками магии. Мадамы, мусьи и джентльмены! Атанде трошки! Гляйх их бин демонстре фокус-покус! Америк! Аллюра-шкидла!

Из кармана его летели коробки, шарики. Все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу, папиросы зажигались из рукавов. Живот пел женским голосом. А рваный ботинок разевал рот и говорил: мерси... В шалмане позабывали про ссору.

Хозяйство в шалмане вела полусумасшедшая Дунька Коленкоровна. Любимцем ее был дурачок Костя Гончар. У Кости была безобидная мания навешивать на себя всякие яркие вещи. По городу он ходил в лохмотьях, на которых висели картинки из «Нивы», крышки чайных ящиков, рекламы папирос «Бабочка» и «Ю-Ю», ландриновские коробки[1], бусы, бумажные цветы, карты, обрывки сбруи, сломанные ложки. В городе его любили, как блаженненького, и дарили разные яркие ненужные вещички. До сих пор в Покровске про человека, одевшегося слишком ярко и пестро, говорят:

«Ось! Понарядился, как Костя Гончар».

Любил заглядывать в шалман фараон Козодав — городовой, охранявший порядок на базаре. Козодав имел все, что полагается иметь образцовому городовому: свирепые усы, бляху, свисток, шашку-«селедку», хриплый раскатистый бас, нос сливой, медаль и шнурочные красные погоны, служившие предметом зависти Кости. Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Коленкоровны, подуться в картишки и побеседовать «за жизнь» с мудрым коммивояжером Иосифом Пукисом.

А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец-шарманщик Гершта с попугаем, который умел тащить билетики «счастья», чахоточный китаец Чи Сун-ча и два друга, два вора — Шебарша и Кривопатря.

Черт и «младенцы»

По вечерам в шалман пробирались гимназисты. Здесь можно было пожевать макуху, отдохнуть в хорошем обществе, забыть на часок разграфленную гимназическую жизнь, не боясь нарваться на Цап-Царапыча, сыграть в «очко». Здесь никто не спрашивал, какая отметка будет в четверти по русскому, готовы

---

[1] Ландриновские коробки — ландрин — дешевые конфеты-леденцы, названные по фамилии выпускавшего их фабриканта Ландрина.

ли уроки на завтра. Мы были здесь желанными гостями. Вместе с нами жители шалмана горячо возмущались гимназическими порядками, и многие даже готовы были бить латиниста за несправедливую единицу. Особенно горячился тихий вообще Чи Сун-ча.

— Какой зилая латыня,— говорил он, вырезая фестоны из разноцветной бумаги,— лас холосо, засем единиса?

Мы приносили в шалман интересные книжки, последние новости, наши гимназические завтраки, безделушки для Кости Гончара. Взамен мы приобретали некоторые полезные сведения и навыки по части вырезывания замков, чистки ретирад и приемов одесского джиу-джитсу.

Но Афонский Рекрут любил поспорить о прочитанной книге и втягивал нас в эти споры. Над ним сперва потешались: связался, дескать, черт с младенцами, но вскоре в спорах стали принимать участие почти все шалманские обитатели. Кроме того, один из «младенцев», Васька Горбыль, так отлупил Шебаршу, что к гимназистам стали относиться с полным уважением. Сначала читали легкие книжки. Так мы проплыли «80 000 лье под водой», нашли «Детей капитана Гранта», чуть сами не потеряли головы с «Всадником без головы». А потом Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, принес под полой и другие книжки. Затаив дыхание слушал шалман о парижских коммунарах.

Тайна этих посещений сохранялась гимназистами очень строго.

Даже в классах многие не знали, где проводит время так называемая Биндюгова шайка. Когда в шалман неожиданно заходил Козодав, книжки тотчас прятались, а фараону преподносилась рюмочка. Разомлевший фараон таинственно сообщал:

— Слышь, гимназеры? Раньше как через полчаса не вылазьте. Ваш Цап-Царапыч по Брешке шныряет. Я тогда скажу, как можно станет.

Во саду ли...

В сентябре в Народном саду поредела листва, побурел кохий. Сад стал похож на вытертый воротник старой шубы.

В сентябре на главной аллее гимназисты затеяли с парнями драку.

Пятиклассник Ванька Махась гулял с гимназисткой. Сидящие на скамейке парни с Бережной улицы стали «зарываться».

— Эй, сизяк! Ты с нашей улицы девчонок не замай.

Махась отвел гимназистку к фонтану. Сказал:

— Я извиняюсь. Одну секунду. Я в два счета.

Потом вернулся на аллею, подошел к парню и молча ударил. Парень слетел со скамейки на проволоку, огораживающую аллею. И сейчас же вся аллея покатилась в одной общей, сплошной драке. Дрались молча, потому что на соседней аллее сидели преподаватели. Парни тоже понимали это и считали нечестным кричать и тем подводить противников.

Проходившие сторожа разняли дерущихся. Появление Цап-Царапыча окончательно прекратило побоище.

И тогда городская дума попросила директора внести в список запрещенных для гимназистов мест и Народный сад. Директор с полной готовностью согласился. Гимназисты лишились последнего места для гуляния. Они пробовали протестовать, но родительский комитет одобрил приказ директора.

«Идем на вы!»

В тот же день в шалмане состоялось экстренное и тайное совещание. Из гимназистов присутствовали лишь Биндюг и Атлантида.

Атлантида был вне себя от негодования.

— Нет,— волновался он,— это просто чертовщина какая-то! И так носу сунуть никуда не дают, а тут еще это... Плюю я после этого на весь Покровск.

— Знаете, что я вам предложу? — сказал Иосиф.— Пошлите попечителю телеграмму с оплаченным назадом. Нельзя же молчать. Ведь это прямо какая-то черта оседлости для гимназистов. Тут нельзя, там нельзя... А где можно? Я знаю где?..

— Аллюра-шкидла! Да какие тут к чертям телеграммы! — перебил его Рекрут.— Нет, тут надо поварить котелком. Иесь!

— Размордовать!.. И никаких! — весело посоветовал с верхних нар Кривопатря. Он лежал, свесившись, и сосредоточенно плевал, стараясь попасть в кольцо из сведенных пальцев.

— Нет! — твердо сказал Атлантида.— Этот номер не пройдет, тут треба всему городу накласть... Они все виноваты. И дума и комитет. Черти свиные!.. И чтоб не всыпаться самим. А то как засвистишь из гимназии... Вот тут и мозгуй.

— У нас ребята дружные,— добавил Биндюг,— как насядем гуртом — держись!

Стало тихо. Заговорщики задумались. Капало с крыши.

Вдруг Иосиф вскочил, хлопнул безжалостно себя по лбу и воскликнул:

— Эврика! Эврика, что значит по-гречески «нашел»! Блестящая идея зародилась в этой голове... Что?

— Да ну, не тяни ты, ради бога! Говори, что ли!

— Что это за колоссающий шум? Вы где, в гимназии или в порядочном шалмане?

— Скажешь ты или нет? Тянет, черт тебя не дери...

— Тсс! Прошу соблюдать тишину! Моя идея — идея-фикус! Она имеет для всех нас только хорошие стороны — и ни одной плохой. Так слушайте же вы... В чем исключается моя заключительная. То есть наоборот! В чем заключается моя исключительная идея. Вы берете и делаете так...

И Иоська стал тощими своими пальцами, как ножницами, стричь воздух. Он стриг таким образом воздух несколько минут, потом обвел всех сияющим взглядом и сказал торжественным шепотом:

— Звонки...

Манифест

Для проведения «звонкорезной» компании Биндюг назначил восемь отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты:

«Ребята! Нам запретили шляться по Народному саду. (Посмотри, не смотрит ли на тебя кто!) Против нас стоят Рыбий Глаз, Дума, Родительский. Выходит, против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб.

У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя! Мы, Комитет Борьбы и Мести, решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора.

В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет Борьбы и Мести лично. Мы проведем «варфоломеевскую ночь» [1] в смысле звонков! Ребята! Режьте без пощады! Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения.

В каждый класс назначаются от Комитета Борьбы и Мести старосты. Слушайтесь их, господа! Ввиду опасности выкидки даем клички.

---

[1] Варфоломеевская ночь — так называют кровавую резню, устроенную накануне дня святого Варфоломея, 24 августа 1572 года в Париже, во время которой католики избивали гугенотов — приверженцев враждебного им религиозного направления.

1 класс	«Маруся»
2 »	«Свищ»
3 »	«Атлантида»
4 »	«Дондер-Шиш»
5 »	«Цибуля»
6 »	«Сатрап» («Тень отца Хамлета»)
7 »	«Мотня» («Я — житель»)
8 »	«Царь Иудейский»
Главный	«Биндюг»[1].

Срезанные звонки сдаются классному старосте. Он передает их через Комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и др. О дне «варфоломеевской ночи» будет дан старостами сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле.

Не надо ломать большой звонок в учительской, а то догадаться можно кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок... Режь звонки!

Один за всех!

Все за одного!

Да живет Борьба и Месть!

Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды.

Ком. Б. и М. 1915 г.».

И пошли гулять по гимназии манифесты под шепот подсказки, в толчее перемен, в накуренной вони уборной. Двести шестьдесят восемь шинелей висело в раздевалке. Двести шестьдесят шесть подписей собрали манифесты. Не дали манифеста сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде.

Война была объявлена.

«Сорванные голоса»

Через пять дней главари собрались поздно вечером в шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах, там, где бывал обычно многоводный «Саводник» и брюхатый цифрами «Киселев»[2], лежали

[1] Почти все гимназисты имели свои клички. Некоторые имели даже по нескольку. Например, «Мотня» звался еще также «Я — житель». Прозвище это дали ему за то, что, спрягая в латинской письменной работе глагол «инколо» (населять), он спутал его с «инкола» (житель) и всюду, переводя на русский, спрягал: «я житель, ты житель, он житель...»

[2] «Саводник» и «Киселев» — фамилии авторов учебников литературы и математики старой гимназии.

срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопочки (раз нажмешь — звонит без конца) смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашенных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия.

Весь город записался в очередь к Афонскому Рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал Рекрут новые звонки, ставил «сорванные голоса», как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, Рекрут сказал Биндюгу:

— Крой! Через неделю.

В субботу была грязь. Не одна галоша захлебнулась в лужах, не один резиновый бот затонул на главной улице Покровска. Когда же, теряя галоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладонью от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал: новые звонки срезаны!..

— Шо ж таке? — волновались на другой день в церкви на обедне, на углах улиц, на завалинках, у ворот.— Матерь божия! Середь белого дня... грабеж. Мабуть, вони целой шайкой шкодят?..

— Як же!.. Поставила я тесто та и вышла трошки с шабрихой покалякать, с Баландихой. Ну, а у хате Гринька бильшенький мой, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить... шась! Нема, бачу, звоночка... И не было никого округ...

И не знала бедная кума, что ее-то «бильшенький», курносый пятиклассник Гринька, сам и срезал звонок...

Земский и сын

Уныние царило в городке. Новых кнопок уже не ставили. Гимназисты торжествовали. На всех дверях печально пустовали невыгоревшие светлые кружки с дырками от гвоздей.

Только земский начальник позвал Афонского Рекрута.

— Ставь новый! — сказал земский.— Ставь, подлец! Да крепче! Знаю я вас, чертей афинских... Все ваши шахер-махеры знаю.

Земский погрозил пальцем. Рекрут насторожился.

— Нечего, нечего прикидываться! Знаю. Норовишь, чтоб чуть держался, поставить. Чтоб легче хулиганам этим было. Вам, архаровцам, одна выгода. Они сорвали, а тебе, черномазое жу-

лье, заработок. Ну, на этот раз шалишь! Я городового поставлю. Круглые сутки дежурство.

Рекрут привинтил новый звонок и побежал в шалман, где ждали его гимназисты. Рекрут объявил:

— Земскому новую пупырку присобачил. Резать нельзя. Фараон караулить будет.

— Плевал я на всех фараонов! — упрямо крикнул гимназист Венька Разуданов, сын земского начальника, по прозвищу Сатрап. Коренастый, упрямоголовый, он сильно смахивал на отца. (Отсюда и пошло его второе прозвище — Тень отца Хамлета.)

— Послушайте, вы, воинствующий мальчик,— сказал Иосиф Пукис,— что это за апломбированный тон? Как бы вы не сняли вместо звонка вот эту гербовую фуражку. Зачем залазить на рожон? Осторожность прежде всему.

— Верно, Сатрапка, смотри... Если вляпаешься — вот! Приложу... — И Биндюг поднес к носу Сатрапа свой чудовищный колотушкообразный кулак.

Как всегда, кулак подвергся тщательному и любовному обсуждению. Все щупали кулак и восхищались:

— Дюжий кулак! Поздоровче моего.

— Хороший кулак в наше время лучше неважной головы,— философствовал Иосиф.

— Холеси кулак,— восхитился Чи Сун-ча,— такой кулак палаходя босьман. О! Зюбы ньет!

— А звонок я все-таки срежу! — упрямо буркнул сын земского.

Глава почти кинематографическая, в которой читатель, видя наверху ноги, а внизу голову, может крикнуть автору: «Рамку!»

Тьма.

Потом, когда глаза наши привыкли, мы видим дверь с дощечкой: «Земский начальник Геннадий Вениаминович Разуданов». Около — новенькая кнопочка звонка. Площадка второго этажа. Кусок лестницы. Внизу, под лестницей,— голова с длинными усами и толстым носом. Фуражка с кокардой. Это Козодав. Ему холодно. Он ежится. Он подымает воротник. Он часто моргает. Глаза слипаются. Козодаву хочется спать.

Часы в столовой земского начальника показывают два. На столе стакан молока и бутерброд. Кому-то оставлено...

По лестнице подымаются ноги. Резиновые галоши в грязи. Одна нога спотыкается о ступеньку:

— Тьфу, дьявол! Темно, как у негра под мышкой.

Вспыхивает спичка. Рука в изящной перчатке подносит спичку к звонку. Спички одна за другой долго вспыхивают и тухнут.

— Ну, на этот раз Рекрут постарался!

Внизу голова Козодава. Наверху ноги в резиновых галошах.

Козодав, который на минутку заснул, очухавшись, тяжело взбегает наверх...

— Ага! Попался! — Надувшись, топорща усы, он свистит. Другой рукой он поймал неизвестного за шиворот. Свистит.— Карррраул!.. Пымал!

Неизвестный спокойно оборачивается и властно отрывает от себя руку полицейского. Это сын земского, Венька Разуданов. Он негодует:

— Ты что, болван, спятил? А? Заставь дурака...

— В... в... винов... ват-с! Не признал в темноте-с. Сделайте божескую милость, простите. Думал, за звонком кто...

Дверь раскрывается. Земский в женином капоте, с двустволкой в руках вылезает на площадку, и из-за его спины выглядывают испуганные, заспанные лица жены, свояченицы и прислуги.

— В чем дело?!

Козодав стоит вытянувшись, рука к козырьку. Веня объясняет:

— Этот дурак со сна принял меня, папа, очевидно, за бандита. А звонок сам проспал.

Все смотрят на дверь. Там, где только что был звонок,— обрывки проводов и дырочка от гвоздей. Все поворачиваются к Козодаву. Козодав подходит к дверям, не верит глазам, щупает место. Потом разводит руками. Земский трясет его за шиворот:

— Вон, мерзавец! Проспал!

Венька разыгрывает обиженного и взволнованного.

— Я так устал, мама. Занимался все время... А тут это...

Ну, тут идут дела семейные. Поцелуй, там, диафрагма — словом, конец главы.

Из кармана Венькиной шинели торчат обрезанные провода и упорно поблескивает кнопка.

Фараон вызывает Иосифа

Пристав сказал Козодаву:

— Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы! Слышишь? Оскандалился, черт тебя бы не взял, на весь город!.. Поймаешь — пятьдесят рублей награды. Нет — так ты у меня попрыгаешь, бляха номер два ноля!

Фараон с рвением взялся за розыски.

Он шел по базару... Не шел, а плыл. Красные шнуры погон на его богатырских плечах взлетали, как весла, в людской реке базара. И на базаре Козодав встретил Костю Гончара — шалманского блаженного, пестрого Костю. Разукрашенный, как рождественская елка, бродил Костя по базару. Две новые реликвии лучились на его брюхе: реклама галош «Треугольник» и... большая красная розетка с кнопкой от звонка. Увидев звонок, фараон кинулся к Косте. Он пообещал Косте, если тот скажет, откуда у него звонок, подарить красные погоны, золотые висюльки и все, что угодно. Костя, улыбаясь, рассказал все... Рассказал, как украл звонок из-под нар Рекрута.

— Рекрут сховал, а я пошукал трошки та и взял... Там их сколько много!.. Раз, та еще двадцать раз, та еще...

Козодав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки «Манифеста Борьбы и Мести». Главари были в руках. Чтоб словить остальных, фараон решил соблазнить Иосифа. Он явился в шалман и сел на его нары, дипломатически покашливая.

— А-а, господин лейб-городовой,— приветствовал его Пукис,— вы до меня? Чем могу быть нужным?

Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок.

— Ох, Иосиф, як бачу я, и хитрый же ты! А ну-ну, расскажи, як с Рекрутом звоночек срезали. Я никому ни-ни. Так, послухать охота. Ну, брось корежиться.

— Я ни капли вас не понимаю.— Иосиф сделал удивленно-спокойное лицо.— Хотя я и Иосиф, а вы фараон, но я не могу понять, откуда вам это приснилось...

Козодав вынул бумажник и зашелестел радужными бумажками. Иосиф спокойно продолжал:

— И потом, мне кажется, не в обиду вам пусть сказано, что вы, господин лейб-городовой, вы колоссающий обер-подлец!

Козодав погрозил кулаком, хлопнул дверью и вышел. По дороге он остановился. Вынул манифест. Начало и конец были оборваны, но список старост остался нетронутым. Поразмыслив, Козодав вырезал из манифеста Сатрапа, сына земского начальника. «Земский за эту бумажку пятишку даст,— решил городовой,— а не то и его сынка попрут». Поправив фуражку, фараон пошел в участок, а оттуда в гимназию, к директору...

Шаги в коридоре

Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В десять телефонная барышня соединила звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор, зеленый, как обои его кабинета, и медлительно-безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресло, снял трубку и поднес ее к уху.

— Да,— сказал он,— слушаю.

В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали: по коридору прошли двое. У этих двоих были тяжелые незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжко и кряжисто, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал, тренькал. В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.

Развязка

В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрипели перья. Биндюг сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка-Атлантида, у которого сердце тоже екнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку:

«Свинья не выдаст, директор не съест».

Но свинья выдала... Дверь класса раскрылась. Класс грохнул партами. Вошел мерзостно-ликующий Цап-Царапыч, играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал кондуит. Цап-Царапыч вызвал:

— Гавря! К директору!

Атлантида растерянно вырос над партой. Цап-Царапыч заторопил:

— Ну, живо! Поворачивайся. Книги возьми с собой...

Класс взволнованно загудел. С книгами!.. Значит, совсем. Не вернется...

Биндюг ждал, словно под удар наклонив голову, но Цап-Царапыч молчал. Козодав, убоявшись Биндюговых кулаков, вырезал и его из списка.

Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел

что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков...

Биндюг расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходившей у Биндюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог. С минуту Биндюг сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван, грудь, избычился и решительно сказал:

— Можно выйти?

— До конца урока осталось десять минут,— сказал учитель.

— Можно выйти? — упрямо выдохнул Биндюг и шагнул в проход.

— Идите, если вам так приспичило.

Замерший класс увидел, что Биндюг собрал книги, торопясь, попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе.

Не оглядываясь, Биндюг вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюг почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном немении покинутого им класса полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедрой тонкий хохот и перешел в захлебывающийся визг. Это на первой парте, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный...

Биндюг расправил плечи и зашагал в кабинет директора.

Восемь

Козодав сопел. Он сопел и тыкал пальцем в стоящих перед ним гимназистов.

— Так точно! Это вот — Свищ. А этот-с — Атлантида-с. Ихняя кличка такая-с.

Другой, позванивая шпорами, раскачивался, откинувшись на спинку стула, и крутил черные усики:

— Так-с, так-с... Ай да конспирация!.. Так-с, молодые люди.

Семеро стояли перед столом. Семеро, так как сына земского начальника не было. Копоть тоски и отчаяния оседала на лица.

— Так. Отлично,— сказал резко и сухо директор, словно щепка треснула,— благодарю вас... Ну-с, скверные мальчишки! Что вы можете сказать? Стыд! Срам! Позор! Кто был еще с вами? Не скажете? Скверные, отвратительные мальчишки. Маро-

деры! Вы все будете исключены. Вы позорите герб. Разговоры бесполезны. Пришлите родителей. Мне их очень жалко. Иметь таких детей — большое горе для родительского сердца. Дрянь.

Семеро вскинули глаза и тяжело вздохнули. Родители... Да... Сейчас дома будут слезы матери. Ругань. Отодвинутый с грохотом стул отца. Может быть, оплеуха. Стынущий обед... «Водовозом будешь, скотина!..» Пустые дни впереди.

И Царь Иудейский грубо сказал:

— Не будем касаться родителей, Ювенал Богданыч! И так тошно.

— Молчать! Вы что, волчий билет[1] захотели, скверный мальчишка?

В это время вошел Биндюг. Он уперся в край стола. Стол заскрипел. Биндюг, тяжело двигая челюстью, разжевал:

— Я тоже, Ювенал Богданыч... Я... их главный.

— Ну что ж. Можешь считать себя свободным. Ты тоже исключен.

В раздевалке стало меньше на восемь шинелей.

Восемь человек побрели по размякшей площади, увязая в грязи, согнувшись под тяжестью ранцев и беды. В последний раз они оглянулись на гимназию, и один из них — это был Биндюг, в классе из окна видели — злобно погрозил кулаком. И в классах всем, кто видел их, захотелось кричать, трахнуть кулаком по парте, опрокинуть кафедру, догнать ушедших... Но в классах сидели гимназисты. А гимназистам запрещалось шуметь и быть товарищами, пока им не разрешал этого звонок, отмеривающий порции свободы.

Перья скрипели и кляксили.

Пукис-бенефициант

А к середине пятого урока в тихий коридор вошел серьезный Иосиф Пукис. Мокеич, сторож, опилками мыл пол. Иосиф вежливо поздоровался и сказал вкрадчиво:

— Господин обер-швейцар! Мне бы так треба видеть господина директора. Дело идет о жизни и наоборот.

Директор принял Иосифа в учительской. Директор торопился:

— Ну-с? Чем могу?.. Э-э... Прошу не задерживать.

— Господин высший директор,— начал Иосиф,— я — старый блуждающий еврей, и я вижу на вашем лице семейное сча-

---

[1] «Волчий билет»— исключение из гимназии с запрещением поступить в другое учебное заведение.

стье. Бьюсь об закладку, ваши дети не будут ходить босы и наглы...

— Короче! — сухо перебил директор.— У меня нет детей. И кроме того, нет времени...

— Одно маленькое мгновение, господин директор. Вы сегодня исключили восемь ребят. За что вы их исключили, я вас спрашиваю? А я имею право спрашивать? Нет! И еще двадцать раз нет. Но у меня мягкое сердце. А когда мягкое сердце, так нельзя молчать. Мне очень жалко за мальчиков. А еще больше мне жалко за родителей, которые нянькали и росли этих мальчиков. Господин директор, у вас нет детей. Дай вам бог, чтобы они у вас были. Вы не знаете, как это — ой-ой-ой — больно, когда приходит ваш мальчик и...

— Будет! — Директор встал.— Бесполезный разговор. Выход на улицу вон в ту дверь.

— Одну маленькую минуточку! — закричал Иосиф, хватая директора за рукав.— А вы знаете, что эти звонки, чтоб они пропали, резали все ваши мальчики? Сколько учится их у вас всего?

— Двести семьдесят два учились до сего дня,— машинально ответил директор.

— Так из них резало двести шестьдесят самое меньшее. Что вы на это скажете? А что, если я скажу, что ваш лучший ученик, сын господина высшего земского начальника, дай бог ему здоровья, резал, и даже лучше многих? Полиция вам показала кусочек.

И Иосиф вынул полный манифест и показал директору. Директор побледнел. Подписи всех восьми классов стояли на манифесте. Директор брезгливо протянул Пукису руку:

— Садитесь... пожалуйста...

Тогда Иосиф изложил свой план. Мальчиков принимают в гимназию обратно. Полиция делает обыск в шалмане и находит звонки. Афонский Рекрут пока скроется. С ним все уже договорено. Все будут думать, что звонки резали бродяги из шалмана, гимназисты будут оправданы. Скандал будет потушен. Если же директор не примет обратно мальчиков, весь город, вся губерния, весь учебный округ узнает завтра же и о порядках в Покровской гимназии, и о том, как ведут себя дети земских начальников...

— Хорошо,— выдавил директор,— они будут приняты обратно. Мы им запишем только в кондуит.

И он вынул бумажник.

— Сколько вам следует за это,— спросил директор,— за это... и еще за то, чтобы вы молчали?

Иосиф вскочил. Иосиф перегнулся через стол. Иосиф сказал:

— Господин директор! Вам не придется платить мне, господин директор... Но, клянусь памятью моей матери, да будет ей земля пухом и прахом, что будет такое время, когда вам заплатят и я, и мы, и те восемь, которые пошли, как выгнатые собаки... и заплатят с хорошими процентами!

Так кончается сказание об Афонском Рекруте.

«Журавли» и «лебеди»

После скандала со звонками гимназия временно как будто немного притихла. Кровопролитные мордобития, кражи и дебоши стали пореже. Зато режим в гимназии сделался еще суровее.

И Цап-Царапыч то и дело потрясал гипсовые основы античного искусства, отпирая шкаф с кондуитным журналом и беспокоя преклонных лет Венеру.

Строжайше были запрещены прогулки по платформе и Народному саду. Серая, тоскливая нудь сочилась изо дня в день, с одной странички учебного дневника на другую. Кондуит свирепствовал. На уроках у стен выстраивались рядами наказанные. В журналах выстраивались осенними журавлями косяки носатых единиц. Лебедями плыли двойки.

Три «Е» и «Тараканий Ус»

Особенно рьяно разводил «журавлей» и «лебедей» учитель латинского языка Вениамин Витальевич Пустынин, прозванный за длинные, торчком стоящие усы «Тараканий Ус», или, «по-латыни», «Тараканиус».

Была у него и другая весьма распространенная в нашем классе кличка — «Длинношеее».

Был Тараканиус худ, носат и похож на единицу. Шея у него была длиннющая, по-верблюжьи раскачивалась она над крахмальным воротником с острыми углами. Однажды на уроке Гавря, желая потешить класс, спросил Тараканиуса:

— Вениамин Витальевич! Хотя у нас сейчас не русский, объясните, пожалуйста: ведь есть такое слово, которое на три «е» кончается?

— Есть,— ничего не подозревая, ответил Тараканиус,— есть! Например, вот: «длинношеее».

Класс грохнул. Гавря, торжествуя, сел. С того дня Тарака-

ниуса в классе и всюду встречали три громадные буквы «Е». Они глядели с классной доски, с кафедры, с сиденья его стула, со спины его шубы, с дверей его квартиры. Их стирали. Назавтра они появлялись снова.

Тараканиус бледнел, худел и ставил единицы в тетрадках и дневниках. У него была страсть к маленьким тетрадочкам, куда мы записывали латинские слова. Вызывая на уроке ученика, он непременно каждый раз требовал, чтобы у нас на руках была эта тетрадка.

— Тэк-с,— говорил он,— урок, я вижу, ты усвоил. Ну-с! Дай-ка тетрадочку. Посмотрим, что у тебя там делается... Что?! Забыл дома?! И смел выйти отвечать мне урок без нее! Садись. Единица.

И никакие просьбы, никакие мольбы не спасали. Единица!

В нашем классе были два ученика — Алексеенко и Алеференко. Однажды Алексеенко забыл пресловутую тетрадочку. Тараканиус вошел в класс, воссел на кафедре, надел пенсне и негромко вызвал:

— Але... ференко!

Алеференко, сидевший позади Алексеенко, пошел к кафедре. Алексеенко, которому со страху почудилось, что вызвали его, вскочил и уныло пробасил:

— Я тетрадку забыл, Вениамин Витальевич... со словами...

И замер от ужаса: к кафедре подходил Алеференко.

«Обознался!.. Ой, дурак!..»

Тараканиус невозмутимо обмакнул перо в чернила.

— Ну, собственно, я не тебя, а Алеференко вызывал. Но раз уже сам сознаешься, получай по заслугам.

И поставил единицу.

Историческая гвардия

Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе.

Идет!

Все за партами разом вскочили.

Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор. Худое, совсем молодое бледное лицо. Громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась ласково набок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал.

Класс на ногах.

Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафед-

ру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик:

— Кто!.. там!! смеет!!! садиться?!! Я еще не сказал... «садитесь»... Встаньте и стойте!!! И вы там!!! И вы!!! И вы! Негодяи! Остальные — сесть. Руки на парту. Обе. Где рука? Встаньте и стойте! А вы — к стенке!!! Прямо! Ну... Тишина! Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте! Молчать!

Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжеты левой руки блестит золотой браслет — подарок какой-то легендарной помещицы.

Четырнадцать человек стоят. Урок идет томительно долго. Ноги затекли. Наконец учитель смотрит на часы. Щелкает золотая крышка.

Стоящие нерешительно покашливают.

— Простудились? — спрашивает заботливо историк.— Дежурный, закройте все форточки: на них дует.

Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раза два на часы, историк вдруг говорит:

— Ну, гвардия, садитесь...

Ровно через минуту всегда звонит звонок.

Среди блуждающих парт

Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина. Но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной: Матрона Мартыновна. Мы не спорили.

До третьего класса она звала нас «малявками», от третьего до шестого — «голубчиками», дальше — «господами».

Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок буйно, как бурьян на задворках, росли усы, а басок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали урок у кафедры, так несло махоркой, что бедную Матрону едва не тошнило.

— Не подходите ближе! — вопила она.— От вас, пардон, несет.

— Пирог с пасленом ел,— учтиво объяснял малявка,— вот и несет от отрыжки.

— Ах, мон дье! При чем тут паслен? Вы же насквозь прокурены...

— Что вы, Матре... тьфу! Матрона Мартыновна! Я же некурящий. И потом... пожалуйста... пы-ыжкэтэ ла класс?[1]

От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешения выйти, как Матрена расплывалась от счастья. Вообще же она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре. Молчит. И мы молчим. Потом по команде Биндюга парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умели ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами — в пол. Когда весь класс оказывался у кафедры, мы тихонько хором говорили:

— Же-ву-зем... же-ву-зем... же-ву-зем...

Матрена Мартыновна открывала глаза и видела себя окруженной со всех сторон съехавшимися партами. А Биндюг вставал и трогательно, галантно басил:

— Вы уж нас пардон, Матрона Мартыновна! Не серчайте на своих малявок... Гы... Зачеркните в журнальчике, а то не выпустим...

Матрена таяла, зачеркивала.

Класс отбивал торжественную дробь на партах. «Камчатка» играла отбой. Парты отступали.

Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей «франзели», и мы вместо «же-ву-зем» стали говорить «Новоузенск». Же-ву-зем и Новоузенск — очень похоже. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города.

Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так, однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали галоши Цап-Царапыча. Когда же раз перед уроком, встав на дыбы, помчалась кафедра, под которой сидел Биндюг с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел два часа без обеда.

---

[1] Искаженное «Пюи ж китэ ля класс?», что по-французски значит: «Могу ли я покинуть класс?»

Царский день

С утра в окно виден трепыхающийся, слоенный белым, синим и красным флаг.

На календаре — красные буквы:

«Тезоименитство его величества...»

У церкви Петра и Павла — колокол с трещиной:

«Ан-дрон!.. Ан-дрон!.. Ан-дрон!..

Ти-ли-лик-нем помаленьку...

Тилиликнем помаленьку...»

К одиннадцати — в гимназию. Молебен.

В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона божьего бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор. Суетится маленький волосатый регент.

Два часа навытяжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам. Тишина. Жара. Душно...

— Многая лета! Мно-огая ле-ета!..

— Николай Ильич... Боженов рвать хочет...

— Тс-с-с... Тихо! Я ему вырву!..

— Многая ле-е-ета-а...

— Николай Ильич... он, ей-богу, не сдержит... Он уже тошнит...

— Тс-с-с!

Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам. Второй час на исходе.

— Бо-о-же, царя храни!

Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет:

— Ура!

— Урррра-а-а-а-а-а!!!!

Коридор сотрясается. Директор еще раз:

— Ура!

— Урррраааааа!!!!!

Еще раз... Эх, раз, еще раз!..

— Ура-а!

— А-а-а-а-а... ыак...

— Николай Ильич, Боженов уже блюет на пол...

— ...Боже, царя храни...

Боженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот.

«Наука умеет много гитик»

Уже давно Аннушка сообщила нам, что «наука умеет много гитик». Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много... этого самого... гитик... Что такое «гитик», никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии «гитас» следовало сразу «Гито» — убийца американского президента Гарфильда. А гитика между ними не было.

Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту.

— От кого ты слыхал это слово? — спросил в затруднении самолюбивый латинист.

И второгодники затихли, предвкушая.

— От нашей кухарки... — ответил я при шумном ликовании класса.

— Иди в угол и стой до звонка,— перебил меня вспыхнувший латинист.— В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок... Болван! Заткни фонтан!

И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов.

В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый Некто, купивший $25\frac{3}{4}$ аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение.

Место на глобусе

Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскали ей местечко в Южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето, а ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет.

Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть островов Океании. Северные границы швамбранского материка, доходя до экватора, цвели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктики.

Потом я вытряхнул на швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал:

— Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов... а сто диких балканов как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас — как залает...

И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар... А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.

Происхождение негодяев

Мы росли. В моем почерке буквы уже взялись за руки. Строчки, как солдаты, равнялись направо. А повзрослев, мы убедились, что в мире мало симметрии и нет абсолютно прямых линий, совсем круглых кругов, совершенно плоских плоскостей. Природе, оказалось, свойственны противоречия, шероховатость, извилистость. Эта корявость мира произошла от вечной борьбы, царящей в природе. Сложные очертания материков также являли след этой борьбы. Море вгрызалось в землю. Суша запускала пальцы в голубую шевелюру моря.

Необходимо было пересмотреть границы нашей Швамбрании. Так появилась новая карта.

Но тут мы заметили, что борьба лежит не только в основе географии. Какая-то борьба правила всей жизнью, гудела в трю-

ме истории и двигала ее. Без нее даже наша Швамбрания оказывалась скучной и безжизненной. Игра становилась стоячей, как вода в болоте. Мы не знали еще тогда, какая борьба движет историю. В нашей уютной квартире мы не могли познакомиться с великой, всепроникающей борьбой за существование. И мы тогда решили, что все это — войны, перевороты и т. д.— просто борьба хорошего с плохим. Вот и все. И, чтобы швамбранская игра развивалась, пришлось поселить в Швамбрании нескольких негодяев.

Самым главным негодяем Швамбрании был кровожадный граф Уродонал Шателена.

В то время во всех журналах рекламировался «Уродонал Шателена», модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях уродонала обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой. Этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. Все это мы решили считать преступлениями кровожадного графа.

Верхний этаж мира

Крыши домов хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швамбранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия. Перелезая с крыши на крышу, можно было, не касаясь земли, обойти весь квартал. А потом хорошо было к вечеру смотреть на небо, лежа на остывающем железе между трубой и шестом скворечника. Близкое небо плыло над головой, и крыша плыла против облачного течения. На мачте насвистывал вахтенный скворец. День, как большой корабль, подваливал к вечеру. День поднимал красные весла заката и бросал во двор тени, когтистые, как якоря.

Но хождение по крышам строго запрещалось. Дворник Филиппыч с метлой охранял надземные края. Он был бдителен и неумолим.

Хозяева чужих дворов, увидев меня громыхающим по их крышам, кричали: «Довольно бессовестно докторовым детям по крышам галашничать!» — хотя я не понимал, почему, собственно, дети врачей рождены ползать лишь по земле! Но это проклятое «докторовы дети» вечно преследовало нас и обязывало к благовоспитанности.

Однажды Филиппыч выследил меня. Он гнался за мной, громыхая по железу. На соседнем дворе, куда я хотел спрыгнуть, спустили с цепи грозного барбоса. На другом дворе стоял хозяин в розовых кальсонах и жилетке. Он гарантировал, со своей стороны, «проборцию и ушедрание»... Но тут я заметил у соседнего брандмауэра лестницу. Я показал Филиппычу язык и спасся на третий двор.

Лапта в сирени

Дворик, куда я попал, был весь в деревцах. Деревья взбили лиловую пену сирени и маялись ее изобилием. Садик цвел тучно и щедро.

За своей спиной я услышал легкий топот. Из садика выбежала веселая девочка с длинной золотой косой, со скакалкой в руках. Она принялась внимательно разглядывать меня. Я стал задом отходить к калитке.

— Мальчик, отчего вы торопитесь? — спросила девочка.

— От дворника,— сказал я.

У девочки были черные прыгающие меткие глаза, похожие на литые мячи, которыми мы играли в лапту. Я чувствовал, что мне не «отпастись». Но бежать было нельзя. Та же лапта учила: один на один — не нарываться.

— Вы дворников боитесь? — спросила она.

— Неохота связываться,— сказал я басом,— а так я чихал на них левой ноздрей через правое плечо.

И я засунул руки в карманы. Девочка посмотрела на меня с уважением.

— Как это — через плечо? — спросила она.

Я показал. Немного помолчали. Потом девочка спросила:

— А вы в каком классе?

— В первом,— сказал я.

— И я в первом,— обрадовалась девочка.— А у вас классный господин строгий?

— У нас вовсе наставник, а не господин.

— А у нас дама,— сказала девочка.— Злющая — ужас!

Опять немного помолчали.

— А у нас,— сказала девочка,— одна ученица умеет ушами двигать. Ей завидуют все.

— Это что! — сказал я.— А вот в нашем классе есть один — до потолка плюет... Эх и здоровый! Одной левой всех борет. А кулаком может прямо парту сломать... только ему не позволяют. А то он, честное слово, сломал бы.

Опять молчание. На соседнем дворе захлюпала шарманка. Я в поисках темы для разговора оглядывал двор. Дом плыл в небе. Большой змей с мочальным хвостом замотался над крышей. Он козырнул, выправился и солидно задрынчал.

— А у меня пряжка никогда не пожелтеет,— сказал я неожиданно,— потому что никелированная. Можете, пожалуйста, потрогать...

И я снял пояс. Девочка с вежливым интересом пощупала пряжку. Я расхрабрился, снял фуражку и показал, что на внутренней стороне козырька химическим карандашом написаны мои имя и фамилия, чтобы не пропала. Девочка прочла.

— А меня Тая зовут, по-настоящему — Таисия Опилова,— сказала она.— А вас Леня, да?

— Леля,— ответил я.— Разрешите... очень приятно познакомиться...

— Леля? Это женское имя! — насмешливо протянула Тая.

— Если б женского рода, то с мягким знаком было бы,— убежденно заявил я.

Так состоялось знакомство.

Первая швамбранка

Теперь я, вольный сын Швамбрании, каждый день спускался с крыши в сиреневую долину, и Тае Опиловой суждено было стать швамбранской Евой. Оська был против. Он кричал, что ни за какие пирожные не примет играть девчонку. Действительно, до сих пор в Швамбрании девочки не водились. Я же доказывал Оське, что во всех порядочных книгах красавиц похищают и спасают, и в Швамбрании теперь тоже будут похищать и спасать. Кроме того, я приготовил для первой швамбранки замечательное имя: герцогиня Каскара Саграда, дочь герцога Каскара Барбе. Даже в журнале «Нива», с обложки которого я взял это имя, было, помнится, написано, что это звучит «легко и нежно». Оська принужден был согласиться, и я начал понемножку посвящать Каскару, то есть Таю, в дела Швамбрании. Она сначала ничего не понимала, но потом стала немного разбираться в истории и географии материка Большого Зуба. Она обещала строго хранить тайну.

Окончательно я покорил Таю, когда, нацепив бумажные эполеты, заявил, что иду на войну с Пилигвинией и привезу ей трофей.

На другой день я вернулся из пилигвинской кампании. Я скакал по крыше с трофеями в руках. Трофеи составляли два

сливочных пирожных. Ей и мне. От моего пирожного уголок отъел Оська.

Я спрыгнул со стены и остолбенел. Рядом с Таей гулял по садику незнакомый мальчишка в форме воспитанника военного кадетского корпуса. Он был гораздо старше и выше меня. У него были настоящие погоны, настоящий штык, и вообще он зазнавался.

— А! — воскликнул он, увидя меня.— Это и есть ваш швамброман?

И я понял, что Тая все рассказала ему...

— Послушайте,— развязно продолжал кадет,— вы, штатский юноша... Вам не стыдно называть барышню такими неприличными названиями?!!! Вы знаете, что такое Каскара Сагрда?.. Это пилюли от запора, извините за выражение. Эх вы, шпак[1] несчастный!.. Сразу видно — докторский сынок...

Это напоминание взорвало меня.

— Кадет, на палочку надет! — крикнул я и полез на крышу.

Половинкой пирожного я запустил в кадета. Полтора пирожных я съел сам.

Потом я лег на крышу и стал переживать. Надо мной насвистывал вахтенный скворец. Одинокий и гордый, я плыл в Швамбранию, и день, как корабль, подплывал к вечеру. Закат поднял красные весла, и во двор упали тени, когтистые, как якоря.

— К черту! — сказал я.

Но это относилось не к Швамбрании.

Дух времени

Театр военных действий

В доме идет бой. Брат идет на брата. Дислокация, то есть расположение враждующих сторон, такова: Швамбрания — в папином кабинете, Пилигвиния — в столовой. Гостиная отведена под «войну». В темной прихожей помещается «плен».

Я на правах старшего, разумеется, швамбран. Я наступаю, прикрываясь креслом и зарослью фикусов и рододендронов.

---

[1] Шпаки — так презрительно называли офицеры царской армии всех невоенных, штатских.

Братишка Ося окопался за пилигвинским порогом столовой. Он кричит:

— Бум! Пу!.. Пу!.. Леля!.. Я же тебя вижу, уже два раза убил... А ты все ползешь. Давай сделаем «чур, не игры»!

— Не «чур, не игры», а перемирие! — сердито поправил я.— И потом, ты меня не убил до смерти, а только контузил навылет.

В прихожей, то бишь в «плену», томится Клавдюшка с соседнего двора. Она приглашена в игру специально на роль пленной и по очереди считается то швамбранской, то пилигвинской сестрой милосердия.

— Меня будут скоро свободить с плену? — робко спрашивает Клавдюшка, которой начинает докучать бездельное сидение в потемках.

— Потерпишь! — отвечаю я неумолимо.— Под давлением превосходных сил противника наши доблестные войска в полном порядке отступили на заранее приготовленные позиции.

Это выражение я заимствовал из газет. Ежедневные сообщения с фронта пестрят красивыми и туманными словами, которые прикрывают разные военные неприятности, потери, поражения, бегство армий, и называется все это звучно и празднично: «Театр военных действий».

На парадных картинках в «Ниве» франтоватые войска церемонно отбывают живописную войну. На крутых генеральских плечах разметались позолоченные папильотки эполет, и на мундирах дышат созвездия наград. На календарях, папиросных коробках, открытках, на бонбоньерках храбрый казак Кузьма Крючков бесконечно варьирует свой подвиг. Выпустив чуб из-под сбитой набекрень фуражки, он расправляется с разъездом, с эскадроном, с целой армией немцев... На гимназических молебнах провозглашают многая лета христолюбивому воинству. Мы, гимназисты, обвязанные трехцветными шарфами, продаем по улицам флажки союзников. В кру́жках, в тех самых, что остались от «белой ромашки» [1], бренчат дарственные медяки. Мы с гордостью козыряем стройным офицерам.

Мир полон войны. «Ах, громче, музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...» Воззвания, манифесты... На подлинном собственной рукой его императорского величества начертано: «Николай»... Война, большая, красивая, торжественная, занимает наши мысли, разговоры, сны и игры.

Мы играем только в войну.

...Перемирие кончилось. Мои войска бьются на подступах к прихожей. На поле брани неожиданно появляется нейтральная

---

[1] В «День белой ромашки» проводился сбор пожертвований для борьбы с туберкулезом.

Аннушка и требует немедленного освобождения Клавдии из плена: ее ждет на кухне мать.

Объявляется «чур, не игры», то есть перемирие. Мы бежим на кухню. Мать Клавдии, соседская кухарка, женщина с вечно набрякшим лицом, сидит за столом. Серый конверт лежит перед ней. Она здоровается с нами и осторожно берет письмо.

— Клавдюшка,— говорит она, растерянно теребя конверт,— от Петруньки пришло. Попроси уж молодого человека устно прочесть. Как он там жив... Господи...

Я вижу на конверте священный штамп «Из действующей армии». Я почтительно принимаю письмо из руки. Пропасть уважения и восторга скопилось в кончиках пальцев. Письмо оттуда! Письмо с войны!.. «Марш вперед, друзья, в поход, черные гусары!», «На подлинном собственной рукой его величества...».

И я читаю вслух радостным голосом:

— «...и еще, дорогая мама Евдокия Константиновна, спешу уведомить вас, что это письмо подписую не собственной рукой, как я будучи сильно раненный в бою, то мине ее в лазарете отрезали до локтя совсем на нет...»

Потрясенный, я останавливаюсь... Клавдина мать истошно голосит, припадая сразу растрепавшейся головой к столу. Желая как-то утешить ее и себя тоже, ибо я чувствую, что репутация войны сильно подмочена близкой кровью, я нерешительно говорю:

— Он, наверно, получит орден... серебряный... Будет георгиевский кавалер...

Кажется, я сморозил основательную глупость?!

Вид на войну из окна

В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч болен. Его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексёв.

На площади перед гимназией происходит учение — строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда:

— «Ах, цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон!..»

— Равняйсь! Первой, второй... рассчитайсь!

— «Раскудря-кудря-кудря-ку... раскудрявая моя!»

— Ать-два! Ать-два!.. Левой!.. Шаг равняй...

— «Дружно, ребята, в поход собирайся!..»

ЖУЗЬМА
КРЮЧКОВЪ

— Как стоишь, сатана? Равняйсь! Стой веселей!..

— Здра-жла-ваш-дит-ство!..

— Вперед коли, назад коли, вперед прикладом бей! Бежи ще раз!.. Арш!..

— Ыра-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

Из широко разверстых ртов, из натруженных глоток лезет с хрипом, со слюной надсадное «ура». Штыки уходят в чучело. Соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева.

— Кто это там в окно загляделся? Мартыненко, ну-ка, повторите, что я сейчас сказал.

Огромный Мартыненко, по прозвищу Биндюг, отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает.

— Ну, что я сейчас объяснил? — пристает Гнедой Алексёв.— Не слышал... в окно любовался... Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?

— Он... это...— бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает: — Он равняется направо... Первый, второй, рассчитайся... Плюс ряды сдвоенные...

Класс хохочет.

— Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!

— Слушаюсь! — рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки.

Классу совсем весело. Перья поют.

— Мартыненко, убирайтесь вон из класса! — приказывает педагог.

Мартыненко командует сам себе:

— К церемониальному... равнение на кафедру... По коридору... арш!

— Это что за шалопайство! — вскакивает преподаватель.— Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!

— Чубарики-чубчики...— доносится в форточку.— Как стоишь, черт? Три часа под ружье... Чубарики-чубчик...

Первое орудие, чхи!

Бац!!! За доской выстрелила печка... Трррах!!! Та-та... Кто-то, зная ненависть Самлыкова к выстрелам, положил в голландку патроны. Учитель, бледнея, вскакивает. По классу ползет вонючий дым. Учитель бежит за доску. По дороге он наступает на невинный комочек бумаги. Класс замирает. Хлоп!!! Комочек с треском взрывается. Педагог отчаянно подпрыгивает. Едва другая его подошва коснулась пола, как под ней происходит

новый взрыв. Класс, подавившись немым хохотом, сползает со скамеек под парты. Взбешенный учитель оборачивается к классу, но за партами ни души. Класс безлюден. Мы извиваемся, мы катаемся от хохота под скамейками.

— Дрянь! — кричит в отчаянии учитель.— Всех запишу!!!

И он осторожно, на цыпочках, ступает к кафедре. Подошвы его дымятся. Он достает с кафедры табакерку — надежное утешение в тяжелые минуты, но в табакерку, которую он перед уроком оставил на минуту на подоконнике в коридоре, нами уже давно всыпан порох и молотый перец.

Гнедой Алексёв втягивает взволнованными ноздрями понюшку этой жуткой смеси. Потом он застывает с открытым ртом и вылезающими на лоб глазами. Ужасное, раздражающее ап-чхи сотрясает его.

Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота.

Мартыненко, подняв руку, командует:

— Второе орудие, пли!

— Гага-аап-чхи!!! — рявкает несчастный Самлыков.

— Третье орудие...

— Чжщхи!.. Ох!

Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный чих педагога привлекли его.

— Что здесь происходит? — холодно спрашивает директор, оглядывая багрового педагога и великопостные рожи вытянувшихся гимназистов.

— Они... Ох! Ао!..— надрывается Гнедой Алексёв.— Чжихи!.. Ох!.. Чхищхи!..

Тогда дежурный решается объяснить директору:

— Ювенал Богданыч, они все время икчут и чи́хают...

— Тебя не спрашивают! — говорит, начиная догадываться, директор.— Скверные мальчишки!.. Геннадий Алексеевич, будьте добры ко мне в кабинет!

Чихая в директорскую спину, Алексёв плетется за Стомолицким.

Больше в класс он уже не возвращается.

Мы избавились от Гнедого Алексёва.

Классный командир и ротный наставник

— Время пахнет порохом! — говорят взрослые и сокрушенно качают головами.

Запах пороха пропитывает гимназию. Классы огнеопасны.

Каждая парта — пороховой склад, арсенал и цейхгауз. Кондуит ежедневно регистрирует:

У ученика IV класса Тальянова Виталия, пытавшегося бежать «на войну», отобран г. надзирателем, при задержании на пристани, револьвер системы «Смит и Вессон» с патронами и краденый чайник, принадлежавший старьевщику и им опознанный. Вызваны родители.

У ученика II класса Щербинина Николая обнаружены в парте: один погон офицерский, темляк от шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъяты из ранца: обломок штыка, револьвер «пугач», шпора, кисет солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната (разряженная). Оставлен после уроков дважды по три часа.

Ученик V класса Маршутин Терентий якобы неумышленно выстрелил в классе на уроке из самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели.

У гимназистов гремящая походка: карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище, за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в «нолики и крестики». Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог и иные несказуемые ароматы армейского тыла.

Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии, и рядовыми 214-го пехотного полка царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских яств мы получаем желанные предметы армейского обихода: пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замаранный смолой погон прапорщика каптенармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада «Гала-Петер» и пять отцовских папирос «Триумф».

— И то продешевил,— сказал при этом Сидор Долбанов.— Так только, по знакомству, значит. Как вы, гимназеры, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно, как наш брат солдат... и форма и ученье. Верно я говорю?

Сидор Долбанов любит говорить о просвещении.

— Только, брат, военная наука,— философствует он, упиcывая нашу колбасу,— военная наука вникания требует, а с ней ваше ученье и не сравнять. Да. Это что там арихметика, алгебра и подобная словесность... А ты вот скажи, если ты образован-

ный: какое звание у командира полка — ваше высокородие аль ваше высокоблагородие?

— Мы этого еще не проходили,— смущенно оправдываюсь я.

— То-то... А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя?

— Строгий,— отвечаю я.— Чуть что — к стенке, в кондуит и без обеда.

— Ишь, истукамен! — посочувствовал Сидор Долбанов.— Выходит, дьявол, вроде нашего ротного...

— А у вас есть ротный наставник? — спрашиваю я.

— Не наставник, а командир, съешь его раки! — важно поправляет Долбанов.— Ротный командир, его благородие, сатана треклятая, поручик Самлыков Геннадий Алексеич.

— Гнедой Алексёв! — изумленно выпаливаю я.

Братики-солдатики

Старшие гимназисты гуляли по Брешке с прапорщиками. Хотя это и нарушало правила, однако для доблестного офицерства делались исключения. Рядовые козыряли. Гимназистки кокетливо щипали корпию. Мы завидовали.

Однажды во время урока в класс вошел инспектор. Борода его выглядела умильно и почтительно.

— В город прибыли первые раненые из действующей армии,— сказал инспектор.— Мы пойдем встречать их... Эй, «камчатка», я кому говорю? Тютин! Ты у меня, дубина стоеросовая, останешься на часок, шалопай!.. Так вот, говорю, выйдем всей гимназией встречать наших славных воинов, которые, это... того... пострадали за государя и веру православную... Словом, живо в пары! Только чтоб на улице держать себя как подобает. Слышите? А не то я вас... башибузуки, галашня, вертихвосты! Архаровцы! Шальная команда! Смотрите у меня!

Улицы были заполнены народом. Висели трехцветные флаги. Раненых по одному везли в разукрашенных экипажах городских богачей. Каждого солдата поддерживала дама из благотворительного кружка, одетая сестрой милосердия. Все это было похоже на свадебный кортеж. Городовые отдавали честь.

Раненых поместили в новеньком лазарете в бывшей приходской школе. Там хозяйничали запыхавшиеся дамы. Тут же в большой палате был устроен торжественный концерт. Умытые, свежевыбритые, надушенные фронтовики, обложенные подушками, бонбоньерками, коробками конфет, сконфуженно слушали

громогласные речи «отцов города». Некоторые держали украшенные бантиками костыли.

Наш четвероклассник Швецов продекламировал стихотворение «Бельгийские дети». За его спиной выстроились шесть второклассников и гимнастическими движениями сопровождали чтение. Гимназистка Разуданова, дочь земского начальника, сыграла на рояле «Жаворонка» Глинки. Раненые неловко ерзали и беспокойно ворочались. Последним выступил фармацевт из частной аптеки — поэт и тенор. После этого с кровати поднялся высокий белесый солдатик и робко прокашлялся.

— Просим! Просим! — закричали все, аплодируя.

Когда все стихло, раненый сказал:

— Дозвольте сказать... Господин доктор, и уважаемые господа дамочки, и сестрицы, и подобные... Мы, значит, через все это... ваши милости... очень к вам благодарны. Только бы... нам, виноват, извините, маленько насчет, чтобы, значит, это... поспать требуется, в дороге-то три дня не спамши...

Дух времени

В бараках пороли солдат. В офицерском собрании какой-то прапорщик назвал другого армянской мордой. Оскорбленный выстрелил в обидчика и убил его наповал. Раненых везли с фронта как попало и клали уже куда попало...

Потом взяли Перемышль. Лабазники, субъекты из пригорода Краснявки, кое-кто из чиновников прошли по улицам, неся впереди, как икону, портрет царя. Они заражали воздух воплями, трехцветным трепыханием и перегаром денатурата. Словно торжество подогревалось на спиртовке.

Опять ходил по классам инспектор. Он парадно нес свою бороду, торжественную, раздвоенную, победоносную, как хоругвь.

Мы вышли на крыльцо гимназии, чтобы приветствовать манифестантов. По знаку директора мы кричали «ура». И было что-то гнусное в этой горланящей толпе. Казалось, что пойдут вот сейчас бить окна, убивать людей... Какая-то тупая, душная, непреодолимая сила двигалась на нас и давила сознание. Это было похоже на ощущение попавшего в самый низ кучи малы, когда тебя, беспомощного, плющит навалившееся беспросветное удушье и нет даже возможности протолкнуть крик...

Однако все обошлось. Только ночью отца — доктора — вызывали спасать какого-то опившегося денатуратом «патриота».

Манифестация произвела сильнейшее впечатление на Оську. Оська был великий путаник, подражатель и фантаст. Для каж-

дого предмета он находил совершенно новое предназначение. Он видел вторую душу вещей. В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал... отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденья самоварную трубу, и получился пулемет «максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя и не совсем благопристойно. Но на другой день после манифестации Оська организовал на дворе швамбранское и совершенно кощунственное шествие. Клавдюшка несла на половой щетке чьи-то штаны со штрипками. Они изображали хоругвь. А Оська нес пресловутое сиденье. В дыре, как в раме, красовался вырезанный из «Нивы» портрет императора Николая Второго, самодержца всероссийского.

Негодующий дворник доставил манифестантов к папе. Он грозил пожаловаться в полицию. Но, опустив в карман небольшое папино даяние, быстро смирился.

— Дети, знаете, очень чутко улавливают дух времени,— глубокомысленно твердили взрослые.

Дух времени, очень тяжелый дух, пропитывал все вокруг нас...

Нас обучают войне

Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтоб показать примерный бой. Кругом было холодно и бело.

Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».

Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыхание на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.

Полковник сказал:

— Атака.

Фигурки побежали, деловито произнося «ура».

— Всё,— сказал полковник.

— Кто же победил? — заинтересовалась публика, ничего не поняв.

Полковник подумал и сказал:

— Те победили.

Потом полковник предупредил, глядя вверх:

— А сейчас ударит бомбомет.

Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.

Бой кончился.

Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая остуженные глотки.

Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.

Забеспокоилась толстая начальница.

— Подпоручик! — крикнул полковник.— Это что за балаган? Отставить!

Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков.

— Вот так вояка! — кричали гимназисты.— У нас в третьем классе его сын учится. Вон стоит.

Все захохотали. Солдатик подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту.

Третьеклассник, его сынишка, стоял опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.

Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.

— Очень стреляли? — спросил Оська.

— Ты знаешь,— сказал я, — война — это, оказывается, ни капельки не красиво.

Серый в яблоках

Кончался 1916 год; шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год — это совершенно недетский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда...».

Оська, прогудев отходный, отбыл в ночную Швамбранию.

А ко мне пришел в гости мой товарищ — одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.

Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воз-

дух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.

— Идем погуляем,— предложил Гришка.

Но, как известно, выходить на улицу после семи часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту — рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.

Я сразу представил себе, как он выкырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит:

«Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!»

Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.

— Ничего,— сказал Гришка Федоров,— он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит небось уписывает.

Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.

Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.

У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.

«Тпру» по-немецки?..

И тут мне в голову пришла отчаянная затея.

— Гришка,— сказал я, сам робея от собственной дерзости,— Гришка, давай прокатимся. Цванциг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.

Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.

Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:

— Но! Двигай!.. Поехали!..

Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.

— Он, наверно, только по-немецки знает,— сказал Гришка и громко закричал: — Эй, фортнаус!

Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес — он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!

— Знаешь, Гриша,— предложил я,— давай заедем за Степкой Гаврей, он тут, за углом, живет, мы успеем.

Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.

— Стой, приехали. Тпру!

Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади.

— Знаешь что, Гришка? — сказал я.— Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только... Лучше Лабанду захватим, он вон где живет.

Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.

Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.

— Гришка, а как он вообще останавливается?..

Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело.

— Тпру, стой! — что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.

Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.

— Не понимает, наверно, по-нашему! — с ужасом сказал Гришка.— А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.

— Не надо ехать больше! Тпру! Стой, довольно! — кричали мы с Гришкой.

Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.

Лошадиное слово

Я стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.

— Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!

Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погонятельные слова вроде: «Эй, шевелись... Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..»

Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.

— Тратрр, тратрр... чок, чок! — вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.

Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.

— Цоб-цобе, цоб-цобе! — хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.

Не помогло и «цоб-цобе»...

На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий... Двенадцать раз ударил колокол.

Значит, мы уже въехали в новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!

Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой... Неужели же мы навеки обречены мчаться вот так?..

Мне стало совсем не по себе.

И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.

И я со страху выронил вожжи.

— Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда! — визгливо прокричал Цап-Царапыч.

И произошло чудо.

Гамбит стал как вкопанный.

С новым счастьем!

Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.

— Добрый вечер, Цап... Цезарь Карпыч! — хором произнесли мы.— С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!

Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла на носу.

— А-а-а! — обрадовался он.— Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих.— Цап-Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку.— Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа и другой — четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!

Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.

— Позвольте, дети,— протянул надзиратель,— а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?

Мы оба вперебой стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.

— Прекрасно,— проговорил Цап-Царапыч.— Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Нуте-с...

Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.

Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.

А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстуке, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:

— Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..

И где-то уже заливался полицейский свисток.

Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать... Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии.

Так начался для нас новый год — год 1917-й.

ФЕВРАЛЬСКИЙ КОНДУИТ

О круглой Земле,
о больших новостях
и маленьком море

Папа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостиной свет — слышно, как щелкнул выключатель,— и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы — красными, согласные — синими. Очень красиво получается.

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля! А почему знают, что Земля круглая?

Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.

Но Ося не удовлетворен.

— А может быть, он утонул, корабль?—говорит он.—А, Леля? А?

— Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу.

Раскраска местоимений продолжается.

Молчание.

— А я знаю, почему знают, что Земля круглая,— говорит опять Ося.

— Ну и знай!

— Знаю! Потому что глобус круглый... Что-о? Вот!

— Дурак ты сам круглый, вот что...

У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но... в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми — стали черными. Рамы были черными — стали светлыми. А главное — не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:

— Я вас слушаю! Что?

Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила

нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:

— Дядечка! Приезжай!

— Ладно, ладно,— смеется в телефон дядя.—А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция... Временное правительство... Царь отрекся... Повтори! — И голос у дяди какой-то необычайно веселый.

— Дядечка! — кричу я.— Как же это так вышло?

— Ты еще маленький, не поймешь.

— Нет, пойму,— обиделся я,— нет, пойму! Я уже в третьем.

И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве...

— Вы кончили? — влезает в трубку чужой голос.— Время истекло.

Крррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.

Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.

— Эх, ты! — возмущаюсь я.— А еще знает, отчего Земля круглая! Как не стыдно!..

— Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону... и не заметил.

Я бегу на кухню.

В кухне у Аннушки гость — знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный Георгиевский крестик. Восторженно кричу:

— Аннушка!.. Во-первых, теперь революция... свобода... и без царя!.. А во-вторых... Оське надо штаны переодеть...

И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе.

— Эх, милай! Вот разуважил! Спасибочко! Неужто ж правда? — И грозит большим кулаком кому-то в четыре окна: — Ну, погоди! Дождались!..

Я смотрю в окна. Но там никого нет.

А солдат извиняется:

— Вы меня простите, молодой человек... Уж больно вы меня того... Да как же... Господи ж... Вот спасибочко! Ровно праздник!

Нос у него странно морщится.

Разговор по прямому проводу

В столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь — наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:

— Слушаю!

— Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы».) Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.

— А у меня чего есть! — говорит Нюра.— Отгадайте.

— Еще где-нибудь революция?

— Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.

Я бросаю труб... виноват — захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.

Цап-Царапыч гонится за луной, или Что сказал об этом кондуит

На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать...

Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц... Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу — бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил:

— Стой! Стой, прохвост! — кричит он.— Городовой!

Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч — враг. Луна — сообщница.

Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу...

Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:

4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал...

Луна в кондуит не попала.

«Вольно!»— говорит солдат

В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок.

Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:

По Кавказским горам
Гимназист гулялся.
Он кричал: «Долой царя!»
Красный флаг махался.

В гостиной замечательно пахнет смазанными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.

А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:

— А вы отгадайте... Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет? Отгадайте.

— Не знаю,— говорит солдат.— Ну, скажи, кто?

— И я не знаю,— говорит Ося.— И папа не знает, и дядя. Никто.

Оките и слоне долго спорим. Мы с солдатом — за слона, Аннушка назло — за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».

Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.

— Вольно! — говорит солдат, и мы идем спать.

Самоопределение Оськи

На полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что́ слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах...

Вдруг Ося спрашивает:

— Леля, а Леля! А что такое еврей?

— Ну, народ такой... Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.

— Мы разве евреи? — удивляется Оська.— Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что мы евреи.

— Честное слово, что мы — евреи.

Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже

сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:

— Леля!

— Ну?

— И мама — еврей?

— Да. Спи.

И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!»

Спим.

Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.

— Дивный пирог был,— говорит папа,— у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?!

Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло. Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.

Отец с матерью на цыпочках входят в детскую. Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:

— А революция пишется через «е», а не через «и»: революция. Ты-ы! — и щелкает меня в нос.

В это время просыпается Ося. Он, видно, все время, даже во сне, думал о сделанном им открытии.

— Мама...— начинает Ося.

— Ты зачем проснулся? Спи.

— Мама,— спрашивает Ося, уже садясь на постели,— мама, а наша кошка — тоже еврей?

«Боже, царя...» Передай дальше»

Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так — она поет:

— Вставай, подымайся, рабочий народ... в гимнастию пора!

Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок...

Выходим вместе с Оськой. Тепло. Оттепель. Извозчичьи лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося — очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:

— Лошадка, здравствуйте!

Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:

— Ваша лошадка тоже какао пьет? Да?

Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:

— Ребята! Царя свергну́ли!!!

— !!!!!!

Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:

— Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю! Ну, живо! На молитву! В пары.

Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.

Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.

Директор, сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.

Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась.

Мы стоим и шепчемся. Неспокойно в маренговых[1] рядах, шепот:

— А в Питере-то революция.

— Это наверху, где Балтийское на карте нарисовано?

— Ну да, здоровый кружок: на немой карте — и то сразу найдешь.

— А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домищи больше церкви.

— А как это, интересно, революция?

— Это как в пятом году. Тогда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.

— Вот собаки, негодяи!

— Эх! Сегодня письменная... Опять пару влепит. Плевать!

— ...Иже еси на небеси!

— Вот тебе и царь... Поперли. Так и надо! Зачем войну сделал?

— Тише вы!.. А уроков меньше задавать будут?

— ...Во веки веков. Аминь.

---

[1] Маренго — ткань серого цвета; сукно, из которого была сшита форма гимназистов.

— Наследник-то[1] в каком классе учится? Небось кругом на пятка́х... Ему чего! Учителя не придираются.

— Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!

— Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.

По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. (Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит.) На записке было:

«Не пой «Боже, царя...» Передай дальше».

— ...От Луки святого Евангелия чтение...

Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо.

Последняя молитва:

— ...Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.

Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы» прокашлялись. Мм-да!

Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалд лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:

— Ля-аа... Ля...а...а...

Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запевает:

— Боже, царя храни...

Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:

— Та-а-ак...

Дисканты завяли.

А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:

— ...Сильный... державный, царствуй...

И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.

Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.

Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Зали-

[1] Наследник — здесь: сын царя.

ваются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.

— Ха-ха... Гы-ги... Ох-хо... Хи-хи... Хе-хе-хе... Ах-ха-ха-ха...

Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее.

— Тихо! — говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.

Тогда Митька Ламберг, коновод старшеклассников,— восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:

— Тихо! У меня слабый голос.

И запевает «Марсельезу».

«На баррикадах»

Я стоял на парте и ораторствовал. Из-за печки, с «сахалина», поднялись двое: лабазник Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались парой и напоминали пароход с баржей. Впереди широкий, загребающий на ходу руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, длинный черный Балдин. Лизарский подошел к парте и взял меня за шиворот.

— Ты что тут звонишь? — сказал он и замахнулся.

Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом:

— А ты что лезешь? Монархыст...

— Твое какое дело? Балда, дай ему!

Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел:

Пароход баржу везет,
Батюшки!
Баржа семечки грызет,
Матушки!

Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный негромкий разговор:

— А ну, не зарывайсь!

— Я не зарываюсь.

— Ты легче на повороте.

— А ну!..

Наверно, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще «монархисты», и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного: «Франзель идет!» — заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.

Большая перемена

Дивный был день. Оттепель. На обсыхающих тротуарах мальчишки уже играли в бабки. И на солнце, как раз против гимназии, чесалась о забор громадная пестрая свинья. Черные пятна расплылись по ней, как чернильные кляксы по белой промокашке. Мы высыпали во двор. Солнца — пропасть. А городовых — ни одного.

— Кто против царя — сюда! — закричал Степка Гавря.— Эй, монархисты! Сколько вас сушеных на фунт идет?

— А кто за царя — дуй к нам! Бей голоштанников!

Это завизжал Лизарский. И сейчас же замелькали снежки.

Началось настоящее сражение. Вскоре мне влепили в глаз таким крепким снежком, что у меня закружилась голова и в глазах заполыхали зеленые и фиолетовые молнии... Но мы уже побеждали. «Монархистов» прижали к воротам.

— Сдавайтесь! — кричали мы им.

Однако они ухитрились вырваться на улицу. Увлекшись, мы вылетели за ними и попали в засаду.

Дело в том, что неподалеку от гимназии помещалось ВНУ— Высшее начальное училище. С «внучками» мы издавна воевали. Они дразнили нас «сизяками» и били при каждом удобном случае. (Надо сказать, что в долгу мы не оставались.) И вот наши «монархисты», изменники, передались на сторону «внучков», которые не знали, из-за чего идет драка, и вместе с ними накинулись на нас.

— Бей сизяков! Гони голубей! — засвистела эта орава, и нас «взяли в работу».

— Стой! — вдруг закричал Степка Атлантида.— Стой!

Все остановились. Степка влез на сугроб, провалился, снова выкарабкался и снял фуражку.

— Ребята,— сказал он,— хватит драться. Повозились — и ладно. Ведь теперь будет... как это, Ленька... тождество?.. Нет... равенство! Всем гуртом, ребята. И войны не будет. Лафа! Мы теперь вместе...

Он помолчал немного, не зная, что сказать. Потом спрыгнул с сугроба и решительно подошел к одному из «внучков».

— Давай пять с плюсом! — сказал он и крепко пожал школьнику руку.

— Ура! — закричал я неожиданно для себя и сам испугался.

Но все закричали «ура» и захохотали. Мы смешались со школьниками.

В это время сердито зазвонил звонок.

Латинское окончание революции

— Тараканиус плывет! — закричал дежурный и кинулся за парту.

Открылась дверь. Гулко встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный, он взошел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы.

Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле.

— Это что за украшение?

Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадежно-унылым голосом ответил:

— Ушибся, Вениамин Витальевич. Упал.

— Упал? Тэк-тэк-с... Бедняжка. Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда. Тэк-с! Ррасота. Полюбуйтесь, господа!.. Ну, что сегодня у нас задано?

Я стоял, вытянувшись, перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно.

— Тэк-с,— сказал Тараканиус.— Не знаешь. Некогда было. Революцию делал. Садись. Единица. Дай дневник.

Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвилась, как ястреб, над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и...

В клетку, как синицу,
За четверть в этот год
Большую единицу
Поставил педагог...

На «сахалине», за печкой, они, «монархисты», злорадно хихикнули.

Это было уже невыносимо. Я громко засопел. Класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры.

— Тихо! Эт-то что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!

Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы сказал:

— А все-таки царя свергну́ли...

«Романов Николай, вон из класса!»

Последним уроком в этот день было природоведение. Преподавал его наш самый любимый учитель — веселый длинноусый Никита Павлович Камышов. На его уроках было интересно и весело. Никита Павлович бодро вошел в класс, махнул нам рукой, чтобы мы сели, и, улыбнувшись, сказал:

— Вот, голуби мои, дело-то какое. А? Революция! Здóрово!

Мы обрадовались и зашумели:

— Расскажите нам про это... про царя!

— Цыц, голуби! — поднял палец Никита Павлович.— Цыц! Хотя и революция, а тишина должна быть прежде всего. Да-с. А затем, хотя мы с вами и изучаем сейчас однокопытных, однако о царе говорить преждевременно.

Степка Атлантида поднял руку. Все замерли, ожидая шалости.

— Чего тебе, Гавря? — спросил учитель.

— В классе курят, Никита Павлович.

— С каких пор ты это ябедой стал? — удивился Никита Павлович.— Кто смеет курить в классе?

— Царь,— спокойно и нагло заявил Степка.

— Кто, кто?

— Царь курит. Николай Второй.

И действительно!.. В классе висел портрет царя. Кто-то, очевидно Степка, сделал во рту царя дырку и вставил туда зажженную папироску.

Царь курил. Мы все расхохотались. Никита Павлович тоже. Вдруг он стал серьезен необычайно и поднял руку. Мы стихли.

— Романов Николай,— воскликнул торжественно учитель,— вон из класса!

Царя выставили за дверь.

Степка-агитатор

Двор женской гимназии был отделен от нашего двора высоким забором. В заборе были щели. Сквозь них на переменах передавались записочки гимназисткам. Учителя строго следили за тем, чтобы никто не подходил близко к забору. Но это мало помогало. Общение между дворами поддерживалось из года в год. Однажды расшалившиеся старшеклассники поймали меня на перемене, раскачали и перекинули через забор на женский двор. Девочки окружили меня, готового расплакаться от смущения, и затормошили. Через три минуты начальница гимназии

торжественно вводила меня за руку в нашу учительскую. Вид у меня был несколько живописный, как у Кости Гончара, городского дурачка, который любил нацеплять на себя всякую всячину. Из кармана у меня торчали цветы. Губы были в шоколаде. За хлястик засунута яркая бумажка от шоколада «Гала-Петер». В герб вставлено голубиное перышко. На груди болтался бумажный чертик. Одна штанина была кокетливо обвязана внизу розовой лентой с бантиком. Вся гимназия, даже учителя и те чуть не лопнули от смеха.

С тех пор я боялся близко подходить к забору. Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил «Гала-Петер», начальницу, розовый бантик и отказался.

— Зря! — сказал Степка Атлантида.— Зря! Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок — вежливый. Ну ладно. Я схожу. Мне что? Надо же и им все раскумекать.

И Степка полез через забор.

Мы прильнули к щелям.

Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Ай!» — вскрикнули девочки, на минуту остановились, а потом, как цыплята на зов клушки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился.

— Атлантида Степан,— сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос,— можно и Гавря. А лучше зовите Степкой.

— Через забор лазает,— степенно поджала губы маленькая гимназисточка, по прозвищу Лисичка.— Фулиган!

— Не фулиган, а выборный,— обиделся Степка.— Что? Еще за царя небось? Эх вы, темнота!

И Степан, набрав воздуху, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова:

— Девчонки... то есть девочки! Вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже, царя храни...» на молитве не пели, и все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть... Вы как, за свободу или нет?

— А как это — свобода? — спросила Лисичка.

— Это — без царя, без директора, к стенке не ставить и выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть я хотел сказать,— здорово! И на Брешке можно будет шляться, то есть гулять.

— Я, кажется, за свободу...— задумчиво протянула Лисичка.— А вы как, девочки?

Гимназистки теперь все были «за свободу».

Заговор

Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил:

— Знаешь, учителя хотят попереть Рыбий Глаз, ей-богу, я сам слышал. Историк с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты, слушай, завтра, как выйдем на эту... как ее... манихвестацию, как я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» Ну, смотри только! Ладно? А я побёг: мне еще к Лабзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар! [1] — Совсем уже в дверях он грозно повернулся: — А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, ссли не разделаю...

На Брешке

На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может: болен, простудился... Кхе-кхе!

На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел «цвет» города: солидные акцизные чиновники, податной инспектор, железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты. Фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы...

В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с «Марсельезой». Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами:

...Раздайся клич мести наро-о-одной...
Вперед, вперед... Вперед, вперед, вперед!

На крыльцо волостного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чесанки и резиновые галоши. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно:

[1] Исковерканное «оревуар»— «до свиданья» по-французски.

— Хоспода! У Петрограде и усей России рывалюция. Его императорское величество... кровавый деспот... отреклысь от престола. Уся власть — Временному управительству. Хай здравствует! Я кажу ура!

— Ура! — закричала толпа.

А Атлантида сейчас же добавил:

— И долой директора!

Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.

На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора:

— Комитет думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером. Полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стомолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Да-с.

Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит.

А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилок, типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородатые хлеборобы.

Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели!..

Галоши директора

Давно пробило в вестибюле девять, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили. Отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхаживали педагоги.

Наконец вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и трех минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову и, болтая

в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом:

— Робя!!! Комитет попер директора-а-а!!!

Бешеный треск парт. Дикие крики. Невообразимый гвалт. Восторг!

Биндюг, шалый от радости, ожесточенно бил соседа «Геометрией» по голове, приговаривая:

— Поперли! Поперли! Поперли! Слышишь? Поперли!

Тогда в конце коридора, по которому тек, выливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий.

Стомолицкий насторожился.

— Э-э, в чем дело, господа?

— А дело, видите ли, в том, Ювенал Богданыч,— мягко заколыхал бородой инспектор,— что вы... Да вот извольте прочесть.

Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово: «О т с т р а н и т ь».

Но директор не хотел сдаваться.

— Э... э... я назначен сюда округом,— сказал он холодно,— и подчиняюсь только ему. Да-с... И я безусловно сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас,— он щелкнул крышкой золотых часов,— предлагаю приступить немедленно к занятиям.

— То есть как это так? — вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов.— Вы... вы отстранены! Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может... Господа! Что же вы молчите? Ведь это черт знает что!

В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали, наваливались. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гавря, работая локтями, продрался вперед, впился азартным взглядом в историка и не выдержал:

— Правильно, Кирилл Михайлович! — И, подавшись весь вперед, рванулся к Стомолицкому: — Долой директора!!!

Мертвая тишина. И вдруг словно лавина громом рухнула на учительскую, задавила все и потопила:

— Долой! Вон! Доло-о-ой!!! Ура!

Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота.

Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутюженных брюках появились складки.

Инспектор хитро забеспокоился и вежливенько прищурил глаза на дверь:

— Вам лучше удалиться, Ювенал Богданыч. Мы не ручаемся.

— Мы еще посмотрим, господа! — скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу.

Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава,— и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Мокеич.

— Галоши-то, Ювенал Богданыч! Галошки позабыли!

Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Мокеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком:

— Нтц-нтц-нтц! А-а! Господи! Вот она, революция-то! Директор из гимназии без галош дует! — И вдруг рассмеялся: — Ишь наворачивает! Чисто жирафа! Ну-ну! Смеху, прости господи! Бежи, бежи! Хе-хе! Стравус.

На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты.

— Эх, как зашпаривает! Ату его! Гони! Ура! Карьерист! Рыбий Глаз!

Мокрый снежок хлюпнулся в спину Стомолицкого.

— Фью-ю! Наяривай! Муштровщик! Граф Кассо! Рыба!

Захватывало дух. Директор, сам директор, перед которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожали, снимали за козырек (обязательно за козырек!) фуражку, мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно, беспомощно и без галош бежал.

В окна смотрели довольные лица педагогов. Мокеич увещевал:

— Пошто безобразничаете! Нехорошо. А еще ученые!

Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стомолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск.

Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили:

— Нехорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?

Но чувствовалось, что говорится это так, по обязанности.

Вече на бревнах

Во дворе на высохших бревнах после уроков мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназическое вече ученики всех восьми классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос «об отстранении от должности» директора гимназии.

Председательствовал на дворе коновод старших — восьмиклассник Митька Ламберг, выгнанный из Саратовской гимназии. Митька важно сидел на бревнах и объявлял:

— Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов.

— Со двора, что ли, их быставить? Могём!

— Ха-ха-ха! В два счета.

— Господа! Выдвигайте кандидатов!

— Мартыненко! Выдвинь ему! Ха-хе!

— Господа!—возмутился Ламберг.— Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя, как «высшие начальные». И в такой момент... Ти-и-ише!

— Брось, ребята! Маленькие?

Гимназисты утихомирились. Начались выборы. Выбрали Митьку Ламберга, Степку Атлантиду и четвероклассника Шурку Гвоздило.

— Еще есть вопросы?

— Есть! — И Атлантида вскарабкался на бревна.— Хлопцы! Вот чего. Дело серьезное. Это вам не в козны играть, не макуху кусать. Да!.. Нам дело надо загибать круче. Рыбьему Глазу надо объявить все начистоту, до конца... И вот чего. Выборные были чтоб от нас и от них. И без никаких!..

— Правильно, Степка! Требовай выборных!.. Качать выборных!.. Качать!!!

Из Степкиных карманов посыпались пробки для пугача, патроны, куски макухи, гвозди, литой панок, дохлая мышь и книжка «Нат Пинкертон». Ламберг бил в старую кастрюлю, которая заменяла ему председательский звонок, а теперь служила барабаном. Выборных понесли к воротам.

— Урррра-а-а!

Уставшее за день от крутого подъема на небо солнце присело отдохнуть на крышу гимназии. Крыша была мокрая от стаявшего снега, блестящая и скользкая. Солнце поскользнулось, ожгло окна напротив, плюхнулось в большую лужу и оттуда радужно подмигнуло веселым гимназистам.

«Родителям на утешение»

Оскорбленный директор решился на последнее средство: пошел искать защиты у родительского комитета.

Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родителей он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за ученье или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверно, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку: «Родителям на утешение».

Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали скотским доктором.

Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку о зеленоватый, в неаппетитных пятнах халат и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошнотно-едким. Директора мутило, но с полной готовностью, крепко пожал он протянутую руку.

Так они и разговаривали, стоя в холодной прихожей, заставленной бидонами, бутылями, завядшими фикусами и горшками из-под герани. В углу, в ящике с песком, копала яму кошка. Не сознавая того, что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора, кошка отставила хвост и вытянула его палкой.

Скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку. Директор униженно благодарил. Доктору было очень некогда. На дворе, заходясь в сиплом реве, мычала корова. Корове надо было поставить клизму. Шалферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.

Директор и Оська

Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении:

«Желателен врач неиудейского вероисповедания».

Отец только что вернулся домой из больницы с операции. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел.

Директор ждал в гостиной.

В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисею длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой, похожей на шлем летчика (так велики были ее глаза), подплыла к стеклу. Наглые рыбьи глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся.

В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под уздцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно.

Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил:

— Вы на прием? Да?

— Нет! — серьезно и хмуро ответил директор.— Я по делу.

— А-а! — воскликнул Оська.— Я знаю, вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так. Да? Вы коров лечите, и кошек, и собак, и жеребенков — всех. Я знаю... А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает...

— Это ошибка, мальчик,— обиженно прервал его Стомолицкий.— Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии.

— Ой...— с уважением охнул Ося и внимательно осмотрел директора.— Вы и есть директор? Я даже испугался. Леля говорит, вы строгий... Вас все, даже учителя, боятся. А как вас зовут? Рыбий... нет, Рыбин... Вспомнил!.. Воблый Глаз?

— Меня зовут Ювенал Богданович,— сухо сказал директор.— А тебя как зовут, мальчик?

— Меня — Ося. А почему вас тогда называют Воблый Глаз?

— Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше... м... гм... ты уже умеешь читать?.. Да... ну, скажи... м... гм... вот... куда впадает Волга? Знаешь?

— Знаю,— уверенно ответил Ося.— Волга впадает в Саратов. А вот отгадайте сами: если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?

— Не знаю,— постыдно признался директор.

— Никто не знает,— утешил его Ося,— ни папа, ни солдат, никто... А вот Воблый Глаз — это по отчеству так? Или вас, когда вы маленький были, так называли?

— Довольно!.. Будет! Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?

— Конь... Как же еще? У лошадев не бывает фамилиев.

— Неверно! — строго пояснил директор.—Например, лошадь Александра Македонского звали Буцефал.

— А вас — Рыбий Глаз? Да? Совсем и не Воблый... Это я спутал. Да ведь?

Вошел папа.

— Какой развитой и смышленый мальчик ваш сын! — с ангельской улыбкой сказал, изогнувшись, директор.

Отцы, папаши, батьки

У-у-дрррдж-ууджж-ррджржж...

Громадной мухой бился в окне учительской вентилятор. В натопленной учительской было моряще жарко. В пустых, темных классах изредка потрескивали парты. Громко тикали часы в вестибюле.

— Заседание родительского комитета совместно с педагогическим советом разрешите считать открытым. Прошу...

За большим столом сидел родительский комитет. Тесным рядком сели преподаватели. Поодаль, в углу стола, приткнулись Митька Ламберг и Шурка Гвоздило. Маленький Шурка казался совсем оробевшим. Солидный Ламберг крепился.

Степку Атлантиду инспектор не пустил на собрание.

— От этого архаровца всего можно ожидать,— заявил инспектор.— Такое еще сморозит...

— Я буду тихо, Николай Ильич.

— Мокеич, выведи его отсюда!

— Ну-ка, выкатывайся, милок,— толкал Мокеич расходившегося Степку.— Выборный... тоже. Горлопан!

Степка очень обиделся.

— Как хотите,— сказал он, уходя,— только после с меня не взыщите, если у вас ничего не сладится. Резервуар. Адье.

В начале заседания потух свет: произошла обычная поломка на станции. Учительская погрузилась в темноту. Ламберг полез за спичками, но спохватился, что у некурящего гимназиста не может быть спичек. Сторож Мокеич принес похожую на парашют лампу с круглым зеленым абажуром. Лампу повесили над столом. Она качалась. Тени шатались, и носы сидящих то вырастали, то укорачивались.

Сначала говорил инспектор. Говорил плавно, много язвил, и раздвоенная его борода хитро юлила над столом. Борода была похожа на жало.

Сопящие хуторяне-отцы сонно слушали Ромашова, гривастый священник заправил перстами за ухо волосы и внимал.

Акцизный строго протер очки, будто собирался разглядеть в них каждое слово инспектора. Лавочник глубокомысленно загибал пухлые пальцы в такт инспекторским словам.

Толстый мукомол из думы, Гутник, стал защищать директора:

— Як же вы, господа педагоги, можете такое самоправство чинить? Се, я кажу, трошки неладно. Негоже так. Допрежь у округа спросить треба... А Ювенал Богданович сполнял закон форменно. Мы бачили, шо при ем порядок был самостоятельный. Так нехай вин и остается. Сдается мне, шо так катьегорически и буде. Та и время дюже кипятливое, як огнем полыхае. Шкодить хлопцы зачнут. Так я кажу чи ни?

И родители одобрительно покачали головами. Отцы побаивались свободы для сыновей. Распустятся—попробуй тогда справься с этой бандой голубятников, свистунов, головорезов и двоечников.

Кондуит директора

Взволнованный, вскочил Никита Павлович Камышов, географ и естественник. С надеждой взглянули на побледневшее лицо любимого учителя Ламберг и Шурка. Горячо заговорил Никита Павлович, и каждая его фраза была страницей в неписаном кондуите самого Рыбьего Глаза.

— Господа! Что же это такое? Царя свергли, а мы... директора не можем?.. Вы — родители! Ваши дети, сыновья ваши, пришли сюда, в эти опостылевшие нам стены, получить образование, воспитание. А что они могли получить здесь? Что, я вас спрашиваю, могли получить здесь они, дети... когда мы, педагоги, взрослые, задыхались? Нечем дышать было. Позор! Казарма! Вышитый ворот рубахи — восемь часов без обеда... Фуражку снял не за козырек — выговор. Боже мой!.. Теперь, когда во всей России стал чище воздух, мы тут у себя... форточку открыть боимся, чтоб проветрить!..

Он дернул себя за длинный свисающий ус и, задыхаясь, выбежал из учительской.

Очень тихо стало в комнате.

Директор, незаметный в углу, распилил тишину своим плоским голосом. Директор был зелен от абажура и злости.

Он оправдывался.

— Личные счеты, — говорил он. — Закон... дисциплина... служба... округ.

Его прервал громадный и черный машинист Робилко, длин-

ный, как товарные составы, которые он водил. Машинист грохнул кулаком по столу:

— Да чего там разговаривать? Революция так революция! Вали без пересадок. А от господина директора мы ни черта хорошего, кроме плохого, не видели. Да и ребят поспрошать надо. Пусть вот выборные ихние определение скажут. А то для чего выбирать было?

Митька Ламберг браво отчеканил наизусть выученную речь.

— А вы что можете сказать? — обратился председатель к Шурке Гвоздило.

Шурке стало несказанно приятно, что ему, как взрослому, говорят «вы». Он вскочил, руки по швам, как перед кафедрой.

Рыбьи глаза директора гадливо рассматривали его.

Шурка с опаской покосился на Стомолицкого: черт его знает, вдруг останется — придираться будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки. Но Ламберг каблуками так больно стиснул в это время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно.

Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился.

— Мы все за долой директора! — выпалил он.

Кем-то задетая в суматохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами. Носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора.

Присутствие духа

Долго, до поздней ночи, тянулось заседание. Наконец постановили:

«...Стомолицкого Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова».

Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посередине.

Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку:

— Эх, молодость, молодость! Задору-то!

— Выборные от первоклашек-сопляков... Ха-ха-ха! Уморил, уморил!

Шурка сконфуженно шмурыгал носом и тер пряжку пояса.

Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слипались глаза. Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы [1]. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал: уудж-уррдж-ууу...

Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось ему, было невозможно. И Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу: дескать, его присутствие больше не требуется и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал. Он уже совсем открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слипающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя показало Шурке язык, а «присутствие» стало бросаться в Шурку точкой над і. Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чи Сун-ча.

— Что вы имеете сказать? — спросил председатель.

Все повернулись к Шурке.

Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно:

— Позвольте выйти.

Цап-Царапыч ставит точку

Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Тряпье туч стерло с него все звездные чертежи. Черная, топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру.

— Шурка, ты? А я тебя все жду... Замерз, як цуцик.

— А-а, Атлантида! — узнал Шурка.

— Ну как, что? Расскажи.

Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил:

---

[1] Протуберанец — огненный столб, выбрасываемый при извержении на поверхности солнца.

— Чего там рассказывать! Мы, конечно, добились своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора.

— Постой! А насчет выборных как же?

— «Выборные, выборные»!.. Вот тебе твои выборные — выкуси! Засмеяли меня с твоими выборными!

— Эге! Здóрово! Чего же вы добились? Это разве революция?! Директора поперли, а заместо его инспектора посадили. Эх!..

И Степка исчез в темноте. Гвоздило, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка — деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители.

Последним ушел из гимназии Цап-Царапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал Ламберга и Гвоздило. Так кондуитом, хвостатой подписью Цап-Царапыча кончился этот знаменательный день.

Реформа единицы

В учительской повесили новый портрет: волосы ершиком, отвороченные уголки стоячего воротничка, как крылышки херувима... Александр Федорович Керенский.

На специальном молебне учителя присягали Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам, перед уроками, стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем либеральный новый директор решился на смелый шаг: он отменил отметки.

— Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом непедагогичны,— распинался Ромашов перед родительским комитетом.

Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единиц и пятерок. Вместо единицы писалось «плохо», вместо двойки — «неудовлетворительно». Тройку заменяло «удовлетворительно». «Хорошо» означало прежнюю четверку, а «отлично» стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних «плюсов» и «минусов», стали писать «очень хорошо», «не вполне удовлетворительно», «почти отлично» и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Биндюгу за письменную уже нечто необъяснимое: «Совсем плохо, с двумя минусами». Так и за четверть вывел.

— Если принять «плохо» за единицу,— высчитывал Биндюг,— то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль. А вдруг еще меньше?..

Протеже дамского комитета

Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечие весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку.

Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был мал ростом и веснушчат. Лицо его было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчонка и страстно хотел учиться.

В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркаша Портянко, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс.

Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей. Он не был тихоней, но все его безобидные шалости, веселые шутки резко отличались от дикого озорства одноклассников. Учился он отлично и каждую четверть года приносил на кухню к матери табели, туго набитые пятерками. В каждой клеточке, как в дольках стручка, сидели похожие друг на друга пятерки. Даже число пропущенных уроков обычно равнялось пяти. Внизу стояло: «Подпись родителей». С великой гордостью, пачкая табель масляными пальцами, подписывалась кухарка. «Перасковия Портянк»,— выводила она и трепетно, словно свечу перед иконой, ставила точку.

Плюс минус Люся

Весь класс знал, что Аркаша Портянко влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви: «Аркаша+ +Люся=!!» Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой:

— Ишь каку симпатию себе нашел!.. Кывалер... Наказание!

Но Люсе очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей.

На рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу,

не спросясь у матери. Вычистив и выгладив свой мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радости вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растревожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына.

— Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик,— сладко заговорила она,— и приходи со двора. Люсе сейчас некогда. У нее гости. Вот тебе и твоей маме гостинцы.

С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно. Осунулся и учиться стал хуже.

Потом, в феврале, на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что, раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уж верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенным стебельком ландыша.

Письмо

«Многоуважаемая, дорогая, милая Люся!

Так как ввиду того, что теперь переворот царского режима, то все равны и свобода. Баринов и господ больше нет, и никто никакого полного права не имеет меня оскорбить с елки по шеям, как на первый день. А я за вами очень скучаю, Люсенька, золотая, так что похудел, мама говорит, даже. И на каток не хожу, потому что не хочу, а не потому вовсе, что, как Лизарский говорит: это оттого, что смотреть обидно, как я с Люськой катаюсь. Съел, говорит, гриб? Видал миндал? Ну и пусть брешет... (зачеркнуто) лжет. Совсем и не завидно ни капельки. Ему вот наклали, как монархисту (значит, за царя), он и злится. А теперь, милая Люсенька, мы с вами можем быть как будто брат и сестра, если, конечно, захотите. Революция потому что, и мы теперь равные. Хотя вы, конечно, лучше в сто раз. До чего мне ужасно без вас плохо, не дай бог... Честное слово, если не верите. Вот сидишь, уроки зубришь, а все про вас мечтаешь и даже во сне видишь. Ну до того ясно, как вправду. И в диктовке раз попалось слово стремлюся, я и перенес с большого «Л»: стрем-Люся... А вы с Петькой Лизарским все время, который у меня задачу всю сдул, а после хвалится. И ходит с вами под ручку. Хотя я не завидую. Так только немного довольно странно, что вы такие умные, Люся, красивенькая, хорошая и развитая, а с монархистом ходите под ручку. Ведь теперь свобода,

равенство и братство, и вас не заругают со мной. А за Петьку я на вас серчать не буду. Потому что тогда был царь и триста лет самодержавие.

И ничего хорошего в жизни я не видел с мамой, только переворот вот и вы, миленькая Люся... Сроду так не плакал, как тогда, на первый день. Я не стерпел и написал, хотя это против гордости. Если вы меня не забыли и хотите опять сначала, то напишите записку. Я с радости до неба подскакну.

Я посылаю вам ландыш, это из т о г о букетика...

Ваш Портянко Аркадий, ученик 3-го класса.

Простите, что помарки. Пожалуйста, разорвите это письмо».

Веселый Монохордов

Учитель алгебры носил странную фамилию — Монохордов. У него были неописуемо рыжие волосы и толстые бегемотовы щеки. «Рыжий баргамот» — так звали мы его.

Монохордов отличался непонятной, зловещей и неистребимой веселостью. Он вечно хихикал.

— Хи-хи-хи! — заливался он тоненьким смехом.— Хи-хи-хи... Вы ничего не знаете. Здесь хи-хи-хи... плюс, а не минус... хи-хи-хи... Вот я вам... хи-хи-хи... поставил... хи-хи... единицу.

На уроке алгебры Аркаша, спрятав письмо под партой, еще раз перечитывал его. Увлекшись, он не заметил, как подкравшийся Монохордов запустил руку в парту. Аркаша рванулся, но было уже поздно: толстые пальцы, покрытые рыжими волосами, держали письмо.

— Ха-ха-ха! — восторгался рыжий педагог. — Письмецо! Х-хи... незапечатанное... Интересно, интересно... хи-хи... ознакомиться... чем вы занимаетесь на моих... хи-хи... уроках!

— Отдайте, пожалуйста, мое письмо! — дрожа всем телом, крикнул Аркаша.

— Нет... хи-хи... Извините. Это... хи... мой трофей...

Рыжее хихиканье наполняло класс. Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение. У доски томился забытый ученик с белыми от мела пальцами. Педагог читал.

— Хи-хи-хи... занятно...— залился он, кончая чтение.— Любопытно... Послание... хи-хи... даме сердца. Могу в назидание... хи-хи-хи... прочесть вслух.

— Читайте! Читайте! — обрадованно заревел класс, заглушая просьбы побледневшего Аркаши.

И, останавливаясь, чтобы выхихикаться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люсе. Все, с начала до конца. Класс гоготал. Помертвелый Аркаша сидел как оплеванный.

— Рановато, Портянко, начинаете,— смеялся учитель.— Хи-хи... рановато...

Аркаша знал, что все равно нельзя уже послать это опоганенное письмо. Все большие слова, теперь осмеянные, казались ему самому действительно глупыми. Но жгучая обида подхлестнула его.

— Прошу вас, отдайте мне письмо, Кирьяк Галактионович,— тихо сказал он нехорошим голосом.

И класс разом перестал смеяться.

— Нет,— ухмылялся Монохордов,— это мы в журнальчик... хи-хи...

Тогда Аркаша стал буйствовать.

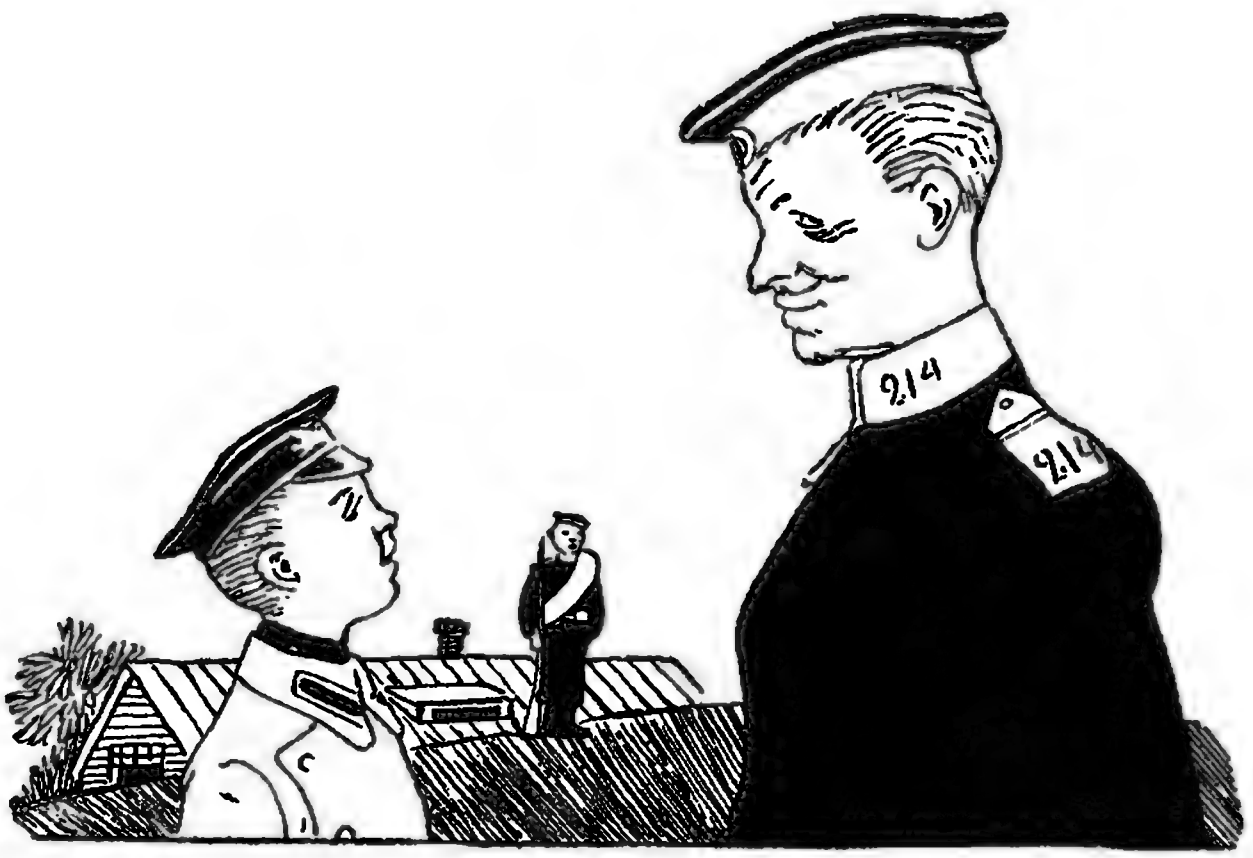
— Вы не смеете,— взвизгнул он, топая ногами,— не смеете! Чужое письмо... Это — как украсть...

— Вон сейчас же из класса! — заорал Монохордов, тряся налившимися щеками.— Не забывай, что ты бесплатный... Вылетишь... хи-хи... как воздушный шар.

Высохший ландыш легко и слабо хрустнул в захлопнутом журнале. Аркашку долго отчитывал директор Ромашов.

— Мерзавец,— нежно и мягко журил он,— как же ты смеешь со старшими так говорить? Выгоню тебя, шалопая этакого. На каторгу пойдешь, подлец. Что вздумал, нахал! А?

Аркашке напомнили, что он бесплатный, что учится он милостью добрых людей, что революция тут ни при чем. Прежде всего должен быть порядок, и он, Аркашка, вылетит в первую голову, если порядок этот будет нарушен. Аркашку записали в кондуит. После уроков он сидел два часа без обеда. Из всего Аркашка понял только одно: мир по-прежнему еще делится на платных и бесплатных.



КНИГА ВТОРАЯ

ШВАМБРАНИЯ

ШВАМБРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Поход «Бренабора»

Чтоб установить истинные очертания и границы Швамбрании, был предпринят великий поход швамбранского флота вокруг материка. Он начался в середине 1916 года и продолжался до ноября 1917 года. Значение этого похода для швамбранской истории огромно. Об этом свидетельствуют письменные памятники, сохранившиеся до сих пор. В моем швамбранском архиве хранятся: точная карта Швамбрании и приложенный к ней корабельный журнал флагманского судна «Бренабор». Приводить его здесь целиком не имеет смысла. Он велик и скучен. Многое в нем будет непонятно сегодняшним читателям. Поэтому здесь описание похода дается в сокращенном и обработанном виде, а в скобках объяснено непонятное. Я старался только по возможности сохранить швамбранский стиль. Затем необходимо рассказать следующее.

Швамбранским императором был в то время некий Бренабор Кейс Четвертый. Имя это мы целиком заимствовали у известной тогда автомобильной фирмы. Поэтому на государственном гербе Швамбрании к Зубу Швамбранской Мудрости, пароходу Джека, Спутника Моряков, и Черной королеве — хранительнице тайны — прибавились еще автомобили.

Царь Бренабор № 4 был довольно покладистым малым, но все же это был монарх, и никто из нас не пожелал воплощаться в него. Оставаться же простыми смертными швамбранами не хотелось. Тогда Бренабор усыновил нас. Мы считали, что он подобрал нас в море, когда мы были маленькими. Жестокий негодяй Уродонал Шателена засадил нас совсем новорожденными в кадушку из-под кислой капусты и пустил по морю. Царь Бренабор катался на лодке, услышал, что откуда-то разит, и спас нас.

В то время почти во всех детских книжках были сироты. Положение приемыша было модным и трогательным. Что же касается капустного духа, то это нас нисколько не компрометировало: многие мамаши уверяли, что всех детей, даже и не приемышей, находят в капусте...

Эскадра состояла из флагманского судна «Бренабор» и кораблей «Беф Строганов», «Жюль Верн», «Металлопластика», «Принц-курант», «Каскара Саграда», «Гратис», «Покоритель бурь», «Гамбит» и «Доннерветтер». Командовал эскадрой, несмотря на свою молодость, адмирал и капитан Арделяр Кейс, то есть я. Оська был вице-адмиралом и главным матросом. Имя его было Сатанатам. Происхождение имени Сатанатам оперное. К нам ходил петь басом один провизор. Он пел арию Мефистофеля: «Сатана там правит бал», слишком надавливая голосом на отдельные слоги. Получалось: «Сатанатам». Оська потом интересовался, кто это такой Сатанатам — дирижер?

В качестве корабельного наставника с нами плыл неизменный Джек, Спутник Моряков.

Отплытие

«Утром был восход, и солнце засияло над горизонтом,— так начинается дневник адмирала Арделяра Кейса.— Вид на море был очень красивый. Сто тысяч солдат и миллион народа провожали нас. Духовой оркестр играл очень сильно — получилась манифестация. Нью-Шлямбург был весь иллюстрирован. (Ошибка: адмирал хотел написать «иллюминован».) На мне были белые брюки клёш, белые туфли со шпорами, крахмальный воротничок, голубой галстук бабочкой, лиловая черкеска с золотыми газырями и эполетами, пурпуровый ментик-накидка, подбитый тигровой шкурой, и капитанская фуражка с плюмажем. Я шел впереди всех, высокий и стройный...»

У пристаней стояли пароходы. Уже был второй звонок. Грузчики носили пирожные, тысячи тюбиков со сладкими белилами.

Военно-пассажирский дредноут «Бренабор» был так велик, что по палубе его ходили трамваи и ездили извозчики. От кормы до носа они брали двугривенный, хотя овсы в Швамбрании были дешевы. Шесть труб «Бренабора» дымили, как шесть хороших пожаров. Гудок его был в десять тысяч верблюжьих сил, а мачты так высоки, что на верхних реях лежали вечные снега.

— В машине приготовиться! — скомандовал я.

— Пронта ля машина,— сказал Джек, Спутник Моряков,— штее фертиг бей дер машине!

Нас провожал сам царь. Он влез на бочку и сказал манифест:

— Ой вы гой еси, швамбранские чудо-богатыри! Мы, божьей милостью император швамбранский, царь кальдонский, бальвонский и тэ дэ и тэ пэ, повелеваем вам счастливого пути и взад и вперед. Если встретится по дороге война, сражайтесь что есть силы... Гоните врагов в хвост и в гриву. Моряки! Все века, сколько их есть и будет, смотрят на вас с вершины этих мачт! Марш вперед, друзья, в поход!.. Ах, громче, музыка, играй победу! Если налетит шквал и буря, сойдите вниз, а то схватите насморк. Вперед же, орлы, чудо-богатыри! Правьте в открытое море на зюйд-вест. С нами бог, трогай с богом!..

Тут все запели швамбранский гимн, сочиненный вице-адмиралом, с ударением на первом слоге:

«У-ра, ý-ра!— закричали
Тут швамбраны все.—
У-ра, ý-ра!»— и упали...
Туба-риба-се!
Но никто совсем не умер,
Они все спаслись.
Всех они вдруг победили
И поднялись ввысь!..

«Бренабор» дал третий свисток в десять тысяч верблюжьих сил. Всадники попáдали, кони разбежались. Кто стоймя стоял, тот сидмя сел. Кто сидмя сидел, тот лежмя лег. Ну, а кто лежмя лежал, тому уже ничего не оставалось делать. Пароходы отваливали. Поход начался.

— Пишите! — сказал царь.

Эскадра шла полным ходом. Флаги пышно развевались. Впереди всех шел «Бренабор», высокий и стройный. Он тянул сто узлов в час. Ветер крепчал. Волны бурлили. Вечером был закат.

Битва при Шараде

Плавание шло благополучно. Утром бывал восход, вечером — закат. Ветер крепчал с каждым днем, если верить адмиральскому журналу. Эскадра, не заходя в порт Фель и миновав мыс Гиальмар, обогнула Канифолию и от мыса Кегли повернула к Драндзонску. Навстречу нам был выслан небольшой одноборт-

ный корабль. (Опять ошибка: однобортными бывают пиджаки, а не пароходы.) Жители Драндзонска встретили нас с папиросами «Триумф». Мы закурили и поехали дальше. Через два дня мы бросили якорь в гавани Матчиша.

За Матчишем простирались дремучие мужественные леса. (Таких лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственны. Но адмирал был женоненавистник.) В мужественных лесах мы охотились на диких конь-яков. Конь-яки были животными, взятыми из рекламного ребуса известной виноторговли Шустова. Конь-яки водились только в Швамбрании. Голова у них была как у буйвола, а все тело конское. Они бодались и лягались. Они были свирепы.

Затем мы с Сатанатамом исследовали пустыню Кор-и-Дор. В пустыне было очень пусто. Тем временем эскадра под командованием Джека Спутника обогнула мыс Юлу и пришла в Бальвонск. Мы сели опять на корабль и поехали дальше. У мыса Шарада на горизонте показался флот Пилигвинии. Им командовал подлый изменник граф Уродонал Шателена.

— А, грот-бом-брам-рей! — выругался Джек, Спутник Моряков.— Форбом-брамфордуны и бакштаги! Унтер лиссель левый, тоже правый... Пломбирен зи ди шифсреуме!.. Запломбируйте все трюмы!

И он стал сверкать очами. А Уродонал Шателена объявил нам через рупор войну. Вышел морской бой. Корабли наши и ихние налетели друг на друга и хотели устроить абордаж. Но началась настоящая Ходынка[1], которая кончилась для нас прямо Цусимой[2]. Корабли «Металлопластика», «Доннерветтер» и «Беф Строганов» пошли на дно, а остальных взяли на буксир пилигвины. Они повели их в свой плен, который помещался на необитаемом острове Гирляндия в Ядовитом океане. Только наш гордый «Бренабор» не сдался врагу и вырвался из огненного кольца. По синим волнам океана корабль одинокий несся на всех парусах. Был остров на том океане. Пустынный и мрачный гранит. Назывался он островом Наказань и входил в Пилюльский архипелаг. Там был мыс Угол. На мысе, в ракушечном гроте, жила Черная королева. Мы пристали к острову. Королева выглядела неплохо, только заплесневела немножко.

Затем мы миновали опасные острова Хину, Биомальц, Мик-

---

[1] Ходынка — чудовищиая катастрофа, происшедшая в Москве иа Ходынском поле в 1896 году на празднике, устроенном для народа в честь вступлеиия иа престол Николая II, когда в свалке погибло несколько сот человек.

[2] Цусима — место гибели русского флота в русско-японскую войну в 1905 году.

стуру, Какао и Рыбьежирск. Дойдя до мыса Конек, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недосягаемую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив Семи Школяров.

Мы приближались к острову Лукоморье.

Заповедник героев

Принц и Нищий, Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, Маленькие Женщины и Маленькие Мужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, двенадцать егерей, три пряхи, семь мудрых школяров, тридцать три богатыря, племянники дядьки Черномора, Последний день Помпеи и Тысяча одна ночь вышли встречать нас.

— Здравия желаем, ваше ослепительство! — гаркнули они нам.

На берегу стоял дуб зеленый. Златая цепь на дубе том. Цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба. Направо идет — книжки читает вслух, идет налево — граммофон заводит. Прямо как в цирке у Дурова. А на скале сидел Сфинкс. Он сочинял шарады и ребусы.

Знакомые образы населяли остров. Остров Лукоморье был заповедником всех вычитанных нами героев. Герои были изъяты из книг. Они жили здесь вне времени и сюжета.

Навстречу нам скакал сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрало, Неизвестный Рыцарь, потом Всадник без головы. За ним погонял свою клячу Дон-Кихот Ламанчский. И трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Панса вез крылья ветряной мельницы, которую обкорнал Дон-Кихот. За рыцарем Печального Образа скакал на Коньке-горбунке Иванушка-дурачок и показывал всем язык. Далее следовали на огромных битюгах три богатыря: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так их звали по имени и отчеству, а фамилии нам были неизвестны. Битюги были запряжены в царь-пушку. За ними следом крался знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Он выслеживал Неизвестного Рыцаря. Ната Пинкертона незаметно преследовал прославленный сыщик Шерлок Холмс.

Из кустов вышел обросший человек в звериных шкурах. На плече у него сидел ученый попугай и клювом вынимал из кармана хозяина билетики со «счастьем».

— Гобин Кгузо! — картаво крикнул попугай.

И мы узнали великого отшельника. За Робинзоном шел дикарь и нес разные покупки. Он был совершенно голый. Никаких штанов на нем не наблюдалось, только спереди висел листок календаря, и там было написано: «Пятница». Увидев гостей, Робинзон извинился и попросил Дон-Кихота одолжить ему с головы медный бритвенный прибор. Рыцарь дал. Робинзон пошел бриться, а Пятница, посплетничав и посоветовавшись с Санчо Панса, побежал одеваться в дом, на котором висела такая вывеска:

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
Мужской и дамский
Хитрый Портняжка,
Одним махом семерых обшивахом.

— Это про нас написано,— сказали семь мудрых школяров.

Вечером в честь нашего посещения было устроено большое гулянье с фейерверком в Таинственном саду. Там гуляли Голубые Цапли [1] и летали Синие Птицы [2]. Там пели Золотые Петушки и неслись Курочки Рябы. А белки насвистывали «Во саду ли, в огороде».

И мы там были и мед пили. А так как усов у нас не было, то все в рот попало.

Закат был отменен

Дни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном.

Из Швамбрании пришла телеграмма:

В Швамбрании народ волнуется. Возмущены битвой при Шараде. Бренабор немножко отрекся. Временный правитель — Уродонал Шателена.

Через полчаса «Бренабор», запломбировав трюмы и подняв красный флаг, полным ходом вышел в Гориясное море. Мы прошли Лилипутию, Шелапутию, Порт-Ной и Пришпандорию. Мы переименовали наш корабль в «Каршандар и Юпитер». Корабль

---

[1] Голубая Цапля — описана в повести С. Джемисон «Леди Джен», очень популярной в то время.

[2] «Синяя птица» — пьеса бельгийского писателя М. Метерлинка; до сих пор идет на сцене Московского Художественного театра.

стоял за республику: мы отреклись от царя-изменника. Ведь Бренабор № 4, чтоб не упускать власти, временно передал ее негодяю Уродоналу. Отряды Уродонала Шателена охраняли плоскогорье Козны, засев в ущельях Ныки, Плоцки и Сок-Панока. Нам пришлось идти к Канделябрам. В их северных отрогах, в окрестностях Портъ-у-Пея, скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клёк, не заходя в Нахлобучи, проплыли до берегов вольного Каршандара и прибыли в Порт-Янки. Каршандарцы встретили нас восторженно. Каршандар был объят революционным восстанием. Только Кондору захватил десант Уродонала. Мы осадили Кондору с Фиолетового моря. Кондора пала. В руки нам попала богатая добыча. Пройдя мысы Рич-Рач и Бильбоке, мы посетили Порт-Сигар и наконец бросили якорь у Каршандарской ривьеры. Я переменил фамилию и стал именоваться Арделяр Каршандарский.

Чтобы подготовить переворот на всем материке, я тайком, в запломбированном трюме одного парохода, пробрался в Нью-Шлямбург. Я жил в столице, загримировавшись в дикого индейца. Но почти накануне восстания Бренабор узнал меня по рассеченной левой брови. Уродонал арестовал меня и предал военному суду.

Процесс адмирала Арделяра Каршандарского длился целый день (воскресенье). Дневник адмирала передает этот суд так:

«Зал был весь полон от публики, которая оглядывала меня с любопытством. Я сидел на лавке подсудимых, красивый и стройный. Четыре часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убёг. Главным председателем всех судей был бывший Бренабор, который очень на меня обозлившись. Прокуратом служил лично граф Уродонал Шателена, весь чернокурый и подлец. Музыки никакой не было, а адвокатом был Сатанатам, которого они побожились не арестовывать в тюрьму. Прокурат врал при всей публике, будто я какой-нибудь мошенник, а адвокат, наоборот, сказал, что Уродонал — сам! А Бренабор говорит мне: «Господин подсудимый! Даю вам пять минут, можете выразиться последними словами». Тут я встал, высокий и стройный, и вся публика стала совсем тихая. «Господа судьи! — вскричал я.— Вы арестованы от имени Свободного Материка Большого Зуба!» В это мгновение ока в залу вбежал с революционерами Джек, Спутник Моряков, и они свергли тиранов. Вся публика как закричит «ура», и получилась бурная овация».

О закате в этот день адмирал ничего не пишет. Очевидно, в Швамбрании по случаю переворота был сплошной, непрерывный восход...

КОНЕЦ КОНДУИТА

Хочу заседать

Всюду шли собрания, заседания, митинги. Все взрослые занимались политикой. Даже мама была избрана в Совет депутатов от дамского кружка. Папа же был товарищем председателя новой думы. Дума ссорилась с Советом, и поэтому папа ссорился с мамой.

Жажда политической деятельности сжигала меня. Мне тоже хотелось заседать, выступать, выбирать. В это время я получил из Саратова от своего друга Вити Экспромтова письмо. Витя очень увлекательно описывал свой отряд бойскаутов, в котором он состоял. И я решил организовать из гимназистов отряд бойскаутов.

Я достал много книг о системе «скаутинг», прочел их и однажды после уроков, пока класс застегивал ранцы, вскарабкался на кафедру и обратился к товарищам с большой речью.

— Господа,— ораторствовал я,— довольно биться на переменах, шпарить в козлы и быть не вместе. Мы должны быть все вместе, то есть соединиться. Давайте сделаем такую компанию, дружную команду такую, ну, кружок... Не будем врать, курить, ругаться... Будем маршировать, устроим клуб, станем заседать, выберем начальника, станем юными разведчиками, бойскаутами. Как по-вашему?.. Кто хочет стать бойскаутом?

Чуть ли не весь класс захотел записаться в скауты. Поднялся нестерпимый гвалт. Пришел Николай Ильич. Узнав, в чем дело, он заявил, что если шум будет продолжаться, то, прежде чем записаться в скауты, все окажутся записанными в кондуит...

Комбинация из трех пальцев

В ближайшее воскресенье в соседней школе состоялось первое собрание бойскаутов. К моему удивлению, пришло много гимназистов из других классов и даже несколько старшеклассников.

Мы заседали совсем как взрослые. Говорили речи, вели протокол.

Было создано два отряда.

Начальником главного штаба выбрали меня. Шалферова, сына скотского доктора, избрали казначеем: он слыл у нас за самого честного.

Был принят устав: не пить, не курить, не врать, не ругаться, быть вежливым, делать добрые дела, всегда улыбаться, начальникам отдавать на улице честь, приложив к фуражке три сложенных пальца. Три пальца означали три основные заповеди скаута: скаут верен богу, своему слову и народу. Собственно, в книжке было написано: «...и царю». Но мы заменили его словом «народ». Некоторые неприятности получились у нас также с богом. Степка Атлантида вдруг заявил, что он... не верит в бога. Пришлось уговаривать его, уверять, что бог — это вроде совести и вообще для проформы. А то, если один палец откинуть, совсем некрасиво получается. Вроде двуперстного креста. Уговорили. Торжественно подняв три пальца, Степка Гавря отрапортовал присягу и обещал в неделю отучиться курить.

Девчонок мы постановили не принимать. Решили это единогласно.

Многих родителей мы записали членами-соревнователями. Они вносили деньги. На эти деньги мы купили трехцветное знамя и старый автомобильный гудок с отломанным баллоном. В эту громадную дудку надо было дуть что есть силы. Труба ревела очень неприятным голосом. Но мог это сделать лишь Биндюг. Его избрали горнистом. Польщенный, Биндюг старался. Он дул так ретиво, что грузовики шарахались в сторону, а пароходы просто завидовали.

В детской библиотеке нам дали комнату. В это время записалось уже так много гимназистов, что мы создали еще два отряда. Я теперь назывался начальником дружины. Ребята отдавали мне на улице честь. Я гордился...

Сэр Роберт, святой Георгий и добрые дела

Но вот все было сделано: комната обставлена, знамя повешено, присяга принята, начальники выбраны, устав выучен, все знали, кто такой сэр Роберт Баден-Пауэль[1] и какое отношение имеет к нам святой Георгий Победоносец.

Что было делать дальше, никто не знал; устроили один раз в амбарном городке войну между отрядами, но сторожа едва-едва не поколотили нас за это.

Попробовали заниматься добрыми делами. Ребята должны были ходить патрулями по городу, чинить скамейки, поправлять

---

[1] Роберт Баден-Пауэль — английский генерал, основатель системы скаутинг.

изгороди, помогать старушкам нести кошелки с базара. Но гимназисты пользовались очень дурной славой в городе. Первая же старушка, у которой Атлантида попробовал взять сумку, подняла такой крик, что сбежался народ и Степку чуть не побили...

Потом выяснилось, что скауты мои делали «добрые дела» таким манером: они ночью пробирались к какому-нибудь целехонькому палисаднику и ломали его. А утром те же ребята появлялись в роли благодетелей и с чинными, великопостными рожами поправляли палисадник. За это они получали десять очков на конкурсе добрых дел.

Скучно стало в дружине.

Помощи от небесного шефа нашего, Георгия Победоносца, ждать было нельзя. Сэр Роберт на портрете улыбался из-под широких полей бурской шляпы и посоветовать ничего не мог.

От ребят все чаще стало пахнуть опять табаком.

Баржа безруких кавалеров

Пришла осень семнадцатого года. Это была первая осень без царя.

Она была похожа на все предыдущие осени, эта осень — с дынями, мелководьем и переэкзаменовками.

Осенью в Саратов приплыла баржа георгиевских кавалеров. На барже помещался «музей трофеев».

Всю гимназию водили смотреть на этот плавучий патриотизм.

На борту баржи краснела надпись: «Война до победного конца»[1]. Из-под нее предательски просвечивало замазанное «За веру, царя...» Все служащие баржи, от водолива до матросов, были георгиевскими кавалерами. У всех почти не хватало руки или ноги, иногда и того и другого. На палубе скрипели протезы, стучали костыли. Зато у всех качались на груди Георгиевские крестики.

Три часа бродили мы по барже. Мы совали головы в многодюймовые жерла австрийских гаубиц и щупали шелк боевых турецких знамен. Мы видели громадный германский снаряд-«чемодан». В такой «чемодан» можно было упаковать смерть для целой роты. И, наконец, любезный руководитель показал нам достопримечательность музея. Это была немецкая каска, снятая с убитого офицера. Замечательная она была тем, что на ней оста-

---

[1] «Война до победного конца» — лозунг Временного правительства, которому партия большевиков противопоставила требование мира, то есть немедленного окончания войны и установления власти рабочих и крестьян.

лись прилипшие волосы убитого и запекшаяся настоящая немецкая кровь... Руководитель со смаком подчеркивал это.

У руководителя были офицерские погоны, две естественные ноги, и он жестикулировал обеими целыми и выхоленными руками.

Поражение Георгия Победоносца

На обратном пути Степка не проронил ни слова. Но вечером в тот же день он явился в штаб бойскаутов и разругался с нами.

— Вы, хлопцы, приметили, какой там дух?.. Как в мясном ряду... кровяной. Аж в нос разит. А за чертом это все? Люди ведь...

— Надо воевать до победы,— заикнулся кто-то из нас.

— Дурак ты, вот что...— накинулся на него Степка.— Слышал звон... А что нам всем будет от этой победы?.. Идите вы к черту, с вашим святым Егорием... Играйте в солдатики, кавалеры георгиевские... Бойскауты. На черта вы сдались, если за войну. Поняли? Вычеркивай меня к лешему. Побаловались.

Степка вынул запрещенные папиросы и нагло закурил. Все смущенно молчали. Потом Биндюг крякнул, нерешительно вынул папиросы и подошел к Атлантиде.

— Дай прикурить, Степа,— проговорил он,— кончили лавочку. Айда.

Сэр Роберт Баден-Пауэль улыбался со стены. Ничего смешного тут не было. Но по уставу скаут должен был всегда улыбаться. Сэр Роберт скалил зубы, как Монохордов, как дурак на похоронах.

Атлантида

...Шел раз урок географии в первом классе. Встал с «камчатки» второгодник Гавря, поднял руку и спросил:

— Правда это в книгах прописано, что Атлантида взаправду есть?

— Возможно,— улыбнулся учитель, длинноусый географ Камышов.— А что?

— А я ее, Никита Палыч, эту самую Атлантиду, найду. Ейбо! Пошукаю трошки в океане та и найду. Я ныряю дюже глубоко.

Вот с этого дня и прозвали Степку Атлантидой.

Он и действительно мечтал отыскать Атлантиду, этот отчаян-

ный голубятник, лихой «сизяк». Забравшись на сеновал, чихая в душистой пыли, он рисовал перед товарищами планы:

— Воду выкачаю оттеда, дверцы поисправлю, жизнь там такую налажу — во! Малина! Ни директоров, ни латыни.

Трудно приходилось ему в каменном закуте гимназии. У него была голова горячая, как кавун на июльской бахче. С трудом постигал он премудрости науки. На крохотном родном хуторке в выселках двором была вся степь — конца-краю не видать. Он привык орать на верблюдов, и долго баламутила гимназическую чинную тишину его зычная глотка.

— Гавря,— вызывал его преподаватель.

— Га?!? — гаркал в ответ на весь класс Степка и получал выговор.

Неугомонный, бежал он «на войну», но был возвращен с первой станции. Снова бежал — и опять был пойман. Об этом он не любил вспоминать.

Вверх ногами

У него были забавные и необычайные понятия о жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел это «вверх ногами». Рассказывали, что он сначала даже читал книги «вверх ногами». Это произошло таким образом. К старшему брату Сергею приходила учительница. Сергей учился читать. Степка был еще мал тогда для науки, ему не давали букваря. Учительница, положив перед собой букварь, занималась с Сергеем, а Степка, забравшись с локтями на стол с другой стороны, внимательно слушал их уроки. Степка видел перевернутые буквы. Так он и запомнил. Так он научился читать. И читал он справа налево, держа книгу перевернутой. Насилу переучили его.

После посещения баржи георгиевских инвалидов Степка стал очень серьезным. Он где-то пропадал все время, таскал какие-то книжки. Часто заходил он к нам на кухню и беседовал с Аннушкиным солдатом... Сюда же заходил пленный австриец-чех Кардач. Они горячо спорили. Однажды после этого Степка сказал мне немного растерянно:

— Вот оказия! Опять, выходит, прежде это дело вверх тормашками плановал. Фу-ты ну-ты! А насчет Атлантиды — это я полный болван. Жизню и тут можно наладить неплохо. Вот, понимаешь, задачка на все четыре действия.

Канун

На базаре голодные бабы в хлебном хвосте избили городского голову. Ночью тревожно выли собаки. Слабо трещали караульные трещотки в неумелых руках самоохранников.

С утра заседала городская дума. Волга дышала стылым и неуютным ветром. Ветер кидал на берег стружки волн. По улицам в пыльном вальсе кружились обрывки воззваний: «Граждане!.. Учредительное собрание...»

В четыре часа за Волгой, в Саратове, уронили что-то очень тяжелое. Шарахнулся ветер. Попробовали задребезжать окна.

...Баммм...

Еще раз, сдвоенно:

Ба-бм... бамммм!..

Казалось, выбивают чудовищной скалкой невиданный многоверстный ковер. В Покровске люди останавливались и, задирая головы, смотрели в небо. В небе метались галки. Кучки любопытных зачернели на крышах, как это бывает обычно, если далеко пожар... Снизу кричали:

— Эй вы там... Як? Бачите?

— Бачим,— солидно отвечали с крыши,— як на картине. Ось бабахнуло.

— Кто кого?

— Та не разберешь. Кажись, юнкера.

С крыши гимназии было видно: над Саратовом возникали маленькие белые комочки дыма. Потом они сразу разбухали в темные рваные облака. Через полминуты, мягко глуша, ложился на крышу тяжкий удар. К ночи над Саратовом встало багровое зарево. В эту ночь в Покровске не зажигали огней. Ночь была лиловой и воспаленной.

Урок истории

В девять утра, как всегда, побежали по площади длиннополые фигурки в серых шинелях. В ранцах урчали, перекатываясь, пеналы.

Тусклое утро село в классы. Заскрипела под невыспавшимся историком кафедра. Дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил:

— В классе нет Гаври Степана...

Историк не выспался. Он зевал и скреб подбородок.

— И вот император Юстиниан Великий и... ыыэх-хе-хе... Федора... (Зевота одолевала его.) И Фе-ыаа-ха-ха-дора...

Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой, живые люди делали историю. Класс шумел. Алеференко, решившись, встал:

— Кирилл Михайлович, пожалуйста, объясните нам насчет вот того, что сейчас в России.

— Господа,— возмутился педагог,— во-первых, я вам не газета — это раз. А потом, вы слишком молоды, чтобы разбираться в политике. Да-с. Итак, Юсти...

— Ты-то больно стар! — пробурчали сзади.— Замашки прежние!

— Что-о? Встаньте и стойте.

— Не вставай, Колька! — заволновался класс.— Подумаешь, Юстиниан Великий!

— Вон из класса!

Но тут с улицы вошел новый, мощный, густой, все покрывающий звук. Крылья ветра несли его. Это гудел костемольный завод. И сейчас же отозвался голосистый свисток в депо. Тонкими дискантами запели вразнобой лесопилки на Щуровой горе. Засвистела мельница. Консервный загудел далеким шмелем. А на Волге отчаянно и залихватски закричал пароходик.

Утро пело.

В класс вбежал инспектор. Смятение, как муха, запуталось в его бороде. В классе никто не встал.

День, не записанный в кондуите

Харькуша, Аннушкин солдат, ораторствовал на берегу. Он стоял на мостках и размахивал здоровой рукой. Можно было подумать, что он дирижирует гудками. Мы протиснулись сквозь толпу.

К берегу быстро подходил пароход. Пароход назывался «Тамара». Он уверенно шлепал по воде плицами колес. Под носом у «Тамары» росли сивые пушистые усы пены. Красный флаг стремился оторваться от мачты. Пароход подходил. На палубе его стояли люди и пулеметы. У людей были усталые лица, но стояли они твердо, будто припаяны были к палубе.

К Покровску причаливала революция. На мостике ходил капитан с красной повязкой на рукаве. Рядом с ним с винтовкой через плечо, сбив блин фуражки на затылок, стоял Атлантида. Я узнал стоявших возле него знакомых рабочих с лесопилки.

— Елки-палки, Степка! — закричали гимназисты.— Атлантида! Вот ты где!

Аккуратный Петя Ячменный озабоченно покачал головой:

— Как же ты на занятиях не был?.. Попадет тебе.

— Попаде-от? — засмеялся Степка, перемахнув через перила и прыгая на пристань с причаливающего парохода.— Нет, шалишь! Гроб ему, кондуиту-то, теперь полный. Крышка!.. Будя!..

Пароход, бросив чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командовал в рупор. На палубе выстраивались люди с красными повязками.

— Наши,— с гордостью указал на них Атлантида.

— Большевики,— зашептали в толпе.

— Готово! — сказал капитан.

Конец кондуита

Весной, в конце последней четверти, мы жгли учебные дневники. Таков был древний гимназический обычай. Но на этот раз он приобретал совсем особый смысл, и мы все чувствовали это.

На дворе пылал огромный костер. Вокруг сгорающих единиц, пылающих выговоров и истлевающих отученных дней мы скакали в диком индейском танце.

— Ура! — декламировали мы хором в триста глоток.— Уррра! Мы жжем! последние! дневники старого режима! Больше уже не будет их! Конец дневникам! Крышка «безобедам», смерть кондуитам! Ура! Горят последние в истории гимназические дневники! Огонь пожирает страницы позора и зубрежки. Горят дневники старого режима!

Биндюг и Степка пробрались в пустую учительскую.

Шкаф с кондуитом был заперт. Белка щекотала хвостом нос пыльной Венеры. Громадный глаз-муляж из папье-маше изумленно уставился на гимназистов. Тогда Биндюг ногой проломил филенку.

Кондуит был извлечен.

— В огонь кондуит! — завопил Атлантида, появляясь на крыльце с толстым кондуитом в руках.— Поджарим, ребята, Цап-Царапову брехню!

Но всем захотелось потрогать «Голубиную книгу», прочесть в ней о себе, раскрыть ее тайны. На костре сожгли все кондуитные журналы прошлых лет. Последний же кондуит был прочтен у костра вслух, и немало потешались мы над его злыми страницами. Его решили сохранить «для истории». Хранителем кондуита был избран Степка. Искателю Атлантиды принадлежала добрая четверть скандальной чести всех кондуитных записей.

Горели старые кондуиты. Корежились в огне их прочные

переплеты... На крыльцо вышел старшеклассник Форсунов, член городского Совета депутатов.

— Товарищи,— обратился он к гимназистам,— минутку тишины. Совет депутатов постановил убрать из гимназии старорежимников: Ромашова, Тараканиуса, Ухова и Монохордова. Нам дадут новых учителей. Мы выберем своих ребят в педагогический совет. Мы начнем учиться по-новому. Кондуит кончился.

С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную и бессильную «Голубиную книгу», вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра триста парней в маренго. Мы справляли неслыханную тризну по кондуиту.

Черные хрупкие страницы шевелились в золе.

БЛУЖДАЮЩИЕ ОСТРОВА

Крапива и поганки

Лето 1918 года мы провели в Каршандарской ривьере, на севере Швамбрании, и в деревне Квасниковке, в двенадцати километрах на юг от Покровска.

Все лето прошло в боях. Мы кровожадно колошматили крапиву и вытаптывали целые поселения поганок. При этом, конечно, пострадало много невинных сыроежек и безобидных одуванчиков. Лето было дождливое, и зелень одолевала нас. Но наконец нам удалось захватить в плен самого Мухомора-Поган-Пашу. Это был чудовищный гриб! Ножка его была величиной с кеглю, а красно-бурая шляпка, нашпигованная белыми бугорками, выглядела словно щедрый ломоть какой-то огромной колбасы. Несомненно, это был грибной вождь.

С великими почестями несли мы домой Мухомора-Пашу. Мы шли под тенью гриба. Вдруг впереди из оврага поднялись на дорогу двое мужчин.

Они пошли нам навстречу.

— Вот так зонтик! Черт те возьми! — сказал один.

Он был лопоух, и уши двигались, когда он говорил. На нем был зеленый френч в лохмотьях и обмотки. Колкие волосики торчали на небритом подбородке. И весь он похож был на крапиву. Я даже ощутил внутри какой-то зуд, когда он посмотрел на нас.

— У меня внутри зачесалось,— сознался потом и Оська.

В это время подошел другой, скаля гнилые зубы.

Это был бледный, тщедушный человек в парусиновой косоворотке и большой грибообразной шляпе. Трухлявую поганку напоминал он.

— Не дадите ли нам отведать сего лакомого яства, о юноши? — сказал человек-поганка.

— Не скупердяйничай, братишка,— сказал крапивный человек,— нам шамать требуется. А теперь все общее, даже, между прочим, грибы. Правильно, братишки?

— А откуда вы знаете, что мы братишки? — удивился Оська.

— Мне все насквозь известно,— отвечал крапивный человек.

— Теперь все братья,— добавил человек-поганка и торжественно продолжал: — Молодые люди! Судя по мечам вашим, вы, я вижу, доблестные рыцари. О братья-разбойники, поддержите в тяжелую годину своих страждущих собратьев! Иначе я в муках голода съем ваш гриб из семейства ядовитых и скончаюсь на ваших глазах в ужасных конвульсиях.

— Очень просто! Я лично даже без конфузий,— сказал крапивный человек,— нам помереть ничего не стоит.

Он, к нашему ужасу, откусил кусочек мухомора и тотчас же стал кончаться у нас на глазах... Человек-поганка хотел рвать на себе волосы, однако у него это не вышло, ибо он был лыс. Мы были подавлены. Но в наступившей тишине мы вдруг услышали, что внутри мертвеца что-то громко, часто и мелко стукает.

— У него еще сердце ходит,— робко объявил Оська.

— Это дух в меня входит и выходит, братишки,— горестно сказал мертвец.— Погибаю я, бедный мальчик, через революцию с голоду... И за что я кровь свою лил?.. Зовите, братишки, вашу мамочку... Пусть спасет меня, сироту. Скажите ей — погибает человек и меняет часы на сало.

Человек-крапива принялся вынимать из карманов галифе часы, часики, будильники, хронометры, секундомеры... Мы зачарованно взирали на это богатство. Окрестности Квасниковки заполнились тиканьем...

Комиссар проверил время

Через полчаса вызванные нами дачники и квасниковские бабы окружили приятелей. Крапивный человек вытаскивал из сумки и уже заводил часы-ходики и часы с кукушкой, а человек-поганка с ловкостью факира тянул из живота шелковую материю. При этом он худел у всех на глазах. Затем он стал вынимать из вещевого мешка два чернильных прибора, ночные

туфли, маленький аквариум (правда, без рыб), икону, щипцы для завивки, несколько граммофонных пластинок, собачий ошейник, крахмальную манишку, эмалированное судно и мышеловку. А шляпа его оказалась матерчатым абажуром для лампы.

— А машины швейной не будет? — спросила какая-то баба.

— Была,— ответил человек-поганка,— да под Тамбовом сменял.

Товарообмен шел бойко, а тем временем крапивный человек ораторствовал, как на митинге.

— Вот, дорогие дамочки, уважаемые бабочки и прочие,— заливался крапивный человек,— до чего нас довели эти товарищи большевики... А мы за них свою рабочую кровь и всю сукровицу до последней капли отдали, дорогие дамочки, уважаемые бабочки... Оба мы из города Питера.

— Комиссар катит! — закричал какой-то мальчишка.

И ловкие приятели быстро упрятали все в мешки.

— Покажь документ,— сказал приехавший из города комиссар Чубарьков, вылезая из тарантаса.— Ну, будя агитировать!

— Свой, а треплешься,— спокойно отвечал крапивный человек.

— Я те покажу «свой»! — грозно сказал Чубарьков и опустил руку в карман.— Предъявь документ, спекулянт чертов! Мешочник...

Человек-поганка, трясясь, вынул бумажку. На ней значилось: «Предъявитель сего помощник бухгалтера... и научный работник».

У крапивного человека документа совсем не оказалось, и он сам огорчился.

— А ну,— сказал товарищ Чубарьков,— складывай барахло и сыпь отсюда без оглядки, пока я вас не забрал... и точка. Наплодилось вас тут, словно поганок!..

— У нас ничего нет! — сказал человек-поганка.— Мы просто мирные пешеходы. Без всякой частной собственности. Можете обыскать.

— Некогда мне валандаться с вами! — сказал комиссар.— Скажи спасибо, ехать мне надо в Анисовку, поди, уже три часа.

«Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...» — пропела кукушка в сумке у крапивного человека.

Покорение Брешки

Покровск очень изменился в наше отсутствие. Базара не было. Знакомые буржуи подметали площадь. Среди них был хозяин костемолки. И мы зачеркнули в реестре несправедливости пункт второй. На том месте, где Земля закругляется, выстроили трибуну, а из окна большого дома на Брешке, где обычно раньше тявкал на гуляющих упитанный фокстерьер, глядел теперь, расставив лапы, пулемет. Над окном свисал красный флаг с двумя буквами: «Ч» и «К» [1].

В городе мы еще раз встретились с крапивным человеком. Он командовал погромом.

Погром начали дезертиры. Громили винно-гастрономический магазин, отобранный у богача Пустодумова. Толпа с утра окружила магазин и потребовала выдачи вина. Зеркальные витрины безмолвно отражали беснование толпы. Тогда крапивный человек железным прутом ударил по стеклу. Стекло отчетливо провизжало слово «зигзаг»...

Через час Брешка была пьяна. Бабы на коромыслах несли ведра портвейна. На Брешке стояли винные лужи. Вино текло по водосточным канавам. Люди ложились на землю и пили прямо из канавы. Гимназисты обнимались с солдатами. Предназначаемые для детского дома апельсины рассыпались по Брешке. В апельсинах рылись свиньи. Большая обвислая хавронья купалась в болоте из мадеры. На углу страдал пестрый боров. Его рвало шампанским.

Примчался на тарантасе, соскочив на ходу, Чубарьков.

— Именем революционного порядка, пожалуйста, прошу...— сказал комиссар.

— А раньше-то? — отвечали ему гимназисты.

Комиссар Чубарьков уговаривал, просил, требовал и предупреждал.

— Все общее! — кричала пьяная орава за крапивным человеком.— Кровь, сукровицу лили...

И тогда в окне большого дома закляцал, забился пулемет... Он ударил над Брешкой, выпустил первую очередь поверх хмельных голов, и трусливую Брешку вымело.

Мы вспомнили с Оськой, как, играя на подоконнике в Швамбранию, мы расстреливали своим воображением Брешку. Но тогда Брешка была неуязвима.

Через полчаса красноармейцы вытащили из подвала магазина утопленника. Человек упал, должно быть, в подвал и захлебнулся в вине.

---

[1] ЧК, Чека — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией.

Чубарьков подошел к трупу. Он взглянул и, узнав, покачал головой.

— Ку-ку,— сказал комиссар.

Единственная Тайна Швамбрании

Степка Атлантида прислал мне еще в Квасниковку записку. «Здорово, Леха! — было написано в ней.— Первого приходи в гимназию. Будет открыта Един. Т. Ш. Ох и лафа будет! С. Гавря».

Я долго расшифровывал это «Един. Т. Ш.», и вдруг меня осенило. Един. Т. Ш.! Ясно: Единственная Тайна Швамбрании — вот что это значило. Кто-то разоблачил тайну ракушечного грота, выпустил королеву и нашел записку... Степке теперь было известно про Швамбранию, и он собирался ее открыть для всех. Мы с Оськой были потрясены. Грубая действительность бесцеремонно вторгалась в наш уютный мир.

Но дома мы нашли печати на дверцах грота нетронутыми. Внутри, в сумраке и паутине, отбывала срок королева — хранительница тайны. Откуда же Степка узнал о Швамбрании? Я решил поговорить с ним начистоту. Степка был сам не чужд фантазии и заработал свое прозвище постоянной мечтой об Атлантиде. Я подумал, что Швамбрания и Атлантида могли бы стать союзными государствами.

Степка встретил меня с ликованием. За лето он вырос и поважнел.

— Ходишь? — спросил Степка.

— Хожу,— отвечал я.

— Существуешь? — спросил Степка.

— Существую,— отвечал я и нерешительно спросил: — А откуда ты про... Е. Т. Ш. узнал?

— Подумаешь, откуда! — хмыкнул Степка.— Все ребята уже знают...

— Раззвонил! — с тоской сказал я.— Эх, ты, а еще друг, товарищ... Мне ведь Швамбрания лучше жизни нужна.— И, оправдываясь, я рассказал Степке всю правду о стране вулканического происхождения. Я звал атлантов стать союзниками швамбран.

Степка слушал с интересом. Потом вздохнул и погасил разгоревшиеся было глаза.

— Я про Атлантиду больше не мечтаю,— сказал Степка твердо.— На что она мне нужна теперь, Атлантида! Мне нынче и без нее некогда! Революция. Это при царском режиме всякие

тайны были... А теперь и без секретов дела хватает. А Швамбранию — вы это толково выдумали,— признал Степка.— Только Е. Т. Ш. — это из другой губернии вовсе. Это вместо гимназии будет Е. Т. Ш.— единая трудовая школа, значит!

Точка, и ша!

Первого числа над гимназией взвился красный флаг. Мы собрались на дворе. Бодрый август сиял и звенел. Заведующий, Никита Павлович Камышов, вышел на крыльцо.

— Здравствуйте, голуби! — сказал Никита Павлович.— С обновкой вас. Вы теперь уже не гимназисты сизые, а ученики советской единой трудовой школы. Поздравляю вас.

— Спасибо! — ответили мы.— И вас также!

— А так как,— сказал Никита Павлович,— меня Совет назначил комиссаром народного здравоохранения, то с вами сейчас будет говорить новый временный заведующий, он же военный комиссар, товарищ Чубарьков. Прошу любить и жаловать.

Чубарькова встретили без аплодисментов. Чубарьков сказал:

— Товарищи! Вы образованные, а я был, между прочим, темным грузчиком. Вас книжка учила, а меня — несчастная жизнь. И вот я хочу прояснить о школе, о том, что есть такая единая и трудовая. Первым делом — почему школа, товарищи? Потому что это есть школа, а не что-либо подобное. Школа для всеобщего народного образования. Точка. Отчего трудовая? Потому что она для всех трудящихся и обучает всяким трудам, умственным и физическим. Точка. А единая оттого, что не будет теперь всяких гимназий и прогимназий да институтов благородных дамочек. Все ребята равные теперь и по-одинаковому будут науку превосходить. А чтоб с этого была польза революции, именем революционного порядка прошу быть поаккуратнее, занятия соблюдать, и все будет у нас хорошо, как говорится: точка, и ша!

— А раньше-то? — закричали Биндюг и два-три старшеклассника.— Долой комиссара! Даешь Никиту Павловича!

— Именем революционного порядка,— сказал Чубарьков,— пожалуйста, прошу быть посознательней. Никита Павлович назначен Советом на должность. И точка. Это раньше здравия желали только их благородию, а теперь всему народу здравие будет. Должность серьезная. Тем более, от тифа сейчас нам большая угроза. И ша!

В школьный совет назначили товарища Чубарькова, учите-

ля Александра Карлыча Бертелева, члена городского Совдепа Форсунова, Степку Атлантиду и еще двух старшеклассников. Кое-кто из гимназистов тихонько свистел. Потом Чубарьков объявил, что ввиду полного равноправия женского элемента мы будем теперь учиться вместе с девчонками. Точка, и ша!

Деликатная миссия

При слиянии мужской и женской гимназий классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные и параллельные, на «А» и «Б». Мы организовали специальную комиссию для выбора девочек в наш класс. Председателем выбрали меня, помощником — Степку. Полчаса мы оправлялись перед зеркалом в раздевалке. Все складки гимнастерки были убраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса Биндюг. Груди выпирали колесом. Но дышать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желающих плюнуть оказалось очень много. Но Степка позволил плюнуть только мне.

— Плювай пожидче,— сказал он,— только, чур, не харкать.

Я добросовестно плюнул. Степка пригладил вихры.

— Ох, вид у вас боевой! — сказал Биндюг, заботливо оглядывая нас.— Фасон шик-маре!.. Они в вас там повлюбляются по гроб жизни. Вы только покрасивше выбирайте.

Захватив с собой в качестве почетного эскорта-караула еще пятерых, мы отправились в женскую гимназию. У девочек шли уроки. Тишины и мира был полон коридор. Из-за дверей классов ползли приглушенные реки и озера, тычинки и пестики, склонения и спряжения... В углу громоздились друг на друге старые парты, а рядом стояло новенькое пианино, конфискованное у какого-то буржуя.

— Захватим музыку,— предложил Степка.

В четвертом классе урок, как мы заранее узнали, был «пустой», так как не пришла учительница русского языка. Чтоб занять время, классная дама велела девочкам читать вслух, а сама, сидя на кафедре, вышивала платочек. Пухлая гимназистка с выражением читала:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?..

— Это мы,— раздался голос из коридора.

Двери класса распахнулись настежь, и в класс, победоносно

грохоча, въехала невиданная процессия. Она превзошла все швамбранские вымыслы.

Впереди, как танки, ползли гуськом две парты. В отверстия для чернильниц были вставлены флаги. На партах прибыли мы со Степкой, а за нами в класс величественно въехало пианино.

Пять человек катили его, подталкивая сзади. Ролики пианино верещали по-поросячьи. На пюпитре стоял список учеников нашего класса «А». На подсвечниках висели наши фуражки, а левая педаль была обута в лапоть, подобранный во дворе...

— Вот и приехали! — сказал Степка.— У вас ведь урок пустой?

Девочки растерянно молчали.

— Что это такое?! — истерически взвизгнула классная дама.

Она так закричала, что в гулком пианино заныла и долго не могла успокоиться какая-то отзывчивая струна.

— Это мирная депутация,— сказал я и стоя сыграл на пианино вальс «На сопках Маньчжурии».

Дама хлопнула дверью. Девочки немного успокоились.

— Уважаемые равноправные девочки! — начал я.— Равноправные девочки! — повторил я и затем еще более горячо: — Я хочу вам сказать, что я хочу рассказать...

Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что мы теперь будем учиться вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минин и Пожарский, как «Кавказ и Меркурий», как Шапошников и Вальцев [1], как Глезер и Петцольд [2], как Римский и Корсаков...

— А как сидеть? — спросила высокая и строгая девочка.— Мальчишки отдельно или на одной парте с девочками? Если на одной, я не согласна.

— Мальчишки будут за косы дергать,— сказала басом толстая гимназистка,— или целоваться начнут.

Наша депутация изобразила бурное возмущение. Я с негодованием сыграл «Бурю на Волге», а Степка даже плюнул и сказал:

— Тьфу! Целоваться... Лучше уж жабу в рот!

— А в «гляделки» можно играть? — спросили хором самые маленькие ученицы с огромными бантами на макушках.

— «Гляделки»? — задумался я.— Как по-твоему, Степка?

— «Гляделки», я думаю, можно,— снисходительно сказал Степка.

Когда ряд других немаловажных деталей был выяснен и це-

---

[1] Шапошников и Вальцев — составители задачника.

[2] Глезер и Петцольд — авторы учебника немецкого языка.

ремония окончена, мы принялись довольно бесцеремонно вербовать себе одноклассниц.

Девочки спешно прихорашивались.

Первой я записал Таю Опилову, обладательницу толстой золотой косы.

— Я сегодня не в лице,— сказала в нос Тая Опилова,— у бедя дасборг (у меня насморк)...

Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили: около фамилии строгой девочки — Бамбука, около двух маленьких — Шпингалеты, рядом с толстой — Мадам Халупа. Затем были еще Соня-Персоня, Фря, Оглобля, Букса, Люля-Пилюля, Нимурмура, Шлипса и Клякса.

А девочки, которых мы не выбрали, называли нас дураками.

— Ну,— сказал Степка, когда мы вышли,— теперь в классе придется без выражений, пока не привыкнут.

Во дворе встретилась депутация нашего класса «Б». Произошло крупное объяснение по поводу того, что мы опередили их. Нам слегка испортили наш вид и настроение.

«Собачья полька»

В амбарном городке вымирают голуби. Ветер шуршит в пустых амбарах страшным словом «разруха».

— Свистит разруха сквозь оба уха,— говорит наш сторож Мокеич, горестно наблюдая за тем, что творится в школе.

А в школе происходят такие громкие дела, что лошади на улице пугливо косят глаза на нас или шарахаются на другую сторону улицы. Целый день гремит в школе «собачья полька»: одним пальцем — до! ре! ре!.. до! ре! ре!.. си! ре! ре! Пианино волокут по коридору. Его возят из класса в класс на свободные уроки.

Класс обращается в танцульку. Ученики открыто уходят с уроков. «Карапетик бедный, отчего ты бледный?.. Оттого я бледный, потому что бедный...»

Учитель после звонка ловит в коридоре учеников и умоляет их идти на урок.

— Вы же хорошо учились,— с отчаянием говорит добрый математик Александр Карлыч, поймав меня за рукав.— Идемте, я вам объясню преинтересную штуку относительно тригонометрических функций угла. Прямо удивитесь, до чего интересно. Чистая беллетристика.

Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. До, ре, ре!.. До, ре, ре! — слышится из соседнего. Александр Карлыч садит-

ся за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин чином, только учеников нет. Класс — это я.

— Пожалуйте к доске,— вызывает меня математик.

Рядом с доской я вижу расписание уроков на завтра. Ого! Завтра трудный день! Пять уроков. Первый — пение, второй — рисование, третий — чай, четвертый — ручной труд, пятый — вольные движения.

— Ну-с, начнем,— обращается Александр Карлыч к пустому классу.— Дан угол альфа...

До! ре! ре!.. До! ре! ре!.. Си! ре! ре...

«Внучки» бесформенные

Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь палисад. Пуговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки. Но мы стойко донашивали старую форму. На блеклых фуражках синела бабочкой тень удаленного герба.

Однажды товарищ Чубарьков привел в класс семерых новичков. Одеты они были пестро, не в форме, и держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковы. На пряжках были буквы «В. Н. У».

Комиссар сказал классу:

— Прошу потише. Затем здравствуйте. Точка. Следующий вопрос. Ввиду того что теперь школа единая, все должны учиться заодно — сообща. Будьте знакомы. Это вот из Высшего начального училища. Подружайтесь.

— Долой внучко́в! — закричали сзади.— Не будем учиться с внучка́ми! Мы средние, а они начальные!

Чубарьков обернулся в дверях.

— Кто вместе со всеми не желает,— сказал он,— тот может, пожалуйста, получить метрики самостоятельно! И ша! — сказал комиссар и ушел.

«Внучки́» остались робеть у кафедры.

— Здравствуйте, буржуазия,— сказал смуглый «внучок» Костя Руденко, по уличному прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице.— Здравствуйте, ребята и девочки,— вежливо сказал Костя Жук.

— А по по не по? — серьезно спросил Биндюг.

(— А по портрету не получишь? — перевели наши сзади.)

— А ра-то вы ме би? — спокойно сказал Костя Жук.

(— А раньше-то вы меня били? — растолковали нам «внучки».)

В классе уже начали отстегивать с рук часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение.

— Эх ты, внучок бесформенный! — сказал Биндюг, грозно подойдя к Косте Руденко.— Тоже туда же... Из начального в гимназию вперся! Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы... А тоже лезут...

— Вы — среднее учебное заведение, а мы — высшее, хоть и начальное,— хитрил Костя Жук.— Мы больше вашего учили... Вот скажи, где бывает полусумма оснований?

Биндюг сроду не встречал «полусуммы оснований».

— Чихал я на твои полусуммы оснований! — свирепел он.— Вот приложу тебе сейчас печать на удостоверение личности, так будешь знать...

Но он был смущен. Я видел, что многие из наших ребят торопливо рылись в учебниках. Я знал, «где бывает полусумма», и поднял руку, чтоб спасти честь класса.

Степка Атлантида крепко ударил мою ладонь и сбил ее вниз.

— Без тебя обойдутся,— тихо сказал Степка.— Так ему и надо, Биндюгу! Молодчага этот внучок. Уел наших... Присаживайся, ребята, на свободные вакансии,— громко сказал он «внучкам».

«Внучки» несмело рассаживались. Отчужденное молчание класса встретило их. Костя Жук подсел к Шпингалеткам (так прозвали у нас двух неразлучных маленьких учениц).

— Неподходящее знакомство! — сказали хором обе Шпингалетки.

Они тряхнули бантами и напыщенно отодвинулись.

Матч в «гляделки»

Девочки ввели в класс много новшеств. Главным из них были «гляделки». В эту увлекательную игру играл поголовно весь класс. Состояла она в том, что какая-нибудь пара начинала пристально глядеть друг другу в глаза. Если у игрока от напряжения глаза начинали слезиться и он отводил их, это засчитывалось ему как поражение. У нас были лупоглазые чемпионы и чемпионки. Был организован даже турнир — чемпионат «гляделок». Весело и незаметно проходили уроки.

Матч на звание «зрителя-победителя» всего класса длился подряд два урока и часть большой перемены. Состязались Лиза-Скандализа и Володька Лабанда. Два с половиной часа они не

сводили друг с друга невидящих глаз. В этот день даже на уроке физики учитель был поражен необычайной тишиной в классе. Не понимая, что происходит, физик объяснил устройство ватерпаса. Потом он на цыпочках ушел.

К концу большой перемены Володька Лабанда закрыл рукой воспаленные глаза. Он сдался. Лиза все глядела исподлобья, неподвижно. И девочки, торжествуя, предприняли «всеобщее визжание, или детский крик на лужайке». А мы удрученно заткнули уши.

Но Лиза-Скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть исподлобья в одну точку. Обе Шпингалетки заглянули в ее лицо и испуганно отскочили. И мы увидели, что глаза Лизы закачены под лоб. Лиза давно была в обмороке.

Учиться было некогда

Класс старался все-таки при девочках держаться пристойно. С парт и стен были соскоблены слишком выразительные изречения. Чтоб высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску. На уроках по классу реяли учтивые записочки, секреты, конвертики: «Добрый день, Валя. Позвольте проводить вас до вашего угла по важному секрету. Если покажете эту записку Сережке, то я ему приляпаю, а с вашей стороны свинство. Коля. Извините за перечерки».

Каждый вечер устраивались «танцы до утра». На этих вечеринках мы строго следили, чтоб с нашими девочками не танцевали ребята из класса «Б». Нарушителей затаскивали в пустые и темные классы. После краткого, но пристрастного допроса виновника били. Друзья потерпевшего, разумеется, алкали мести, и вскоре эти ночные побоища в пустых классах приобрели такие размеры, что старшеклассники стали выставлять у дверей дежурных с винтовками. Винтовки остались от «самоохраны». Иногда дежурные для убедительности палили в черную пустоту. К выстрелам танцующие быстро привыкли.

Биндюг, участвовавший в погроме магазина, устроил в классной печке небольшой винный погребок. Не брезговала его угощением и Мадам Халупа.

Это была толстенькая, великовозрастная тетка. Ее побаивались не только девочки, но и ребята. Одного из обидчиков она всенародно выпорола его же ремнем на кафедре. Меня же Мадам Халупа однажды так грохнула головой о кафельный пол, что я лишь пять минут спустя ощутил себя снова живым, и то лишь наполовину.

Степка Атлантида ходил мрачный. Родители учеников встречали его и попрекали.

— Ну что? — говорили они.— Добились? Весело вам теперь учиться? Срам на весь город, больше ничего. Ведь это ж извините что такое, а не школа!

Степка пытался уговорить разыгравшихся хуторянских сынков. Его поддерживали «внучки» и кое-кто из приятелей.

Нас не слушали.

— Когда же учиться? — грустно спрашивали мы.

— Некогда нынче этим делом заниматься,— отвечал Биндюг,— не старый режим. Хватит!

— Дурак! — сказал Костя Жук.— Нынче нам только и учиться по-правдашному.

— Это вам, внучкам-большевичкам, образования не хватает,— сказал Биндюг,— а наш брат, старый гимназер, обойдется... Не учи ученого.

В Швамбрании в этот день тоже загорелся ученый спор между графом Уродоналом Шателена и Джеком, Спутником Моряков. Началась война.

Шишка на ровном месте

На большой перемене нам раздавали сахар. Нас поили горячим чаем. Такой роскоши в старой гимназии мы не знали.

Теперь каждый получал большую кружку морковного настоя и два куска рафинада. В Покровске почти не было сахара. Я пил школьный чай несладким и нес драгоценные кусочки домой. Там ждал меня верный Оська. Он встречал меня неизменной фразой.

— Большие новости! — говорил он и тотчас сообщал мне о событиях, происшедших за день в Швамбрании.

Я отдавал ему сахар. Мы любовались зернистыми и ноздреватыми кубиками. Мы клали их в коробочку. Она вмещала в себя сахарный фонд Швамбрании. Фонд был неприкосновенен. Он предназначался для каких-то грядущих пиров. Лишь в воскресенье мы съедали по куску на обеде у президента Швамбранской республики. Фонд рос. Мы мечтали о толщине будущих сахарных напластований, об огромных сладких параллелепипедах, о рафинадных цитаделях. Приторная геометрия этих грез вызывала восторженное слюнотечение.

Но однажды сахар вызвал кровопролитие.

Я был выбран ответственным раздатчиком сахара по нашему классу. Это была не столько сладкая, сколько уважаемая всеми должность. В моей честности не сомневались.

— Ишь ты,— говорили мне,— комиссар продовольствия... Шишка на ровном месте.

А Биндюг, парень наглый и предприимчивый, предложил раз мне хитрую сделку. Дело касалось лишних порций, выданных классу на отсутствующих учеников. Биндюг предлагал не возвращать в канцелярию этот остающийся сахар, а оставить себе и делиться с ним. Эта заманчивая комбинация сулила, конечно, необыкновенный урожай швамбранского сахара. Будь это в старой гимназии, я не только бы не сомневался — я бы счел долгом надуть начальство. Но теперь в совете сидели свои же ребята. Они доверяли мне, допустили к сахару, и я не мог их обманывать.

Я отказался, замирая от гордой честности. В тот же день Биндюг отплатил. Во время раздачи сахара несколько кусочков свалилось на пол. Я нагнулся под парту, чтоб поднять их. В это время Биндюг резко рванул меня за шиворот вниз. Я шибко ахнулся об угол скамейки. На лбу вспухла зловещая шишка и протекла кровью. Два кусочка рафинада порозовели. Девочки сочувственно глядели мне в лоб и советовали примочить. Я продолжал раздачу, стараясь не закапать рафинад. Себе я взял два розовых кусочка. Тая Опилова дала мне свой платок. Окрыленный и окровавленный, я пошел в комнату рядом с учительской. На дверях был прибит красный лоскут. В комнате был дым, шум и винтовки.

— Товарищи,— сказал я в дым и шум,— вот, я пострадал через общественный сахар... и вообще, ребята, я давно уже на платформе... Будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в сочувствующие.

Шум упал, а дым сгустился. И мне сказали:

— Да тебя за сочувствие папа в угол накажет... да еще клистир пропишет, чтоб не сочувствовал... Он у тебя доктор.

Дым скрыл мое огорчение.

Тем не менее я всю неделю ходил с шишкой на лбу. Я носил шишку, как орден.

Дыхание — 34

...И плакали о нем дети в школах.

«Шехерезада», 35-я ночь

В это утро я вышел в школу немного раньше, чем обычно. Надо было получить сахар в Отделе народного образования. На Брешке, у «потребиловки», где были расклеены на стене свежие газеты, стояла большая тихая толпа. Она заслонила мне середи-

ну газеты, и я видел лишь дряблую бумагу, бледный, словно защитного цвета, шрифт, заголовок «Извѣстія» через «и с точкой» и слово «Совет», в котором еще заседала буква «ять».

«Бои продолжаются на всех фронтах»,— прочел я сверху. Между головами людей я видел отрывки обычных телеграмм:

> ...На Урале мы продолжаем наступление, и нами занят ряд пунктов. На Каме наши войска отошли к пристани Елабуга. Американские войска высадились в Архангельске. В Архангельске рабочие отказываются поддерживать власть соглашателей... Борьба повстанцев на Украине продолжается.

В самом низу, под чьим-то локтем, я разглядел мелкий шрифт вчерашней газеты:

> Продовольственный отдел Московского Совета Раб. и Красноармейских депутатов доводит до сведения населения г. Москвы, что завтра, 30 августа, хлеб по основным карточкам выдаваться не будет... По корешку дополнительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по купону № 13 будет отпускаться 1/4 фунта хлеба...

Необычайно молчаливо стояла толпа у газеты, и я не мог понять, что такое произошло. Вдруг, расталкивая народ, вперед быстро протиснулся пленный австрийский чех Кардач и с ним двое красногвардейцев. Кардач был бледен. Обмотка на одной ноге развязалась и волочилась по земле.

— Читай,— сказал он.

И кто-то, добросовестно окая, прочел:

30 августа 1918 года, 10 часов 40 минут вечера.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.

> Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина...
>
> Спокойствие и организация. Все должны стойко оставаться на своих постах. Теснее ряды!
>
> *Председатель ВЦИК Я. Свердлов.*

Кардач, ошеломленный, неверящими глазами смотрел в рот читавшему.

Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал:

— М-м-м...

— «Одна пуля, взойдя под левой лопаткой...» — сбиваясь, читал кто-то.

— Так,— спокойно сказал Биндюг и, оторвав уголок газеты, стал крутить собачью ножку.

Кардач кинулся на него. Он схватил Биндюга за плечи и стал трясти его.

— Я из тебя самого собачий нога закрутить буду! — кричал Кардач.

Красногвардейцы тоже двинулись на Биндюга. Он вырвался и ушел не оглядываясь.

Я побежал в школу.

Ленин ранен!.. Ленин! Самый главный человек, который взялся уничтожить все списки мировых несправедливостей, и он ранен!!!

...Школа гудела. На полу в классе лежали, опершись на локти, «внучки» и несколько наших ребят.

На полу был разложен анатомический атлас, взятый из учительской. Путаясь в нем карандашом, мы решали: опасно или как?..

Костя Жук сидел на парте, подперев щеку рукой. В другой он держал перочинный ножик.

— А вдруг если... помрет?..— уныло спрашивал Костя.

И вырезал на парте: ЛЕНИН.

Пришел сторож Мокеич, хранитель школьного имущества.

Он строго поглядел на Костю и уже раскрыл рот, чтобы сделать ему выговор за порчу народного достояния. Но потом вздохнул, помолчал немного и ушел.

По лестнице бухали тяжелые шаги. У дверей с красным лоскутом старшеклассники складывали винтовки.

На большой перемене в класс пришли члены совета: Форсунов и Степка Атлантида.

Степка только что вернулся из Саратова и привез последние сообщения.

— «Состояние здоровья товарища Ленина...— прочел Форсунов,— состояние здоровья... по вечерним бюллетеням, значительно лучше. Температура — 37,6. Пульс — 88. Дыхание — 34».

— Лелька,— сказал мне Атлантида,— Лелька, у нас к тебе просьба. У тебя папан — врач. Позвони ему по телефону, как он насчет товарища Ленина думает...

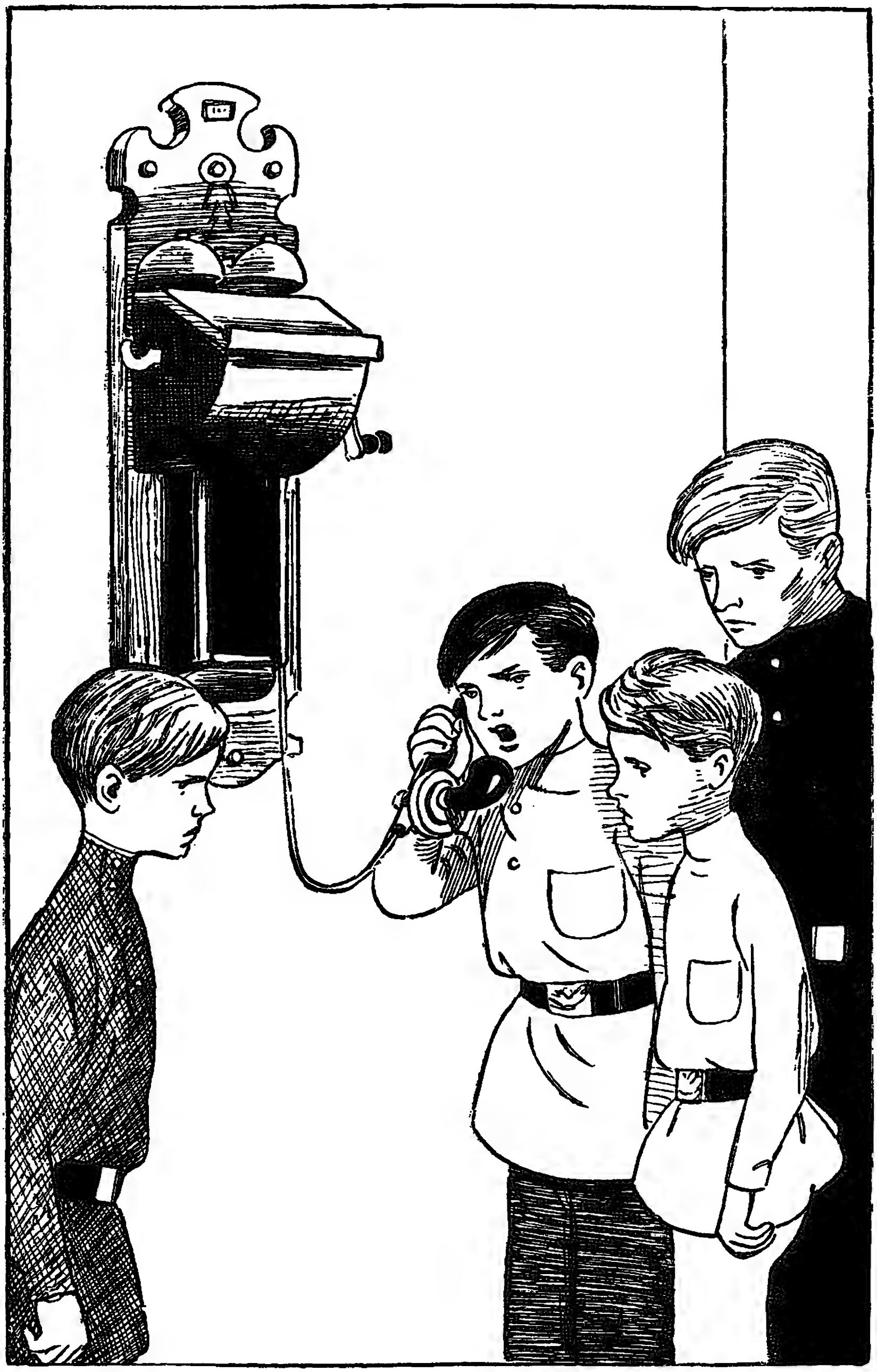
Через несколько минут я прижимал к уху трубку, еще теплую от предыдущего разговора. Почтительная толпа окружала меня.

— Больница? — сказал я.— Доктора, пожалуйста... Папа? Это я. Папа, наши ребята и совет просят тебя спросить... о товарище Ленине. У него дыхание — тридцать четыре. Как ты считаешь? Опасно?..

И папа ответил обыкновенным докторским голосом.

— С полной уверенностью сказать сейчас еще нельзя,— сказал папа,— случай серьезный. Но пока нет поводов опасаться смертельного исхода.

— Скажи ему спасибо от нас,— шепнул мне Степка.



В этот день на уроке пения мы разучивали новую песню. Называлась она красиво и трудно: «Интернационал».

Дома Оська сказал мне, как обычно:

— Большие новости...

— Без тебя знаю,— поспешил оборвать его я,— всем уже известно. Папа сказал: может поправиться.

Это был первый вечер без игры в Швамбранию.

Права и обязанности новичка

А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.

Маяковский

Оську приняли в школу. Оська получил документы.

Временно заведующий первой ступенью маляр и живописец Кочерыгин написал на них такую резолюцию: «Хотя сильный недобор года рождения, но принять за умственные способности. Уже может читать мелкими буквами».

Мама пришла из школы и с сюрпризом в голосе позвала Оську.

— Приняли! — сказала гордая мама.— Только жаль, что теперь форму отменили.

— У нас сколько много теперь сахару будет! — мечтательно сказал Оська.— И мне будут выдавать.

Я же прочел Оське краткую лекцию на тему: «Новичок, его права и обязанности, или как не быть битым».

Надев мою старую фуражку, Оська пошел в школу. Фуражка свободно вращалась на голове.

— Зачем картуз такой напялил? — спросил Оську временно заведующий, заглядывая ему под фуражку.

— Для формы,— ответил Оська.

— Больно уж ты клоп,— покачал головой временно заведующий.— Куда тебе, такому мальку, учиться?

— А вы сами Федóра великая...— сказал Оська, от обиды перепутав адрес моих наставлений, и вовремя замолк.

— Так нельзя говорить,— сказал Кочерыгин.— А еще докторов сын! Вот так благородное воспитание!

— Ой, простите, это я спутал нечаянно! — извинился Оська.— Я вовсе хотел сказать — маленький-удаленький.

— А правда можешь про себя мелкими буквами читать? — спросил с уважением заведующий.

— Могу,— сказал Оська,— а большие буквы даже через всю улицу могу и вслух, если на вывеске, и наизусть знаю...

— На вывеске! — умилился бывший живописец.— Ах ты, малек! Наизусть помнишь? Ну-ка, какие вывески на углу Хорольского и Брешки?

Оська на минуту задумался; потом он залпом откатал:

— «Магазин «Арарат», фрукты, вина, мастер пичных работ П. Батраев и трубная чистка, здесь вставать за нуждою строго воспрещается».

— Моя работа,— скромно сказал временно заведующий.— Я писал.

— Разборчивый почерк,— сказал вежливый Оська.

— А как теперь на бирже написано? — спросил временно заведующий.

— «Биржа» зачеркнуто, не считается. «Дом свободы»,— ответил без запинки Оська.

— Правильно,— сказал временно заведующий.— Иди, малек, можешь учиться.

— Новенький, новенький! — закричал класс, увидев Оську.

— Чур, на стареньком! — поспешно сказал Оська, помня мои наставления.

Класс удивился.

Оську не били.

Учитель в маске

Преподавателем гимнастики был у нас в школе борец Ричард Синягин, Стальная Маска, бывший грузчик. В саратовском цирке происходил в то время международный чемпионат французской борьбы. Ричард Синягин ездил в Саратов бороться, и арбитр Бенедетто называл его при публике «борец-инкогнито — Стальная Маска». Вскоре афиши оповестили всех, что назначена «решительная, бессрочная, без отдыха и перерыва, до результата» схватка Стальной Маски и Маски Смерти. Все это было, конечно, сплошное жульничество. Борцы добросовестно пыхтели условленные заранее сорок минут, и потом Стальная Маска старательно уложила себя на лопатки. Когда ладони зрителей вспухли и цирк стих, арбитр объявил, осторожно ломая руки:

— Увы!.. Маска Смерти победила в сорок пять минут, правильно... Под Стальной Маской боролся чемпион мира и города Покровска Ричард Синягин.

На другой день в школе Синягин весь урок оправдывался, что его положили неправильным приемом. Класс, однако, выразил

ему порицание. Тогда, чтобы доказать свою силу, Синягин позволил желающим вскарабкаться на него. Человек восемь взобрались на Синягина. Они лазили по нему, как мартышки по баобабу. Потом Синягин поднял парту, на которой сидела Мадам Халупа с двумя подружками. Он поднял парту со всеми обитателями и поставил ее на соседнюю.

— Вот,— сказал он,— а вы говорите...

И урок кончился.

«Мир — это чемпионат»

Школа всегда уважала силачей. Теперь она стала их боготворить. «Гляделки» были позабыты, французская борьба целиком завладела школой. Она стискивала нас в «решительных и бессрочных», тузила, швыряла «суплесами» и «тур-де-ганшами»[1] по классам, по коридорам. Она протирала наши лопатки кафелями полов. И только лопатки Мартыненко-Биндюга ни разу не касались пола. Биндюг был чемпионом классных чемпионов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестностей.

Все это, конечно, не могло не отразиться на государственном порядке Швамбрании. Мир всегда был в наших головах рассечен на две доли. Сначала это были «подходящие и неподходящие знакомства». Затем мореходы и сухопутные, хорошие и плохие. После памятного разговора со Степкой Атлантидой стало ясно, что мерка «хороший» и «плохой» тоже устарела. И теперь мы увидели иное расслоение людей. Это было наше новое заблуждение. Мир и швамбраны были разделены на силачей и слабеньких. Отныне жизнь швамбран протекала в непрерывных чемпионатах, матчах и турнирах. И чемпионом Швамбрании стал некто Пафнутий Синекдоха, геройством своим затмивший даже Джека, Спутника Моряков, и уложивший на обе лопатки графа Уродонала Шателена.

Оська совершенно помешался на французской борьбе. В классе своем он был самый крохотный. Его все клали, даже «одной левой». Но дома он возмещал издержки своей гордости. Он боролся со стульями, с подушками. Он разыгрывал на столе матчи между собственными руками. Руки долго мяли и тискали одна другую. И правая клала левую на все костяшки. Самым серьезным и постоянным противником Оськи был валик-подушка с большого дивана. И часто в детской разыгрывались такие сцены.

---

[1] «Суплесы», «тур-де-ганши»— приемы французской борьбы.

Оська, распростерши руки, лежал на полу под подушкой, будто бы придавленный ею.

— Неправильно! — кричал Оська из-под подушки.— Он мне сделал двойной нельсон и подножку...

В реванше подушка оказывалась непобежденной, и ее наказывали во дворе палкой, выколачивая пыль.

Затем Оська свел Кольку Анфисова, чемпиона первой ступени, с Гришкой Федоровым. Гришка Федоров был вторым силачом нашего класса. Встреча состоялась в воскресенье у нас на дворе. Приготовления начались еще накануне. Мелом очертили «ковер». Круг подмели и посыпали песком. Когда воскресные зрители собрались и во дворе стало тесно, Оська вынул дудочку. Я провозгласил:

— Сейчас будет, то есть состоится, борьба между двумя силачами: Анфисовым (первая ступень) и Федоровым (вторая ступень). Борьба бессрочная, честная, без отдыха и волынки, решительная, до результата... Маэстро, туш!.. Оська, дудни еще раз! Запрещенные приемы известны. Жюри, значит — судьи, займите места у бочки.

Оська, Биндюг и дворник Филиппыч сели на скамейку у бочки. Я объявил матч открытым.

Чемпионы пожали друг другу руки и мягко отскочили. Анфисов был высок и костист. Маленький, коренастый Федоров походил на киргизскую лошадку. Несколько секунд они крадучись ходили один вокруг другого.

Потом вдруг Анфисов крепко обхватил Федорова, зажав ему руки.

Зрители окостенели; даже ветер упал во дворе.

— Ослобони руки-то! — крикнул Филиппыч.

— Руки! — крикнули второступенцы.

— Правильно! — сказали первоступенцы.

Я засвистел. Оська загудел. Жюри поссорилось. Анфисов под шумок уложил Федорова.

— Ура! — закричали первоступенцы.— Правильно!

— Ладонь еще проходит! — сказали наши.— Неправильно!

Но, как я ни старался, ладонь моя не могла протиснуться под прижатыми к земле лопатками нашего чемпиона. Клеймо позора прожгло нас насквозь. Федоров поднялся смущенный, отряхиваясь.

— Приляг еще разок,— насмешливо сказал Биндюг,— отдохни!

Будущее показалось нам сплошным кукишем.

Мальки ликовали. Тогда Биндюг ринулся на них. Он швырнул наземь их чемпиона и занялся потом избиением младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штабелем.

В это время в калитку вошел с улицы Степка Атлантида.

— Извиняюсь, в порядке ведения вопрос,— сказал Степка,— что тут за драка на повестке дня?

Я рассказал Степке, что произошло. Биндюг развалил штабель малышей в барахтающуюся пирамиду и подошел к нам.

— Такие здоровые бугаи,— сказал Степка,— а в борьбе играются. Нашли забаву в такой текущий момент!

— Брешешь, Степка, большая польза для развития,— возразил Биндюг.— Вот, потрогай мускулы... Здóрово? То-то и оно-то! Который силач, ему плевать на всех. Вы вот с Лелькой к внучкам почему подлипаете? Трусы потому что. Силенка слаба, так думаешь, своя компания заступится. Эх вы, фигуры! А мне ваша компания не требуется. Я сам управлюсь. Во кулак!

— Здоров кулак, а головой дурак,— сказал Степка.— Ну скажи, чего ты сам собой, в одиночку, добиться можешь? А мы тебя компанией, или, научно сказать, обществом, если вместе решим, так в два счета... Вот наша сила!

— Конечно, если все на одного,— сказал Биндюг.— Только это уж не по-честному.

— А когда работали все на одного,— это по-честному было? — спросил Степка.— Сколько у твоего батьки пузатого на хуторе народу батрачило?

— А ты, что ль, не хуторянин? — огрызнулся Биндюг и почернел от внезапно прорвавшейся злобы.

— Ты не равняй, пожалуйста,— спокойно отвечал Степка.— У нас хуторишко был с гулькин нос, а у вас и сад, и палисад, и река, и берега — целая усадьба.

— Да ваши же товарищи там чертовы теперь коммуну развели, а нас выгнали...

— Выгнали... Не беспокойся, знаю... Хлеб в погребе схоронили. А я своего батьку заставил всю разверстку отдать. Эх и въехало же мне от матери! Я у Коськи Жука ночевал... А после он у меня... Мы все один за одного стоим. Вот против таких, как ты вроде...

— Значит, против старого товарища пойдешь? — тихо спросил Биндюг.

— Был ты мне товарищ,— еще тише сказал Степка.

Молчание, похожее на тень, прошло по двору. Потом Биндюг шумно вздохнул и пошел к калитке. Он уходил сутулясь, и его лопатки, нетронутые лопатки чемпиона, выглядели так, словно только что коснулись поражения.

На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка Биндюга с Атлантидой. Биндюг угрюмо отнекивался. Но вместо ожидавшегося математика Александра Карлыча в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысины росли торчком бурые волосы, лысина его была подобна лагуне в коралловом атолле.

— Что это за плешь? — мрачно спросил Биндюг.

И класс загоготал.

— Э-мюэ... Эта? — спросил старичок, тыкая пальцем в склоненную лысину.— Это моя. А что?

— Ничего... так,— сказал не ожидавший этого Биндюг.

— Может быть, теперь лысые... э-мюэ... запрещены? — приставал старичок.

Класс с уважением смотрел на него.

— Нет, пожалуйста, на здоровье,— сказал Биндюг, не зная, как отделаться.

— Ну спасибо,— прошамкал старичок.— Давайте познакомимся.— Э... э-мюэ... Я ваш педагог истории, Семен Игнатьевич Кириков. Э-мюэ... Добрый день, троглодиты!

Слово было новым и незнакомым, и мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Степка Атлантида. Степка спросил Кирикова:

— Вопросы имеются: из какого гардероба вы выскочили — раз. И чем вы нас обозвали — два. Это насчет троглодитов.

Троглодиты затопали ногами и требовательно грохнули партами.

— Сядьте, вы, фигура! — сказал Кириков.— Троглодиты — это... э-э-эм... э... допотопные пещерные жители, первобытные люди, наши, э-мюэ, пра-пра-пра-прародители, предки... ну-с, э-мюэ... А вы — молодые троглодиты.

— Это, выходит, я — троглодитиха? — грозно спросила Мадам Халупа.

— Ну, что вы! — учтиво зашамкал Кириков.— Вы уже целая мамонтша или бронтозавриха.

— Свой! — восторженно выдохнул класс.

Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покорен им к концу первого урока. Даже требовательный Степка сперва признал, что «старикан — подходящий малый». Прозвище новому историку нашлось быстро. Его прозвали «Э-мюэ», что по-французски обозначало «е» немое. Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бес-

конечными «э-э-э-мюэ»... Э-мюэ не обижался на троглодитов. Он был весел и добродушен. Девочки наши обстреливали Кирикова записочками.

Э-мюэ называл нас в одиночку фигурами.

— Фигура Алеференко! — говорил он, вызывая.— Воздвигнитесь!

Алеференко воздвигался над партой.

— Ну-с, фигура,— говорил Э-мюэ,— вспомним-ка, э-мюэ, пещерный житель... О чем мы беседовали прошлый раз?

— Мы беседовали о кирках и каменном веке,— отвечал троглодит Алеференко.— Очень скучное и доисторическое. Ни войны... ничего.

— Садись, фигура,— говорил Э-мюэ.— Сегодня будет еще скучнее.

И он нудной скороговоркой отбарабанивал следующую порцию доисторических сведений. Отбарабанив, он разом веселел, ставил у двери дозорного и оставшиеся пол-урока читал нам вслух журнал «Сатирикон» за 1912 год или рассказывал свои охотничьи похождения. И внимательная тишина была одной из почестей, воздаваемых Кирикову. Ликующая лысина его постепенно окружалась ореолом славы и легенд. Несмотря на свою близорукость, Э-мюэ разглядел распад класса на партии, и он сам стал делить нас на троглодитов (гимназистов) и человекообразных («внучков»). Это окончательно полонило души старых гимназистов.

Но иногда проглядывало, казалось мне, в этом добродушном старичке что-то неуловимое, злое и знакомое. Оно вставало в конце некоторых его шуток, видимое, но непроизносимое, как э-мюэ, как немое «е» во французском правописании.

Мамонты в Швамбрании

Примерно на четвертом своем уроке Э-мюэ обратился к нам с большой речью. В этот день он даже шамкал и мямлил меньше, чем обычно. Но от него пахло спиртом.

— Троглодиты и человекообразные! — сказал он.— Я хочу зажечь святой огонь истины в ваших пещерах... Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах, а об императорах запрещают... Слушайте меня, первобытные братья, мамонты и бронтозаврихи... э-э-мюэ... История кончилась...

— Нет, нет! Не кончилась... звонка еще не было! — возразили из-за угла.

— Какая это там амеба из простейших так высказалась? — спросил Кириков.— Я же говорю не об уроке истории, а о... э-э-мюэ... об истории человечества... о прекрасной воинственной, пышной истории... Круг истории замыкается. Большевики повернули Россию вспять... э-э-мюэ... к первобытному опрощению, к исходному мраку... Хаос, разруха... Керосина нет... Мы утратим огонь... Мы оголимся... мануфактуры нет... Наступает звериное опрощение, уважаемые троглодиты... Железные тропы поездов зарастут! Э-э-мюэ... догорит последняя спичка, и настанет первобытная ночь...

— Какая же ночь, когда электричество всюду проведут? — вскочил Степка Атлантида.

— Брось! Правильно! — сказал Биндюг.— У нас на хуторе коммуна все поразоряла.

— Долой про первобытное! Даешь про рыцарей! — закричали из угла.

Класс затопал. Троглодиты скакали через парты.

— Станем же на четвереньки, милые мои троглодиты,— веселился Э-мюэ,— и вознесем мохнатый вой извечной ночи, в которую мы впадем... Уы! У-у-у-ы-ы-ы!!!

— Уы-уы! — обрадовался новому развлечению класс.

Некоторые, войдя в роль, забегали на четвереньках по проходу. Остальные корчились от хохота. Кто-то запел:

Ды темной ночки
Ды я боюся,
Троглодитка
Моя Маруся!
Эх, Маруся
Троглодитка!
Брось, трепаться,
Проводи-ка...

Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающей физиономии. Но я не мог уловить это скользкое «что-то». Меня самого захватило зловещее веселье класса. Хотелось полазить на четвереньках и немножко повыть. Отсутствие хвоста огорчало, но не портило впечатления. Я уже чувствовал, как гнется почва Швамбрании под шагом вступающих на нее мамонтов.

— Ребята! Ребята! Хватит! — закричал опомнившийся Костя Жук.— Степка, скажи им, он им очки затер. Да Степка же!..

Но Степка исчез. «Неужели сбежал?» — испугался я. И мамонты, подняв хоботы, как вопросительные знаки, остановились в нерешительности на границе Швамбрании.

В класс вбежал председатель школьного совета Форсунов. За ним, как запоздавшая тень, явился Степка. Троглодиты мигом очутились в двадцатом веке. Мамонты бежали с материка Большого Зуба. Лысина Кирикова померкла.

— За такое агитирование можно и в Чека,— тихо сказал Форсунов.

— Буржуй плешивый,— сказал Степка, высовываясь из-за плеча Форсунова.— Саботажник!

— Э-мюэ,— сказал Кириков,— я просто излагал вкратце идеи, э-э-мюэ, анархизма. Голый человек на голой земле, никакой частной собственности.

— Поганка! — радостно закричал я неожиданно для самого себя.— Поганка! — уверенно повторил я.

В это мгновение я поймал в памяти крапивного человека, Квасниковку, часы, Мухомор-Поган-Пашу и частную собственность лысого мешочника. И «Э-мюэ» — «е» немое стало «е» открытым.

Разоблачение состоялось. Кирикова убрали. Человекообразные приветствовали его изгнание. Но троглодиты во главе с Биндюгом не покорились. Они стали готовиться к расправе с «внучками». Троглодиты тайно назначили на завтра вселенский хай.

— У нас завтра утром будет варфоломеевская ночь,— шепотом сообщил я ночью Оське.

Оська, и наяву всегда путавший слова, спросонок говорит:

— Готтентотов [1] убивать? Да?

— Не готтентотов, а гугенотов,— отвечаю я,— и не гугенотов, а внучков, и не убивать до смерти, а бить.

— Леля,— спрашивает вдруг сонный Оська,— а в Риме, в цирке, тоже троглодиторы представляли?

— Не троглодиторы, а гладиаторы,— говорю я.— Троглодиты — это...

Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по Швамбрании. Я рассказываю Оське, что они скрываются среди огромных доисторических папоротников.

— Папонты пасутся в маморотниках,— повторяет Оська во сне.

Вселенский хай

Вселенский хай изобрели уже давно. Это была высшая и чудовищная форма гимназических бунтов. Вселенский хай объявлялся прежде всего лишь в крайних случаях, когда все иные методы борьбы с начальством оказывались бесплодными.

---

[1] Готтентоты — африканское племя.

При мне в гимназии он еще ни разу не проводился. Лишь изустные гимназические легенды хранили память о последнем вселенском хае. Он произошел в 1912 году, когда исключили из гимназии трех инициаторов расправы с директорским швейцаром. Швейцар фискалил на учеников; его расстреляли тухлыми яйцами.

Итак, троглодиты решили объявить Великий всеобщий вселенский хай. Командовал хаем Биндюг. Он пришел в класс немного озабоченный, но спокойный. Школа в это утро застыла в недобром благочинии. Никто не громыхал на пианино «собачьей польки», никто не боролся, никто не состязался в «глядельки». После звонка бурный всегда коридор сразу иссяк. По его непривычно безлюдному руслу прошли недоумевающие педагоги.

Тишина встретила их в классе.

У нас первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Молковский с опаской заглянул в класс. Едва он показался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразные и Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рывок. Все стояли, чинно вытянувшись.

— Что вы?.. Садитесь, садитесь,— замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада.

Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру — ничего, не взрывается — и неуверенно взошел на нее.

— Дежурный, молитву! — скомандовал Биндюг.

— Обалдел? — спросил Степка.

Класс угнетающе затих.

— Преблагий господи, ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего...— зачастил дежурный Володька Лабанда.

Кое-кто по привычке крестился.

— Я лучше, может, уйду? — пробормотал совершенно сбитый с толку учитель.

Но перед ним вырос дежурный с классным журналом в руках, и растерявшийся педагог услышал, словно в «добрые» гимназические времена, дежурную скороговорку.

— В классе отсутствуют...— читал Лабанда,— в классе отсутствуют: Гавря Степан, Руденко Константин, Макухин Николай...— И он прочел фамилии всех «внучков».

— Стой! Ты чего? — вскочили «отсутствующие».— Какого черта! Мы здесь!

— Сейчас начнете отсутствовать,— нахально сказал Биндюг. Троглодиты, считаю хай открытым! — И, засунув два

пальца в рот, Биндюг засвистел так пронзительно, что у нас засвербело в ушах.

За стеной тотчас же отозвался свист нашего класса «Б». Затем по коридору раздались еще восемь свистков, и в школу ринулся грохот. Уроки были сорваны. «Внучков» волокли за ноги, выкидывали в дверь, швыряли через окна. Шелестя страницами, летели учебники, похожие на огромных бабочек. Девочки организовали «детский крик на лужайке». В классе шло чернилопролитие. По коридору, как икону, несли классную доску. «Всем, всем, всем! — было написано на доске.— Долой к черту человекообразных внучков! Да здравствует С. И. Кириков! Требуйте его возвращения!»

Через пять минут в школе не осталось ни одного человекообразного. Патрули троглодитов охраняли выходы. Парты встали на дыбы.

Начался Всеобщий Великий Вселенский Хай.

«Бои продолжаются на всех фронтах»

Комиссар привязал лошадь к дверной ручке вестибюля. Потом он подтянул сапоги и застучал каблуками по коридору. Коридор был пуст. Все ушли на экстренное собрание. Собрание происходило в большом классе, переделанном в зрительный зал. На сцене за столом глядел председателем и победителем Биндюг. По бокам его сидели Форсунов и старшеклассник Ротмеллер, сын богатого колбасника. Ротмеллер только что кончил говорить, Форсунов смотрел в стол.

Вход в зал охранял патруль троглодитов. «Внучки», избитые, запачканные и почти уже не человекообразные, осаждали дверь. Троглодиты расступились перед комиссаром. За его широкой спиной проскочил Степка Атлантида. Но троглодиты вытащили его обратно в коридор.

— Даю слово комиссару Чубарькову,— провозгласил Биндюг.

— Точка, и ша! — хором крикнул зал.

— Что это за хай? — спросил комиссар.

— Вселенский! — дружно отвечали ему.

— Постойте же, ребята! — сказал комиссар.

— Мы не жеребята! — крикнул зал.

— Товарищи! — сказал комиссар.

— Мы тебе не товарищи! — издевался зал.

— Как же вас изволите величать? — рассердился комиссар.

— Тро-гло-диты! — хором отвечал зал.

— Как? Крокодилы? — сказал комиссар.— Ну, ша! Считаю, уже время кончить... И точка.

— А раньше-то?! — нагло и язвительно спросил зал.

— Что — раньше?! — закричал вдруг Чубарьков, и в голосе его громыхнуло железо.— Что раньше?! Глупая это присловка. Раньше-то вы перед директором пикнуть не смели, и точка. Стал бы он с вами разговоры разговаривать! Живо бы в кондуит, или сыпь на все четыре...

— И точка! — крикнули оттуда, где сидели самые заядлые троглодиты.— И ша! И хватит! Даешь Семена Игнатьевича!

Троглодиты бушевали. Но зычный бас грузчика-волгаря Чубарькова, уже привыкшего к тому же говорить на митингах, нелегко было переорать.

— Удивляюсь, удивляюсь я на вас! — медленно и веско говорил комиссар, и в зале постепенно стихло.— Неужели вы в понятие войти не можете? Ведь вам новое ученье дают. Про одних царей что интересного учить? А в единой трудовой будут весь народ изучать. Откуда вышел, из чего получился и все развитие... А Кириков, который, между прочим, мешочник и спекулянт, чистую ерунду, брехню форменную вам порол. Какая же тьма, когда ученье — это свет? Только свет этот при старом режиме от народа хоронили, чтоб у рабочего да мужика очи не прозрели. А сколько теперь народу учиться пойдет — соображаете? Я вот, скажем,— и Чубарьков застыдился,— я, как только немножко управимся, тоже поеду в Питер учиться. Зачем же вы, товарищи... и эти... крокодилы, позволяете разным всяким вредным людям, которые есть гады, молодые глаза ваши от правды отводить и не даете другим хлопцам из этой самой первобытной тьмы вылазить на свет? Чем они до вас не вышли? Что, у ихних батек пузо меньше?

Конь Калигулы

В этот момент произошло то, о чем долго ходили потом всякие легенды... В коридоре раздался оглушительный топот, шум и крики сторожа Мокеича: «Стой, куда те?..»

Патруль троглодитов у дверей вдруг раздался в стороны, и в класс галопом влетел на комиссаровой лошади Степка Атлантида. За ним, сметая остатки патруля, в зал вторглись «внучки».

— Тпррр! — сказал лукавый Степка.— Товарищ комиссар, она отвязалась, я ее еле уцапал.

Лошадь легонько заржала.

— Извиняюсь,— сказал комиссар, обращаясь, очевидно, к

лошади,— сейчас кончаю, и точка. Я думаю так, ребята: пошумели, и тихо. Проголосуем формально, и ша!

Биндюг неспокойно шептался с Ротмеллером. Степка, не слезая с комиссарового коня, пытливо оглядывал лица троглодитов. Конь деликатно подбирал тонкие ноги, словно боясь отдавить кому-нибудь мозоль. За столом на сцене поднялся Биндюг. Прежней уверенности в нем уже не было. Степка опять стал героем дня.

— Объехали вас на кобыле, как маленьких,— сказал Биндюг.

Зал принял это безучастно. К столу на сцене подошел серьезный, как всегда, Александр Карлович Бертелев, математик.

— Друзья! — сказал Александр Карлович, теряя от волнения пенсне.

Несколько минут затем он сослепу яростно хлопал ладонью по столу, будто ловил кузнечика. Наконец Александр Карлович настиг пенсне, и мир снова приобрел для него отчетливость. Он продолжал:

— Друзья, я политики не касаюсь и к митингам вашим непривычен... Если я сейчас взял слово, то с чисто научной точки зрения. Дело в том, что Семен Игнатьевич, не в обиду ему будь сказано, по нашему недосмотру преподносил вам недопустимый вздор, несусветную чушь!.. Это просто болтовня и мракобесие, которое не выдерживает никакой критики и с чисто научной точки зрения. Революция в итоге ведет к прогрессу, она приобщает к науке огромные свежие пласты людей... А вы, друзья, хотите им помешать. Вы не имеете права! Как можно?! Это же преступление с научной точки зрения! Многие товарищи... внучки, как вы их называете... наделены, например, недюжинными математическими способностями... Скажем, Руденко. Прекрасно усваивает! А вы, друзья, отравлены неискоренимым духом старой гимназии и привыкли считать уроки каким-то зазорным занятием. Стыдно! В заключение я позволю себе рассказать исторический анекдот. Некогда римский цезарь Калигула ввел на заседание сената своего коня и приказал всем сенаторам кланяться ему. Я бы, друзья, ни за что не поклонился этому надменному коню. Но если сегодня присутствие на нашем собрании коня товарища Чубарькова способствует установлению в школе порядка и дружбы, то сегодня я от имени науки охотно склоняю голову перед нашим четвероногим гостем.

И Александр Карлович поклонился лошади. Конь испуганно попятился от оглушивших зал аплодисментов. Голосование принесло полное поражение Биндюгу и его троглодитам. Все поклялись, что с завтрашнего дня возьмутся как следует за ученье. Потом Степка сказал с лошади маленькую речь. Она посвящалась прозвищу выгнанного историка.

— Э-мюэ,— говорил Степка,— это по-французски все равно что наш твердый знак. Пишется, а не читается... Так, пришей кобыле хвост! — При этом Степка перегнулся в седле назад и для наглядности покрутил хвост комиссаровой лошади.— А твердый знак теперь отменяется. Вот. Я имею предложение. И вам будет легче, и им польза. Написать во Францию письмо от нас рабочим иль ребятам ихним, чтоб они э-мюэ выкинули.

Письмо французским ребятам с просьбой отменить э-мюэ приняли с восторгом. Когда мы уже собрались расходиться, в дверь зала быстро вошла группа военных.

— Ага!.. Видите, военной силой нас хотел усмирить! — закричал Биндюг.

Зал окостенел.

— Спокойно, спокойно! — сказал один из вошедших.— Немножко сознательности! Товарищи! Близость фронта заставляет город перейти на военное положение. Помещение школы необходимо штабу Четвертой армии. Товарищ Чубарьков! Распорядитесь очистить завтра.

Стало совсем тихо. И вдруг лошадь комиссара громко втянула в себя воздух и нежно заржала.

У подъезда ей ответили кони 4-й армии.

Школа кочует

Город стал большим лагерем. На кварталы наматывались бесконечные обозы. Они завязывались узлами на перекрестках. Их распутывали обросшие люди в шинелях. Они владели городом. Ординарцы скакали прямо по тротуарам, получая и сдавая пакеты через окна учреждений. Рыдали, удушенно запрокидывая голову, обозные верблюды. Тягучая слюна их падала на Брешку. Хрипели погонщики: «Тратр!.. Тратр!.. Чок!.. Чок!..» Над Волгой мгновенно вырастали водяные кипарисы взрывов. Потом они бессильно опадали. И на город вслед за тем рушился медлительный удар. На Волге упражнялись в метании ручных гранат.

Подняв хобот орудия, топтался на площади слонообразный броневик. За живыми верблюдами бежали вприпрыжку железные страусы: куцые одноколки с высокими трубами — походные кухни. И нам с Оськой казалось, что на площади играют в наше любимое лото «Скачки в Камеруне»: там на картах тоже торопились слоны, верблюды и страусы... А тут еще у цейхгаузов люди ворочали груду бочек с черными цифрами на днищах. Толстый человек выкрикивал номера, другой смотрел в бумаги и

ставил печать, как большую фишку. Иногда подъезжал взмыленный всадник.

— Квартира? — спрашивали его, как спрашивают всегда при игре в лото.

— Все заполнил! — отвечал квартирьер.

И проигравшие заползали спать под грузовики.

На школе уже висела доска со странной надписью: «Травточок». В переводе на русский язык это обозначало, говорят, что-то вроде: «Транспорт авточасти особой колонны». Впрочем, точно значения загадочного слова «Травточок» так никто и не знал. Автомобилей у Травточока было всегда два-три. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И покровчане не замедлили переименовать Травточок в Тратрчок. Известно, что в переводе с верблюжьего языка на лошадиный «тратрчок» звучало, как «тпрруу» и «но».

Школа кочевала. Сначала нас перевели в здание епархиального училища. Через день вселили в небольшой дом с каланчой. Каланча выглядела, конечно, очень заманчиво и доступно. Она прямо сама просилась, чтобы мы использовали ее для какой-нибудь «шутки» — скажем, плюнуть с нее кому-нибудь на голову или поднять пожарную тревогу. Но нам было не до шуток. Иная, необыкновенная тревога проникла в тесные классы, и о ней шептались на задних партах. На другой день после вселенского хая Володька Лабанда остановил на улице Александра Карловича.

— Александр Карлович,— сказал Лабанда, потупившись и, как конь, ковыряя ногой землю.— Александр Карлович, вот вы сказали про способность... У Коськи, у Руденко... А я тоже раньше задачки здорово решал. Помните, Александр Карлович? Вы говорили, у меня тоже способность...

— Помню, Лабанда,— сказал учитель.— Отлично помню. У вас безусловно есть математическая жилка. Только лодырь вы.

— Что значит лодырь? — обиделся Лабанда.—Просто почудить охота была, раз сказали, что теперь свобода. А только это с вашей стороны, я скажу, несправедливо: одних внучко́в хвалить. Они теперь вот зазнаются...

— Ага, зацепило! — сказал довольный Александр Карлович.— Вот вы возьмите и нагоните их. Только предупреждаю, трудновато вам будет: они у меня за квадратные уравнения взялись.

— Нагоним,— упрямо сказал Лабанда.— Убиться мне на этом месте, если не нагоним!

В тот же день в классе было решено, что «внучки» зазнались, что терпеть это дальше невозможно и что надо нагнать. Девочки обещали не отставать. Мы достали заброшенные учебники, и родители наши были потрясены, увидев нас сидящими над книжками и тетрадями. Отстали мы, как оказалось, весьма изрядно. Пришлось нагонять в школе после уроков и дома до поздней ночи. Голодный Александр Карлович, похудевший на своем скудном учительском пайке, самоотверженно отсиживал с нами лишние часы. Мы крали для него из цейхгауза хлеб и клали на кафедру. Александр Карлович гордо отказывался, но потом, увлекшись какой-нибудь задачей, начинал машинально выщипывать хлебную мякоть и нечаянно съедал все...

Биндюг издевался над нами.

— Тоже свобода, нечего сказать! — говорил он.— Были парни — гвоздь! А теперь зубрилы-мученики. Вы еще отметочки попросите ставить. Тьфу!

Особенно изводил он Степку. Но Степка обращал на это, как он говорил, нуль внимания и фунт презрения и занимался с неутомимым усердием, так как заявил, что революционеры должны и в ученье лезть прямо на баррикады.

За две с половиной недели мы так сильно подогнали по алгебре, что попросили Александра Карловича вызвать кого-нибудь из нас к доске, и он вызвал Лабанду. «Внучки» удивились. Никогда еще класс не замирал в таком волнении. Только мел стучал о доску, выводя жирные белые цифры. Лабанда решал задачу о бассейне с двумя трубами. Все шло благополучно. Через одну трубу вода вливалась, через другую выливалась. Выяснилось, что при их совместном действии бассейн наполнился бы в шесть часов. Но тут вдруг произошла закупорка. Бассейн стал иссякать у всех на глазах. Лабанда оказался на мели. Он кусал ноготь.

— Вы рассуждайте,— сказал Александр Карлович.

— Я рассуждаю,— уныло отвечал Лабанда.— Если из четырех ведер вычесть две трубы...

— Рассуждайте сначала и вслух! — сказал Александр Карлович.

Мы видели ошибку. В самом начале Лабанда поставил в одном вычислении минус вместо плюса. Теперь этот минус всплыл и заткнул трубу. Мы видели ошибку, и нам до смерти хотелось подсказать Лабанде. Но неловко было обнаруживать при «внучках» его бессилие. Но тут мы услышали: кто-то стал все-таки шепотом подсказывать Лабанде. Мы оглянулись и увидели, что подсказывает Костя Руденко-Жук... И тогда класс,

прославившийся некогда искусной подсказкой и наглым сдуванием, класс, который величайшим преступлением считал всякий отказ от незаконной подмоги,— этот класс бешено затопал ногами, чтобы заглушить подсказку, и закричал:

— Оставь, Руденко! Не подсказывай! Пусть сам.

Лабанда уверовал в свои силы. Он понатужился немного, поймал ошибку и раскупорил задачу. И чтобы оповестить об этом Покровск, мы подняли на каланче флаг. На флаге было намалевано: «X=18 ведрам».

Успехи класса «Б»

Мы радовались недолго.

Через два дня Лабанда влетел в класс и объявил, что в нашем классе «Б», о котором мы было позабыли, так как он помещался теперь в другом доме,— в нашем классе «Б» проходят уже уравнения высших степеней с несколькими неизвестными. Это было невероятно.

— Вранье! — закричал класс.

— На! — сказал Степка и протянул Лабанде согнутый палец.— Разогни и не загибай.

— Убиться мне на этом месте! — сказал Лабанда, крестясь.

Мы были сражены.

Тогда Жук заявил, что сам он уже прошел эти уравнения и готов идти в класс «Б», чтоб решить любую задачу. Но Степка слышать не хотел об этом. Он заявил, что это не фунт изюма, если один только может решить, что опять это получится первый ученик, а надо сделать, чтобы весь класс мог решить. Тогда снова кинулись к учебникам. Мы собирались в школе по вечерам. Костя Жук подтягивал и натаскивал нас. Биндюг не являлся на эти занятия. Он уверял, что «голодное брюхо к ученью глухо», сейчас учиться не время и он без нас любую задачу решит. Когда все неизвестные были разоблачены, мы предложили нашему параллельному классу «Б» помериться с нами в алгебре. Ребята из «Б» приняли наш вызов. Решили устроить общую письменную по алгебре. Были составлены команды лучших алгебраистов. В команду класса «А» вошли среди других: Степка Гавря, по прозванию Атлантида, Володька Лабанда, Костя Жук, Зоя Бамбука и я. В последний день в нашу команду записался Биндюг. Мы приняли его с большой неохотой. Он божился, что не подкачает.

Ночь перед письменной

Накануне состязаний команда «А» собралась в школе для последней тренировки. Пришел усталый Александр Карлович и больше часа гонял нас по теории. Затем он задал несколько каверзных задач. Мы долго потели над ними, но в конце концов решили и их. Александр Карлович был доволен «с чисто научной точки зрения». Потом он взглянул на часы и схватился за голову: было уже двенадцать часов, по городу, объявленному на военном положении, разрешалось ходить лишь до одиннадцати.

— Ну, товарищи,— сказал Костя Жук,— значит, ночуем в собачьем ящике. Факт!

— Пройдем,— успокаивал Лабанда.— Если остановят, говори, что в аптеку идешь, и все.

Я шел со Степкой. Прожектор поливал тяжелое низкое небо. Где-то пели «Темной ночки да я боюся...». На углу нас остановил патруль.

— Мы в аптеку идем,— сказал Степка,— вот это докторов сын. Пропустите.

— Ну? В аптеку? — обрадовался красноармеец. — Не за касторкой ли?

— Вот именно что за касторкой,— ответил Степка.— Понимаете, такое дело...

— Сейчас тебе пропишут,— сказал красноармеец.— Лапанин! Забери этих и препроводи.

Нас отвели в штаб. Там мы встретили других наших ночных искателей касторки.

Вскоре привели Александра Карловича. Он негодовал со всех точек зрения.

— Александр Карлович! — приветствовал его неунывающий Степка.— Добрый вечер!

— Теперь уже покойной ночи,— сердито сказал учитель.— Спасибо за компанию.

Потом ввели какого-то мрачного мешочника.

— Кто тут последний? — спросил деловито мешочник.

— Я,— сказал Александр Карлович.— А что?

— Я утром за вами буду! Запомните,— строго сказал мешочник, лег на пол и тотчас захрапел.

Качался махорочный дым, изгибаясь под лампочкой. Часовой внимательно разглядывал ранты сапог и легонько тыкал в них прикладом. Полная нелепица, шла бессонная ночь, ночь перед письменной...

Через два часа нас освободил по телефону Чубарьков. Уже в дверях Александр Карлович что-то вспомнил и вернулся.

С огромным трудом он разбудил мешочника.

— Извините,— сказал Александр Карлович,— но я должен уйти... Так что вам уже придется быть за кем-нибудь другим.

На Брешке нам встретился патруль. Он вел в штаб команду класса «Б». Они тоже готовились к письменной.

— Что? — спросил их Степка.— За касторкой ходили?

— Нет,— отвечали те,— за йодом.

Не старый режим

— Участники, на место! — говорит торжественно главный судья Форсунов.

Невыспавшиеся алгебраисты рассаживаются за партами. Чтобы союзники не могли помогать друг другу, каждого из нас сажают с противником.

Наш Александр Карлович и математик класса «Б» волнуются. Они похожи на менажёров-секундантов, впервые выпустивших на ринг своих боксеров. Александр Карлович подходит к каждому и шепотом говорит:

— Главное — рассуждайте... И не спешите... Не путайте знаки при постановке. Если попадется с пропорциями, они безусловно сядут. Это их слабое место, я знаю... Но главное — рассуждайте.

Форсунов предлагает преподавателям занять места. Александр Карлович и учитель из класса «Б» садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Мокеич и пустует стул, оставленный комиссару.

Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают парты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам ни пуха ни пера. Потом они уходят в коридор, где стоят в дверях зрители, и обещают «быть тихо».

Мокеич вынимает большие кондукторские часы с буквами «Р.-У. ж. д.». Форсунов кладет их перед собой. По ним будут отмечать время, которое потратит каждый участник на решение задачи. Если обе команды решат задачу, то команда, у которой сумма времени всех участников окажется меньшей, выигрывает. Она получит премию: двойной паек сахара. Кроме того, первый окончивший задачу награждается званием лучшего математика.

— Ребята! — говорит Форсунов.— Надеюсь на вашу честность. Я при директоре сам первый сдирала был и предупреждаю: все равно при мне ни один черт не сдует. Ясно?

— Новое дело! — обижается Степка.— Своих, что ли, будем обманывать?

Мы все оскорблены в лучших чувствах. Действительно! Не царский режим, чтобы списывать!

— Приготовились! — взывает Форсунов.— Внимание.

Задача с путешественниками

— «Из двух городов выезжают по одному направлению два путешественника, первый позади второго. Проехав число дней, равное сумме чисел верст, проезжаемых ими в день, они съезжаются и узнают, что второй проехал пятьсот двадцать пять верст. Расстояние между городами — сто семьдесят пять верст. Сколько верст в день проезжает каждый?»

Время отмечено. Путешественники выехали, и все погружаются в задачу. Тишина легла на затылки и пригнула нас к парте. Идет письменная.

Но нет того знакомого удушливого страха, который путал мысли и цифры на старых гимназических экзаменах, когда хотелось руками, зубами зажать лихорадочно и безнадежно истекающее время. А впереди уже мерещился одновременно финишный и позорный столб, осиновый кол, просто «кол» — единица.

Нет! Идет письменная. И не страшно. Александр Карлович ободряюще подмигивает из-за стола. Мы помним, помним! Мы рассуждаем. Все очень просто. Два путешественника А и Б. А и Б сидели на трубе... (Не то, не то!) А догоняет Б. Надо догнать класс «Б».

Топоча и звеня шпорами, входит в класс Чубарьков. Александр Карлович негодующе шикает и бешеными глазами указывает ему на ноги и потом на нас. Комиссар отстегивает шпоры и осторожно, на цыпочках, идет на свое место.

— Кто кого? — шепотом спрашивает он у Форсунова.

— Только начали! — еще тише говорит Форсунов.

Комиссар с уважением смотрит на нас. Проходят беззвучно пятнадцать минут. У меня все идет гладко — никаких дорожных аварий. Бамбука исписала два листа. У Степки бумага чиста. Костя Жук, привстав, бегло проверяет в последний раз уже готовое решение... Он первый!..

Но вдруг по проходу проносится Биндюг. Он бросает свое огромное тело к судейскому столу и победоносно держит над головой готовую работу. Форсунов недоверчиво берет лист. Результат правилен.

— Точка? — спрашивает комиссар.

— Ша!..— отвечает Биндюг, и коридор восторженно аплодирует.

Биндюг опять победитель.

После звонка судьи проверяют работы и объявляют результат состязания. Из команды «А» решили задачу правильно восемь человек. Из команды «Б» — лишь семь. Мы победили. Мы не только нагнали, мы обогнали. А наш Биндюг — чемпион алгебры. Его качают, хотя он очень тяжел. Биндюг, болтая ногами, летит к потолку. Что-то вываливается из его кармана.

Бамбука наклоняется, подымает и кричит:

— А это что такое?

— Дура,— говорит Биндюг и хочет что-то вырвать у нее.— Дай, дура! Я же для вас старался. Ну, не хотите, черт с вами. Проигрывайте.

В руках у Бамбуки маленькая книжечка. На ней написано: «Ключ и подробные решения ко всем задачам задачника Шапошникова и Вальцева. Часть 2-я».

— Своих!!?! — кричит Лабанда и бьет Биндюга в лицо.

Ответный удар швыряет Лабанду через парту.

Класс отворачивается.

Чубарьков и Мокеич с трудом сдерживают Биндюга. Форсунов объявляет, что класс «А» не перегнал, но догнал класс «Б». Славу и сахар делят пополам.

Красные безобедники

И вот школа ходит по городу. Мы переезжаем из дома в дом. Школа блуждает.

Мы волочим по улицам парты и шкафы, глобусы, классные доски. И навстречу нам двигаются санитары с носилками и катафалками. В катафалки впряжены зловещие дромадеры Тратрчока, транспортной части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой. Тиф.

Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его так глубоко втянулись, что кажется, будто он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает с нами школьное имущество. Его видят на всех улицах сразу: на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке...

— Ша! — раздается на Пискуновой, на Кобзаревой, на Брешке.— Крепись, и точка! Чуток еще перемаемся! А там, хлопцы, запляшут лес и горы... Как это говорится: неважная картина — коза дерет Мартына. А вот наоборот: Мартын козу дерет. Факт!

Однажды он является во временно осевшую школу к концу уроков, охрипший, с запавшими воспаленными глазами и желтым налетом махорки на белых губах. От него пахнет карболкой.

— Товарищи! — сипло и с трудом произносит комиссар.— Прошу вас принести небольшую пользу... Штаб меня на этот вопрос щупал, а я им: ша, говорю, моим хлопцам это ничего не стоит. Они у меня алгебру, как семечки, грызут. Всех неизвестных в известных определяют — и точка... Вот, значит, ребята... Кто хочет оказать пользу революции?

— Даешь! — кричат школьники.

— Смотря какую пользу,— говорит осторожный Биндюг и смотрит на часы.

Тогда комиссар объясняет, что надо спешно расклеить в казарме и на Брешке большие плакаты о сыпняке. Из Саратова еще не прислали, в штабе все вышли. Надо самим нарисовать. Надо написать крупными буквами и нарисовать большую вошь.

Комиссар принес толстый сверток серой оберточной бумаги и сухую краску.

В классе отчаянно холодно. Школа не топлена. На часах — пять. Давно пора по домам.

— Я бы и сам намалевал,— говорит Чубарьков,— да вот таланта у меня нет, и ша. А без таланта и вошь не накорябаешь. Вот у Зои, у Степана и у Лельки — у них получается. Видел я, видел раз, как они на доске карикатуру с меня рисовали. Чистое сходство! Точка в точку.

— Даешь картину с натуры! — озорничает Степка.— Кто на память не помнит, Биндюг своих одолжит. У него сытые.

— Гавря, это неаппетитные шутки,— останавливает его брезгливый Александр Карлович.— Принимайтесь-ка лучше за дело. Это полезнее.

— Ребята,— кричит Степка,— объявляю экстренный урок рисования особого назначения!

— Поздно уже,— раздаются голоса сзади,— и холодно тут.

— Домой бы! — недовольствует кто-то в углу (где сидит Биндюг).— А то как в гимназии «без обеда» в классе посаженные...

— Ах так? — Я вскакиваю на парту.— Ребята,— кричу я,— кто хочет на сегодня записаться в красные добровольцы-безобедники — остаться рисовать на борьбу с тифом? А кто думает, что он в гимназии и что его в классе начальники оставляют, пусть катится! Ну?!

Очень холодно. Очень хочется есть. Шестой час. Биндюг берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие. Но их немного. Остался Лабанда,

остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девочки.

Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом. Комиссар растапливает железную колченогую печку-«буржуйку» и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписываем прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, у «я» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее. Но Степка затевает спор с Костей Жуком о количестве ножек и усиков.

— Эх ты, Жук! — корит Костю Степка.— Фамилия у тебя насекомая, а сколько ножек у ней, не знаешь.

Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, стоножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу, изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова. Слышно, как он приглушенно стонет минутами.

— Товарищ комиссар, вы бы домой пошли,— советуют ему ребята,— вы же вон как устали. Мы тут без вас все сделаем...

Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его ни гоним. Он даже подбадривает нас то и дело и восхищается нашими плакатами.

А в углу, за партой, мы — я и Степка — сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей...
Тиф разносит вша,
Точка, и ша!

Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, и что-то бормочет.

— Чего ж они не встречаются?..— беспокойно шепчет комиссар.— Пущай встренутся... И точка...

— Кто не встречается, товарищ Чубарьков? — спрашиваю я.

— Да они же, А и Б... путе...шественники...

Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему. Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.

Плохо дело

Комиссар при смерти. Об этом только и разговору у нас в классе.

А дома, когда я возвращаюсь из школы, Оська уже в передней говорит мне:

— Знаешь, Леля... А комиссара теперь самоваром лечат. Я слышал, папа по телефону в военкомат звонил и говорит: три дня, говорит, на конфорке его держу.

— Да брось ты, Оська! — не верю я.— Опять ты чего-то кувырком понял. Не смешно уж...

Но Оська упорствует:

— Ну правда же, Леля! Его, наверно, как меня, помнишь, когда ложный круп был, горячим паром надыхивали.

Но тут возвращается из больницы папа. У него такие строгие глаза, что даже Оська, который обычно сейчас же карабкается на него, как на дерево, сегодня стоит в отдалении. Папа снимает пальто. В прихожей сразу начинает пахнуть больницей.

Потом папа идет умываться. Мы следуем за ним. Долго, как всегда, очень тщательно моет он мылом свои большие красивые докторские руки, чистит щеточкой коротко обрезанные ногти. Потом папа принимается полоскать рот, при этом он закидывает далеко назад голову, и в горле у него кипит, как в самоваре.

Мы стоим рядом и следим за этой процедурой, так хорошо знакомой нам обоим. Стоим и молчим. Наконец я решаюсь:

— Папа, а что это Оська говорит, будто комиссара самоваром лечат.

— Каким самоваром? Болтаешь...

— Ты же сам, папа, по телефону говорил,— не сдается Оська,— что третий день держишь комиссара на конфорке.

Папа коротко и невесело усмехается:

— Дурындас! На камфаре мы его держим. Понятно? Инъекции делаем, уколы, каждые шесть часов. Сердце у него не справляется,— объясняет папа, повернувшись уже ко мне и вытирая вафельным полотенцем руки.— Температура, понимаешь, жарит все время за сорок. А организм истощен возмутительно. Абсолютно заездил себя работой человек. И питание с пятого на десятое. Ну вот, теперь и расхлебывай.

— Значит, плохо? — спрашиваю я.

— Что же хорошего! — сердито говорит папа и бросает полотенце на спинку кровати.— Одна надежда — организм богатырский. Будем поддерживать.

— Папа, а долго так?

— Тиф. Сыпняк. Трудно сказать. Ждем кризиса.

В классе теперь, едва я вхожу, меня окружают наши ребята и уже ждущие у дверей старшеклассники.

— Ну как, кризис скоро?.. Что батька твой говорит?

Но кризиса все нет и нет. А температура у комиссара с каждым днем все выше и выше. И сил с каждым часом все меньше и меньше.

Неужели «точка, и ша», как сказал бы сам комиссар в таком случае...

Степка Атлантида и Костя Жук после школы сами бегают к больнице, чтобы наведаться там в приемном покое, как комиссар. Но что им там могут сказать? Температура около сорока одного, состояние бессознательное, бред...

Плохо дело.

Да — нет...

Ночью я слышу сквозь сон телефонный звонок. И почти тут же меня окончательно будит гулкий, настойчивый стук в парадную дверь. Потом я слышу знакомый голос Степки Гаври:

— Доктор, ей-богу, честное слово... Я же там сам был... Только меня прогнали... У него сердце вовсе уже встает. У него этот самый, сестра сказала, крызис.

Слышится негромкий басок папы:

— Тихо ты! Перебулгачишь весь дом! Мне уже звонили. Иду сейчас. Только, пожалуйста, без паники. Кризис. Резкое падение температуры... А ты, Леля, что?

Я стою, накинув одеяло, и лязгаю зубами от прохватывающего меня дрожкого озноба.

— Папа, я тоже с тобой.

— Совсем спятил?

— А Степка почему?

— И Степка твой если сунется — велю хожаткам его в тришси... Вас, кажется, на консилиум не звали.

Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. Обескураженный Степка остается у нас.

Долго идут холодные, медлительные и знобкие ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Степка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака — Степкин и мой,— показанные ему вовремя, заставляют Оську снова юркнуть под одеяло. Но я вижу, как блестит оттуда любопытный Оськин глаз. Оська не спит и слушает.

— Как считаешь, сдюжит или не сдюжит? — шепчет Степка.

И мы с ним долго говорим о нашем комиссаре. Хороший он все-таки! И в школе почти все ребята теперь уже за него. По-

тому что он сам справедливый и стоит за справедливость. Здорово он тогда скрутил наших троглодитов, и недаром Карлыч его уважает.

— Я знаю, он на фронт мечтает,— шепотом рассказывает мне Степка.— Уже просился, заявление писал, чтоб отпустили. А его обратно — отставить! Говорят, нужна Советская власть и на местах! И все!

— Да, если уедет, паршиво опять будет.

— Ясно. Он хоть и свой, а насчет дисциплины — ой-ой-ой! Держись! Если уедет...

И вдруг мы оба замолкаем, сраженные одной и той же страшной мыслью: где тут «уедет или не уедет»!.. Ведь сейчас, вот в эти самые минуты, может быть, там, в больнице... где наш комиссар бьется со смертью... И старые стенные часы в столовой громко и зловеще шаркают на весь дом: «Да — нет... сдюжит — не сдюжит...» Будто ворожат, обрывая секунду за секундой, как обрывают, гадая, лепестки ромашки.

...Да — нет... сдюжит — не сдюжит...

Но тут щелкает ключ в английском дверном замке на парадном. Слышно, как папа снимает галоши. Мы со Степкой несемся в переднюю.

Страшно спросить. А в передней темно — хоть глаз выколи — и не видно папиного лица.

— Вы что это, не ложились? Вот народ полночный! — гудит в темноте папа, но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий.— Ну ладно, ладно. Понимаю. В общем, думаю, справится! Сейчас спит ваш комиссар, как новорожденный. Чего и вам желаю. Марш, живо на боковую! Мне через два часа на обход.

Вот уж когда действительно «ýра, ýра! — закричали тут швамбраны все...».

«Гляделки на поправке»

Комиссар поправляется! Но он еще очень слаб. Только вчера его перевезли наконец на квартиру, в дом бывшего купца Старовойтова, и Степка Гавря ходил навещать его. Все в классе окружили Степку и слушают.

— Он говорит,— сообщает Степка,— что когда жар у него был, так все ему мерещилось насчет путешественников этих самых — А и Б... Из задачки. Помните, ребята? Он говорит, прямо всех там в больнице замучил: почему никак они не встренутся, путешественники. Всё едут и едут... Как съехались, говорит, так и пошел на поправку...

— Это он, наверно, все про нас думал, а у него так получалось из-за температуры,— солидно объясняет Зоя Бамбука.

— Ясно,— соглашается Степка.— Меня к нему только на десять минут пустили. Там сестра милосердная у него еще дежурит из больницы. Так он только и твердит все: как там у вас в школе? Да не безобразничаем ли мы? Да как Карлыч справляется? Да подтянулся ли Биндюг по алгебре?

Все смотрят на Биндюга. Он багровеет, пожимает своими толстыми плечами, хочет что-то, видно, сморозить, но, поглядев в глаза Степке, отворачивается.

— Да,— продолжает Степка,— давайте уж, ребята, пока что без глупистики. Ему сейчас волноваться — крышка. Вон спросите у Лельки, доктор так сказал. Верно ведь? Давайте уж пока без всяких этих несознательностей. А то в крайнем случае можно и по шее заработать, это я предупреждаю... Верно, Жук?

— В два счета,— откликается Костя Жук.— Мы что, люди или кто? Это надо уж последним быть, я считаю, чтоб сейчас ему здоровье повредить... Ты, Биндюг, это тоже учитывай.

— За собой поглядывай,— обижается Биндюг.— Сознательные!

И, оттолкнув плечом стоящего возле него Лабанду, он выходит. А Степка говорит мне:

— Книжку он просил какую-нибудь почитать. Я уж заходил к вам, да братишка без тебя не дает. Дашь? Я снесу...

— Я сам,— говорю я.

Что же выбрать мне для комиссара?

Пока я дома роюсь в книгах, Оська сообщает мне:

— А Степка просил вот эту... как ее... забыл. Кристомонтию.

— Хрестоматию? — удивляюсь я.

— Да нет,— говорит Оська, морща лоб и губы.— Ну, погоди, я сейчас вспомню. Ой, вспомнил! Конечно! Он говорил не Кристомо́нто, а «Сакраменто». Вот, теперь я знаю!

Но нет такой книжки — «Сакраменто». Так ругаются приезжающие иногда в город колонисты-меноните[1]. «Доннерветтер, сакраменто!» Это что-то вроде: «Чертовщина!» Какую же книжку просил для комиссара Степка?..

— Степка сказал, что он граф и есть такое ружье,— помогает мне догадываться Оська.

Понял! Все ясно: не Кристомонто, не Сакраменто, а Монте-Кристо! «Граф Монте-Кристо»... Но у меня нету такой книжки. И, верный своим швамбранским вкусам, я останавливаюсь на древнегреческих мифах и на «Робинзоне Крузо».

[1] Меноните — немецкие сектанты, переселившиеся в XVIII веке из Германии в Поволжье.

Аккуратно завернув обе книжки в старую газету, я несу их комиссару.

Бедно живет комиссар. Голый стол застелен газетой. На ней из-под наброшенного ватника-стеганки торчит нос жестяного чайника. На потухшей печке-«буржуйке» одиноко стынет медный солдатский котелок. На бамбуковой этажерке — стопочка книг. На верхней написано: «Политграмота». Только кровать у комиссара роскошная. Такая широкая — хоть поперек ложись. Спинка-изголовье и передок фигурные, ковровые, расписные. Прямо сани пароконные, а не кровать. Должно быть, осталась от купца Старовойтова. На отставших шпалерах приколоты кнопками портреты Карла Маркса и Ленина. Стену над кроватью закрывает большой и смачно напечатанный плакат. На нем изображен красноармеец в шлеме-шишаке с пятиконечной звездой. Как я ни повернусь, откуда ни посмотрю — он пристально глядит с плаката прямо мне в глаза и как будто именно в меня упер указательный палец, грозно и требовательно вопрошая: «Ты записался в добровольцы?» Так и написано крупными буквами на этом неотступно настигающем меня плакате.

А я и так чувствую себя не очень уверенно. Никто меня не встретил в сенях. Больничная сестра, видно, уже ушла, и мне пришлось несколько раз постучать в дверь, пока я не услышал тихий, почти незнакомый голос комиссара: «Заходите».

Комиссар непривычно острижен. Он так ужасно исхудал, что слишком широкий ему ворот бязевой рубашки сползает с костлявого плеча. Комиссар улыбается мне слабой и какой-то виноватой улыбкой.

— Здоров! Вот... всё доктора ходили, а теперь уже докторята заявляются. Значит, ша. Похворал, и точка. Ну, как вы там, крокодилы?

Он принимается расспрашивать меня про школу. Потом я читаю ему вслух о подвигах Геракла. Я стараюсь читать с выражением и сам незаметно вхожу в раж, когда Геракл отхватывает одну башку за другой у девятиголовой Лернейской гидры. Я нарочно выбрал именно этот второй подвиг Геракла, потому что не раз слышал на митингах о лютой многоголовой гидре контрреволюции. И вот я читаю о том, как герой победил это яростное чудовище, истекшее черной ядовитой кровью...

Комиссар спит. Он, наверно, уже давно заснул. Мерно поднимается и опадает его исхудалая, но все же просторная грудь. А я сижу и не знаю, что же мне теперь надо делать. Уйти? Неловко. Так сидеть? Глупо как-то. Да и неизвестно, сколько все это будет продолжаться.

В комнате тихо. Слышится только дыхание комиссара. Да

иногда чуть слышно щелкнет что-то в жести остывающего чайника на столе. И, не спуская сверлящих глаз, тыча в меня пальцем, уставился мне в лицо со стены красноармеец. И я тоже не в силах уже отвести от него глаз. Получается совсем как в «гляделках», когда мы играем у нас в классе. Один на один — кто кого пересмотрит? Но так яростно, так неотрывно вперился в меня своими беспощадными глазами красноармеец на плакате, что я, кажется, сейчас сморгну и проиграю...

— Попить,— тихо произносит комиссар, не раскрывая бледных век, глубоко закатившихся в темных глазных впадинах.

Я бросаюсь налить ему из чайника в кружку. Чай еще не совсем простыл. Комиссар пьет из моих рук, приоткрыв глаза, и смотрит на меня с благодарностью.

— Ты бы сам чайком пополоскался. Только у меня морковный. И сахар весь... А сахарин не велят. Говорят, отражается на почках после тифа.

Чтобы не обидеть комиссара, я наливаю себе мутноватый, отдающий чем-то жженым настой и пью его, несладкий, чуть теплый, безвкусный. И тут же у меня созревает план. Завтра я осуществлю его.

Подняв глаза над кружкой, из которой я цежу морковный чай, я осторожно перевожу взгляд на стену. Красноармеец смотрит на меня так же пристально и неотрывно, но теперь меня уже не смутить. Я знаю, что мне делать.

Чай да сахар

На другой день я опять навещаю комиссара. И в кармане у меня четыре куска рафинада! Мой школьный паек за сегодня и за день вперед.

Комиссар выглядит немножко лучше. Глаза у него повеселели. И, когда он улыбается, в них вспыхивает хорошо знакомый нам лихой и острый блеск. Впрочем, он тут же заволакивается какой-то дымкой и гаснет. Должно быть, комиссар еще очень слаб.

— Ты не серчай на меня, что прошлый раз, как ты читал, я в храповицкую ударился,— извиняется он.— Слаб я еще. Голова мутная. А потом, уж больно ты фантастику загнул... А еще я потом поглядел книжку эту, которую ты мне оставил, про Робинзона. Ничего. Это больше забирает. Но только мне ее сейчас читать не с руки. И так тошно, что один валяюсь. К людям охота... Тут время такое, что каждый человек на счету, а я, как Робинзон твой, на острове кисну... Тьфу, на самом деле! Ну

ладно, ша! Точка. Подыматься пора. Я уж вчера ноги спускал. Ну-ка, докторенок, подсоби мне... Я попробую.

— Вам же еще рано. Папа сказал — надо вылежать.

— Отставить, что папа сказал! У них, у докторов, вся медицина на другой, деликатный, класс рассчитана. А мы знаешь какой породы! Семижильные! Давай не разговаривай много.

Он спускает худые ноги, приподнимая каждую ладонями за колено, осторожно вправляет их в баленки, стоящие возле койки.

— Ну поддерживай, поддерживай с этого боку. А я этой рукой за кровать возьмусь. А ну... Раз, два, взяли... Давай по-грузчицки! А вот пойдет... Сейчас пойдет... Взяли!

Он приподнимается со страшным усилием, я подставляю ему под мышку свое плечо. Комиссар делает шаг и тяжело валится на меня. Я еле успеваю обхватить его и с трудом дотягиваю до постели. Он лежит, тяжело дыша. Несчастный и непривычно жалкий.

— Нет мне больше ходу... Амба. И точка... Уйди. Чего глядишь? Уйди, говорю! Что смотришь, докторенок? Плох комиссар. Кончился... Врешь, докторенок! Я еще тебе пошагаю.

Через всю его желтую заросшую скулу продирается медленная, крупная слеза. Мне делается страшно... Комиссар, веселый комиссар Чубарьков, размашистый, горластый, способный, если надо, переорать любую толпу, сейчас почти неслышно всхлипывает на постели.

А красноармеец со стены безжалостно тычет в меня своим пальцем и глаз с меня не сводит. Ну при чем тут я?..

Я стремительно бросаюсь к столу, наливаю из чайника, накрытого ватником, желтоватый настой в кружку и незаметно опускаю туда весь свой двухдневный паек рафинада. Трясущейся рукой принимает у меня кружку комиссар. Он уже немного пришел в себя, медленно отпивает, потом облизывает губы.

— Эх ты, сласть-то какая! Медовый навар. Это с чего?

Он подозрительно смотрит на меня. Потом заглядывает в кружку, где, должно быть, еще не совсем растаял мой сахар.

— Это ты меня балуешь? Недельный паек небось на меня стратил весь? Зря ты это. Себе бы кусочек оставил. А то опять чай пить безо всего будешь.

Я с готовностью наливаю из чайника себе полную кружку настоя, делаю глоток и — ничего не понимаю... Густой, как патока, сладчайший, приторный сироп липнет мне на губы. Потом, кажется, я начинаю догадываться.

— Товарищ комиссар, а до меня никто вас не навещал?

— Скажешь! — ухмыляется комиссар.— Да тут, поди, весь класс ваш перебывал: и Костя Жук, и Лабанда, и Зоя, и Степа,

конечно,— все. Они и печку топили, и с чайником шуровали. Только сами не пили. А ты что не пьешь? Вот видишь, говорил я, что без сахару-то тебе никакого удовольствия не будет. Ну, раз не пьется, давай опять шагать учиться. Берись за меня. Я теперь вроде уж от твоего чая окреп. Берись, говорю! Ну?!

И комиссар, опершись на меня, снова учится ходить.

Блуждание швамбран, или Таинственный солдат

Школа кочевала, и вместе с ней блуждала Швамбрания. Бурные события в жизни Покровска и нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. В Швамбрании непрестанно шли беспорядки, потому что она меняла государственные порядки.

В Покровске выползла из подполья и стала официальной вошь. Сыпняк поставил на все красный крест. Оська настоял на введении в Швамбрании смертности. Я не мог возражать. Статистика правдоподобия требовала смертей. И в Швамбрании учредили кладбище. Потом мы взяли списки знакомых швамбран: царей, героев, чемпионов, злодеев и мореплавателей. Мы долго выбирали, кого же похоронить. Я пытался отделаться мелкими швамбранами, например бывшим Придворным Водовозом или Иностранных Дел Мастером. Но кровожадный Оська был неумолим. Он требовал огромных жертв правдоподобию.

— Что это за игра, где никто не умирает? — доказывал Оська.— Живут без конца!.. Пусть умрет кого жалко.

После продолжительных и тяжких сомнений в Швамбрании скончался Джек, Спутник Моряков. Ему наложил полные почки камней жестокий граф Уродонал Шателена. Умирая, Джек, Спутник Моряков, воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз:

— Же вез а... Я иду в... их гее нах!.. Ферма ля машина!.. Стоп ди машина!..

После этого он хотел приказать всем долго жить, но в словаре этого не оказалось. Его похоронили с музыкой. Вместо венков несли спасательные круги и на могиле поставили золотой якорь с визитной карточкой.

Несмотря на тяжелую утрату, беспрестанные изменения климата и политики, материк Большого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. За медными дверцами ракушечного грота в одиночестве и паутине хирела королева — хранительница тайны. Швамбрания продолжалась.

Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня к нему подошел какой-то солдат и спросил Оську, не знает ли он, как пройти в Швамбранию... Оська растерялся и убежал. Мы сейчас же отправились вдвоем искать таинственного солдата. Но его и след простыл. Оська высказал робкое предположение, что, может быть, это был настоящий заблудившийся швамбран. Я поднял Оську на смех. Я напомнил ему, что мы сами выдумали Швамбранию и ее жителей. Но все же я заметил, что Оська стал как будто тихонько верить в подлинное существование Швамбрании.

Швамбрания первой ступени

Вскоре это стало известно в Оськиной школе. И без того Оська с первого же дня приобрел популярность в своем классе. Одна из маленьких школьниц спросила на уроке, из чего и как получается сахар.

— Я знаю,— сказал Оська.— Сахар получается в школе.

Временно заведующий школой Кочерыгин заменял отсутствующего ботаника.

— Не по сути говоришь! — сказал он.

Оська добавил: сахар находят в керосине, который брызгается из-под земли.

Временно заведующий смутился. На другой день он пришел в класс и сообщил, что, по наведенным им справкам, в земле добывают сахарин... Только не из керосина, а из угля. К Оське Кочерыгин стал относиться с большим почтением.

Воспользовавшись этим, Оська нанес на большую классную карту контуры Швамбрании. Так как учитель естествознания и географии продолжал отсутствовать, то Кочерыгин в этот час вел «пустой урок». Палец временно заведующего заблудился в горах нового материка.

— Какое государство тут жительствует? — спросил временно заведующий, тыча пальцем в неведомую страну.— Ну-ка? Кто знает?

Класс не знал.

— Это Швамбрания,— сказал Оська, озорничая.

— Как говоришь? — переспросил временно заведующий.

— Швамбрания! — повторил Оська уже серьезно.

— А нешто есть такая? — нерешительно спросил временно заведующий.

— Есть,— отвечал Оська.— Позавчера-вчера один солдат даже уехал туда.

— А почему в книжке ее нет? — шумел класс.

— Она еще на глобусе ненарисованная,— сказал Оська,— потому что новая страна.

— А ну-ка, расскажи про нее все как есть,— сказал временно заведующий.

И Оська вышел к карте. Весь урок до конца он рассказывал о Швамбрании. Он подробно сообщил флору и фауну материка Большого Зуба, и класс затаив дыхание слушал о диких коньяках, живущих в ущельях Северных Канделябров. Оська поведал о войнах с Пилигвинией, о свержении Бренабора, о путешествии покойного Джека, Спутника Моряков, о злодеяниях Уродонала Шателена. Временно заведующий остался доволен уроком швамбранской географии.

— Здорово знаешь,— сказал он.— Ну и памятливый у тебя чердак, удивление! И откеля ты все это вызубрил?.. Ну, садись. Ребята,— обратился он к классу,— чтоб к тому разу все это назубок и без запинки.

Оська вернулся из школы в необычайном сиянии.

— Швамбранию уже в школе учат,— сказал он гордо.

И я едва не сел на пол.

Но на другой день новый заведующий сам привел смущенного Оську домой. Он ласково вел его за руку и уговаривал отречься от швамбранской веры. А позади шли Оськины одноклассники и кричали: «Швабра! Швабра!..» Новый заведующий рассказал папе и маме о странных географических познаниях Оськи. Он просил повлиять на упрямого швамбрана. Оська хныкал и ссылался на таинственного солдата, который искал дорогу в Швамбранию.

И вот когда на той же неделе мы гуляли с Оськой на площади, к нам подошли два молодых крестьянина в обмотках и с маленькими сундучками на спине.

— Молодые люди, родные, уважаемые, где здесь... это...— начал один скороговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии.— Где тут в штаб-армию пройтить? В красные добровольцы записаться...

Так вот куда искал дорогу таинственный солдат!

Вход с улицы

Сыпной тиф качался по улицам в такт мерной походке санитаров и могильщиков. Тиф был громок в горячечном бреду и тих в похоронных процессиях. Катафалки тянули верблюды Тратрчока.

Школа переезжала.

Металась Швамбрания в поисках устойчивой истины, меняя правителей, климат и широты. И только дом наш незыблемо стоял на своем причале на старой широте, на прежней долготе. Он заржавел, он врос в дно — уже не пароход, а тяжелая, занесенная баржа, ставшая островком. Бури не могли пока еще вторгнуться в него, так как мама боялась сквозняков и закрывала форточки.

Но, разумеется, кое-какие изменения произошли. Папа, например, носил френч, а не пиджак. Красный крестик на клапане кармана говорил о том, что отец — военный врач. Он работал в эвакопункте. Затем люди «неподходящего знакомства», знавшие всегда лишь черный ход квартиры, теперь все, словно сговорившись, являлись через парадный. Даже водовоз, которому как будто удобнее и ближе было идти через кухню, требовательно звонил с парадного хода. Он топал через квартиру, он следил и капал. И ведра его были полны достоинства.

Мы с Оськой приветствовали это разжалование парадного крыльца. Теперь между ним и кухней установился сквозняк непочтительности. И в нашей описи мирового неблагополучия был зачеркнут пункт первый (о «неподходящих знакомствах»).

Первыми после революции позвонили с парадного слесарь и плотник. Аннушка открыла им, прося обождать, и пришла сказать папе, что «какие-то просят товарища доктора».

— Кто такие? — спросила мама.

— Да так из себя мужчины,— отвечала Аннушка (всех пациентов она делила на господ, мужчин и мужиков).

Отец вышел в переднюю.

— Мы к вам,— сказали пришедшие, называя папу по имени и отчеству.— Просьба выслушать нас.

— На что жалуетесь? — спросил папа, приняв их за пациентов.

— На несознательность,— отвечали слесарь и плотник.— Больницу при Керенском закрыли чертовы хуторяне, а теперь убыток здоровья трудящим. Мы вот комиссары назначенные...

Папа никогда не мог простить Керенскому, что во время его краткого царения богатые «отцы города» из скупости закрыли общественную больницу. «Нэ треба!» — заявили они.

А вот явились большевистские комиссары и заявили, что Совдеп постановил спешно открыть больницу, и назначили отца заведующим.

Троетётие

Папа угостил комиссаров чаем. После их ухода он веселый ходил по квартире и напевал: «Маруся отравилась — в больницу повезут».

— Это, как хотите, настоящая власть! — говорил папа.— Есть культурные тенденции. А что ваше Учредительное собрание? Это наш волостной сход. «Нэ треба» во всероссийском масштабе.

«Ваше Учредительное» — это было сказано специально в пику теткам. Дело в том, что на нас со всех концов России посыпались голодающие тетки. Одна приехала из Витебска, другая бежала из Самары. Самарская и витебская тетки были сестрами, обе носили пенсне на черном шнурке и очень походили друг на друга, только одна вместо «л» говорила почти «р», а другая, наоборот, «р» произносила совсем как «л». Папа шутя прозвал их «учледиркой», а мы — тетей Сэрой и тетей Нэсой.

Обе они были ужасно образованные и беспрерывно толковали о литературе и спорили о политике, и, если некоторые их сведения опровергал энциклопедический словарь, они говорили, что там опечатка.

Потом приехала из Питера третья тетка. Питерская тетка заявила, что она без пяти минут большевичка.

— А когда ты будешь ровно большевичка?—спросил Оська, живо вскинув голову к стенным часам.

Но прошли часы, недели, месяцы, а тетка не делалась большевичкой. Только она больше уже не говорила «без пяти минут». Она теперь уверяла, что «во многом она почти коммунистка».

Питерская тетка поступила служить в Тратрчок, а тетя Сэра и тетя Нэса — в Упродком. В свободное время они рассказывали «случаи из жизни», спорили и воспитывали нас. Тетки настояли, чтобы нас взяли из школы, ибо, по их мнению, советская школа только калечила интеллигентскую особь и ее восприимчивую личность (кажется, они так выражались).

Они сами взялись обучать нас. Тетки считали себя знатоками детской психологии. Мы изнемогали от их наставлений. Они лезли в наши дела и игры. Разнюхав о Швамбрании, тетки пришли в восторг. Они заявили, что это необыкновенно-необыкновенно интересно и чудесно. Они просили посвятить их в тайны мира и обещали помочь нам. Швамбрании грозило тёточное иго.

Тогда швамбранские стратеги схитрили. Они завлекли теток в глубь швамбранской территории, а там в порядке посвящения мы раскрасили теток акварелью, заставили их ползать в пыли под кроватями, замуровали в пещеру с дикими зверями, то есть

заперли в чулан с дикими крысами, и велели десять раз спеть гимн.

— «У-ра, у́-ра! — закричали тут швамбраны все»,— старательно пели в темноте усталые и раскрашенные тетки.— Ура... Ой, что-то мне лезет на юбку!.. У-ра, у́-ра! — и упали... Туба-риба-се!..

Но когда мы потом объяснили им правила и приемы французской борьбы и велели им бороться на ковре без срока, отдыха, перерыва, решительно, до результата, несчастные тетки возмутились. Они назвали Швамбранию грубой игрой, глупой страной, недостойной воспитанных мальчиков. За это известный швамбранский поэт (не без влияния Лермонтова) написал в альбом тете Нэсе такое стихотворение:

Три тетушки живут у нас в квартире,
Как хорошо, что три, а не четыре... [1]

Мир и личность

— Отец хотя у тебя интеллигент, но довольно сознательный,— сказал Степка Атлантида.— В общем, тоже на нашей платформе. Сам, видать, ты в доску сочувствующий. Тетка эта тоже немного разбирается. Но те две у вас сильно отсталые.

Так сказал Степка Гавря, по прозвищу Атлантида, покидая нашу квартиру после двухчасовой дискуссии о личности и обществе. «Учледирка» выражалась так учено, что даже питерская тетка то и дело бегала тихонько смотреть в энциклопедическом словаре непонятные «измы» и «субстанции»... Вообще по-теткиному выходило так: посередке — умная и свободная личность, а все остальные — вокруг нее. Как это личности кажется, то есть, значит, как она воображает, так все для нее и есть. И на остальное ей чихать!.. Степка же, обратно, утверждал, что семеро одного не ждут, главное — это компания, то есть когда люди сообща. А личность можно и за манишку взять, если она будет очень из себя воображать. На это тетки сказали, что мы со Степкой грубые реалисты.

— Вот и неправда,— сказал я.—Мы вовсе были гимназисты, а не реалисты [2].

---

[1] Здесь пародируется эпиграмма Лермонтова:
Три грации считались в древнем мире;
Родились вы... всё три, а не четыре!

[2] «Гимназисты, а не реалисты».— Средние учебные заведения в царской России делились на «классические гимназии» и «реальные училища»; ученики последних назывались реалистами.

Тут тетки ехидно заметили, что реалисты — это не обязательно ученики реального училища. Реалисты — это те, кто думает, будто на свете есть только то, что все видят и щупают. Они называются еще материалистами и считают, что мир безусловно существует и распоряжается идеями и личностями. Тетки сказали, что это неверно. Они закричали, что мир не имеет права командовать свободными идеями и личностью, потому что, сказали они, возможно, что без идеи и мира-то никогда не было бы... Да, безусловно, существует только сама думающая личность, а все остальное ей, может быть, только представляется, как во сне...

— А мы — личность? — спросил Оська.

— Дря себя безусровно ричность,— отвечала тетка Сэра.

Эта идея нам очень понравилась. Мы решили, что все это может пригодиться для Швамбрании.

Действительно, а вдруг мы в самом деле швамбраны, а Покровск, школа, дом, революция — все это нам только снится? Мы даже задохнулись от такого предположения.

Тетки сели на диван. Тетя Нэса стала читать вслух русскую историю.

— «Валяги Люлик, Тлувол и Синеус [1],— читала тетя Нэса,— плишли плавить Лусью».

Мы с Оськой занялись швамбранской историей. Мы принялись петь, бросать на пол стулья и вообще гремели что есть силы. Тетки попросили быть тише. Они сказали, что это неуважение к личности.

— А нашей личности снится, что вас тут вовсе нет,— сказал Оська.

— Может быть, вы вообще нам только представились? — добавил я.

Тетки пожаловались маме. Мама явилась. Но мы отнеслись критически и к маминому существованию. Мама заплакала и пожаловалась папе.

— Это еще что за сопливый солипсизм? — грозно сказал папа.— Вот я сейчас тоже представлю себе, что вы на старости лет оба сели в угол.

Нам не дали обедать. Папа объяснил, что ведь суп — это только сон, и если мы с Оськой такие свободомыслящие личности, то нам ничего не стоит представить себе, что мы уже сыты,

---

[1] «Валяги Люлик, Тлувол и Синеус».— До революции в учебниках истории утверждалась ложная, опровергнутая впоследствии наукой легенда о том, что славянскую Русь будто бы «основали» пришельцы — варяги Рюрик, Трувор и Синеус.

и сам папа будто бы уже видел во сне, как мы обедали и даже сказали «спасибо». Словом, нам пришлось допустить, что суп — это не идея, а действительность и что, кроме нашей личности, существуют еще миллионы других, без которых не обойтись.

Вокруг Солнца

Личность была для нас выкинута из мировой серединки. Огромный кругооборот событий захватил нас в школе и на улице. Но центробежные силы ничего не могли поделать с нашим домом. Он непоколебимо оставался надежной осью всей жизни. Все остальное, казалось нам, вертится вокруг него большой опасной каруселью. Так продолжалось до того дня, когда во время приема в переднюю пришел коренастый человек. Он был обут в черные чесанки, вправленные в резиновые боты. При нем был портфель и кобура. И Аннушка сразу определила в нем комиссара.

— Граждане, извиняюсь, конечно, за неуместность,— сказал комиссар пациентам,— но меня пропустите без очереди. Я по делу.

— Тута все ожидающие по делу! — загалдела приемная.— Нечего с портфелями вперед соваться!

— Благородного строит,— сказала из угла толстая хуторянка.

На коленях ее шевелился мешок. Там покрякивала жертвенная утка.

В кабинете зажурчал умывальник. Потом дверь открылась. Вышел больной, застегивая ворот рубашки. Комиссар прошел в кабинет без очереди.

— Мое почтенье,— сказал он.— Извиняюсь за неуместность, что не в черед. По революционному долгу, товарищ доктор... Я, извиняюсь, к вам как комендант города...

— Присаживайтесь, товарищ Усышко,— сказал папа, узнав в коменданте хорошо знакомого сапожника, что прежде обувал всю нашу семью и часто захаживал к нам за книжками, которые он брал читать у папы.— Что скажете хорошенького, товарищ Усышко?

— Выбираться вам придется, товарищ доктор,— сказал комендант,— фактически съезжать с квартиры. Тратрчок расширяется. Недостаток местов. Извините за беспокойство, но придется в двухдневном порядке.

Папа подумал: «Вот... начинается... добрались». И папа сказал, поправив красный крестик на кармане:

— Товарищ Усышко, я буду протестовать... Я не позволю в двухдневный срок выкидывать меня бесцеремонно, как какого-нибудь буржуа. Мне кажется, что трудовая интеллигенция имеет право требовать к себе более чуткого внимания со стороны власти, с которой она работает в полном контакте...

— Ладно, денек накину,— сказал комендант,— но больше уж никак. А насчет контакта и не успоряю. И со своей стороны вам обстоятельную квартиру обнаружил... на Кобзаревой... бывшего Андрея Евграфовича дом, Пустодумова... Ничего квартирка... И перевозка, конечно, наша.

— Согласитесь, что я сначала должен посмотреть квартиру,— сказал папа.

— Смотрите на здоровье! — отвечал комендант.— За осмотр денег не берем... А шестого, значит, пришлю подводы... Ну, засим пока!..

И комендант собрался уходить. Но тут взгляд его упал на папины ботинки.

— Ну как? — спросил комендант.— Носите?

— Ношу! — сердито отвечал папа.

— Левый не жмет? — озабоченно спросил комендант.—Нет? Видите, я тогда говорил, это только сперва, а потом разносится.

— Я должен вам откровенно сказать, товарищ Усышко,— съязвил папа,— что это у вас выходило удачнее, чем, так сказать...

— С какой стороны смотреть, товарищ доктор! — засмеялся комендант.— Штиблеты-то вы заказывали, а теперь кое-что, извиняюсь, не по вашей мерке делается. Может, где и жмет.

Весть о предстоящем переселении ошеломила и потрясла нас с Оськой. Мы увидели, что центр мира сместился. Историю заказывали не в нашей квартире.

Вероятно, в таком положении оказались современники Коперника. Они привыкли считать, что человек — соль Вселенной, а Земля — пуп мироздания, а оказалось, что Земля — крупинка среди тысячи подобных. Подчиняясь внеземным силам, она ходит вокруг Солнца.

На новую географию

Невиданный караван шествовал по Брешке. Десять верблюдов Тратрчока везли наш скарб.

Были свернуты, подобно походным знаменам, гардины и портьеры. Сложенные кровати со сверкающими шишками гремели, как коллекция гетманских булав. Сияли доспехи самоваров. Большое трюмо лежало озером. В нем плескалась опроки-

нутая Брешка. Дрожало пружинное желе матрацев. На другой подводе скакали, топтались стреноженные венские стулья, похожие на жеребят. В белом чехле ехало стоя пианино. Сбоку оно напоминало хирурга в халате, прямо — рысака в попоне. Веселый возчик, правя одной рукой, просунул другую в разрез чехла. Он тыкал в клавиши и старался подобрать на ходу «Чижика».

Вещи выглядели непристойно. Даже вечно перпендикулярные умывальники и буфет лежали навзничь, вверх дверцами. Публика глазела на нас. Вся наша интимная домашность была обнародована. Было неловко и хотелось отречься. Папа с посторонним видом шел по тротуару. Но мама героически шагала в голове каравана. Она шла за передним возом, усталая и безрадостная, словно вдова за гробом. В руках ее был поминальный список вещей.

Оська шел впереди всех с кошкой в руках. На переднем возу высоко вверху, как раджа на слоне, сидела Аннушка. Ее опахивал лист пальмы. Аннушка держала чучело филина. Далее следовал я. Я нес драгоценный грот с шахматной узницей. Швамбрания переезжала на новую географию.

Шествие замыкала колонна теток.

Новая квартира встретила нас холодно и гулко. Насмешливое эхо передразнивало наши голоса.

Возчики двигали тяжелые книжные шкафы. Папа развел в мензурке немного спирту и угостил возчиков. Возчики говорили промеж себя:

— Ай спирт! Враз берет...

— Да, это вот лекарство!.. Мозговая касторка. На ходу мозги прочистит.

— Капитон, заходи с того боку!.. Книг-то!.. Книг!.. Мать честная! И куды это столько?

— А ты думаешь, у человека в нутре ковыряться так себе, как в носу?.. Тут, брат, тыщу книг прочтешь, да и то обмишулишься: не в тою кишку заедешь!..

Тетки ходили за возчиками и следили, чтоб они чего не взяли, ибо теперешний народ, сказали тетки, чрезвычайно вольно обращается с чужой собственностью. В одной комнате висела изящная люстра с бахромой из стекляруса. Люстра осталась от Пустодумова. Тетки залюбовались ею.

— Что? Уж свою повесили? — спросил явившийся комендант. — Фасонная люстрочка! Петроградской работы небось?

Тетки замялись.

Я открыл уже рот, чтобы сообщить, откуда люстра, но тетка Нэса, как ширма, заслонила меня.

— Да, да, товалищ,— торопливо сказала тетка,— петлоглад-ской лаботы люстла.

Когда комендант ушел, несколько смущенные тетки стали уверять меня, что они поступили вполне честно. Пустодумову, дескать, все равно бы люстру не вернули, а государство и без люстры обойдется.

Владычество вещей

Уже стихал резонанс комнат. Вещи задавили эхо. Мы нашли укромный уголок для грота королевы. Кроме того, этот же угол мог легко быть переоборудован в цирк, вокзал, тюрьму.

Швамбрания утверждалась.

Папа, стоя на стремянке с молотком в руках, вешал на стену портрет доктора Пирогова и картину академика Пастернака «Лев Толстой». Папа ораторствовал. Стремянка казалась ему трибуной.

— Сегодня я лишний раз убедился,— говорил папа,— что мы — жалкие рабы вещей. Вся эта громоздкая рухлядь держит нас в своей власти. Она связывает нас по рукам и ногам. Я бы с наслаждением оставил половину всего этого на старой квартире!.. Дети! (Леля, вынь сейчас же гвоздь изо рта! Не знаешь элементарных правил гигиены!..) Я... говорю, дети, учитесь презирать вещи!..

Затем мы с Оськой пошли пристраивать на стене в столовой раскрашенное блюдо-барельеф. На блюде выпятился за́мок и гарцевали рыцари. Вдруг гвоздь вырвался из стены. Блюдо ударилось об пол. Рыцари погибли, а от за́мка остались одни развалины-руины.

Папа прибежал на дрызг. Он накричал на нас. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить бережно обращаться с вещами... Был произнесен целый скорбный список загубленных нами предметов: королева, трость, вечное перо и т. п. и т. д.

Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он несколько минут назад сам учил нас презирать вещи. Папа совсем рассвирепел. Он сказал, что сначала надо научиться беречь вещи, потом их заработать, а после уж можно начать презирать их.

Вечером по комнате с убитым лицом бродила мама. Чтоб не терять мелких вещей и не тратить время на их поиски, мама записала на особом листке, что где лежит. Теперь она уж второй час искала эту самую бумажку...

Во взбаламученном аквариуме медленно осаживался песок. Рыбки радужными колибри порхали в зелено-хрустальных водорослях. Рыбки вились у малахитового стекла и чувствовали себя дома.

Стены новой квартиры утратили ледяную чужесть. Комнаты обживались. Прежний уют был восстановлен на новом адресе. И папа, глядя на люстру, говорил за ужином:

— Революция... (Ося! Доешь морковку: в ней масса витаминов...) Революция, я говорю, полна жестокой справедливости... Действительно: кому по праву должна была принадлежать эта квартира? Толстосуму-купцу или врачу? Вообще я считаю, что пролетариат и интеллигенция могут найти взаимный подход.

— Боже мой! Кто из нас в душе не коммунист! — говорили тетки.

Через день у нас забрали пианино.

Тратрчок готовился к каким-то торжествам. Хор бойцов репетировал санитарную кантату. Хору было необходимо на одну неделю пианино. Мобилизовали наше.

Мамы как раз не было дома, и она унесла в сумочке охранные грамоты на пианино, выданные ей Уотнаробразом, как учительнице музыки. Папа произнес перед умыкателями пианино небольшую речь об интеллигенции и пролетариате, а также упомянул о взаимном контакте. Но это не помогло. Тогда папа сказал, что ему пианино не жалко, но дело в принципе и он дела так не оставит и, если надо, дойдет до Ленина. И папа сел писать письмо в редакцию центральных «Известий».

Пианино выносили, как покойника. Аннушка причитала, и тетки плакали соответствующе.

Мама пришла, узнала, побледнела. Она села, заморгала. Она спросила очень быстро:

— Вынуть успели?

Тут папа с размаху сел на стул, а тетки окаменели. Оказалось, что мама привязала изнутри пианино к верхней крышке потайной сверток. Там были четыре куска заграничного мыла и пачка давно уже никудышных «николаевских» денег, бумажек... Тут окаменели мы с Оськой. Дело было в том, что неделю назад мы подсмотрели, как мама готовила этот сверток. Мы тогда поняли, что его запрячут в какое-нибудь надежное место. У нас тоже имелись вещи, не предназначенные для постороннего глаза, и мы незаметно сунули в сверток кое-какие швамбранские документы. Здесь были карты, тайные планы походов, манифесты Бренабора, гербы, письма героев, афиши Синекдохи и другие секретные манускрипты из швамбранской канцелярии.

Теперь все это уехало в Тратрчок. Швамбрания была в опасности. Настройщик мог обнаружить нашу тайну.

Мама решительно встала, вытерла глаза и пошла в Тратрчок. Я вызвался сопровождать ее.

Мама была растрогана. Она не подозревала, что мы с ней идем выручать швамбранские документы.

Концерт в Тратрчоке

В Тратрчоке мама сказала, что ей нужно вынуть сверток с интимными письмами, который хранился в пианино. Длинноусый командир понимающе подмигнул. «Письмишки!» — сказал он и разрешил.

Пианино стояло в большом зале, испуганно забившись в угол. Кругом сидели на скамейках красноармейцы и грызли семечки. Двое, сидя на ящиках, старались подобрать в четыре руки «собачью польку». Увидя нас, они остановились. Мама подошла к пианино и ласковой октавой погладила клавиши. Инструмент заржал, как конь, узнавший хозяина. Красноармейцы с любопытством глядели на нас. Командир самолично вынул сверток и опять подмигнул маме: «Письмишки...»

— «Ура, у́ра! — закричали тут швамбраны все»,— мурлыкал я, выходя из Тратрчока.

Когда мы уже были на середине площади, сзади раздался крик:

— Сто-ой! Мадам! Вертайся обратно!

Подбежал запыхавшийся командир. Мама задрожала, прижав сверток к груди. В Швамбрании тоже произошло землетрясение.

— Вертайтесь, гражданка! — сказал командир.— Ребята меня за грудки хватают. Нарочно, говорят, она пианину испортила, чтобы нам не досталась, разладила... Вынула, кричат, главную часть. Она сразу и играть перестала.

— Что за глупости, товарищ! — сказала мама.— Вероятно, просто вы не умеете играть.

— Как же, до вас играло, а как вынули чегой-то, так сразу ничего и не выходит,— говорил командир.— Нет, уж вы, пожалуйста, вертайтесь и снова положьте все на место.

Мы побрели назад в Тратрчок.

Красноармейцы встретили маму злым шумом. Они сгрудились вокруг пианино. Они напирали. Они кричали, что мама нарочно испортила народное достояние, что это саботаж, а за это— на мушку.

Командир успокаивал их.

— Сознательнее, сознательнее, ребята,— говорил он, но сам, видимо, тоже был очень взволнован.

Мама уверенно подошла к пианино. Красноармейцы затихли.

Мама взяла широкий аккорд. Но пианино не отозвалось с прежней звонкостью. Звук получился глухой, чуть слышный. Он пронесся и замер, как очень далекий гром.

Мама убито и растерянно взглянула на меня. Она ударила по клавишам что есть силы, но пианино опять ответило шепотом. Зато загремели красноармейцы.

— Испортила! — кричали они.— В Чека се за такое дело... В Особый отдел!.. Ведь это что ж такое?..

— Мама,— сказал я, вдруг догадавшись,— модератор!..

Когда командир вытаскивал из пианино сверток, он нечаянно потянул модератор — заглушитель,— и тот опустился на струны. Мама рванула модератор, и пианино сразу загремело так громко, что всем показалось, будто из ушей вынули вату, которая там словно все время была.

У красноармейцев просветлели лица. Для проверки они попросили привесить сверточек обратно. Мы привесили. Но пианино громче не заиграло. Тогда нам позволили взять сверток. Потом смущенные парни попросили маму сыграть что-нибудь такое, этакое...

— Я, товарищи, польки не играю,— строго сказала мама,— это вы уж сына попросите.

Красноармейцы попросили, и я влез на ящик. Меня окружали белозубые улыбки. Так как с высокого ящика достать педали я не мог, то нажимать педаль вызвался один из красноармейцев.

Он старательно наступил на педаль и не отпускал ее уже до конца. А я гулко играл что есть силы подряд все марши, танцы и частушки, которые я только знал. Кое-кто уже начал пристукивать каблуками, и вдруг один молодой красноармеец сорвался с места. Он развел руками, словно объятия раскрыл, и осторожно ударил ногой, будто пробуя пол. Потом он подбоченился — и пошел-пошел по раздавшемуся разом кругу, закинув голову и притопывая. Высоким голосом он запел:

Что за стыд, что за срам,
Что за безобразия,
Поналезла нынче к нам
Всяка буржуазия.

Командир резко остановил его. Он сказал маме вежливо и просительно:

— Мадам, то есть теперь гражданка! От бойцов и от себя лично прошу... исполните персонально что-нибудь более сознательное... скажем, из какой-нибудь оперы увертюрочку...

Мама села на ящик. Она вытерла клавиши платком. Мой специалист по педалям опять с готовностью предложил свою помощь и ногу. Но мама сказала, что как-нибудь сама обойдется.

Мама играла увертюру из клавира оперы «Князь Игорь». Серьезно и хорошо играла мама.

Тихие красноармейцы окружили пианино. Навалившись друг на друга, они внимательно смотрели на мамины пальцы. Потом мама медленно и бережно отняла от клавишей руки... За подымающимися ее кистями, как паутинка, потянулся, затихая, финальный аккорд.

Все откинулись вместе с мамиными руками, но несколько секунд еще молчали, как бы вслушиваясь в угасание последних нот... И только после отчаянно захлопали.

Они аплодировали вытянутыми руками, поднося свои хлопки близко к маминому лицу. Они хотели, чтобы мама не только слышала, а и видела их аплодисменты.

— Ярко вырожденный талант,— сказал маме, вздыхая, командир.— Выше не может быть никакой критики.

Мы были уже на середине площади, а с крыльца Тратрчока все доносились аплодисменты. Мама скромно прислушивалась к ним.

— Удивительно, как облагораживает людей искусство! — говорила потом мама теткам.

— Таких рюдей не обрагородишь,— отвечала тетка Сэра.— Есри бы обрагородирись, роярь бы вернури.

Через месяц, когда пианино давно уже стояло на месте (оно было возвращено стараниями вставшего с тифозной койки Чубарькова), в «Известиях», в отделе «Ответы читателю», было написано:

Врачу из Покровска

Пианино конфисковано незаконно, как у лица, для которого оно служит орудием производства.

Папа торжествовал. Он показал газету всем знакомым. Он вырезал это место и хранил вырезку в бумажнике, а Степка Атлантида сказал по этому поводу:

— Это о вашей пианине в «Известиях» напечатано... Ну-ну-ну, на всю Ресефесере размузыканили! Эх вы, частная собственность!

Секретный сверток был положен теперь в маленький ящик маминого письменного стола, а стол попал в комнату одного из квартирантов. Нас уплотнили. У нас мобилизовали три комнаты, одну за другой. В первую поселили выздоровевшего Чубарькова. Я очень обрадовался ему. Комиссар тоже.

— Вот мы теперь с тобой и туземцы будем,— сказал комиссар, снимая пояс с кобурой и кладя его на стол.— Дашь книжку почитать?

— А то! — сказал я, рассматривая наган.— Заряженный?

— А то! — отвечал комиссар.— Не трожь.

Тетки глянули в дверь. Они критически осмотрели широко покачивающиеся плечи комиссара, его вздернутый нос и ушли, прошептав: «Распоясался, солдафон!»

Комиссар подмигнул нам в сторону отбывших теток:

— Не ко двору, видно, показался.

— Они всегда против,— утешил его я.

— А зато мы — за вас,— сказал Оська.

— Точка! Раз такие за меня, не пропаду,— ласково усмехнулся комиссар.

Он подхватил одной рукой Оську и посадил его к себе на колено, обтянутое синим сукном тугих, узких галифе.

— А в шашки кто играет? — спросил он неожиданно.

— Ну, в шашки это что! — отвечал я.— Вот в шахматы если... Вы в шахматы умеете?

— Нет, еще не выучился.

— Леля вас сразу научит,— пообещал Оська.— Он уже все ходики знает, и черненькими и беленькими, и взад и вперед. А я знаю только, как конь ходит.

Оська соскочил с колен, стал на одну ногу и запрыгал по квадратам, вычерченным на линолеуме пола. Потом он вдруг остановился, замер на одной ноге и доверительно сказал комиссару:

— А у нас одна королева в тюрьму арестована. Мы ее уже давно в собачий ящик посадили, когда еще войны не было, а царь зато был — вот когда!

Я свирепо посмотрел на Оську. И он замолк.

А я, чтобы прекратить ненужный и опасный разговор, предложил комиссару сыграть в шашки.

Комиссар вынул из вещевого мешка картонную складную доску, потом высыпал из маленького специального кисета шашки. Он расставил их на доске, и мы склонились над картонкой — лоб ко лбу.

— Ходи,— сказал комиссар.

Не прошло и минуты, как я убедился, что имею дело с опытным игроком. Легким, отрывистым тычком среднего пальца комиссар посылал свои шашки в самые неожиданные квадраты поля. Он делал мне каверзные подставки, ловко забирал по две-три мои шашки, прихватывая их неуловимым движением в ладонь и приговаривая:

— В шахматы пока не обучены, а в шашечки кое-что соображаем... Куда пошел? А это что? Бить надо. А то фук возьму, и ша... Вот это другой разговор. Четыре сбоку, ваших нет. А мы в дамки. И точка.

Через пять минут у меня не осталось ни одной шашки. Впрочем, одна-то осталась на доске. Но осталась она в том позорном положении, при котором выигравший обычно насмешливо зажимает нос...

Я сейчас же расставил шашки снова и предложил комиссару сразиться еще раз. Минут через десять на доске были заперты в угол две мои последние уцелевшие шашки, а комиссар, успевший к этому времени свернуть собачью ножку, весело окуривал позорный угол доски густым махорочным дымом...

«Лапки-тяпки»

Оська был сражен моим позором. Оська решил сам померяться силами с непобедимым комиссаром.

— А в «лапки-тяпки» вы умеете играть? — спросил Оська.

— Это как же — в «лапки-тяпки»? — удивился комиссар.

— А вот так,— проговорил Оська, снова устраиваясь на коленки Чубарькову.— Вот вы положите сюда вашу руку, а я буду вас ударять. А вы должны руку убирать, чтобы я не попал. Как не попаду, тогда вы будете бить. У нас в классе все так играют.

— А ну давай, давай,— охотно заинтересовался комиссар и положил на ломберный столик свою широкую пятерню — руку грузчика.

Оська прицелился. Он замахнулся левой рукой, но коварно ударил правой. Тяп! Комиссар не успел отдернуть руку.

— Смотри ты! — удивился комиссар.—Подловил, подловил... А ну-ка еще! Понял я вас. На, бей!

Оська проделал тот же маневр. Но ладонь его громко шлепнулась о стол. Комиссар на этот раз ловко убрал руку в последний миг.

— То-то! — сказал Чубарьков, чрезвычайно довольный.— Ну, а теперь клади свою пятишку.

Через некоторое время в комнату постучались. Вошел папа.

Мы поспешно стянули со столика и спрятали за спины свои вспухшие, красные, как у гусей, лапы, сильно чесавшиеся после увесистых шлепков комиссара. Но папа, должно быть, слышал из-за двери, что́ у нас происходит.

— Леля, Ося,— сказал папа,— что у вас там с руками?

— Ой, папа,— закричал Оська,— иди к нам, мы в «лапки-тяпки» играем с комиссаром! Знаешь, как он здорово играет! Лучше даже, чем у нас Витька Пономаренко в классе.

— А он у вас малый хитрец,— похвалил Оську несколько смущенный комиссар,— с ним надо ухо востро... Только жулит, не по правилам бьет, на лету подсекает.

— Нет, я не жулю, ни капельки не жулю! — кричал Оська.— Вы сами хитрый!

— Что за дикость! — возмутился папа.— Вы только посмотрите, какие у вас кисти рук. Это негигиенично... Товарищ комиссар, вы меня извините, но мои дети привыкли к более культурным развлечениям. Ну что это за времяпрепровождение — хлопать друг друга по рукам!

— Закаляются,— попробовал выручить нас Чубарьков.

— Знаешь, как это полезно! — поддержал я.— Тут надо расчет иметь и глаз точный...

— Чепуха! — сердился папа.— Подумаешь, искусство! Что тут мудреного! Бей, и все.

Комиссар хитро посмотрел на папу:

— Это как сказать, товарищ доктор. Это только глядеть просто. А тут соображать требуется. Вот вы попробуйте.

— Нет уж, увольте,— заявил папа.

— А вы попробуйте,— настаивал комиссар.

— Попробуй, папа! — присоединился и я.

— Боится, боится! — закричал Оська.— Папа трусит!

Папа пожал плечами:

— Бояться тут нечего, решительно нечего... Хитрости тут тоже большой нет. Но уж если вам так хочется, пожалуйста.

— Точка,— проговорил комиссар и деловито положил свою тяжелую длань на стол.— Ваш кон. Ваш почин, товарищ доктор.

Папа высоко поднял свою белую, как всегда тщательно отмытую докторскую ладонь. Он еще раз презрительно пожал плечами — и шлеп по пустому пространству стола, где только что была рука комиссара, исчезнувшая в миг удара.

Мы были в восторге.

— Ну как, товарищ доктор? — спросил комиссар.— Хитрости никакой?

— Одну минуточку,— сказал уязвленный папа.— Это не считается. Одну минуточку. Разрешите... Так, так. Кажется, я начинаю соображать. Ага, значит, вы кладете таким образом, а я, следовательно, бью отсюда. Превосходно. Нуте-с, прошу вас.

Комиссар, внимательно следя за папой, положил на стол руку, готовую каждое мгновение отпрянуть в сторону. Папа сделал несколько ложных замахов, и комиссар всякий раз слегка отсовывал свою руку. Вдруг папа неожиданно с силой и звучно припечатал ладонью руку комиссара.

— Эге,— сказал комиссар, потирая слегка вздувшуюся руку.— Тяпка-то у вас, товарищ доктор, дай бог, хирургическая. А из вас толк будет. Ну, больше не подло́вите. Ша! Хватит.

— Давайте, давайте кладите. Я еще имею право удара! — горячился папа.— Минуточку! — Папа снял пиджак и подсел к столу.— Поглядим, поглядим еще, кто кого научит хитрости... Тяп!..

Заглянувшие через несколько минут в комнату тетки остолбенели в дверях при виде страшной картины. За столиком сидели комиссар распояской и папа без пиджака. Оба нещадно хлопали друг друга по рукам, промахивались, гулко били по столу ладонями.

— Тяп! — говорил комиссар.

— Ляп! — басил папа.

Мы с Оськой скакали от восторга, подзадоривая и без того увлекшихся игроков. Столик трещал и качался от ударов.

Трещали и шатались священные устои, вбитые тетками.

Знакомства, дезертиры, сквозняки

В другую комнату вселился изящный военный в шнурованных желтых ботинках до колен. Он внес чемодан, оглядел комнату, сел, почистил ногти, забарабанил ими по столу и сказал:

— Тэк-с.

— Сразу видно интеллигентного человека,— решили подглядывавшие тетки и вошли приветствовать жильца.

Квартирант вскочил. Он по очереди поцеловал руки всем трем и всех трех оделил своими визитными карточками с золотым обрезом. На карточках стояло: «Эдмонд Флегонтович Ла-Базри-де-Базан». А внизу помельче: «марксист».

Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович Ла-

Базри-де-Базан оказался личностью отнюдь не швамбранской. Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. Ла-Базри-де-Базан появился вскоре после революции. Он тогда редактировал покровскую газету «Волжский Буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера огромными буквами поздравил «всех уважаемых читателей с 1917-м днем рождения социалиста И. Христа...». Через день газету поздравили с новым редактором. Теперь Ла-Базри-де-Базан работал в Тратрчоке. Он имел чин адъютанта для особых поручений, но так как главным его занятием было устройство всяких лекций, концертов и вечеров, то его прозвали «адъютант для особых развлечений». Красноармейцы звали его «Лабаз-да-Базар».

В третьей по коридору комнате расположилась «Комиссия по борьбе с дезертирством». Целый день туда паломничали раскаивающиеся дезертиры. Они несли в комиссию свои повинные головы, но, заплутавшись в квартире, склоняли их на наши столы и подоконники. Они бродили по комнатам и митинговали на кухне. Утром они без стука влезали в зал, где, разделенные шкафами, спали мы и тетки. Тетки взывали к их совести. Но дезертиры уверяли, что они люди свои, не обидят, и ложились вздремнуть у порога. Когда к маме приходила ученица, дезертиры окружали пианино и восхищенно следили за бегущими в гаммах пальцами.

— Ишь ты! — удивлялись дезертиры.— Махонькая, а как шибко!

Посторонние люди входили и выходили через все двери, и все они казались знакомыми и подходящими для знакомства. Мама привыкла к сквознякам. Сквозняк втягивал в окна красные флаги. Дом стал сквозным. Коридор квартиры стал как бы рукавом улицы. Калитки почему-то игнорировались. Чтобы пройти с улицы во двор, люди шагали прямо через квартиру. Над головой беспрерывно во втором этаже стучали ремингтоны. Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у коновязи гремели ведрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры — злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный Оська с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна Лабаз-да-Базара. Там, оставшиеся запертыми в столе, лежали наши манускрипты. Оська нес караул при Швамбрании.

Маркиз и солдафон

Комиссар читал на ночь третий том энциклопедического словаря. Первые два он уже прочел. Он читал словарь подряд. Тетки тихонько презирали его и не рекомендовали мне якшаться с «солдафоном». Но мы с Оськой не отлучались от него. Мы ходили вместе с ним в конюшни чистить военных лошадей и вместе мечтали о пароходах.

У Лабаз-да-Базара в комнате разило духами. Запонки, флаконы, ящики, рюмки, мундштуки, коробочки, ногтечистки заполняли подоконники. На стене висел портрет киноартистки Веры Холодной... Лабаз был вежлив, он всем уступал в тесном коридоре путь и часто щелкал желтыми каблуками. И питерская тетя говорила, что он скорее маркиз, чем марксист. Каждый вечер к маркизу приходили гости — военные дамы и штатские мужчины, прежние «отцы города» и «сестры милосердия». Тогда в комнате Лабаз-да-Базара было очень шумно. До глубокой ночи стонала гитара. Лабаз-да-Базар наждачным голосом пел о том, как король французский на паркете играет в шахматы с шутом. Тетя Нэса просыпалась и вздыхала.

— Он очень милый и благовоспитанный человек,— говорила тетка,— и он, конечно, не виноват, что у него нет ни голоса, ни слуха. Но зачем он поет, не понимаю...

Однажды Ла-Базри-де-Базан подпоил комиссара. Чубарьков долго отказывался, но маркиз уговорил.

— Пей,— говорил,— пей. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей...

Без сапог, болтая штрипками галифе, явился к нам комиссар.

— Доктор,— сказал он,— словаря третий том я кончаю, а все галах... Бурлацкая моя жизнь. И точка.

Тут комиссар упал. Ему хотели помочь подняться.

Но он вскочил и выбежал из комнаты во двор. Через пять минут комиссар вошел с улицы.

Он был туго подпоясан, наглухо застегнут и официален. Шпоры звенели коротко и твердо.

Лицо его сводила мучительная сосредоточенность.

— Тут кто-то из военного отдела безобразничал,— сказал комиссар отрывисто,— пьяный валялся... нашу красную власть позорил. Где он тут? Сейчас же под арест! И точка.

Комиссар обыскал комнату. Папа быстро загородил зеркало. И комиссар не нашел себя. Уходя, он остановился в дверях и поводил перед носом жестким пальцем.

— Чтоб больше у меня этого не повторялось! — сказал комиссар, распекая кого-то воображаемого.— Точка! Ша!

Несчастье обнаружилось вечером. Ла-Базри-де-Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить, цел ли секретный пакет в столике. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты — все исчезло. Швамбранские тайны были похищены...

Папа и мама вернулись в столовую. Все сели за стол. Начался пленум семейного совета.

— Вот вам маркиз ваш,— сказал папа.

— Не может быть! — сказали в один голос тетки.— По манерам видно, что он из хорошей семьи. Вероятно, это комиссар подобрал ключ и «реквизировал», как это у них называется...

— Меня возмущает наглость! — убивалась мама.— И мыло... А денег этих мне совершенно не жаль... Все равно они никогда не пригодятся... Пустые бумажки, которые давно пора бы выкинуть!

— А зачем же ты их тогда прятала? — спросил я.

— Ну, все-таки,— сказала мама,— мало ли что...

Потом все долго и молча сидели вокруг стола. Все глядели на клеенку. Несчастье, казалось, было распластано на столе, длинное, как щука.

Папа встал и заявил, что он сообщит в Чека и Особый отдел.

Тетки замахали на него руками.

— С ума сошер! — кричала тетя Сэра.— Жароваться разбойникам на разбойников! Да вас самих заберут и расстреряют...

Но папа стукнул кулаком по столу. «Учледирка» стихла. Зажужжала рукоятка телефона.

— Особый отдел, пожалуйста,— сказал особым голосом папа.— Занято? Тогда соедините меня с Чека.

— Тише же! — испугалась тетя Нэса. Она привыкла произносить это слово зловещим шепотом.

Скоро явились двое. Оба высокие, смуглые, с черными усиками, в кожаном, похожие на шоферов. Папа предупредил Чубарькова. Вместе с комиссаром все вошли к Лабаз-да-Базару. Маркиз был уже дома. На минуту он смутился, потом с обычной развязностью приветствовал неожиданных гостей.

— Милости прошу,— сказал он,— прене во пляс, как говорят. Прошу. Могу кое-чем угостить.

Был обыск.

Из опрокинутого чемодана вывалились куски мыла.

— Наше,— сказал папа.

— Извините, мое,— отвечал маркиз.

Николаевские сотенки перемешались с какими-то бумажка-

ми и чертежами. Оська взглянул на меня, и я посмотрел на него.

— «Письмо к царю»,— читал, перебирая бумажки, человек с усиками. «Карта боя», «План города П.», «Тайный приказ», «Список заговорщиков»... Что это такое? — спросил он у маркиза.

— Не знаю...— бледнея, отвечал маркиз, увидев, что дело пахнет хуже, чем мылом.

— Как же это у вас очутилось?

— Не знаю... Честное слово, товарищ. Это все не мое... И мыло тоже... Я ничего не знаю.

Чубарьков подошел вплотную к маркизу. Комиссар обругал его сквозь зубы шепотом, похожим на плевок в лицо.

Вдруг Оська вылез вперед. Я делал ему знаки, я вращал глазами, как бумажный чертик на веревочке. Он не видел!

— Это наше! — сказал Оська.— Пускай обратно отдаст, раз взял.

Чекисты рассматривали чертежи. Они многозначительно переглянулись.

— М?..— вопросительно произнес один.

— Умгу! — утвердительно отвечал другой.

— Товарищи! — сказал я.— Это просто мы играли и спрятали в мыло. Больше ничего.

— Там разберем,— сказали они.

Мы слышали потом, как один из них говорил в телефонную трубку:

— Слушаешь? Это Шорге говорит. Этого я задержал. Да, найдено, признался. Но тут кое-что любопытное обнаружилось. Да, да. Ребята говорят, это их. Да. Сомнительно. Что? Обоих? Есть! — и щелкнул рычажком, как каблуком.

Потом он о чем-то посоветовался с Чубарьковым. Чубарьков смущенно посмотрел на нас.

— Леля! Вося! — сказал комиссар.— Айда, прокатимся на машине. На автомобиле. Начальник очень просит. Пускай, говорит, Леля и Вося мне о бумажках этих всё расскажут. И точка. И я с вами заодно прокатнусь. Есть такое дело? Точка.

Тетки по очереди, одна за другой, как кегли, повалились в обморок. Мне тоже стало немножко не по себе.

Большой автомобиль увез нас в Чека. Ночь бросилась навстречу. Мы ощутили себя швамбранами. Мы спешили на место приключения.

Швамбраны посещают Чека

Кабинет был тих. Два человека склонились над бумагами. Настольная лампа отражалась в бритом до блеска темени толстяка в очках. Другой был латыш. Белесые ресницы его мерцали.

— Ну-с, ребятены,— сказал очкастый,— присаживайтесь. Так в чем же дело?

И он посадил Оську на стол. На столе лежал браунинг.

— Заряженный? — деловито спросил Оська и вдруг принял свой обычный тон.— А вы кто? Главный чекист? Да? Велите ему, чтоб он отдал бумажки. А то рисовали, рисовали...

— Сейчас все устроим,— сказал очкастый,— только для этого всю как есть правду говорите! Ладно?

Латыш, играя ресницами, читал швамбранские письма. Мне было очень неловко.

— Чепуха какая-то! — сказал латыш сердито и передал бумаги очкастому.

Тот внимательно проглядел их.

— Что за город П.? — спросил толстый.

— Это Порт-у-Пея,— объяснил я,— порт у города Пея.

— А где такой есть? — изумился начальник.

— В Швамбрании,— ответил за меня Оська.— Это страна такая, как будто. Ее Леля сам открыл. Мы в нее всю жизнь играем.

— Ишь ты, какой Колумб твой Леля!—сказал начальник.— Ну, а если игра, так зачем же эти документы прятать было?

— Для секрету,— сказал Оська,— чтоб тайна была. Когда тайна, интереснее.

Тогда заинтересованный начальник попросил нас рассказать ему про всю нашу Швамбранию. Мы начали неохотно. Но старая игра увлекла нас. Мы наперебой начали описывать жизнь на материке Большого Зуба. Мы объяснили герб и карту, перечислили всех членов династии Бренаборов, описали войны, путешествия, революции и чемпионаты, а Оська даже вспомнил фамилию последнего швамбранского министра наружных дел. Встав, мы спели швамбранский гимн. Мы даже собрались поссориться из-за последних кладбищенских реформ, но...

Начальник хохотал. Хохот одолевал его. Он закатывался, хлюпал от смеха и вытирал слезящиеся глаза. Он хлопал себя по бритой макушке и мотал головой, стараясь отогнать насевшее на него веселье.

Смеялся сердитый латыш. Он трясся, не открывая плоского рта; ресницы его сплющились. Что-то ёкало в горле, как селезенка у лошади.

Мы с Оськой обиженно смотрели на них. Потом начали улыбаться. Скоро нас разобрало.

— Ох! С вами театра не надо! — сказал уморившийся начальник.— Помру, думал... Ох, как это, говорите... Бренабор? Ой, надо ведь такое состряпать... Ведь какая система! Сдохнуть можно! А что,— спросил он вдруг серьезно,— трудно управлять государством?

— Ничего, спасибо,— отвечали мы,— управляемся понемножку. Хотя бывает иногда — не разберешься.

— Ну, а зачем же вам все это понадобилось? — спросил начальник.

Это был серьезный вопрос. Я набрал в грудь воздуху:

— Мечтаем,— сказал я,— чтоб красиво было. У нас, в Швамбрании, здóрово! Мостовые всюду, и мускулы у всех во какие! Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару — сколько хочешь. Похороны редко, а кино каждый день. Погода — солнце всегда и холодок. Все бедные — богатые. Все довольны. И вшей нет.

— Чудесные вы ребятены! — серьезно и тепло сказал начальник.— Тут не мечтать надо, а дело делать. И у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день. И похороны отменим, и вшей упраздним. Погоди! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только тут не мечтать надо, а работать... Да не время сейчас мне в воспитание пускаться. Ночь уж. Поздно. Вон младший швамбран как зевает: того и гляди, весь материк проглотит. И мама ваша небось беспокоится. Сейчас я ей по телефону звякну.

Сам начальник отвез нас домой. На прощание он разрешил Оське подудеть на гудке автомобиля. Начальник, смеясь, сказал, что он был рад случаю познакомиться с представителями швамбранского племени. Он рекомендовал скорее ввести в Швамбрании целиком Советскую власть, а потом бросить мечтать и помочь делать настоящие мостовые.

— А что вы сделали с Лабаз-да-Базаром? — спросил я, окончательно осмелев.

— Пошлем жить в эту... как ее... Пи-ли-гвинику,— сказал начальник.— Он ведь тоже выдумал самого себя. Но выдумал гадко и играл в себя на деньги... Ну, покойной ночи, ребятены! Желаю швамбранских снов и доброй яви!

Новый простор для блужданий

Нас опять переселили. Нам дали квартиру на далекой Аткарской улице. Центробежные силы действовали. Мы удалялись от центра. Переезд прошел незаметно. Мы уже привыкли ко всяким перемещениям. Величие Дома (с большой буквы) было давно развенчано. Вещи пристыженно перебрались в тесные углы нового жилища. За неимением места шкаф и один стол по дороге приблудились к знакомым.

Переезд совпал с новыми пертурбациями в Швамбрании. Произошли опять значительные сдвиги этого острова, блуждающего в поисках единой всеобщей истины. После посещения Чека мы уже были близки к цели наших скитаний в мире.

Но новое, совсем новое увлечение приблудилось к Швамбрании. По истечении трех дней мы считали этот азарт откровением истины.

Это был театр.

В Покровске открылся Городской театр имени Луначарского. Он помещался в бывшем кино «Пробуждение».

Труппа состояла из питерских и московских актеров. Они сменяли сомнительную столичную славу на существенный провинциальный паек.

Фамилии актеров сразу прельстили нас поистине швамбранским изяществом: Энритон, Полонич, Вокар... Правда, выяснилось, что некоторые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так, в паспорте Вокар значился Раков.

Среди актеров выделялся талантливый Холмский. Это был человек универсальный (через несколько лет я встретил его в Москве, директором известного Театра сатиры). Специальностью Холмского были мерзавцы и Наполеоны. Кроме того, он был драматург и художник. Городской Совет поручил ему расписать изнутри здание театра. На стенах зрительного зала расплодились кентавры (человеколошади), трубадуры, музы, прорицатели и прочая нечисть. Холмский был человеком увлекающимся. Он любил крайности. Одних он с головой запаковывал в железные латы, другим не выдал никакой мануфактуры. Тела он сделал лиловыми, что, впрочем, вполне соответствовало тому арктическому холоду, который царил в театре. У входа Холмский нарисовал Венеру Милосскую. По предписанию горсовета он снабдил богиню руками. На пьедестале было написано: «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное рабочий народ!» [1]

[1] «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам скажет сердечное русский народ...» — слова из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».

Покровчане остались недовольны росписью театра.

— Партийные, а голых рисуют,— говорила публика.— Чисто баня какая, а не театр!

Питерская тетка оказалась страстной театралкой. С ней мы не пропускали ни одной премьеры. Скоро мы знали в лицо и спину каждого актера. Театр завладел нами. Нам нравилось все в нем: гонг, антракты, очередь у кассы...

Театр в то время походил на вокзал. Спектакли опаздывали, как поезда. На полу корчились окурки собачьих ножек, семечки лопались под ногами. Зрители были в шубах с поднятыми воротниками. Аплодисменты были неистовы, хотя рукавицы и глушили хлопки. Во время спектакля наклонный пол зрительного зала все время сотрясал легкий гул. Это зрители тихонько стучали ногами, согревая подошвы.

— О, какой зной! Мне душно! — говорила на сцене королева, обмахиваясь веером, а изо рта валил пар, как из самовара. Телогрейка просвечивала под ее кисеей.

Из будки дымился шепот суфлера.

От зрителей несло нафтолизолом. Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью, а когда мы возвращались, нас осматривали в передней со свечкой в руках.

Швамбрания для взрослых

«Учледирка» иногда тоже посещала наш театр и потом целую неделю критиковала. Тетю Сэру один раз едва не побили. Только успели открыть занавес и задул закулисный сквозняк, как в зале из первых рядов раздался теткин голос.

— Закройте же там! Дует! — сказала тетка, как будто занавес, эта волшебная завеса, разделяющая два мира, был какой-то форточкой.

И все зрители обиделись.

Мы рвались проникнуть за занавес. Гришка Федоров, человек влиятельный и добрый, сын театрального парикмахера, доставил нас на кухню чудес. Нас поразила грубая невсамделишность бутафорских вещей, игрушечные фрукты и холщовые горизонты. Зато с восхищением рассматривали мы взрослых людей, ежедневно играющих в чужую жизнь. Это было почище Швамбрании.

В зале над аркой сцены шла надпись:

МИР — ТЕАТР, ЛЮДИ — АКТЕРЫ

(Шекспир)

Это изречение стало новым девизом на швамбранском гербе.

Швамбраны пошли на сцену. Мир теперь расщепился на актеров и зрителей. Покровский день нам казался затянувшимся антрактом.

— Искусство отвлекает людей от серой, будничной жизни,— говорили тетки.— Оно переносит нас в мир прекрасных образов.

Они потом, ссорясь и увлекаясь, спорили о поступках различных героев вчерашнего спектакля. Они обвиняли этих выдуманных людей, защищали, любили их и ненавидели, совершенно как мы с Оськой, когда играли в Швамбранию. И мы пришли к выводу, что такое искусство — это Швамбрания для взрослых. Они играли в нее серьезно.

Однажды во время спектакля «Вечерняя заря» потухло электричество. Спектакль продолжался при керосиновом освещении. Лампы коптили небо, нарисованное клеевыми красками. Шла заключительная сцена пьесы. Отец решил убить свою дочь. Отец взял револьвер.

В эти минуты я заметил, что одна из ламп, стоящая на авансцене, сильно коптит. Пламя тоненьким фонтанчиком встало из стекла. Отец приближался к дочери. Пламя уже доставало до края холщового павильона. Отец поднял руку с револьвером. Декорация могла вспыхнуть каждую минуту. Дочь ломала руки. Я уверен, что очень многие зрители видели, как грозила пожаром лампа. Но дочь упала на колени, и зрители молчали. Они боялись испортить убийство. Швамбрания владычествовала в зале. Отец щелкнул взведенным курком.

Декорация задымилась.

— Так умри же, несчастная! — крикнул отец.

— Лампа коптит! — закричал я, сбросив оцепенение.

Ловкий актер нимало не смутился. Одной рукой он привернул фитиль, другой — закончил пьесу.

Театр был спасен. Но не успел упасть занавес, как соседи набросились на меня. Они кричали, что мальчишек нельзя пускать в театр. Они твердили, что я мог обождать со своим дурацким криком, а теперь вот вышло не убийство, а какая-то комедия, за которую и денег платить не стоило. И я в душе должен был признать, что как-никак, а я впервые изменил Швамбрании.

Разгадка ГИТИКа

Две вещи уже давно занимали и мучили меня. Несколько лет я пытался понять их истинное предназначение. Это были: старый локомотив, вросший в землю на Скучной улице, и таин-

ственное слово «гитик», упоминавшееся в известном карточном фокусе.

И вот я узнал, что такое «гитик». Простая вывеска расшифровала его. Вывеска оказалась более сведущей, чем учителя гимназии и энциклопедический словарь. Я не мог поверить своим глазам, когда на одном из домов бывшей Брешки, теперь Коммунарной площади, я издали уже прочел: «ГИТИК». Я подбежал ближе. «Городской Институт Театра и Кино»,— прочел я.

Покровск захватило повальное увлечение театром. Все играли. Тратрчок, Уотнаробраз, Упродком и Волгоразгруз имели свои любительские труппы. Расплодились театральные студии. Потом все эти студии объединились в одно целое под вывеской ГИТИК. При ГИТИКе открылась детская студия. Так как школа бездействовала, то мы с Оськой записались туда. Потом к нам присоединились Степка Атлантида и Тая Опилова.

Мы готовили к постановке пьесу «Принц Форк-де-Форкос». Принц этот был влюблен в принцессу, а королева, ее мать, была гордая и вообще дрянь. Принцу показали нос. Потом принц расколдовал гриб, а оттуда вылезла фея и дала принцу абрикос. Королева съела абрикос, и у нее вырос огромный нос, а на острове Родос, где жил Форк-де-Форкос... Словом, там еще много строк кончалось на «ос».

Принцессу играла Тая Опилова. Мы со Степкой едва не поссорились из-за роли принца, потому что принц по ходу действия должен был объясняться в любви принцессе, а принцесса, считали мы, догадается, что это не только по ходу пьесы... Режиссер Крамской дал роль Степке. Он сказал, что Степка старше, выше меня и голос его мужественнее. Как будто я не мог басить, если бы захотел!

Мы упросили Форсунова взять роль великана колдуна. А гримировал Гришка Федоров — родной сын настоящего парикмахера из настоящего театра.

Вечером, в день спектакля, мы пошли в ГИТИК. Я играл шута, Оська — бессловесного гнома. Оба мы волновались. Гришка Федоров загримировал нас. Зал нетерпеливо гудел за занавесом, опасный, насмешливый, неведомый. Пора было начинать, но не было Степки и Форсунова. Режиссер нервничал, шагая за кулисами.

— Время! — кричал зал и топал.

Наконец они явились. Оба были суровы и торопливы.

— Лелька, прощай! — сказал Степка.— Мобилизация коммунистов. На фронт шпарим... А я добровольцем. Еле упросил. «Молод»,— говорят. Все-таки взяли. Сейчас эшелон уходит. Счастливо оставаться!

Руки наши сшиблись в крепком пожатии. Степка помолчал, потом откашлялся.

— Тайку небось теперь один провожать будешь,— тихо сказал он.— Ладно уж, мне не жалко. Только других, смотри, отшивай...

Зал едва не рушился. Форсунов с вещевым мешком на спине вышел за занавес. Зал стих. Форсунов поправил на плече лямку мешка.

— Спектакль откладывается,— сказал Форсунов.

— На когда? — закричал зал.

— Как только белых побьем! — отвечал Форсунов.

Главный мужчина

Через день папа уехал на Уральский фронт. Папа ехал в неминуемый тиф: фронт разъедала сыпнотифозная вошь. Мама с тетками приготовила ему три полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утвари ему не надо: кургана все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит. Потом все сели, как полагается перед дорогой.

— Ну ладно,— сказал, вставая, папа.

Он расцеловал нас.

— Смотри,— сказал он мне,— ты теперь в доме главный мужчина.

В дверях он столкнулся с пациентом. Пациент стонал и кланялся.

— Прием отменяется,— сказал папа,— видите, я уезжаю.

— Доктор, батюшка, сделай милость,— взмолился больной,— долго ль посмотреть! А то прямо сил нет, как сводит... А ждать-то тебя... Может, ты там и помрешь...

Папа посмотрел на стенные часы, потом на больного, потом на нас. Он опустил чемодан на пол.

— Раздевайтесь,— сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет.

Через десять минут папа уезжал.

— Так помните,— говорил он больному, садясь в сани,— по семь капель после еды.

Когда сани с папой отъехали, тетки отошли от окон и хором зарыдали.

— Но, но, дамьё! — грубо сказал я.— Хватит. Подсыхайте.

Тетки испуганно стихли. Но тишина, наступившая в разом опустевшей квартире, угнетала еще хуже. Я стиснул кулаки. Походкой главного мужчины я вышел из комнаты.

НА ТВЕРДОЙ ЗЕМЛЕ

Уроки нам и другим

Не помню, сколько прошло времени. Возможно, что год, а может быть, месяц... Календарей не было. Время тогда было трудно измерить. Его течение потеряло равномерность. Когда удавалось выменять, скажем, старый гимназический мундир на сало «шпек», дни глотались залпом. Другие, сухомятные, дни тянулись, как недели,— долго и голодно. Распорядок суток стал совсем иным. Прежде центральным пунктом дня, укоренившимся часом сбора всей семьи, был обед — торжественная еда, таинство, церемониал принятия пищи, трапеза, и весь день отмеривался «до обеда» и «после обеда». Теперь обеда как такового часто не было. Ели, когда было что есть. «Давайте подзакусим»,— говорила тогда мама.

И ели на ходу, как на вокзале, стоя, так как было страшно вступить в общение с ледяным стулом. В комнате было студено, и каждый инстинктивно скупился уделить собственный нагрев бездушному предмету...

Мы двигались, сторонясь холодных вещей. Вещи хватали наше тепло. Установили дежурство истопников. Утром дежурный, кляцая зубами, выползал из-под горы одеял и портьер. Реомюр стыл на четырех. Дежурный прыгал в неуютные валенки и растапливал печку-«буржуйку». Печурка кратковременно распалялась. Вместе с Реомюром поднимались все обитатели нашей квартирки. Буфет стоял — душа нараспашку. Он был гол и пуст, хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покати. Мы ели пресную кашу из тыквы и пили арбузный чай с сахарином.

Мама теперь служила в музыкальной школе. Но занятия ввиду отсутствия помещения происходили у нас. Ученицы пихали валенками педаль. Костенеющими пальцами они тревожили простывшее нутро пианино. Мама в шубе и перчатках ловко поднимала из-под их пальцев западавшие клавиши.

Ко мне тоже приходила ученица. За фунт мяса в месяц я обучал некую великовозрастную и дебелую Анюту Коломийцеву грамоте и счету. Фунт мяса доставался мне нелегко. Я узнал, почем фунт лиха... Ученица моя упрямо не доверяла буквам. Она руководствовалась больше собственными догадками. Ей надо было, например, прочесть слово «Нюра».

— Ны и ю — ню,— читала она,— ры и а — ра... Получается Анютка! — радостно заключала она.

В другой раз одолевали мы слово «сапоги».

— Сы и а — са,— карабкалась по слогам Анюта,— пы и о — по, значит — сапо... Теперь гы и и — ги...

— Ну, что вместе получается? — спросил я.

— Валенки,— сказала Анюта.

По дороге туда

Там, за горами горя,
солнечный край непочатый.

Маяковский

После урока мы с Оськой шли собирать солому, чтоб протопить немного голландку. Пользуясь ее быстротечным теплом, ставили тесто для хлеба. Мы по очереди месили опухшими сизыми руками тягучую мякоть квашни. Для этого дела необходимо было ожесточение, и мы представляли себе, что мнем кулаками ненавистный живот врагов революционного человечества — от Уродонала Шателена до адмирала Колчака.

Вечером все скоплялись у стола. Электричества не было. Лампочку-ночник зажигали только по воскресеньям, и это бывал действительно светлый праздник. Будни освещались коптилкой. Фитилек, скрученный из ваты, опускался в чашку с постным или деревянным маслом. На его конце жил шаткий огонек. Комната заполнялась черными ужимками теней.

Тетки подвигали лампочку к себе. Тетки сидели в ряд, строгие и слегка потусторонние. Лампочка немножко светила на их лики. «Учледирка» напоминала богородиц в пенсне. Тетки читали вслух. После они разговаривали о красивом прошлом и разрушенной жизни.

— Боже мой! Какая красивая была жизнь! — вздыхали тетки.— Концерты Собинова, альманахи «Шиповник», пятнадцать копеек фунт сахару... А теперь?!

— Тетки! — говорил я голосом главного мужчины из темного угла комнаты, где происходила у нас Швамбрания.— Послушайте, тетки! Я же раз навсегда просил, чтоб вы контрреволюцию агитировали про себя, а не вслух. Мне, конечно, с гуся вода и чихать... Но вбивать несознание в маленьких...

И я, подойдя к столу, указывал глазами на Оську. Я с некоторой поры ощущал себя стремительно повзрослевшим. Ответственность за дом не только не давила меня — она вздымала. Я чувствовал, что складнее стал думать, что легче стали подбираться нужные слова, что тверже я стал знать многое. Без страха и упрека смотрел теперь я в глаза действительности. Соломенная

повинность, озноблённые пальцы и каша из тыквы не омрачали меня. Отсутствие календаря, еда на ходу, жизнь в шубах — все это придавало нашей жизни временный, вокзальный, проездной характер. Но это не было очередным блужданием швамбран. Жизнь перемещалась в ясном направлении. Только дорога была непривычно трудной.

— Мама, не огорчайся,— говорил я матери в дни, когда не было чечевицы, керосина и писем от папы.— Не надо киснуть, мама. Ты возьми и воображай, будто мы каждый день долго едем через всякие пустыни и разные тяжелые горы... Едем в новую страну... прямо необыкновенную...

— Куда едем? — безнадежно говорила мама.— Опять ваша Швамбрания?

— Да не в Швамбрании это, мамочка, а факт,— убеждал я.— Это ничего, что вот у нас коптилки, и солому таскаем, и что руки поморожены... Правда, мама... Помнишь, у нас были неподходящие знакомые Клавдюшка, Фектистка? Им ведь жилось всю жизнь в сто раз плоше, чем нам сейчас немножко. Это, мама, нечестно даже было бы, если бы нас сразу так шикарно доставили туда. И так мы уж больно пассажиры какие-то... А тетки — это прямо зайцы, которых высадить надо бы. Вот папа — это дело другое. Хоть я очень соскучился, но это правильно, что он на фронте.

— Вы слышите? — ужасались тетки.— Боже мой! Воспитывали их, гувернанток нанимали — и что же! Чекисты какие-то растут!

А я мечтал. Вот вернется Степка. Я пойду ему навстречу в заплатанных валенках, с прелой соломой в руках.

«Здоро́во, Степка,— скажу я.— Дай пять... (Только не жми, а то у меня руки отекли...) Вот видишь, Степка, я теперь главный мужчина в доме и запретил контрреволюцию с теткиной стороны. Немножко проголодался, но это ничего. Буду есть тыквенную кашу до победного конца».

«Молодец парень,— скажет мне Степка,— хвалю за сознание. Держись. И каша — хлеб».

«Но мне обидно ехать пассажиром,— скажу я,— я хочу матросом!»

«Будь! — скажет Степка.— Будь матросом революции».

Тут мечты обрывались, как лента в кино. Как стать матросом революции, этого я не знал. И мама бы не пустила...

Герой желудочного происхождения

Однако Швамбрания продолжалась. В пространстве она не сократилась, хотя времени занимала теперь много меньше. Затем швамбран постиг тяжелый удар. В наше отсутствие мама ухитрилась сменять у вокзала на четверть керосина... ракушечный грот вместе с узницей его — Черной королевой, хранительницей В. Т. Ш. Так бесславно погибла она для нас. Мы пережили получасовое отчаяние. Солнцу Швамбрании грозил закат. Но зато вечером зажгли лампу.

Швамбранская игра в то время сводилась главным образом к воображаемому обжорству. Швамбрания ела. Она обедала и ужинала. Она пировала. Мы смаковали звучные и длинные меню, взятые из поваренной книги Молоховец. На этих швамбранских пиршествах мы немножко удовлетворяли свои необузданные аппетиты. Но сахарный фонд Швамбрании убывал только по праздникам. Главным поваром Швамбрании был Жорж Борман. Его мы взяли со старой рекламы какао и шоколада. Жорж Борман был последним героем Швамбрании. Это был герой чисто желудочного происхождения. Никакого нового заблуждения он уже не мог состряпать.

Вообще в Швамбрании наступила эпоха упадка. Но случайные обстоятельства дали толчок новому расцвету государства Большого Зуба. Эти обстоятельства жили в большом заброшенном доме на нашей улице.

Дворец Угря

Дом был выстроен когда-то слегка свихнувшимся немцем-богачом по фамилии Угер. Улица произносила: «Угорь». Богач принял это укоренившееся прозвище. Дом Угря был одной из достопримечательностей Покровска. Приезжих водили к нему. Приезжие удивлялись. Это было действительно совершенно диковинное сооружение. Его владельца обуревали честолюбие и жажда сногсшибательного благоустройства. Он задумал украсить Покровск необыкновенным зданием. Он рвался в славу. При этом Угорь не доверял инженерам. Он самолично составил проект своего дома. Постройка шла под его неусыпным наблюдением. Дом вырос в три этажа, да еще с полуподвалом. Одноэтажные покровчане задирали головы и считали этажи по пальцам.

Дом Угря был похож сразу на старинный боярский терем, на ярмарочный балаган и на висячие сады Семирамиды. В каж-

дом этаже окна были не похожи друг на друга. Окна были и длинные, и круглые, и квадратные, и узкие... Сбоку шли галереи из разноцветных стекол. С этого боку дом был похож на лоскутное одеяло. Весь фронтон дома был расписан живописцами. Внизу баловались русалки. На втором этаже плыли корабли. Разнообразные генералы были нарисованы на третьем. А под крышей охотники в альпийских шляпах с перьями стреляли в тигров и львов.

При малейшем дуновении ветерка дом начинал жужжать и звенеть: то мотались на башенках двадцать два флюгерка, крутились пятнадцать жестяных вертушек и вращались, гремя, в окнах восемь огромных вентиляторов. Даже голуби были озадачены этим пестрым громом. Даже голуби избегали дом. А о квартирантах и говорить нечего.

Сперва в доме помещалось Высшее начальное училище (ВНУ). Но флюгера и вентиляторы не давали «внучкам» заниматься. Пытались квартировать в доме какие-то отчаянные жильцы, но висячие сады Семирамиды стали при ветре раскачиваться, полы гнулись, рамы трещали. Дворец стал рассыпаться, словно карточный домик. Угорь скончался от горя. В предсмертном бреду он просил поставить ему на могиле флюгер и вентилятор... А дом продолжал тихонько истлевать. Отмирали косяки, перила, иногда целые галереи. Отмирали и рушились. Цветные стекла красовались в окнах соседских домов. По всей улице гремели флюгера, покинувшие дом Угря.

Когда пурга убыстряла разрушение, осторожно приближались соседи. Они тянули за собой порожние салазки. Соседи располагались вокруг дома и ждали. Они сидели, как гиены вокруг издыхающего льва. Отпавшие куски дома они растаскивали по своим дворам. Но открыто напасть на дом и разорить это никому уже не нужное сооружение они не решались. Соседи еще уважали недвижимую собственность.

Приключения в мертвом доме

Мы сразу поняли, что огромный дом-мертвец сможет быть новым, удобным и таинственным вместилищем игры. Швамбрания заняла все уцелевшие этажи. Игра снова приобрела свежий интерес, и нас не смущало, что все внутри было загажено. Швамбраны оживили развалины, а мертвый дом надолго отсрочил падение Швамбрании.

Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. По дряхлым лестницам ступал ветер. Страхи

ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть...

Более подходящего места для швамбранских приключений найти было нельзя. Дом был нами быстро исследован. Комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбранских городов. Швамбрания возрождалась. Неисследованным остался только один темный, подозрительный проход, ведущий в засыпанный обломками полуподвал. Мы предприняли экспедицию в эту неизведанную землю. Мы захватили длинные палки и висячую лампадку вместо фонаря. Затем мы, следуя лучшим советам книжек, опоясали себя веревкой и соединили ею наши пояса. Теперь мы походили на исследователей пещер.

Мы спускались в подземелье. Ступени лестниц давно выпали. Мы скользили по наклонным доскам, карабкались по развалённым кирпичам. Я полз впереди. Качалась лампадка, привешенная на конце выставленной вперед палки. За мной лез Оська. Оська был храбр и стоек. В доказательство этого он каждую минуту говорил, что ему совсем не страшно, а, наоборот, даже уютно... Когда ему в шестой раз стало уютно, он провалился... Гнилая доска осела под ним, и Оська упал в подвал. Так как мы были привязаны друг к другу, то сила его падения подтащила меня к самому провалу и прижала к доскам. Веревка оставалась натянутой, она давила, стягивала, резала мне пояс.

— Оська, ты упал? — крикнул я испуганно в черную дыру.

— Нет еще,— ответил невидимый Оська,— я лечу, лечу и все никак не могу упасть до дна...

Я зажег потухшую при катастрофе лампадку и спустил ее в этот бездонный провал. Я увидел Оську. Он висел между небом и землей, привязанный веревкой к поясу. Оська медленно вращался... Он барахтался и извивался, силясь достать пол.

— Леля! Вынь меня отсюда,— попросил Оська,— тут как неуютно... и веревка туго очень...

Я, напрягая все силы, стал вытаскивать братишку. Но вдруг что-то нехорошо затрещало. Доски, на которых я лежал, обломились.

Я полетел в тьму и упал на Оську.

— Теперь упал,— удовлетворенно сказал Оська.— Самое дно, и не туго.

Лампадка разбилась... Мрак клубился в пещере. Плотная, прокисшая тьма лежала на дне подвала. Только сверху, через наш пролом, скупо сочились серые проблески. Приглядевшись к мраку, мы заметили затонувшие в нем непонятные предметы. Какой-то железный ящик на ножках. Стеклянные и металлические сосуды. Трубки, причудливо изогнутые или свернувшиеся змеей. Потом мы наткнулись на тучные мешки с чем-то.

— Клад,— сказал Оська.

— Тайны,— шепнул я.

— Большие новости,— сказал Оська.

— Еще бы! — шепнул я.— Настоящий клад для Швамбрании! Мы здесь устроим замеча...

Внезапный свет бросился на пол между нами. Мы кинулись в разные стороны. Но что-то схватило нас сзади. Мы шлепнулись. Это проклятая веревка поймала нас за пояса и опрокинула на пол. Чья-то рука подтянула веревку к фонарю. Над фонарем мы увидели ужасное рыло: сверкающая верхняя губа, яркие ноздри и светлые подбровья. Остальные черты таинственного лица растворились во мраке.

Мы услышали грубый голос.

— Вы какого дьявола тут шатаетесь? А? — рычала, сверкая и извиваясь, верхняя губа.— Каким вас манером занесло сюды? Убью, дрянь! Только попробуйте утекать, пришью в два счета, как кутят...

Прескверная ругань увенчала это вступление.

— Чего вы лаетесь без толку? — сказал я, стараясь не стучать зубами.

— При маленьких по-черному не ругаются,— добавил Оська,— а то я тоже буду... Как начну, так не обрадуетесь.

Веревка резко натянулась и подтащила нас к огромному кулаку, освещенному с одной стороны фонарем.

Ущербленный кулак этот выразительно повернулся и показал нам, как некая грозная луна, все свои фазы.

— Отпустите сейчас же веревку! — закричал я.— Чего вы се держите?.. Самодержавец какой... Вы не имеете права!

— Он думает — старый режим,— сказал Оська.— Вот мы скажем на вас главному начальнику в Чека... Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет...

— Чекой грозишь, пащенок...

И полный кулак взошел над Оськиной головой.

— Стой! Устрани свой кулак, безумный! — прозвучал сзади голосок, кого-то очень мне напоминавший.— Сними путы с пленников,— продолжал он тем же напыщенным тоном.— Садитесь, юные пришельцы. Привет вам от старого ученого отшельника! Что принесло вас в мою пещеру, о троглодиты?

Кулак затмился. В свете фонаря блеснула лагуной лысина — лысина Э-мюэ, знакомая лысина Кирикова, человека-поганки.

— Садись! — сказал мне Кириков.— Я узнал тебя. Ты один из стада диких. Вы оба — сыны великой и славной страны Швабрии...

— Швамбрании,— поправил Оська.— А откуда вы знаете?

— Я все знаю,—отвечал Кириков.—Я обитаю в сокровенных недрах страны вашей, но на досуге от своих ученых изысканий подымаюсь на поверхность... Вчера, и позавчера, и на той неделе я слышал вас, о швамбране, когда вы здесь, среди этих печальных руин, играли... то есть, я хотел сказать, воплощались в жителей прекрасной Швамбромании...

— Швамбрании,— строго сказал Оська.— А что вы тут делаете?

— И зачем эти штуки тут понаставлены? — спросил я.

Последовало молчание.

— О швамбране,— сказал страшным голосом Кириков,— вы неосторожно прикоснулись к тайне моей утлой жизни, к ране моей души...

— Вы разве душевнобольной? — спросил Оська.— Вы из сумасшедшего домика?

— Я чист душой и ясен разумом,— сказал Кириков,— но я несправедливо обойден людьми и властью. Я оскорблен и унижен. Но я страдаю во имя блага человечества. Клянитесь, что вы не разгласите моей тайны, и я сохраню вашу — вашу тайну, тайну Швамбургии...

— Швамбрании,— опять поправил Оська.

Потом мы поклялись. Кириков поднес к нашим лицам фонарь, и мы торжественно обещали молчать обо всем до смерти.

— Так слушайте же, братья швамбране! — воскликнул Кириков.— Я последний алхимик на земле. Я — Дон-Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных — весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих — знакомыми.

— Это вы так играете? — спросил Оська.

На это Кириков, обозлившись, ответил, что его эликсир — не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать.

— И мой эликсир,— закончил алхимик Кириков,— эликсир

мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей — эликсир «Швамбардия».

— Не Швамбардия, а Швамбрания! — рассердился наконец Оська.— Выговорить не можете, а еще алфизик.

— Не алфизик, а алхимик! — так же сердито сказал Кириков.

Мы были еще несколько раз гостями алхимика. Алхимик Кириков и его ассистент Филенкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас в свои успехи и с охотой слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной Большого Зуба. Швамбрания процветала.

Они работали по ночам. Их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им и кололи дрова. Но эликсир нам не показывали, говоря, что он еще не вполне составлен. Однажды мы застали их очень веселыми. Они тихонько пели песни и осторожно хлопали в ладоши. Тут же топталась какая-то толстая баба в расписных чесанках и цветной шали.

— Видишь, какая она счастливая? — сказал алхимик.— Она попробовала первые капли эликсира мировой радости... Это Аграфена... то бишь Агриппина, царица швамбранская. Мы коронуем ее, венчаем на престол... Ура!

— У нас царицев нет,— мрачно сказал Оська.

— Правда,— объяснил я,— мы бы с удовольствием, ей-богу, но ведь Швамбрания — республика... Вот женой президента — это можно.

— Хорошо,—сказал алхимик,—пусть будет женой президента. Аграфе... Э-мюэ... Агриппина, ты хочешь быть женой швамбранского президента?

— Даешь! — сказала Агриппина.

Донна Дина и кузнечики

Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюродная сестра. Звали ее Донна Дина или Диндона. Дина — это было ее настоящее имя. Донной ее прозвали за черные волосы и глаза, блестящие, как крышка пианино, и зубы, ровные и чистые, как клавиши.

Тетки нас предупредили, что мы должны звать ее кузиной, что по-французски обозначает двоюродную сестру. А мы для Дины были по-французски кузены. Но Дина оказалась совсем свойской девчонкой. Услышав от нас: «Здраствуйте, кузина»,

она расхохоталась, причем засмеялись сразу и глаза, и зубы, и волосы.

— Ну, тогда здравствуйте, кузнечики! — закричала она.— Чем занимаетесь?

— Швамбранией,— ответил Оська, почувствовав к Дине необыкновенное доверие.— Потом еще солому таскаем, гулять ходим... Будешь с нами ходить?

— Непременно,— сказала Дина,— а то я без вас заплутаюсь в Покровске. И так еле вас нашла... Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной... У нее столько домов...

— Какая это Шатрова? — удивилась мама.

И Дина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора. Ей сказали: «Вон дом шатровый». (Дело в том, что дома в провинции называются «флигелями», если крыша имеет два ската, и «шатровыми», если крыша шатром, в четыре ската.) И вот Дина пошла спрашивать встречных: где здесь дом гражданки Шатровой? Ей указали восемь домов. В третьем она нашла нас.

Даже Оська признал ее красавицей. Она носила настоящую матроску, подаренную ей знакомым кронштадтским моряком, и это нам нравилось. Мы водили ее по Покровску. Мы показывали ей наши развалины. Но об эликсире и алхимике ничего не сказали. О Швамбрании Дина расспрашивала очень внимательно. Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в сверхъестественном. Она сказала, что это просто срам и пора работать. Так мы дружили, гуляя.

Парни при встрече с Донной Диной почтительно уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок и долгэ смотрели вслед. «Ось гарненькая!» — доносилось до нас. И мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину.

На третий день своего приезда Дина, к нашему восторгу, прищемила теткам хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила, что это преступление — не давать выхода общественным чувствам, которые кипят и бурлят в нас.

— Правильно,— согласился Оська,— у меня тоже иногда ох и бурлят чувства!.. Особенно после тыквенной каши.

Дина стала тискать Оську и объяснять ему, что он не совсем понял ее, но это ничего. Спор продолжался. Тетки заявили, что они давно уже отступились от нас, что мы попали во власть улицы и большевизма, а это, по их мнению, одно и то же. Тут тетки стали говорить такие гадости, что Дина вскочила и ударила звонко ладонью по столу. Она стала очень румяной.

— Я забыла, кажется, рассказать,— сказала Дина,— что меня приняли в партию. Я коммунистка.

— Без пяти минут? — язвительно спросил Оська.

— Нет, уже без году неделя,— смущенно, но весело отвечала Дина.

Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрылись.

Когда Фектистка утвердил фамилию

— Дорогие кузнечики,— сказала вскоре Дина,— широкие просторы открылись для вашей энергии и фантазии. Но будьте общественны, дорогие кузнечики. Пора!

Она была назначена помощницей Чубарькова и заведующей детской библиотекой-читальней.

Тетки определили детскую библиотеку так: общедоступной детской библиотекой называется узаконенный рассадник болезнетворных микробов, которые в обилии содержатся в старых книгах, заношенных, как белье старьевщика.

А Дина мечтала о библиотеке так:

— Это не просто прилавок, кузнечики, не просто пункт раздачи книг. Детская библиотека — это будет главный штаб ученья и воспитания ребят вне школы... Любимый ребячий клуб. Каждый — сам хозяин. Научим книжку уважать... Ох, кузнечики, мы такую красоту разведем, куда вашей Швамбрании! Все ребята к нам запишутся... Вот увидите.

Но, чтоб разводить красоту, понадобилось прежде всего расширить помещение библиотеки. Требовалось занять соседние комнаты. Там продолжали жить какие-то буржуи, хотя Уотнаробраз давно приказал их выселить. Дина решительно приступила к выселению. Она захватила для храбрости меня.

Заодно я мог начать работу в библиотеке.

Я застал Дину проверяющей каталог и книжные формуляры. Кругом нее сидели оборванные ребятишки. Я узнал многих уличных врагов, худеньких привокзальных ребят, коренастых ребят и девочек с Бережной улицы, где жили рыбаки с Сазанки, парней с консервного и костемольного. Одни из них помогали надписывать карточки, другие подклеивали разорванные книги, третьи, стоя на стремянках, устанавливали книги на полках. Все работали с веселой и в то же время сосредоточенной поспешностью. Это была первая ребячья книжная дружина, организованная Диной. Дину ребята, видно, уже успели полюбить. Они беспрерывно теребили ее всяческими расспросами.

— Донна Дина, а Донна Дина! — спрашивала востроносенькая девчурка в огромной шали, завязанной на спине.— Донна Дина... кто это такая — хижина дяди Тома?

— Донна Диновна,— кричал кто-то со стремянки,— Лермóнтов — это город или название книги?

— Вот, ребята, примите еще помощника,— сказала Дина, указывая на меня.— Ухорсков, запиши-ка его.

Меня внутри немножко покоробило. Я вовсе не собирался быть тут каким-то второстепенным подручным. Я полагал, что меня пригласили на роль предводителя. Однако я решил пока молчать.

— А мы тебя знаем,— сказали ребята,— ты врачов сын... Тебя не заругают, что ты с нами?

— При чем тут заругают? — обиделся я.— Теперь весь народ равный.

Высокий и скуластый дружинник, по фамилии Ухорсков, подошел ко мне.

— А ты чем хочешь быть, когда вырастешь? — спросил Ухорсков.— Тоже доктором?

— Я хочу быть матросом революции,— сказал я.

— Хорошее дело,— сказал Ухорсков.— А я мечтаю — летчиком.

Пришел комиссар Чубарьков. Мы давно не видались с ним, и оба обрадовались.

— Ого! Подрастаешь, поколение! — сказал комиссар, ласково оглядывая меня.— Ну, что папан с фронта пишет?

И мы пошли выселять. К моему ужасу и конфузу, выселяемые буржуи оказались близкими родными Таи Опиловой, и сейчас Тая сидела здесь же, на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрела на меня с презрением, негодованием, укоризной... Как только она еще не смотрела! Мне захотелось плюнуть на все и смыться.

— А еще докторов сын! — сказала Тая.

И это спасло меня.

— Лучше быть докторовым сыном, чем буржуевой дочкой! — обозлился я.

— Точка! — закричал комиссар.— Отбрил, и ша.

Ухорсков опять подошел ко мне. Он сказал шепотом:

— Приходи вечером на газетный кружок. Председателем тебя выберем. Ты боевой стал.

— А раньше-то ты меня знал? — удивился я.

— И очень ясно, что знакомый был,— отвечал Ухорсков.— Ты вот меня только не признал. А я, помнишь, вам таз лудил, ведро починял. Фектистка я. Теперь в детдоме живу. У хозяина струмент реквизировал. И зажигалки делаю. Хочешь, тебе пистолетом сделаю? Чик — и огонь!

— Я некурящий.

— Ну, бандитов пугать пригодится.

Я смотрел на высокого, уверенного Ухорскова и с трудом узнавал в нем робкого ученика жестянщика. Неужели же это тот самый Фектистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? У него теперь фамилия была!

На улице, у выхода из библиотеки, меня поджидал комиссар. Он взял меня под руку.

— Послушай,— сказал Чубарьков равнодушно,— эта самая... товарищ Дина... она тебе кто? Сестра, что ль?

— Ну, сестра,— отвечал я сурово. Но, чувствуя, что это нечестно, добавил в подветренную сторону, чтобы комиссар не слышал: — Двоюродная...

— Образованная, видать,— с неожиданной грустью сказал комиссар.

— Еще как образованная! — расхвастался я.— Почти высшее учебное чуть не окончила.

Комиссар вздохнул.

Подданные новой страны

Нет! Меня не избрали председателем газетного кружка. Динка сказала ребятам, что я еще не вполне сознателен, люблю мечтать о всяком вздоре и еще чего-то там такое... Этого я уж никак не ожидал от нее!.. И председателем избрали Клавдюшку. Да, да! Ту самую Клавдюшку, которая принималась в швамбранские войны только на роли пленной.

— Я, ребята, знаю, о чем товарищ Дина говорит про Лельку,— заявила коварная Клавдия.— Он все еще про одну страну воображает... Швамбрания, что ли. Играют так. Они и меня в плен садили. Только в этом теперь интересу мало.

Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно.

Никогда я еще так не стыдился своей Швамбрании, Динка улыбнулась.

— Ну, Клавдюшка,— сказала она,— роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из всех пленов. А Леля все еще в плену швамбранском... Эх ты, братишка, кузнечик мой!..

Следовало бы, конечно, гордо встать и покинуть это сборище насмешников. Но Швамбрания показалась мне в эту минуту более сомнительной, чем когда-либо. Я почувствовал, что не смогу найти ни одного слова в оправдание игры. Она становилась явно ненужной, навязчивой и стыдной, как привычка, от которой хочешь отучиться. Клавдя, председательница, подошла ко мне.

— Ты не сердись,— сказала она,— не надо. Лучше, «чур, не игры»! Выходи из плена!

Она стояла рядом со мной, худенькая и задорная. Ни в какой Швамбрании она не нуждалась. Это было ясно. И я зачеркнул в нашей описи мирового неблагополучия пункт третий, последний, о «безземельных ребятах». Мне захотелось быть одного подданства с Клавдией. Я остался.

Меня целиком захватила шумная и деловая жизнь библиотеки. Я целые дни работал там после школы. Я ходил заляпанный красками, клеем, чернилами. Я был нагружен папками и заботами. За мной увязался и Оська. Он вскоре сделался общим любимцем. Его назначили заведующим шахматным столиком. «И стуликом»,— добавил Оська при избрании.

Ухорсков, Клавдя и я организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его подписался я. К алхимику мы почти не ходили. День был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были «большие новости», но не швамбранские, а с настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец. Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, литературные вечера и утра. Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава о нашей библиотеке расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин — из Краснявки, из Тянь-Дзиня, с Осокорьев...

Мы отбивали свои пятки и пороги учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дина и ее помощница Зорька, тихая, добрая девушка, устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раз дров все же не хватило до конца месяца, каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто груду щепок. Хотя у самих дома нечем было вытопить печи, они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно палят, салютуют искрами в печи их дрова. Каждый владетельно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей, каждый чувствовал себя хозяином. И веселая канонада голландок заглушала урчанье пустых желудков.

Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал запоем и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты, вечера. Его звонкие, словно металлические аплодисменты воодушевляли нас. Самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные несознательные говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось.

В разгар работы мы устроили большой вечер. Пригласили родителей наших ребят. В библиотеке произвели генеральную уборку, сняли всю паутину и повесили новые плакаты. Пришли почему-то только матери. Они поправляли гребешки на затылках и прятали большие руки под платком на животе. Им предоставили лучшие места. Дина и Зорька угощали их чаем без сахара, хотя и с повидлом.

Но совсем новое чувство общего хозяйствования и какого-то особого, огромного гостеприимства толкнуло меня и Оську на подвиг.

Я оделся, чтобы сбегать домой.

— Швамбранский сахар? — спросил Оська, поняв меня.

— Безусловно! — сказал я.

Дина была искренне тронута. Я представлял себе, что бы вышло, если бы все это видел Степка Атлантида.

«Вот, Степка,— сказал бы я,— отдаю на общую пользу всю сладкую частную собственность».

«Молодец парень! — сказал бы Степка.— Так и должен действовать матрос революции».

И с гордостью, распирающей наши сердца, наблюдали мы, как матери пили чай со швамбранским сахаром вприкуску.

Мы ставили в этот вечер второе действие «Женитьбы» Гоголя.

— Глянь, глянь, Петровна,— восхищались в зале матери,— мой-то как ногами выступает! Чистый кавалер!

— Батюшки! Нюрка это, ей-богу, Нюрка... Обрядилась до чего... Не признаешь.

— А Нинка-то, Нинка наша!.. Скажите на милость, ну откуда форс берется?

— Энтот тощенький чей?.. Докторов?.. То-то, я вижу, больно аккуратно выражается.

— Сергунька-то мой до чего свою обязанность выучил... Вот бес!.. Поперед всех частит... Который в будке, взопрел небось ему подсказывать.

— Степанида, а Степанида, где ж твой-то?

— Моего не видать: он занавес держит.

Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях зрителей. После спектакля Оська читал описание украинской ночи из «Сорочинской ярмарки».

Зал уселся и затих.

— «Знаете ли вы украинскую ночь?» — с чувством начал Оська.

— Нет, нет!!! — закричал зал.— Не знаем! Просим! Просим!

— «Нет, вы не знаете украинской ночи!» — продолжал немного смущенный Оська.

— Ясно, не знаем,— согласились матери.— Откуда нам знать? Какое наше воспитание было?

Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезок.

— Ишь ты, целое у них тут государство! — говорили матери.

Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущались, но Дина и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул «Барыню» в четыре руки, считая пару Оськиных, и комната завертелась, как огромный волчок. У нас дома бывали елки и «вечера рождения», но никогда не было так весело и хорошо.

— Ну спасибо вам, Донна Диновна,— говорили матери, безудержно улыбаясь,— и вам, Зоренька, и вам, ребятишки. Спасибо. Наша-то молодость сгибла уж... Дожили хоть на ребят своих в радости посмотреть... Спасибо вам.

— Себя благодарите,— говорила Дина,— все это в ваших руках.

Озорница Клавдюшка потащила меня в «комнату сюрпризов». Один угол комнаты был задрапирован красивыми занавесками. Сверху висела доска с надписью: «Панорама. Вид в лунную ночь зимой».

— Хочешь посмотреть? — спросила Клавдя.— Плати фантик.

Я заплатил какой-то фант. Клавдя привернула лампы в комнате.

— Гляди! — сказала она, раздергивая занавески.

Я увидел золотую раму. В нее был вправлен чудесно изготовленный ночной зимний ландшафт. Голубое молоко луны заливало панораму. Отлично были скопированы покровские амбары. Стройная водокачка стояла посреди пустынной площади. В крохотных домах горели красные огоньки.

— Похоже? — спросила Клавдя.

— Очень! — сказал я.— Только красивее гораздо, чем в действительности. Кто это сделал?

— Дина это сделала,— смеялась Клавдя,— и тебе обязательно показать велела. Гляди, гляди!

Вдруг я увидел, что через панораму движется миниатюрный извозчик. В ту же минуту игрушечная ночь отпрыгнула назад. Перспектива углубилась. Амбары обрели нормальные масштабы, и я понял, что никакой панорамы нет. Рама была вставлена в большом окне. Окно выходило на площадь. Я смотрел на обыкновенную ночь в настоящем Покровске. Никогда бы я не поду-

мал, что эта прекрасная ночь и все, что было сегодня на нашем вечере, могло происходить на простой земле. Туман скучной недействительности пал на Швамбранию. Швамбранская почва ускользала у меня из-под ног. Но в эту минуту я услышал обидный смех. Я оглянулся. Дина стояла за мной в толпе ребят.

— Ну что? — сказала Дина.— Значит, тебе, выходит, золотая рамочка нужна? Тогда и Покровск в Швамбранию превращается? Эх, ты!

Ребята смеялись. Оська подошел ко мне. Он взял меня за руку. Мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся Феоктист Ухорсков. Смеялась Клавдя. Мы с Оськой тоже собирались было принять участие в общем осмеянии страны Большого Зуба, но горячая кровь швамбран ударила нам в голову. Как они смели издеваться, в самом деле?

— Ну, поняли теперь, в чем фокус? — спросила Дина.

Мы молчали.

— Я вам объясню, ребята,— сказала Донна Дина.— Тут виной всему старая пословица: там хорошо, где нас нет. Но вот один известный коммунистический писатель так писал: пролетариату незачем строить себе мир в облаках, потому что он может основать, и основывает, свое царство на земле. И для того у нас пролетарская революция, чтоб было там хорошо, где мы...

В треске аплодисментов я услышал отзвуки гибели развенчанной Швамбрании. Мы с Оськой, взявшись за руки, гордо вышли из грохочущей комнаты.

— Куда? — закричали ребята.— Обиделись, швамбраны?

— Ничего, ничего, они вернутся,— уверенно сказала Дина.— Эй, кузнечики, послушайте!.. Ничего, они вернутся!.. Они вернутся работать, а не играть.

Нашествие иогогонцев

Кроме Уродонала Шателена, теток и адмирала Колчака, у революционного человечества имелся, по слухам, еще один опасный враг. Это была банда иогогонцев. Иогогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кандраш (Кандрашов), идейным же шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюг-Мартыненко.

«Ио-го-го! Ио-го-го! Не боимся никого!..» — таков был воинственный клич иогогонцев, с которым они обходили свои уличные владения.

Наша библиотека не избежала их нападения. Они явились в воскресенье, за неделю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек пятнадцать. Они шли тесной настороженной толпой. Васька Кандраш вышел вперед, к столу Донны Дины.

— Ну-ка, отпустите мне какую-нибудь книговинку,— сказал Кандраш,— только поинтереснее. Буссенар Луи, например! Нет? А Пинкертон есть? Тоже нет? Вот так библиотека советская, нечего сказать!

— Мы таких глупых и никчемных книг не держим,— сказала Дина,— а у нас есть вещи гораздо интереснее. Вот, я вижу, вы парни боевые. А у нас каждый читатель — хозяин библиотеки. Хотите быть «боевой дружиной порядка»? Будете охранять порядок в читальне, нести караул у книжной выставки. А то у нас разные хулиганы книги рвут и сорят. А я на вас надеюсь.

Это было очень неожиданно. Иогогонцы опешили. Банда переглядывалась.

— Небось ты у них главный атаман? — спросила Дина Кандраша.

— Я,— отвечал тот, польщенный.— А откуда ты... вы узнали?

— Кто же не знает! — сказала Дина.— Ну, так как же? Можно доверить тебе порядок?

Иогогонцы опять застеснялись.

— Вполне можно! — скромно сказал Кандраш.— Чего снегу натаскали в помещение? — накинулся он вдруг на своих.— Хворые, что ль, не можете валенок обмести? Вон как навозили!..

Иогогонцы, неловко толпясь, вышли в сени. Они долго и тщательно вытирали там ноги. Потом они повесили свои шапки на вешалку.

Но Биндюг не простил своим иогогонцам измены. Мстительный и разъяренный... настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюг считал меня главным соблазнителем иогогонцев. Он сграбастал меня за лацканы шинели. Разговор был краток:

— Ты?

— Я!

— Н-на!!

Когда я с трудом открыл глаза, была драка. Ухорсков и иогогонцы валили Биндюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего.

— Все на одного?! — кричал Биндюг.

— Нет! Все за одного,— отвечали ему и били.

Никогда еще, наверно, Биндюг не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был настоящий и окончательный враг. Может быть, он и был парень-«гвоздь». Все

равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для меня ясной. Биндюг был там. Я был здесь, с ребятами, к которым вернулся из Швамбрании. Меня приняли в драку, и я бил Биндюга с огромным удовольствием. Я лупил его от себя лично и за Степку. Я колошматил его, как беглый швамбран, и дубасил, как матрос революции. И мы отколотили его.

Большие новости

Ликующий, возвратился я с поля битвы. Голова кружилась от победы и от жестокой затрещины Биндюга. Оська встретил меня в передней.

— «У-ра, у́-ра! — закричали тут швамбраны все»,— пел я.

— Большие новости,— глупым голосом сказал Оська.

Все сидели вокруг стола. Несчастье лежало на столе, длинное, как щука.

— У папы сыпняк...— сказала больничным шепотом мама.— Сообщения с Уральском нет. Телеграмма шла девять дней... Может быть, он уже...

«У-ра, у́-ра...— и упали...»

Мне дали воды, и я сам поднялся с пола.

Две недели потом мы ничего не знали об отце. Две недели мы не знали, как надо говорить о нем: как о живом или как о покойнике.

Две недели мы боялись говорить о нем, ибо не знали, как спрягать глаголы с папой: в настоящем времени или уже в прошедшем.

И в эти трудные дни нам сказали, что убит Степка. Он умер как герой, Гавря Степан, искатель Атлантиды, и об этом говорили разное. Лабанда, Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто захватили Степку белые и сказали:

«К стенке!»

И будто сказал Степка:

«Мне не привыкать... Меня в классе каждый день к стенке становили».

Может быть, это Лабанда сам выдумал, не знаю. Но факт: убили. Погиб Гавря Степан, по прозванию Атлантида. Не увидит он меня матросом революции. Я не выйду встречать его в латаных валенках, с прелой соломой в опухших руках, и писать о нем дальше уже нечего.

Плохо.

Возвращение

Город глохнет в снегу, как ухо, заложенное ватой. Сугробы катятся по вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно. Мглистое небо течет, цепляясь о трубы. На трубах небо навязло, как водяные травы на сваях, и струится кизячными дымками. Холодно. Заносы осадили город. Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец...

Вчера один поезд вырвался из заносов. Я побежал встречать его. Поезд подошел. Стал. Никто не выходил из вагонов... Это был поезд мертвых. Больные померзли в дороге. Трупы складывали на перроне.

Но папы среди них не было.

Холодно. Тоскливо. Очень хочется пойти в библиотеку поработать с ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще неловко показываться туда после разгрома Швамбрании. А что Швамбрания? Львиное чучело, набитое трухой. Хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже играть в нее. От скуки мы идем навестить алхимика. Утопая в снегу, пробираемся в подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние дозы эликсира. Филенкин валяется на полу. Жену швамбранского президента Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете.

— Хочешь... эликсиру? — предлагает он мне плещущийся стакан.— Бу... будешь веселый, как я...

Я беру стакан из его неверных пальцев. Мерзкая вонь сивухи бьет мне в нос. Да ведь это же... Ужасная догадка!.. Это самогон!

— Хе-хе! Конечно, самогон,— говорит алхимик,— чистый изюминский... э-мюэ... собственной гонки... э-э... мой эликсир «Швамбрания»... Ваша Швамбрания тоже... э-мюэ... самогон своего рода... Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки...

Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастья сыплются на нас! Неужели мы были помощниками самогонщика?.. Кустарная фантазия!.. Мечта собственной перегонки!.. Совершенно удрученные, мы рано ложимся спать. Без мечты и свистков. Сон, неуютный и рыхлый, как сугроб, принимает нас.

Глубокой ночью нас будит резкий стук. Оська продолжает спать. Я вскакиваю. Я слышу слабый голос отца. Жив!!! Его вводят по лестнице. Шаги неуверенны, редки. Он желт и страшен, папа. Борода, огромная, как манишка, лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему. Но он кричит:

— Не смейте никто подходить!.. Вши... Я вшивый... Умыться сначала... И поесть... Картошки бы...

И голос его трясется вместе с головой. Мы разжигаем «буржуйку», жарим картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир горой...

Вода для мытья согрелась. Мы уходим в другую комнату. Мы слушаем, как стучит мыло о папины кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа, в чистой рубахе, умытый и не такой уж страшный, рассказывает о фронте. Пока он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная борода тяжелит речь. Но вдруг он начинает задыхаться от волнения. Он плачет:

— У меня больные... умирающие... в коридорах валялись на замерзшей моче... в три вершка... Я же врач... и я не могу...

Мама успокаивает его. Отец приходит в себя. Он пьет кофе и наслаждается комфортом. Он глядит на меня.

— Здорово вытянулся,— говорит он и знакомым жестом ущемляет мне нос.

— От рук совсем отбился,— спешат пожаловаться тетки.— Все книжки растаскали пролетариям...

— Оставьте вы свои мерки,— говорит, волнуясь, папа.— Мне странно... как можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели, какие лица были у наших, когда они гнали этих... Если бы вы...

Через час мы расходимся спать. Итак, я сдал дежурство главного мужчины. Но тут я чувствую, словно какой-то пояс, стягивавший меня все это время, словно этот пояс распустился. Я ощущаю, как у меня внезапно разрежается дыхание. И, бросившись головой в подушку, я невыносимо глубоко сладостно плачу. Я плачу сразу и за папин сыпняк, и за свои волнения, и за уральских красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за многое еще другое... Но ни одна из этих слез не орошает почвы Швамбрании. Ни одна.

Утром я пойду в библиотеку.

Огонь и пепел

Бронепоезд влетел в город. С вокзала его перевели на внутреннюю городскую ветку. На этой ветке почковались все старые амбары, и она называлась Амбарной.

Бронепоезд, лязгая, появился на Амбарной ветке. Он невежливо и назидательно ткнул в лицо Брешки и Лабазов свои орудия. Пегие, в камуфляже, бока броневагонов были помяты в боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворотило перед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного

рака с оторванной клешней. Выведя свой бронесостав на ветку, он, пятясь, ушел на станцию чиниться.

Мы в это время, по заданию комиссара, снова рисовали в библиотеке плакаты:

На борьбу с тифом!

Опять, не щадя сил и красок, мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сяжков, усиков. Опять многоножки, сороконожки, стоножки выползали на наши устрашительные плакаты, а под этим нанизывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления:

При чистоте хорошей
Не бывает вошей.

Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу. Мне сказали, что комиссар заседает в бронепоезде. Я понес туда готовые плакаты. Глухой и замкнутый в себе, костенел в тупике бронепоезд.

— Куда ходишь? — спросил меня часовой.

— К товарищу Чубарькову с личными плакатами,— гладко отвечал я.

— Предъявь,— сказал часовой и долго смотрел на плакаты, развернутые мною.— Здóрово! В точности,— сказал он наконец.— Ну, проходь.

Я тихонько вошел в вагон. Меня не заметили.

Там было накурено. Председатель Чека был там, комиссар и еще много народу. Было полутемно и глухо, как в каземате. Люди в вагоне были взволнованы. Броневая толща, надетая на вагон, давила и успокаивала их. Говорил очень худой человек в кожаных штанах и коротком тулупчике.

— Я, как командир бронепоезда,— говорил он,— заявляю, что бойцы, орудия и боеприпасы в полной мере готовы. Задерживает ремонт паровоза. За железнодорожниками — вот за кем дело стало.

— Ну что же,— сказал председатель Чека,— в таком разе обсуждать нечего. Подождем, что железнодорожники скажут. Сейчас Рябилко явится, расскажет... Спать вот только клонит. Я четыре ночи не рассупонивался...

— А если нет? Точка! — сказал комиссар и яростно задымил, с остервенением стряхивая пепел на стол.

— Слушай, друг,— обратился к нему командир бронепоезда,— соблюдай боевую гигиену и не сори. У меня тут чистота и порядок. Пепельницу, видишь, специально приспособил. Ребята где-то выменяли... Диковинная вещица. Тряхай туда.

И он подвинул к комиссару едва различимую в полумраке странную на вид пепельницу. Комиссар зло ткнул окурок в ее отверстие.

— Удар их назначен на завтра,— сказал комиссар.— Если броневик не заслонит, то нашим зайдут в тыл. Дело в паровозе. А если нет? — повторил он.

— А если нет,— сказал председатель Чека,— так я сам поеду туда. Покалякаю. Я за рабочую братву не опасаюсь. Не выдадут. Свои. Вот мастера, техники... Ну, если саботаж, так у меня разговор будет короткий.

И он встал. Он тяжело прошелся по вагону, упорный, беспощадный, совсем не такой, как тогда был в Чека, когда хохотал над швамбранской историей. И комиссар здесь был совсем новый, иной, чем обычно. Он говорил проще, почти без «точек и ша», хорошо, ладно говорил. Он был среди своих, до конца своих. Он был в деле, в своем деле. Огромная забота стискивала его сердце и челюсти. Впервые застиг я революцию в ее рабочей, деловой маете. Впервые вот так, в упор, вплотную, разглядел я ее не с швамбранских вершин и не из домашней подворотни. И дело этих по-новому увиденных людей показалось мне трудным, опасным, но единственным настоящим делом.

Робилко ворвался в вагон. Я знал машиниста Робилко. Он в февральские дни семнадцатого года помогал нам, гимназистам, свергнуть директора. Робилко ворвался в вагон.

Все вскочили.

— Ну?! — закричали все.

— Рабочие-железнодорожники,— сказал Робилко,— велели вернуть вам ваше воззвание. Оно не нужно им, говорят они. Они, говорят, наизусть помнят, что для них такое есть революция... И свою пролетарскую обязанность в смысле ремонта паровоза заверяют выполнить, хоть и не спамши, завтра к утру...

. . . . . .

Бронепоезд уходил днем. Играл оркестр железнодорожников. Комиссар сказал речь. Паровоз рявкнул. Потом рванул.

В эту минуту сквозь бойницу среднего вагона высунулась чья-то рука. Она держала вчерашнюю диковинную пепельницу и вытряхивала ее. Бронепоезд уходил. Бойница поравнялась со мной. И теперь только я узнал в пепельнице наш ракушечный грот — грот Черной королевы, былое вместилище нашей тайны... Пепел и окурки сыпались из него, пепел и окурки.

В библиотеке происходило экстренное собрание всех читателей. На этот месяц мы остались без дров. Отдел отказал. Библиотеку приходилось закрывать. Комиссар мрачно шагал по залу. Ребята чуть не плакали.

Вдруг мне в голову пришла такая ослепительная мысль, что я даже зажмурился. Все посмотрели на меня, ничего не понимая.

— Товарищи,— закричал я,— предлагаю разобрать на дрова Швамбранию!

— Швамбранские дрова годятся только для отопления воздушных замков,— сказала Дина.— Забудь про Швамбранию.

— Да нет же,— сказал я,— я не про то... Дом Угря знаете? Там досок всяких, бревен, обломков полно внутри... Это наша тайна была... Мы там играли с Оськой и видели... Давайте сделаем субботник и запасемся дровами. Черт с ней, со Швамбранией... Для своих не жалко.

Сначала все молчали — так было неожиданно это заявление. Потом кто-то захлопал. Через минуту все кричали, скакали, аплодировали. Комиссар подхватил меня. Потолок трижды опустился над нами. Сердце замирало. Нас качали.

— Только оттуда надо двух алфизиков выгнать,— сказал вдруг Оська, когда его поставили на пол.

— Каких алфизиков? — спросила Дина.

— Алхимиков,— объяснил я.

— Ну, алхимиков,— сказал Оська.— Они там самогоном пьянствуют.

Комиссар ничего не сказал. Он что-то черкнул в блокноте и быстро вышел.

. . . . . .

Швамбрания рушилась. Субботник подходил к концу. Отъезжали груженые сани. Я стоял в цепи и передавал налево доски, которые получал справа. Доски в руках у меня перевоплощались. Справа я получал их еще как куски Швамбрании. Налево я передавал их уже только как дрова для библиотеки. Работа шла мерно и четко. Поцарапанные руки устали; мороз ел кожу сквозь прорехи рукавиц. Но было приятно чувствовать, что левый товарищ так же связан с тобой, как ты с правым, а правый — со следующим, и так далее. Я стоял ступенькой живой лестницы, по которой шла на полезное сожжение призрачная Швамбрания...

Группа наших ребят вместе с комиссаром, Зорькой, Динкой и Ухорсковым валили уже расшатанную стену высокой галереи. Вдруг раздался чей-то исступленный крик:

— Стойте! Погодите!..

Все всполошились. На верхушке шатающейся галереи показалась маленькая уверенная фигурка. Это был Оська.

— Отсюда как красиво! — сообщил сверху Оська.— Далеко все видно...

— Ша! Слезай оттуда сейчас же! — закричал не своим голосом комиссар.— Нет! Стой!.. Я тебя сейчас сам сниму.

И комиссар, как кошка, полез вверх сквозь отверстия этажей. Галерея грозно трещала. Комиссар показался в верхнем окне дома.

— Осторожно! Товарищ Чубарьков! — кричали комиссару снизу.

Но комиссар бесстрашно вылез на карниз. Одной рукой он цепко держался за осыпáвшийся край оконного проема, другой он водил по стене, ища опоры. Так он, осторожно двигаясь по карнизу стены, почти уже дотянулся до Оськи.

— Тихо, спокойненько, ша! Не балуй,— приговаривал комиссар.

— Правда, отсюда красиво? — спросил спокойно дожидавшийся его Оська.

— Сигай сюда, и ша! — зарычал комиссар, протягивая руку.

Он подхватил Оську и втянул его в окно. Через секунду галерея обрушилась. Она осела, как лавина, грохоча и подымая клубы снега.

— Всю бы ты нам музыку изгадил,— сказал комиссар, ставя Оську на землю.

Обломки Швамбрании лежали вокруг нас.

— Все швамбраны погибли, как гоголь-моголь,— сказал неожиданно Оська.

— Не как гоголь-моголь, а как Гог и Магог [1], ты хочешь сказать,— засмеялась Донна Дина.

Я стоял среди этих воображаемых трупов, среди останков нерожденных граждан. Я стоял, как полководец на поле брани.

— Товарищи,— сказал я,— слушайте: я последние швамбранские стихи сочинил.

Стою на поле брани я...
Разрушена Швамбрания.
С ней погиб имен набор:
Джек, Пафнутий, Бренабор,
Арделяр, Уродонал,

---

[1] Гог и Магог — древний тиран и его царство, упоминаемые в старинных сказаниях.

Сатанатам-адмирал,
Мухомор-Поган-Паша,
Точка, и ша!
Каких имен собрание!
Прощай, прощай, Швамбрания!
За работу пора нам!
Не зевать по сторонам!
Сказка — прах, сказка — пыль!
Лучше сказки будет быль!
Жизнь взаправду хороша...

И все подхватили:

Точка, и ша!

ГЛАВА С ГЛОБУСОМ

Заменяет эпилог

Повесть вся! Сейчас кончается книга.

Одну минуту! Я только возьму глобус. Глобус — вещь круглая и правильная. Сверяться с ним необходимо.

Цветистый шар вращается на подставке, словно его выдули из этого черного стебля. Но в нем нет радужной шаткости, готовности тотчас лопнуть, обязательных для мыльных пузырей. Глобус тверд, устойчив, весóм.

Его берут за ножку и поднимают, как лампу или кубок.

Мы с Оськой были книжными мальчиками. Наше уважение к глобусу было чрезмерно. Мы не хватали его за ножку. Мы бережно принимали шар в руки. Он покоился на ладонях, в ореоле где-то слышанных от взрослых фраз про суету сует, про великое в малом... Он выглядел нагло, многозначительно и немного жутко, как череп Йорика в пытливых пальцах датского принца.

— А я догадался, почему знают, что Земля кругленькая,— говорил Оська, убедившись в ненаучности гипотезы о местах, где Земля закругляется.— Я знаю почему,— говорил он.— Потому что глобус... шарообразный. Да, Леля?

Так бы и выросли мы, вероятно, пополнив известный отряд

человеческого рода — отряд людей, на глобусе постигающих, что Земля — шар, людей, удящих рыбу в аквариуме, созерцающих жизнь через оконные стекла и узнающих голод по случаю диеты, назначенной врачами.

Спасибо эпохе! Размозжен быт, заросший седалищными мозолями. Нам крепко наподдали... Пришлось соответствующим местом убедиться, что Земля поката.

Что же касается глобуса, то мы давно поняли его истинную пользу и назначение: это не откровение, а просто наглядное учебное пособие. Шар вращается. Проплывают океаны, проходят материки. Швамбрании нет. Нет и Покровска. Он переименован в город Энгельс.

Я был недавно в Энгельсе. Я ездил поздравить Оську-отца. У него дочка. Когда я в Москве получил это известие, мною овладел, каюсь, приступ былого швамбранского тщеславия. Я придумал высокопарное надколыбельное слово, приготовил речь. (О беглянка из Страны Несуществующего! О дочь швамбрана!..) Я заготовил ряд пышных имен на выбор: Швамбраэна, Бренабора, Деляра... Но вот пришло письмо от Оськи:

«Довольно! Довольно мы наплодили с тобой несуществующих ублюдков. Дочка у меня настоящая, и никаких швамбранцев и кальдонцев. Извини меня, но я назвал ее Натуськой. Будет, значит, Наталья. С братским приветом. Ося.

Кстати, если есть возможность достать в Москве материал на пеленки, купи какого-нибудь там полумадама».

Тут же была приписка Оськиной жены:

«Господи! Ответственный работник, диаматчик, Беркли и Юма прорабатывает, никогда ни одного тезиса не спутает, а вот вместо мадаполама — полумадам пишет».

И я снова посетил дом в Покровске.

Мы сидели в той самой комнате, откуда двенадцать лет назад я вышел походкой главного мужчины. В шахматном столике лежала дублерша нашей знаменитой королевы. На крышке пианино я отыскал царапины, полученные в Тратрчоке... Полугодовалая Натка таращилась кругло, розово и уже осмысленно. Я подарил ей погремушку: маленький глобус на длинной ножке.

Седой папа вернулся из штаба санпохода. Мама отзанималась с приходящими ликбезницами. Семейный натопленный вечер густел в комнате. И к ночи приехал из Саратова Оська. Он был курчав, хрипл и мужествен.

— Здорово, Леха!—закричал Оська.—Еле выдрался. Утром по судоремонту, днем в техникуме читал. Потом в райком! Сейчас с актива водников. Доклад делал об испанской революции. Ну, как Натка?

Я произнес прочувствованное надколыбельное слово, приветствия, речь.

— О ты,— говорил я,— ты, которая...— говорил я.

— Ну, хватит,— сказал Оська, закуривая,— хватит петь эти самые гамадрилы.

— Оська,— воскликнул я,— пора уже знать: не гамадрилы, а мадригалы!

— Тьфу! — сплюнул Оська.— Осталась дурацкая путаница с детства... Кстати, Леля, разъясни, пожалуйста, мне раз навсегда: драгоман и мандрагор — кто из них переводчик и кто — ягода?

Потом я читал нашим «Швамбранию». Это было не совсем обыкновенное чтение. Герои повести вторгались в изложение. Они громогласно обижались и торжествовали, дополняли, опровергали, ссорились с автором и прощали его.

А Натка совала в рот свой глобусик. Потомок швамбран, она потрясала маленькой гремучей булавой.

— Я буду официален, товарищи, — сказал Оська.— Книга справедливо свидетельствует, что мы были никчемными и солидными дураками. Автору удалось разоблачить всю беспочвенность подобных мечтаний. Но он, к сожалению, не избежал мелкобуржуазной расплывчатости в отдельных характеристиках. Зачем, разоблачая никчемность и беспочвенность швамбранских мечтаний, ты как будто допускаешь перегиб... Ты хочешь лишить современность права на мечту. Это неверно! Надо это оговорить. Я сейчас...

И Оська вывернул на стол содержимое своего портфеля.

Книги и тетради выползли, трепыхаясь, на стол, как рыбы из кошелки. Среди них я увидел маленькую записную книжку «Спутник коммуниста» и вспомнил покойного Джека, Спутника Моряков.

— Вот,— сказал Оська, открывая свой блокнот.— Вот что я здесь записал: «И если скажут: ну какое нам дело до всего этого, ведь мы для поддержания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком обмане... Это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы... не нуждаемся ни в какой мечте? Класс, имеющий силу в своих руках, класс, действительно в трудовом порядке изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен также и к романтике». Тут, понимаешь, надо разуметь под этой романтикой то же, что Ленин разумел под мечтой. И это больше не недостижимая фантастическая звезда, это не утешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все препятствия двигаться вперед. Это тот «практический идеализм», о великом наличии которого у ма-

териалистов говорил Энгельс в ответ на упреки узких материалистов в «узости и чрезмерной трезвости». Вот о чем надо было сказать,— закончил ученый Оська.

— Оська,— сказал я смиренно,— в книге много ошибок. Я сам это чувствую, но не умею еще исправить их. И не торопи меня. Все это надо пережечь в себе. Мне уже самому горько быть Джеком, спутником коммунистов. Я не хочу быть спутником, Оська! Я хочу быть матросом и буду им, даю тебе слово как брату, как коммунисту, как сказал бы я Степке Атлантиде.

Мы долго говорили потом с Осей. Дом улегся. А мы разговаривали шепотом, от которого першило в горле, как от воспоминаний. Последним парадом провели мы героев повести. Мы устроили как бы перекличку нашего класса «А».

— Алипченко Вячеслав! — вызывал я.
— Умер от тифа,— отвечал Ося.
— Алеферепко Сергей? — спрашивал я.
— Секретарь парторганизации пристани,— отзывался Ося.
— Гавря Степан, по прозвищу Атлантида!
— Убит на Уральском фронте.
— Руденко Константин, по прозвищу Жук!
— Ассистент по кафедре аналитической механики.
— Лабанда Владимир!
— Инженер-кораблестроитель.
— Мартыненко, по кличке Биндюг!
— Раскулачен и сослан.
— Новик Иван!
— Директор МТС.
— Мурашкин Кузьма!
— Старпом парохода «Громобой».
— Портянко Аркадий!
— Ученый-ботаник.
— Федоров Григорий!
— Красный командир.
— Шалферов Николай!
— Погиб на хлебозаготовках.

. . . . . .

Утром отец повез меня за город похвастаться новой больницей. Город был неузнаваем. На месте, где земля закруглялась, простирался прекрасный парк культуры и отдыха. Пустырь, оставшийся после разрушения швамбранского дворца Угря, застраивался домами мясокомбината. Пробегал автобус. Торопились на лекции студенты трех вузов. На бывшей Брешке выросли большие дома. Аэропланы рокотали над городом, но я не видел задранных к небу голов. Строились новый театр, клиника,

библиотека. На горе красовался великолепный стадион. Я вспомнил, что слышали швамбраны в Чека:

«И у нас будут мускулы, мостовые и кино каждый день...»

Пока сказка сказывалась, дело делалось. Больница ослепила меня блеском окон, полов, инструментов.

— Ну что,— говорил папа, наслаждаясь моим восторгом,— было в вашей Швамбрании что-либо подобное?

— Нет,— признавал я,— ничего подобного не было.

Папа торжествовал.

Перед нашим отъездом в Москву мама извлекла из семейного архива в чулане большой щит с гербом Швамбрании: Королева, Корабль, Автомобили и Зуб... Щит с гербом Швамбрании красуется теперь у меня в комнате. Он ехидно и весело напоминает со стены о наших заблуждениях и швамбранском плене. Так, по преданию, повесил князь Олег свой щит на вратах Царьграда: дескать, помни, греки.

Но вот глобус полностью обернулся. Швамбрании на нем не обнаружено. Вместе с тем замыкается и круг повести, которая тоже совсем не откровение, а всего лишь наглядное пособие.

1928—1931; 1955

Комментарии

А. П. ГАЙДАР

ШКОЛА

Впервые опубликована для взрослых читателей в журнале «Октябрь» в 1929 году под заглавием: «Обыкновенная биография» в разделе «Пережитое» (№ 4 и 7). Отдельной книгой повесть вышла в 1930 году для детей в Государственном издательстве (специального издательства детской литературы еще не было). Тогда же, в 1930 году, книга была напечатана в «Роман-газете для ребят» — дешевом издании, похожем на журнал. На оборотной стороне обложки этого издания помещен почти во весь рост портрет молодого Гайдара в гимнастерке, в папахе, при оружии. Под портретом — подпись: «Арк. Гайдар, 16 лет, командир 4 роты 303-го полка 34-й Кубанской дивизии, 1920 год. Кавказский фронт»,— и в два столбца автобиография писателя под заголовком: «Командир отдельного полка». Однако все последующие издания «Школы» — а она выходила многократно при жизни писателя в центральных и областных издательствах,— печатались без автобиографии.

«Школа» — повесть автобиографическая. Судьба ее героя Бориса Горикова схожа с судьбой молодого Гайдара — Аркадия Голикова.

Сходство подчеркнуто сходством фамилий. Но судьба литературного героя не совпадает с реальной судьбой автора. Борис — обобщенный характер, художественный образ. «Не биография у меня необыкновенная, а время было необыкновенное. Это просто обыкновенная биография в необыкновенное время»,— писал Гайдар. (Собр. соч. в 4-х т., т. 4. М., «Детская литература», 1973, с. 8.) Вот о той боевой школе, в которой прошли мальчишеские годы Гайдара, об этом «времени необыкновенном», формировавшем молодых людей, и была написана «Школа».

«Школа» — третья книга Гайдара. Но замысел ее можно отнести к тому времени, когда писатель работал над первой книгой, тоже автобиографической,— «В дни поражений и побед», к 1923 году. Сейчас, когда перед нами обе книги, мы видим, что «Школа» — предыстория повести «В дни поражений и побед». Угадывается близость характеров их главных героев — Сергея Горинова и Бориса Горикова. Но этот вывод мы делаем сейчас, тогда же творческая история этих книг только складывалась. Вот какую заметку находим в черновой рукописи «В дни поражений и побед»:

«Обосновать I главу, расширить. Заводы (.) 2 изменить. Городское училище. Форму вычеркнуть. Возраст увеличить. Подчеркнуть Ленина. Охарактеризовать революцию в уезде. Более маленькие дела. Ввести начало

фронтов... Начало сжимающего кольца. Спать на полу ночью с дозором. Более резко и твердо. Перед отъездом на фронт». (Подчеркнуто Гайдаром.— *Ф. Э.)*

Здесь, может быть, и зародилось зерно новой повести, которая потом была названа «Школой» и которой очень скоро, через 5—6 лет, суждено было принести Гайдару широкую известность.

В 1930 году Гайдар начал писать продолжение «Школы» также под заглавием «Обыкновенная биография», но ее не закончил. Посмертно начало второй книги опубликовано в сборнике «Жизнь и творчество А. П. Гайдара». (М.—Л., 1951, с. 341—359. См. также: «Собр. соч. в 4-х т., т. 4. М., «Детская литература», 1973, с. 259—278.)

ВОЕННАЯ ТАЙНА

«Последние дни крепко работал,— записал Гайдар в дневнике 21 августа 1934 года.— Наконец-то кончаю «Военную тайну». Эта повесть моя будет за Гордую Советскую страну. За славных товарищей, которые в тюрьмах. За крепкую дружбу. За любовь к нашим детям. И просто за любовь...»

«Военная тайна» была опубликована почти одновременно в литературно-художественном журнале «Красная новь» (1935, № 2) и отдельным изданием в Детиздате (теперь издательство «Детская литература»). А еще раньше, в 1933 году, в издательстве «Молодая гвардия» вышла отдельным изданием «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», сказка, которую в повести рассказывает вожатая Натка октябрятам со слов маленького Альки.

В конце 1934 года Гайдар был в Ростове-на-Дону и в Доме пионеров читал повесть по рукописи. Ростовские пионеры прислали ему потом письма-отзывы, в которых задали писателю много вопросов.

5 марта 1935 года Гайдар ответил им из Арзамаса, где он тогда жил (печатаем его письмо с небольшими сокращениями.— *Ф. Э.*):

«Дорогие ребята!

Мне из Москвы переслали ваши письма и отзывы на мою повесть «Военная тайна».

Конечно, был я очень обрадован. Повесть выйдет отдельной книгой недели через две...

...Я отвечаю вам на два главных вопроса: зачем в конце повести погиб Алька. И не лучше ли, чтобы он остался жив. И второе: почему повесть называется «Военная тайна».

Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев.

Но этого в жизни не бывает...

Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве пишут мне, что им даже «очень жалко». Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние главы.

И все-таки это хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со мною, а я вместе с вами будем еще крепче любить и Советскую страну, в которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые брошены на каторгу и в тюрьмы.

И будем еще больше ненавидеть всех врагов: и своих, домашних, и чужих, заграничных,— всех тех, что стоят поперек нашего пути, и в борьбе с которыми гибнут наши лучшие большие и часто маленькие товарищи.

Вот вам ответ на первый вопрос.

Почему «Военная тайна»? Конечно, по сказке. В сказке Буржуин задает три вопроса: первый из них — нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь особого военного секрета или тайны ее побед? Тайна, конечно, есть, но ее никогда не понять главному Буржуину. Дело не только в вооружении — в орудиях, танках и бомбовозах. Всего этого не мало и у капиталистов. Дело в том, что наша армия знает, за что она борется. Дело в том, что она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена огромной любовью не только трудящихся Советской страны, но и любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран. И, наконец, вспомните те строки из повести, где Натка задумывается над тем, что теперь она по-новому, по-иному поняла и спокойные глаза Альки, и упрямую хватку Баранкина, и холодный, беспощадный взгляд Владика.

Что же она, в сущности, поняла?

Да то, что в помощь Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет.

И это у Красной Армии — тоже своя тайна.

А каково это поколение — как оно пока живет, что делает, что думает,— обо всем этом я и написал, все это и попробовал я раскрыть в своей повести.

Вот вам ответ на второй вопрос.

Всем крепкий привет, Мите Белых, Вите Зарайскому и вообще всем, у кого на плечах толковая голова.

Я жив, здоров. Живу сейчас в городе Арзамасе и работаю, пробуду здесь еще несколько месяцев...

...Будьте живы и здоровы и вы.

Ваш Аркадий Гайдар».

Ростовские библиотекари сберегли это письмо и после Великой Отечественной войны переслали его писателю И. Халтурину, другу Гайдара, который в 1934 году сопровождал Гайдара и присутствовал на его встрече с ростовскими пионерами. Письмо было опубликовано в журнале «Пионер» в 1949 году, в № 5, с вводной заметкой И Халтурина.

В 1936 году появилось новое издание «Военной тайны», оно отличается

от первого издания: Гайдар дописал две новые главы, внес изменения в некоторые части повести.

Помимо первоначальной публикации, повесть вышла в том же 1935 году в Детиздате УССР (Харьков — Одесса), потом в 1937 году в серии «Школьная библиотека», затем в 1938 году в Омске.

«Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» при жизни автора вышла отдельным изданием вторично в 1937 году в Москве, в Детиздате.

Последнее прижизненное издание повести было осуществлено в сборнике «Мои товарищи». (М., «Советский писатель», 1940.)

Спустя шесть лет после того, как была задумана повесть, в 1938 году, Гайдар написал киносценарий «Военная тайна» (опубликован в 1969 году в журнале «Пионер», в № 5 и 6, с предисловием Р. И. Фраермана).

Кроме сценария, опубликована еще одна рукопись, найденная в той же папке, что и киносценарий: ответы Гайдара режиссеру-постановщику, названные писателем «Несколько замечаний». Это авторские характеристики главных героев произведения: Альки, Владика, Баранкина, Эмки, Сергея Ганина, Натки Шегаловой, Нины.

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

Замысел повести возникал постепенно, исподволь. Воспитывающую, умную игру Тимура и его команды писатель не выдумал, сидя за письменным столом. Он и сам не однажды разыгрывал ее со знакомыми ребятами... Но начало работы над «Тимуром» Гайдар датирует точно: декабрь, 1939 год. «Прошлый год в это время,— отмечает он в дневнике в 1940 году, в декабре,— после поездки в Рязань, я взялся за работу над «Тимуром». Позапрошлый, в декабре, кажется, писал «Чук и Гек»...»

Однако, не закончив повесть, Гайдар написал киносценарий «Тимур и его команда». Сценарий был опубликован в журнале «Пионер» в 1940 году, в № 7 и 8. Летом 1940 года картину снимали на Волге, в конце года фильм вышел на экраны.

Тревогой пронизаны записи в дневнике писателя за тот год. Только что закончилась война с белофиннами, назревали новые события... Гайдар вернулся к прерванной работе над повестью. «Сегодня начал «Дункан», повесть (в первом варианте повести Тимур носит имя Дункан.— *Ф. Э.*),— записывает он в дневнике 14 июня 1940 года.— Война гремит по земле. Нет больше Норвегии, Голландии, Дании, Люксембурга, Бельгии. Германцы наступают на Париж. Италия на днях вступила в войну». И наконец 27 августа 1940 года он записал в дневнике: «Сегодня закончил повесть о Тимуре — больше половины работы сделал в Москве, за последние две недели». Повесть печаталась из номера в номер на четвертой странице «Пионерской правды» начиная с 5-го сентября и по 8 октября 1940 года. Одновременно она передавалась в Москве по Центральному радио.

«Тимур и его команда» — повесть и кинокартина — появились очень своевременно. В годы Великой Отечественной войны зародилось тимуровское движение: Тимур, созданный Гайдаром, увлек за собой миллионы мальчиков и девочек. Из Пензы и из Саратова, из Серпухова и из Моршанска, из Полтавской области и из Сибири стали поступать сообщения о тимуровских командах. «Комсомольская правда» писала в те дни о тимуровцах Киева, оказывавших большую помощь семьям бойцов и командиров, проживающих в прифронтовом городе.

В 1941 году повесть трижды выходила отдельными изданиями. Она и сейчас переиздается; подрастают все новые и новые читатели, и они крепко дружат с Тимуром.

Повесть переведена на языки народов СССР и многие иностранные языки, главным образом в социалистических странах.

Ф. Эбин

Л. А. КАССИЛЬ

КОНДУИТ И ШВАМБРАНИЯ

У этой книги интересная литературная судьба. Сначала Лев Кассиль написал повесть «Кондуит». Отрывок из нее В. В. Маяковский напечатал в журнале «Новый Леф» в 1928 году. Затем вся повесть была опубликована в журнале «Пионер» за 1929 год.

Впервые отдельной книгой повесть была выпущена издательством «Молодая гвардия» в 1930 году, и за четыре года была переиздана еще пять раз, с третьего издания — с рисунками Кукрыниксов. Читателям очень понравился переплет третьего издания, сделанный по эскизу Л. Кассиля. Этот переплет изображал как бы форму гимназистов: на коленкоре серого цвета на лицевой части были оттиснуты две серебряные пуговицы, черный ремень и серебряная бляха на нем, а на обороте переплета был нарисован хлястик.

В 1933 году вышла новая книга Льва Кассиля — «Швамбрания. Повесть с картами, гербом и флагом». В конце повести стояли даты ее написания — «март 1930 — июнь 1931». До выхода отдельной книги в издательстве «Федерация» повесть «Швамбрания» была напечатана в журнале «Пионер» за 1931 год.

Читая «Швамбранию», мы чувствуем, что писатель сохранил впечатления своего детства. Они вовсе не потускнели со временем. Больше того, они освещены событиями, которые потрясли весь мир и так ощутимо повлияли на жизнь будущего писателя. Именно в те годы, когда автор повести был гимназистом, произошла Великая Октябрьская революция.

В «Швамбрании» те же главные герои, что и в «Кондуите». Но обратите внимание на то важное обстоятельство, что, кроме двух братишек, их папы и

мамы, в книге есть еще одна главная героиня — Мечта. Мечта о лучшей, справедливой жизни, как первый шаг к борьбе за эту жизнь. И можно сказать, что писатель во всем своем творчестве остался верен мечте своего детства — он боролся за лучшее будущее, он писал для детей, стремился к тому, чтобы дети были лучше. А к т о ж е делает эту будущую лучшую жизнь? Именно они, юные читатели, дети, которые становятся взрослыми...

Повесть «Швамбрания» издавалась несколько раз, а затем, в 1935 году, писатель соединил обе повести в одну — появилась книга под названием «Кондуит и Швамбрания». Писатель много раз переделывал эту книгу — вписывал новые главы, выбрасывал некоторые страницы.

«Кондуит и Швамбрания» переведена почти на все языки народов СССР и на многие языки мира — она издана во Франции, США, Польше, Югославии, Венгрии, Румынии и в других странах.

Дети всего мира радуются, читая эту книгу. Ведь на всех языках детям понятна мечта о лучшей жизни; на всех языках интересно узнать, как рухнул в нашей стране старый режим и как начиналось строительство нового мира.

В книге много забавных выдумок. Про Льва Кассиля можно сказать, переиначив слова Пушкина: «И выдумки с ним запросто живут,— две придут сами, третью приведут». Фантазия братишек, выдумавших Швамбранию, была по-настоящему буйной. Но внимательный читатель увидит, как в этой фантазии отразился реальный, окружавший их мир — семейные отношения, впечатления от школы, жизни, улицы, прочитанных книг, учебников, газет. Все причудливо перемешивалось в их смехотворных «географических названиях», «исторических» событиях. В выдуманной стране Швамбрании мы отчетливо видим черты невыдуманной царской России.

Писатель отобрал для своих повестей самые красноречивые черты прошедшей жизни. И мы ясно ощущаем, что эту жизнь он не выдумал — он описал ее такой, какой видел сквозь радужное стеклышко детской мечты. И действительно, ведь все описанное в книге — правда. Я сама видела в квартире писателя сохранившиеся с детства географические карты Швамбрании, ее герб и флаг. Я была знакома с родителями Льва Кассиля, и они в точности были такими, как в книге.

Правдивость событий, правдивость характеров, богатство разнообразных чувств, которые вызывает эта книга у читателя, добрый юмор, буйная фантазия сделали «Кондуит и Швамбранию» одной из самых любимых книг советских ребят.

Кроме Швамбрании, Лев Кассиль, когда уже стал взрослым, придумал еще две страны, «которых нет на карте», как он говорил. О стране Синегории мечтают герои его повести «Дорогие мои мальчишки», а в Джунгахоре живет принц Дэлихьяр Сурамбук, герой его повести «Будьте готовы, Ваше высочество!».

Сам Лев Кассиль писал о своих выдуманных странах: «А ведь я «открывал» страны, которых нет на свете, чтобы читатели мои еще крепче

полюбили бы ту страну, дороже которой для меня на свете нет,— родную нашу Землю Советов!

И все эти страны, флаги, карты, гербы... лишь мечтательное, иногда чуть-чуть озорное и насмешливое, иной раз задумчивое эхо той всамделишной жизни, в которую вы, друзья, вступаете... Хочется мне, чтобы и наши с вами мечты, и игра в неведомые страны помогли вам лучше понять, почувствовать, что нам всего дороже в жизни.

Так выше же флаги нашей мечты о счастье и справедливости во всем свете!

Полный вперед! Так держать!

Плаванье продолжается. Мы — в дальнем походе. И я верю, что там, за манящим меня горизонтом, наступит день, когда на всей земле жизнь будет такая, какая стала, если верить Лельке и Оське, в Швамбрании».

Книги Льва Кассиля помогают жить и мечтать. Недаром один его читатель из Америки писал, что он и его сын любят книгу про Швамбранию и надеются, «что если многие люди нашей стороны Атлантического океана были бы дружны с Швамбранией, значительно повысилось бы понимание между нашими двумя народами».

Е. Таратута

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Богданов. Слово добра, правды, мужества! 3

АРКАДИЙ ГАЙДАР

Школа. *Рисунки А. Парамонова* 15
Военная тайна. *Рисунки А. Парамонова* 169
Тимур и его команда. *Рисунки А. Ермолаева* 269

ЛЕВ КАССИЛЬ

Кондуит и Швамбрания. *Рисунки Ю. Ганфа* 327

Комментарии 581

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(том 23)

Аркадий Петрович Гайдар

Лев Абрамович Кассиль

ПОВЕСТИ

*

Ответственные редакторы
Н. С. Абрамова
и В. М. Писаревская

Художественный редактор
М. Д. Суховцева

Технический редактор
Н. Д. Лаукус

Корректоры
Н. Е. Кошелева
и Н. А. Сафронова

*

Сдано в набор 5/IV 1976 г. Подписано к печати 25/XI 1976 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 38. Уч.-изд. л. 35,44+8 вкл.=35,94. Тираж 404 000 (200 001—404 000) экз. Заказ № 2939. Цена 1 р. 67 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Гайдар А. П.

Г14 Школа. Военная тайна. Тимур и его команда. Повести.— Л. А. Кассиль. Кондуит и Швамбрания. Повесть. Оформл. Б. А. Дехтерева. М., «Дет. лит.», 1977.

590 с. с ил. (Библиотека мировой литературы для детей, том 23).

В этот том «Библиотеки мировой литературы для детей» входят произведения Аркадия Гайдара: «Школа», «Военная тайна», «Тимур и его команда» и Льва Кассиля — «Кондуит и Швамбрания».

Вступительная статья Николая Богданова.

Г $\frac{70803—039}{M101(03)77}$ Подп. изд. Р2

1 р. 67 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»